

24.4 (исп.)

М 50

ЭДУАРДО МЕНДОСА

ГОРОД ЧУДЕС





Eduardo Mendoza
LA CIUDAD DE LOS PRODIGIOS

BARCELONA
1986

ЭДУАРДО МЕНДОСА

ГОРОД ЧУДЕС



Роман

Перевод с испанского Н. Снетковой

*Перевод осуществлен при финансовой поддержке Генеральной
дирекции книг и библиотек Министерства культуры Испании.*



МОСКВА

«РАДУГА»

1989

БИБЛИОТЕКА

291006

04

(2)

ББК 84.4Ис

М50

Предисловие Н. Матяш

Перевод Н. Снетковой

Редактор Н. Матяш

Мендоса Э. Город чудес: Роман /Пер. с исп.
М50 Н. Снетковой; Предисл. Н. Матяш.— М.: Радуга,
1989.— 428 с.

Роман современного испанского писателя рассказывает о Каталонии в период между двумя Всемирными выставками (1888 и 1929 гг.), состоявшимися в Барселоне. Проследивая путь своего героя от распространителя анархистских листовок до не брезгующего никакими махинациями крупного финансиста, автор рассказывает об огромных социально-психологических сдвигах в жизни Каталонии конца XIX — начала XX века, с любовью и мастерством воссоздает атмосферу Барселоны тех лет.

М $\frac{4703000000-422}{030(01)-90}$ 57—89

ISBN 84-322-0545-1

ISBN 5-05-992499-5

© Eduardo Mendoza

© Предисловие и перевод на русский
язык издательство «Радуга», 1989

ДИТЯ РОМАНТИЗМА

Так определил свое мироощущение сорокапятилетний испанский романист Эдуардо Мендоса; мироощущение, благодаря которому роман «Город чудес» выделяется в обильном и многоликом море испанской книжной продукции. И хотя нередко писательские суждения о собственном творчестве довольно субъективны, нужно отдать должное автору — в данном случае он недалек от истины. Более того, фраза эта, сказанная в интервью крупнейшей газете страны «Эль паис» в связи с шумным успехом романа «Город чудес», отражает одну из главных особенностей творчества Э. Мендосы.

Его литературной судьбе с полным основанием можно позавидовать: каждой книге, начиная с первого же романа, «Правда о деле Савольты» (на русском языке она вышла в 1985 году в издательстве «Художественная литература»), сопутствовали успех и внимание читателей и критики. Как правило, в любой точке земного шара молодому писателю пробиться бывает непросто, а «Правда о деле Савольты» получила сразу же, в 1976 году, премию критики — лишенную экономической поддержки, но очень почетную — и, что уж совсем невероятно, оказалась единственным произведением современной литературы, включенным в обязательную школьную программу как образец безупречного литературного языка.

Мендоса — писатель неторопливый: за двенадцать лет существования в литературе он опубликовал всего четыре романа. Следующие за «Правдой о деле Савольты» книги ждала не столь блестящая, но тем не менее вполне счастливая судьба: выпущенная через четыре года «Тайна заколдованного склепа», хотя и удивила читателей своей непохожестью на первый роман Мендосы, была встречена вполне благожелательно, по ней даже поставили фильм «Склеп», имевший кассовый успех. Через три года следует написанный в том же творческом ключе

«Оливковый лабиринт». И вот, после семилетнего молчания — «Город чудес», яркое, самобытное произведение, быть может самое заметное в литературной панораме Испании последних лет. Корни этой самобытности — в предыдущих книгах писателя, и в первую очередь в романе «Правда о деле Савольты».

Действие его разворачивается в Барселоне в 1917—1919 годах. Это был период резкой конфронтации рабочего класса Каталонии, находившегося под сильным влиянием анархистских идей, и крупного капитала; период забастовок, массовых выступлений рабочих и жестоких правительственных репрессий. События, составляющие сюжетное ядро романа, происходят непосредственно после всеобщей политической забастовки в августе 1917 года. Книг, во всяком случае художественных, об этом периоде жизни страны почти нет, а нужно отметить, что именно в эти годы со всей остротой встал вопрос о правом терроризме и об отделении Каталонии, очень актуальный для Испании середины 70-х, когда задумывалась книга, — в этом одна из причин обращения Э. Мендосы к этой теме. Писателю блестяще удастся воссоздать обстановку в каталонской столице тех лет: в повествовательную ткань включены даже подлинные материалы из периодической печати. Нередко мелькают на страницах романа и подлинные исторические имена — руководителей забастовочного комитета Ларго Кабальеро и Хулиана Бестейро, лидера крупнейшей националистической организации «Регионалистская лига» Франсеска Камбо.

В основе романа — детективная канва: рассказ о следовавших одно за другим убийствах крупнейшего промышленника Барселоны, владельца нескольких предприятий, сеньора Савольты, его давнишнего друга и компаньона Клаудеудеу и Паральса, который вел все финансовые дела двух друзей. Убийства эти происходят почти одновременно с массовыми покушениями на рабочих руководителей забастовочного движения на предприятиях, принадлежащих Савольте. Поэтому именно среди них и склонна искать виновных полиция. Смерть Савольты, убитого на званом вечере в собственном доме, становится поводом для массовых репрессий среди рабочих-анархистов, пятеро из которых были казнены (в этой литературной мистификации, на которые такой мастер Эдуардо Мендоса, легко угадываются реальные

события: казнь пяти баскских патриотов незадолго до смерти Франко). Откинув одну за другой несколько версий, полиция приходит к выводу, что все убийства — дело рук зятя Савольты, француза Лепринсе, который любыми доступными ему способами жаждет получить всю полноту финансовой и промышленной власти. Однако он погибает во время пожара, вспыхнувшего на одной из фабрик, и была ли его смерть трагической случайностью или самоубийством — остается невыясненным. Все люди, так или иначе связанные с этим могущественным кланом, считают за благо скрыться в Америке, где и проводится расследование «дела Савольты», материалы которого занимают значительное место в книге.

Безусловной находкой стала структура романа. Повествование ведется в нескольких временных планах и от лица разных действующих лиц. Так, одни главы представляют собой материалы следствия, проведенного в Нью-Йорке через десять лет после описываемых событий, причем до последних страниц читатель не знает, кто и с какой целью ведет расследование. Другие главы воспроизводят статьи тех лет из левой печати о тяжелом положении рабочих, что придает роману документальную достоверность; в ткань повествования включена также переписка отдельных героев. Некоторые главы написаны от автора, большая же их часть — это свидетельские показания перед нью-йоркским судом различных людей: память произвольно выбирает из прошлого отдельные эпизоды, тасует их, не считаясь с хронологической последовательностью. Только во второй половине книги они начинают складываться в единую картину, которая окончательно проясняется на последних страницах романа, — такое построение дает читателю возможность одновременно следить за ходом следствия и видеть те же преступления как бы изнутри, понимать их внутренний психологический механизм.

Уже с первой книги Эдуардо Мендоса заявил о себе как писатель, для которого главное — увлекательный сюжет, держащий читателя в напряжении. И этим искусством он владеет мастерски. Однако, несмотря на увлекательную интригу, динамичный и богатый неожиданными поворотами сюжет, психологически убедительные образы героев, секрет огромного успеха романа «Правда о деле Савольты» не только в мастерстве писателя, но и в объективных причинах.

Книга, которая, хотя и с некоторой натяжкой, может быть отнесена к жанру политического детектива, вышла в годы, когда в Испании необыкновенно возрос поток детективной литературы, что объяснялось не только стремлением к быстрому успеху и популярности: эта форма подчас казалась писателям более подходящей для разговора о сложных социально-политических процессах в послефранкистской Испании. Важен также и внутрилитературный момент: к середине 70-х годов стало приходить осознание бесперспективности излишнего увлечения экспериментаторством и усложненностью, бессюжетностью. Ведь одной из особенностей испанской прозы последнего десятилетия было «размывание» реалистического социального романа экспериментами модернистского толка, в результате чего литература начала терять читателей. У многих писателей — «Правда о деле Савольты» была первой ласточкой — стал намечаться поворот к традиционной повествовательной технике, к сюжету, к увлекательности.

Закончив работу над этой книгой, Эдуардо Мендоса почти сразу же приступает к новой, той, что будет опубликована через одиннадцать лет, — «Городу чудес». Поначалу замысел ее был совсем иным: автор задумал книгу о Каталонии, хотел хронологически охватить столетие ее истории — от середины XIX века до начала гражданской войны, после чего, как он не без основания считает, развитие Каталонии пошло иным путем. Но в процессе работы выяснилось, что планы эти слишком необъятны и попросту не вмещаются в границы одной книги. Тогда писатель остановился на наиболее интересных, с его точки зрения, годах этого периода — промежутке между двумя Всемирными выставками, состоявшимися в Барселоне в 1888 году и в 1929 году. К тому же в процессе работы сюжет будет несколько раз меняться, дробиться, от него будут отделяться самостоятельные линии, две из которых вырастут в романы «Тайна заколдованного sklepa» (1979) и «Оливковый лабиринт» (1982). Книги эти очень сходны между собой, точно так же как сходны «Правда о деле Савольты» и «Город чудес». На первый взгляд между двумя полюсами — серьезными романами и своего рода пародиями на детектив — пропасть, но лишь на первый. На самом же деле между этими полюсами в творчестве Эдуардо Мендосы существует глубокая внутренняя связь; чтобы понять, в чем она состоит, надо при-

стальнее взглянуться в промежуточные, «несерьезные» книги.

В романе «Тайна заколдованного склепа» расследуется довольно грязная история: несколько лет назад из монастырского интерната для девочек ночью исчезла одна из учениц; тогда скандал замяли, но спустя несколько лет история повторилась. Причем и в первый, и во второй раз обе пропавшие благополучно вернулись, не сумев дать никаких объяснений происшедшему. Полиция не решается всерьез вмешиваться в интриги женского монастыря, где все глубоко уверены, что эта история отдает запахом серы. Поэтому расследование поручается человеку не только непрофессиональному, но просто безумному — мелкому жулику, который по приговору суда заточен в психиатрическую клинику. Читатель знакомится с героем, когда комиссар полиции вместе с главным врачом клиники делают ему предложение: если он поможет раскрыть таинственные преступления, ему обеспечена свобода. И после недолгих раздумий рассказчик — от лица именно этого героя ведется повествование в книге — берется за дело. Он попадает в различные передрыги, становится объектом слежки, на него пытаются свалить очередное убийство, арестовывают его сестру... Но он с честью выходит из всех трудностей, выяснив, что оба похищения организовал богатый промышленник, чтобы замаскировать настоящие преступления — убийство, жульнические махинации и так далее.

Однако внимательному читателю, и, уж конечно, любителю детективов, сразу становится ясно, что перед ним пародия на детектив, хотя внешние признаки жанра налицо. Но налицо они в избытке, с явным и совершенно неоправданным перебором — этот прием как одно из средств создания иронической остроты, дистанции особенно заметен будет в «Городе чудес». А пока писатель как бы опробует его, исследует возможности.

Это же и сверхзадача следующей книги Эдуардо Мендосы — «Оливковый лабиринт». Два трупа, подлог, похищение, поджог, рукопашные схватки, отравления цианистым калием и наркотиками, катастрофа со спутником, угрожающая всему живому на земле, чемодан с миллионами, переходящий из рук в руки, катакомбы древнего монастыря, самолеты и вертолеты — любой поклонник детективов скажет, что для одного произведения этого многовато.

И «Тайна заколдованного sklepa», и «Оливковый лабиринт» были своего рода экспериментом, подготовкой к большому серьезному роману — правда, работа, хотя подчас и подспудная, шла над ним все эти годы, — где ирония станет сюжетообразующим элементом. Речь идет о книге «Город чудес». Выпущенная в свет в мае 1986 года, она за два года выдержала девять переизданий: десятое издание появилось в мае 1988-го, и тираж книги стал почти сто тысяч — цифра для Испании колоссальная. Естественно, такому издательскому успеху сопутствовал, а вернее сказать, обусловил его, успех читательский: многие месяцы книга лидировала в списке бестселлеров. За эти же два года она была переведена на тринадцать языков и признана во Франции лучшей переведенной книгой 1988 года.

Книга вышла в одном из крупнейших парижских издательств, «Сейль», и получила блестящую критику. В одной из статей Эдуардо Мендосу называли духовным сыном Александра Дюма, вернувшим в литературу дух приключений в старом смысле слова и образ благородного и великодушного бандита. Нельзя сказать, чтобы это сравнение было так уж неправомерно: сказочное, необычайное богатство героя в конце романа, обусловленные им поистине безграничные возможности, железная воля при их осуществлении разве не напоминают графа Монте-Кристо? Впрочем, литературные реминисценции в данном случае сводятся не только к Дюма — конец героя и его возлюбленной, их загадочное исчезновение в небе над морем не напоминают ли о Ремедиос Прекрасной из «Ста лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса?

Действительно, «Город чудес» — явление, безусловно, неординарное для современной испанской литературы. Трудно вспомнить за последние годы книгу настолько цельную, продуманно построенную, увлекательную, где вымысел так тесно переплетается с документальной точностью, что их порой трудно отличить, и, наконец, так блестяще написанную. Вместе с тем этот роман Эдуардо Мендосы как бы выпадает из общего — отнюдь не однородного — потока современной испанской словесности. Много ли придет на память книг, связь которых со своим временем, его проблемами, казалось бы, не очевидна и как бы даже не существенна, книг, написанных, кажется, ради одного лишь образа, характера? В испанской литературе послевоенного периода таких произведений почти нет.

Именно ангажированность является одной из ее особенностей: гражданская ответственность за исторические судьбы страны заставляла многих писателей задумываться в первую очередь о социальной значимости искусства, подчас сознательно идти на некоторую публицистичность художественного творчества — особенно отчетливо эта тенденция выявилась после смерти Франко, когда вполне понятный интерес к ряду полузапрещенных ранее тем, возможность говорить свободно вызвали резкую политизацию литературы.

«Город чудес» — роман в старом понимании этого слова, где автор, кажется, не преследует иной цели, кроме как повествовать размеренно и неторопливо о судьбе своего героя Онофре Боувилы, вся жизнь которого проходит перед читателем; повествовать о Барселоне, полноправном герое книги, Барселоне, которая выписана с огромной любовью. История ее во многом мистифицирована, хотя основные вехи очерчены правильно, но вымышленный облик словно накладывается на подлинный — и проступают полные очарования очертания прекрасного и волшебного города, города чудес, в котором только и возможны необыкновенные события, описываемые в романе.

У автора вообще сложные отношения с историей. Читатель, который станет искать в романе точности, будет разочарован, и все же это не просто мистификация.

Чаще всего Мендоса выбирает реальные события и разукрашивает их вымышленными деталями, ничего общего с действительностью не имеющими. Так, например, покушение на Альфонса XIII описано со скрупулезной точностью, которая контрастирует с, конечно же, придуманным фактом — якобы найденным королем у себя в кармане оторванным пальцем. Убийство итальянским анархистом премьер-министра Кановаса дель Кастильо описано в романе так, как оно произошло в жизни, за исключением нескольких деталей явно пародийного характера (реакция жены убитого). Точно так же поступает Э. Мендоса и с историческими персонажами, превращая, скажем, жестокого и уверенного в себе правителя, каким был Примо де Ривера, в опереточного персонажа, смешного и беспомощного солдафона. Утрируя и пародируя худшие черты диктатора, писатель сталкивает его с Буффало Биллом, олицетворением жестокости. От начала до конца

вымышленной является и вся история приезда в Барселону русской царицы.

Онофре Боувила, главный герой книги,— образ сложный и противоречивый, не сразу и не до конца поддающийся расшифровке. Он как будто соткан из противоречий, словно в этом человеке сосуществуют несколько взаимоисключающих начал. Характер этот дан в движении, перед нами проходит вся жизнь Онофре: он приезжает в Барселону тринадцатилетним парнишкой, а кончает свою жизнь в зените славы и могущества. Конечно, деревенский паренек проходит долгий внутренний путь, пока становится ловким дельцом и финансистом, но идет он к этому последовательно, шаг за шагом.— от получения денег по закладной на родительский дом, через предательство в сложной борьбе двух преступных группировок Барселоны за власть, через фактическое убийство беззаветно преданного ему Одона Мостасы. Путь наверх, к тем вершинам, которых достигает Боувила, требует от человека напряжения всех сил и отказа от многого — от своих корней, от связей с отчим домом, от друзей. Все это неизбежно влечет за собой жестокость и цинизм в отношении к людям и к жизни; быстро привыкает он к тому, что при помощи денег можно откупиться от отца, бросив его умирать в деревне, можно не только купить сказочный, небывалый дом, но и, выполняя свою прихоть, воссоздать в нем былую обстановку вплоть до мельчайших деталей; можно получить признание, власть, люди на улице будут восхищенно оборачиваться вслед,— и нельзя только одного: обрести при помощи денег счастье и душевный покой. Но понимание этого приходит к герою романа только в конце жизненного пути, когда он переживает тяжелый кризис, в значительной степени связанный с болезнью и вполне реальной угрозой смерти. Боувила начинает иначе воспринимать действительность — цинизм молодости сменяется мрачным пессимизмом зрелости; по-иному оценивает он пройденный путь, людей, с которыми свела его судьба.

Так кто же он в конечном итоге — победитель или проигравший? Казалось бы, вопрос излишен — конечно, победитель, всемогущий властелин, самый богатый человек Испании. Но это лишь внешне, сам Боувила оценивает итог своего жизненного пути как поражение: «На самом-то деле я не выиграл, а проиграл. Я думал, что, если буду злым и беспощадным, мир будет у меня в руках, но

тут я ошибся: мир злее и беспощаднее меня». И это ощущение — проигравшего — останется с ним до конца, пока он добивается любви Марии Бельталь, пока, проявляя свою обычную изобретательность, строит ее отцу летательный аппарат; с этим чувством он смотрит с высоты на проплывающую внизу Барселону.

Книга насыщена и даже перенасыщена событиями, благодаря чему несколько напоминает авантюрный роман XIX века, роман неоромантический, для которого характерен острый, напряженный сюжет, опасность, всюду подстерегающая героя, — этого было немало в жизни Боувилы, — влияние на судьбу сверхъестественных сил, таинственных предсказаний; со всем этим тоже сталкивается читатель романа «Город чудес». Невероятные и неожиданные события, подстерегающие героя и других персонажей романа на каждом шагу, явно избыточны; и в этой избыточности ощущается и авторская ирония, вообще свойственная, как мы могли убедиться, авторскому стилю Эдуардо Мендосы, и тонко дозированное пародирование. Авторская ирония ощущается в сюжете как таковом, в концепции судьбы Боувилы — «от чистильщика сапог до миллионера». Но ирония эта так тесно переплетена с ностальгией по прошлому, с грустью, нежностью и любовью, которой пронизаны все страницы, посвященные Барселоне, что получается удивительный, трудно поддающийся определению сплав.

«Город чудес» подчеркнуто старомоден в хорошем смысле этого слова: в художественном отношении книга ближе к классической литературе, чем к современной. Немалую роль тут играет стиль повествования — неспешный, излишне подробный, чем-то напоминающий Диккенса, любимого писателя Эдуардо Мендосы, со множеством ответвлений от основной сюжетной линии, с вкраплением документальных свидетельств эпохи, иногда реальных, иногда умело стилизованных. Некоторую архаичность книге придает и образ главного героя, человека другого времени, с другим мироощущением.

Почему так привлекает писателя прошлое? «Я родился и прожил почти сорок лет при неблагоприятных исторических условиях», — объясняет Эдуардо Мендоса. — Как и многие люди моего поколения, я чувствовал, что раньше мир был иным, и идеализировал ушедшие времена. Думаю, это чувство знакомо многим из нас; мы хотели знать, какой была жизнь раньше, до того, как дверь захлопну-

лась». Мендоса, безусловно, взял одну из самых ярких страниц в истории родного города: период его становления как крупного индустриального центра Испании, появление каталонской буржуазии, ее стремление к национальному самоопределению — вопрос, всегда с особой болезненностью переживавшийся в Каталонии. Период между двумя Всемирными выставками, проходившими в Барселоне в 1888 и 1929 годах, выбран автором не случайно. Первая из них означала для Каталонии выход на мировую арену, бурное развитие архитектуры и искусства. Вторая Выставка, хотя и способствовала благоустройству города (были кардинально изменены Пласа-де-Каталунья, Пласа-де-Еспанья, построено метро), проходила в сложный для страны период, когда Испания уже перестала быть крупной колониальной державой, окончательно утратила былое могущество, когда политическая обстановка в стране была чрезвычайно напряженной, что накладывало отпечаток на всю духовную жизнь общества. Интересно, что среди архитекторов, проектировавших павильоны второй Всемирной выставки в Барселоне, было немало тех, кто строил первую, но теперь это было как бы подведение черты под определенным этапом развития города. И последние строки романа о начавшемся упадке города звучат довольно грустно.

И все же новый роман Эдуардо Мендосы, с которым предстоит познакомиться советскому читателю, принадлежит дню сегодняшнему. И не только благодаря ряду приемов, в которых четко ощущается влияние кино (заметим, что Э. Мендоса — автор нескольких сценариев), — монтаж сцен, бесконечные наплывы, прямой отсыл к кинематографу как значительному этапу в судьбе героя; роман «Город чудес» написан с позиций человека конца XX века, нередко ощущающего ностальгию по прошлому, по «добрым старым временам», по той поре, когда современная технократическая цивилизация только зарождалась и еще неясно было, куда она заведет человечество. Эдуардо Мендоса с теплой грустью возвращает нас почти на столетие назад и одновременно дарит читателю интересную, увлекательную, живую книгу.

Н. Матяш

Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел.

И пришед находит его выметенным и убранным.

Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого.

От Луки, 11 : 24-26

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

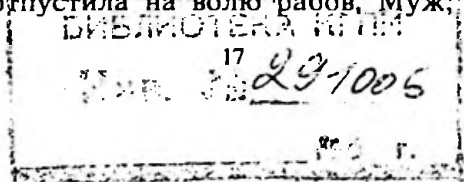
В тот год, когда Онофре Боувиле появился в Барселоне, город трясло в лихорадке обновления. Расположена Барселона между Мальгратам и Гаррафой, в долине, образованной амфитеатром отступающих в этом месте гор. Климат здесь мягкий, погода устойчивая, небо почти всегда ясное, чистое: тучи или даже облака — редкость; атмосферное давление без резких перепадов, осадки скудные, но иногда, правда, предательски неожиданно выпадают проливные дожди. Существует твердое мнение, хоть оно и оспаривается с разных точек зрения, что Барселону — и в первый, и во второй раз — основали финикийцы. Известно по крайней мере, что в Историю город впервые вошел как колония Карфагена, а тот в свою очередь был связан с Сидоном и Тиром. Доказано, что слоны Ганнибала, прежде чем направиться к Альпам, где из-за холодов и пересеченного рельефа ряды их сильно поредели, пили воду из Бесоса или Льобрегата и паслись на их берегах. Увидев этих животных, первые барселонцы пришли в неистовый восторг: «Смотрите, смотрите, — кричали они, — что за бивни, что за уши,

что за носище — хобот!» Всеобщее изумление и затянувшееся на долгие годы обсуждение этого события способствовали определению Барселоны как поселения городского типа. Впоследствии об этом позабыли, но в XIX веке барселонцы из всех сил пытались восстановить тогдашнее определение. Вслед за финикийцами сюда явились греки и лаетанцы. Первые оставили нам в наследство черепки и обломки разных поделок, а вторым мы обязаны, по мнению этнографов, двумя характерными национальными чертами: манерой каталонцев склонять голову к левому плечу, делая вид, будто внимательно слушают, и буйной порослью в ноздрях у наших мужчин. Лаетанцы — о которых мы знаем мало — питались в основном неким молочным продуктом, в одних источниках названным сывороткой, в других — лимонадом; по-видимому, он мало чем отличался от нынешнего йогурта. Но при всем при том городом Барселона стала при римлянах, и тогдашний ее облик, подробно о котором рассказать невозможно, определил дальнейшее ее развитие. Однако все указывает на то, что римляне питали к Барселоне презрение. Она словно бы и не привлекала их внимания как стратегический пункт или в каких-либо иных целях. В 63 году до Рождества Христова некто Муций Александрин, претор, пишет своему тестю и покровителю в Рим, сетуя на полученное им назначение в Барселону; он-то домогался места в пышной Бильбилис-Аугуста, нынешнем Калатаюде. Впоследствии Барселону завоевывает готский царек по имени Атаульф, и город остается во власти готов вплоть до захвата его без боя арабами в 717 году нашей эры. Мавры, по своему обыкновению, ограничиваются лишь тем, что превращают в мечеть собор (не тот, каким мы восхищаемся ныне, а более древний, возвышавшийся в другом месте и послуживший подмостками для многочисленных обращений и принятия мученического венца). В 785 году французы возвращают собор истинной вере, и ровно через два столетия, в 985-м, возвращает его исламу Альмансор, или Аль-Мансур, Благочестивый, он же Беспощадный, он же — Тот, У Кого Только Три Зуба. Конкиста и реконкиста оказывают влияние на толщину городских стен и их фортификационное усовершенствование. Город стиснут концентрическими окружностями оборонительных сооружений, улицы его становятся все более кривыми; именно эта кривизна привлекает еврейских каббалистов из Жеро-

ны, они устраивают здесь свой филиал и прокладывают под городом подземные ходы, ведущие к тайным синагогам и купелям Соломоновым, обнаруженным в XX веке при прокладке метро. На каменных притолоках старого квартала и сегодня еще можно разобрать выбитые закорючки — пароль для посвященных, формулы достижения непостижимого и разное другое. Потом город знал мгновенья блеска и века безвременья.

— Здесь вам будет удобно, вот увидите. Комнаты не слишком просторные, но воздуху в них много, а что касается чистоты, так тоже — нечего и желать лучшего. Пища простая, но сытная, — пояснил хозяин пансиона.

Пансион, куда Онофре Боувилла забрел, едва оказавшись в Барселоне, находился в тупике Шуп. Тупик этот, название которого можно было бы перевести как Водоемный или Цистерный, начинался под аркой на отлогом склоне, сразу же круто поднимался вверх, в гору — там были даже две ступеньки, — к плоской площадке и всего через несколько метров заканчивался, уткнувшись в стену, построенную на развалинах другой, куда более древней стены, может быть даже римских времен. Из нее сочилась черная, густая жидкость, веками текла она здесь, отполировав, скруглив, отшлифовав ступеньки, и теперь они стали скользкими, черная, густая жидкость стекала вдоль края тротуара вниз по склону и с бульканьем вливалась в канаву для сточных вод, пересекавшую улицу Манга (по-старому Пера), и никаким иным путем попасть в тупик Шуп было невозможно. Безобразная и убогая, как на нее ни посмотри, улица эта могла бы, однако, гордиться (если бы, конечно, другие улочки квартала оспаривали у нее эту сомнительную честь) тем, что послужила некогда подмостками для кровавого зрелища: казни на римской стене Святой Леокрации. Эта Святая — возможно, предшественница еще одной Святой Леокрации, той, что из Кордовы, — фигурирует в агиографии то как Святая Леокрация, а то — как Леократия или Локатис. Дочь чесальщика шерсти, была она родом из Барселоны или из предместий и приняла крещение совсем юной. Отец выдал дочь замуж против воли за некоего Тибурция, или Тибурцино, квестора. Движимая верой, Леокрация раздала имущество мужа беднякам и отпустила на волю рабов. Муж, без согласия



когого она действовала, страшно разгневался. За все ее деяния и за то, что не отреклась от своей веры, была она обезглавлена на том самом месте, о котором говорилось выше. Житие присовокупляет еще и рассказ про то, как голова ее скатилась со ступенек и не останавливаясь катилась, огибая углы, перекачиваясь через мостовые и сея ужас среди прохожих, пока не упала в море, где ее подхватил и унес дельфин или какая-то иная большая рыба. День этой Святой — двадцать седьмое января. Так вот, в конце прошлого века на верхней площадке тупика стоял дом, а в нем был пансион. Заведение очень скромное, но не без претензий со стороны владельцев. Небольшая прихожая только и вмещала что конторку светлого дерева с латунным письменным прибором и регистрационной книгой, всегда раскрытой, чтобы всякий, кто пожелает, мог убедиться в законном ведении дела, пробежав глазами при мертвенном свете масляной лампы перечень имен и фамилий жильцов заведения, подставку для зонтов и изображение Святого Христофора, который в те поры был еще покровителем всех странствующих, пока не сделался в наши дни покровителем автомобилистов. Здесь же в углу было отгорожено место для работы брадобрея, который жил в пансионе. За конторкой в любое время дня восседала сеньора Агата, дама породная, изрядно облысевшая и увядающая; сидела она неподвижно, и трудно было понять, жива она или нет, но так как из-за каких-то болезней она держала ноги в тазу с теплой водой, то всякий раз, как вода остывала, она как рр приходила в себя и кричала: «Дельфина, таз!» Тогда бочь выворачивала в лохань дымящийся ковш. Постепенно лохань переполнялась, и вода грозила залить прихожую. Однако эта опасность словно бы и не волновала хозяина пансиона, которого все величали сеньором Браульо. Он-то и вел разговор с Онофре Боувиллой в их первую встречу.

— На самом-то деле, находишь наш пансион в другом месте, получше, он мог бы стать небольшой гостиницей вполне приличного разряда.

Сеньор Браульо, муж сеньоры Агаты и отец Дельфины, был мужчина высокий, обладал правильными чертами лица и отличался некоторой манерностью. Все заботы о пансионе он переложил на жену и дочь. Сам же проводил большую часть дня за чтением газет и обсуждением новостей с жильцами пансиона. Полученные известия

потрясали его, а так как эпоха была щедра на всякие измышления, то целый день слышались изумленные: «О-о-о! А-а-а!» Время от времени он порывисто отбрасывал газету и восклицал: «Пойду взгляну, какая погода!» Выходил на улицу, исследовал небо, потом возвращался и объявлял: «Проясняется!» Или же: «Затягивается!», «Холодает!» и тому подобное. Больше он ничего не делал.

— Квартал старый, вот нам и приходится намного снижать цены против категории нашего заведения,— пожаловался он и предостерегающе поднял перст: — Однако мы очень щепетильны в выборе постояльцев.

Нет ли в его словах скрытой критики в мой адрес? — подумал Онофре Боувила, слушая разглагольствования сеньора Браульо. Хотя сердечное обращение хозяина пансиона вроде бы опровергало это подозрение, но чувствительность Онофре Боувила была вполне оправданна: несмотря на свой недолгий век, он отлично понимал, что достаточно самого беглого взгляда, чтобы увидеть, как он неуклюж, приземист и слишком широк в плечах. Лицо смуглое, кожа желтоватая, черты лица неправильные и грубые, волосы черные, вьющиеся. Одежда на нем сидела мешком, была латаная и к тому же изрядно испачканная — все указывало, что он, не раздеваясь, провел в пути несколько дней и что в узелке, который он оставил на конторке, когда вошел, и на который теперь искоса поглядывал, хранилась всего одна перемена белья. Сеньору Браульо от этого становилось легче. Но когда взгляд юноши впивался в него, сеньор Браульо снова ощущал какое-то беспокойство. Что-то есть в его взгляде, тревожащее меня, подумал он. А-а, да ведь всегда одно и то же — голод, отчаяние, страх. Многих людей перевидал он в таком положении: город неустанно рос. Одним больше, подумал он потом, еще одна сардинка, которую кит заглотнет, даже не почувствовав. Вместо досады сеньор Браульо даже почувствовал нежность к новому постояльцу. К тому же мальчик совсем растерялся, подумал он.

— Позвольте ли спросить, сеньор Боувила, какие причины привели вас в Барселону? — закончил он свою речь. Этим мудреным изысканным вопросом предполагалось произвести сногшибательное впечатление на юношу. Тот и в самом деле на миг остолбенел, даже сразу, пожалуй, не понял, о чем его спрашивают.

— Ищу места,— ответил он смущенно. И тотчас же

вперил в хозяина пансиона боязливый взгляд, словно бы своим ответом мог навредить себе. Но мысли сеньора Браулю текли уже совсем в иную сторону, и он едва обратил внимание на этот ответ.

— А-а, прекрасно! — только и сказал он, стряхивая какую-то пылинку, приставшую к рукаву пиджака. Онофре Боувила в глубине души был благодарен за это безразличие. Он стыдился своего происхождения и ни за что на свете не раскрыл бы причину, заставившую его все бросить дома и с отчаяния отправиться в Барселону.

Онофре Боувила родился не в омываемой морем Каталонии, как изъяснялись впоследствии некоторые, Каталонии процветающей, солнечной, радостной и даже немного аляповатой, а в дикой, мрачной и жестокой, что тянется вдоль юго-западного хребта Пиренеев, спускается по обоим склонам Сьерра-Каді и распластывается возле Сегре, который орошает ее там, где она переходит в равнину и где река, приняв главные притоки и слившись с Ногеро-Польяресой, начинает последний отрезок жизненного пути, чтобы найти конец в Эбро возле Мекиненсы. В долинах у рек стремительное течение и каждый год по весне — высокие паводки; вода спадает, и заливные земли превращаются в плодородные, но вредные для здоровья, кишасшие змеями топкие пойменные луга — раздолье для охотников. Лесные чащобы и густые туманы благоприятствуют в этих местах всяким суеверным вымыслам. Да и в самом деле, в некоторые дни года никто не рискнул бы проникнуть в сумрачный лес, погрузиться в густой туман; в эти точно известные дни можно было услышать голоса и хохот в чаще, колокольный звон там, где не было ни церкви, ни отшельнического скита, а иной раз и увидеть, как мертвые коровы танцуют сардану; кто видел и слышал такое, уж наверняка терял разум. На крутых горах, окружавших долины, почти круглый год лежал снег. Дома там ставили на деревянных столбах, жили большими семьями; дикие, неотесанные мужчины наряду с другой одеждой одевались еще и в звериные шкуры. С гор эти мужчины спускались, только когда сходил снег, чтобы найти себе невесту на празднике сбора винограда или убоя свиней. Тогда играли они на вырезанных из кости флейтах и танцевали, подражая прыжкам баранов. Поедали горы хлеба с сыром и пили вино,

разбавленное водой и оливковым маслом. На самых вершинах гор обитали существа еще более дикие: никогда не спускались они в долины, и их единственным занятием была, по-видимому, одна из разновидностей классической борьбы. Люди в долинах были более цивилизованными, жили тем, что получали от виноградника, от олив, от кукурузы, некоторых плодовых деревьев, от стад и пасеки. В этих местах к началу века насчитывалось до двадцати пяти тысяч разновидностей пчел, из которых до наших дней сохранилось не более пяти или шести тысяч. Охотились на оленя, на кабана, на горного кролика и на куропатку, а еще — на лису, на ласку, на барсука, чтобы избавиться от их постоянных набегов. В реках ловили «на муху» форель, в этом деле были большими умельцами. Ели сытно, на столе не переводились мясо и рыба, хлеб, зелень и плоды; и, как следствие, этот род был высок, статен, неутомим, но с плохим пищеварением и слабостью волей. Физические характеристики здешних людей повлияли на историю Каталонии: одной из причин, по которым центральное правительство отвергло требования сторонников независимости Каталонии, явилось опасение, как бы подобная акция не нанесла ущерба среднему росту испанца во всей Испании. В своем докладе Карлу III¹, только что прибывшему из Неаполя, Р. де Пиньuela называет Каталонию «подставкой для Испании». В изобилии располагали жители здешних мест также лесом, пробкой и некоторыми полезными ископаемыми; жили они в усадьбах, разбросанных по долине, и объединял их только церковный приход, а не место рождения. Отсюда и обычай называть по приходу, например: Пере Льебре из прихода Святого Роха; Жоаким Колибрóкил из прихода Вирхен-дел-Розе и т. п. Из-за этого на плечи приходских священников ложилась великая ответственность: они были хранителями в этих местах духовного, культурного и даже языкового единства. На них также лежала тяжкая обязанность сохранять мир в самих долинах и между соседними долинами, им приходилось сдерживать взрывы насилия и мести, бесчисленные и кровавые. Благодаря всему этому и появился особый тип приходского священника, который впоследствии воспели поэты: то были люди благоразумные и тер-

¹ Имеется в виду Карл III, король Испании (1759—1788), до этого герцог Пармский.— *Здесь и далее примечания переводчика.*

пимые, способные твердо и смело противостоять любым крайностям и преодолевать невероятные расстояния с дароносицей в одной руке и мушкетом в другой. Возможно, это они сумели долго удерживать своих прихожан в стороне от карлистских войн¹. К концу распри карлистские части стали на зимние квартиры, укрылись в этих местах, сделали их центром заготовок провианта. Народ им не препятствовал; время от времени находили полузарытый в борозде или в чаще кустарника труп с огнестрельной раной в груди или затылке. Все делали вид, что ничего не заметили, иной раз это и был не карлист, а жертва местных распрей, скрытых под покровом войны.

С достоверностью известно только, что Онофре Боувила был крещен в день Святого Реститута и Святой Леонадии (9 декабря) то ли в тысяча восемьсот семьдесят четвертом, то ли семьдесят шестом году преподобным Серафим Далмау и что родителями его были Жоан Боувила и Марина Мон. Почему ему дали имя Онофре вместо имени святого, чей праздник приходился на этот день, осталось, напротив того, неизвестным. В крестильной ведомости, откуда взяты эти сведения, указывается, что родился он в приходе Сан-Климена и был первенцем в семействе Боувила.

— Дивно, дивно, заживете здесь, как истинный король,— говорил сеньор Браульо, вытаскивая из кармана ржавый ключ и театральным жестом указывая в сторону полутемного и зловонного коридора.— Вот увидите, что за комнаты... О господи!

Восклицание это было вызвано тем, что дверь, в замочную скважину которой он намеревался всунуть ключ, внезапно распахнулась. В дверном проеме, освещенный лунным светом, падающим с балкона, вырисовывался силуэт Дельфины.

— Моя дочь Дельфина,— сказал сеньор Браульо, тотчас оправившись от внезапного испуга.— Ну конечно же, она наводила тут порядок, чтобы комната встретила вас со всем радушием. Верно, Дельфина? — И, поскольку Дельфина не ответила, добавил, обращаясь снова к Онофре Боувиле: — Ведь ее бедная мать, моя супруга,

¹ Династические войны 1833—1840 и 1872—1876 гг. между двумя испанскими ветвями царствующей династии Бурбонов.

очень слабого здоровья, и вся работа по дому легла бы мне на плечи, если бы не помощь Дельфины. Эта девочка — настоящее сокровище.

Онофре уже видел Дельфину с минуту назад в прихожей, когда она прибежала, чтобы наполнить горячей водой лохань сеньоры Агаты. Тогда он едва обратил на нее внимание. Теперь разглядел получше и нашел решительно отталкивающей. Дельфина была приблизительно одних с ним лет, тощая и неуклюжая, с кривыми зубами, сухой, потрескавшейся кожей и бегающими глазами; у этих глаз была одна особенность: они были желтые. Онофре вскоре смекнул, что со всей работой по дому справлялся не кто иной, как Дельфина. Угрюмая, грязная, растрепанная, оборванная, босая, носилась она целыми днями из кухни в комнаты, из комнат на кухню и в столовую, бесстрашно сражаясь с ведрами, швабрами, тряпками. Кроме того, заботилась о матери, которой непрестанно что-нибудь было нужно, так как сеньора Агата с трудом двигалась, и еще подавала завтрак, обед и ужин. Ни свет ни заря отправлялась Дельфина за покупками с двумя плетеными корзинами, которые на обратном пути тащила с трудом. Никогда ни единым словом не обмолвилась она с постояльцами, те же в свою очередь делали вид, что не замечают ее. Помимо резкости в обращении, она отпугивала и тем, что у ног ее вечно вертелся черный кот, который терпел только свою хозяйку, а на всех остальных, кто приближался к нему, кидался — кусал и царапал. Звали кота Вельзевул, и мебель и стены в пансионе носили следы его острых когтей. Но в тот день Дельфина заняла мысли Онофре Боувила лишь на мгновение. Он вошел в предназначавшуюся ему комнату и стал разглядывать убогую тесную спальню. Комната эта — моя, взволнованно подумал он. Значит, можно сказать, что я человек независимый, истинный барселонец. Он весь еще находился во власти изумленья и, как всякий, кто недавно сюда приехал, был околдован лживым очарованием большого города. Всю жизнь он прожил в деревне, лишь раз побывал в довольно значительном городке. Назывался он Бассора и находился в восемнадцати километрах от Сан-Клементе, или Сан-Климен¹, его родного селенья. В ту пору, когда Онофре Боувила побывал в Бассоре, город этот бурно развивался и из сельскохозяйственного —

¹ Второе название — по-каталонски.

и более всего скотоводческого — центра превращался в промышленный. Согласно статистическим данным, в 1878 году в Бассоре имелось 36 промышленных предприятий; 21 из них — текстильное производство (хлопчатобумажные ткани, шелковые, шерстяные, набивные, ковровые и т. д.), 11 — химических (фосфаты и кислоты, хлористые соединения, красящие вещества, мыло), 3 — металлургических и 1 — деревообделочное. Железнодорожная ветка соединяла Бассору с Барселоной и ее портом, откуда увозили продукцию, которую Бассора экспортировала за океан. Еще регулярно ходили дилижансы, но вообще-то пассажиры предпочитали железную дорогу. Несколько улиц стали освещаться газовыми фонарями, открылись четыре гостиницы или постоялых двора, четыре школы, три клуба и театр. Каменистая, разбитая дорога из прихода Сан-Климен в Бассору шла через горный перевал, зимой обычно занесенный снегом. По дороге этой, если позволяла погода, из Бассоры и обратно трусила лошадь, запряженная в повозку. Никакой периодичности в этом движении, никакого расписания не существовало, нигде ничего не было написано; лошадь и повозка преодолевали разделяющие Бассору и Сан-Климен восемнадцать километров и доставляли в усадьбы всевозможные припасы и сельскохозяйственный инвентарь, а также и письма, если они бывали; в обратный путь тележка отправлялась груженная кое-какими излишками с местных полей, если они в ту пору случались. Эти излишки собирались приходским священником Сан-Климена для собрата в Бассоре, его друга, а тот в свою очередь брал на себя обязанность реализовать их, переслать полученные от продажи барыши, по большей части натурой, и сдать отчет, который никто не требовал, не умел и не стремился проверять. Возчик звался — или, может, его так звали — дядюшка Тонé. Приехав в Сан-Климен, он ночевал на полу в харчевне, прилепившейся к одной из боковых стен церкви. Прежде чем заснуть, он рассказывал, что видел, что слышал в Бассоре, хотя мало кто верил его рассказам; у него была слава не дурака выпить и вообще пустого малого. К тому же никто не замечал связи между множеством всяких чудес, о которых рассказывал возчик, и самым обыденным течением жизни в долине.

Теперь, однако, сама Бассора казалась Онофре чем-то совсем незначительным, стоило сравнить ее с Барселоной,

в которую он только что явился и о которой ничего еще толком не знал. Сейчас такое сравнение казалось бы бессмысленным, но тогда оно было вполне оправданным: ведь по переписи 1887 года то, что мы сегодня называем «большая столица», то есть сам город и примыкающие к нему населенные пункты, насчитывала 416 000 жителей, и цифра эта возрастала каждый год на 12 000 душ. Из этого числа, которое дает перепись (и которое многие оспаривают), на долю собственно Барселоны, той ее части, что тогда называлась Барселонской муниципией, приходилось 272 000 жителей. Остальная часть народонаселения распределялась между предместьями, тянувшимися вдоль внешней стороны древней стены; на протяжении XIX века в этих предместьях неустанно развивались основные отрасли промышленности. Барселона шла во главе прогресса: первая в Испании регулярная почтовая линия, которую обслуживали дилижансы, была открыта в 1818 году между Барселоной и Реусом. В 1826-м во дворе Товарной биржи впервые зажглись газовые фонари, в 1836 установили первый паровой двигатель — было предпринято первое усилие механизировать производство. Первая железная дорога Испании была проложена между Барселоной и Матарó — движение на ней началось в 1848 году. И первая электростанция была смонтирована тоже в Барселоне, в 1873 году. В отношении прогресса Барселону отделяла от остальной части Пиренейского полуострова бездонная пропасть, и город производил на только что приехавшего сюда человека сильнейшее впечатление. Но для всего этого потребовались и безмерные усилия. И теперь Барселона, словно самка какой-то редкостной породы, только что принесшая многочисленный приплод, возлежала обескровленная и опустошенная, а из лопнувшей плоти сочились миазмы, и зловонные испарения отравляли воздух в жилищах и на улицах. Усталость и уныние охватили население. Только некоторым недалеким людям, вроде сеньора Браульо, жизнь представлялась еще в розовом цвете.

— В Барселоне может подвернуться сколько угодно удачных случаев, подходящих для тех, у кого работает голова и кто хочет ими воспользоваться, — говорил он тем же вечером в столовой пансиона Онофре Боувиле, пока тот поглощал бесцветный и несколько подкисший суп, который подала ему Дельфина, — а вы кажетесь мне человеком достойным, смышленным, к тому же и тружени-

ком. Не сомневаюсь, что вы скоро разрешите сложившуюся ситуацию в совершенно удовлетворяющей вас форме. Подумайте, юноша, ведь никогда еще в истории человечества не бывало такой эпохи, как нынешняя: электрификация, телефонная связь, подводная лодка... надо ли продолжать этот перечень чудес? Одному Господу ведомо, до чего мы дойдем. Кстати, вас не затруднит уплатить вперед? Моя жена, вы уже с нею знакомы, невероятно щепетильна в расчетах. Бедняжка так тяжело больна, верно, от этого она так щепетильна!

Онофре Боувилла вынужден был вручить сеньоре Агате все, что имел. Этими деньгами он оплатил неделю своего проживания в пансионе, но остался без единого реала. На следующее утро, едва развиднелось, он бросился на поиски какого-нибудь занятия.



Хотя в конце XIX века стало уже общим местом утверждение, что Барселона живет «спиной к морю», každодневная действительность, однако, не подкрепляла этого мнения. Барселона всегда была портовым городом, она им оставалась и к этому времени: жила морем и ради моря; питалась дарами моря и переправляла по морю плоды своих трудов; барселонские улицы вели путника к морю, и по морю сносились Барселона с остальным миром; от моря зависел и воздух, и климат, и не всегда приятный запах, и сырость и соль, изъевшие стены; шум моря убаюкивал во время сиесты, sireны пароходов отмечали ход времени, и крик чаек, печальный, пронзительный и ворчливый, уведомлял, что сладостность пронизанной солнцем тени, которую отбрасывают на проспекты города деревья, всего лишь видимость и обман; море населяло городские переулки какими-то потертыми жизнью типами, говорившими на чужом языке, которые шли неведомо куда, типами с темным прошлым, склонными мигом выхватывать наваху, пистолет или дубинку; море укрывало тех, кто скрывался от правосудия, кто бежал, оставляя позади душевраздирующие вопли во тьме и безнаказанные преступления; дома и площади Барселоны были белыми, как море в солнечный день, или серыми,

как море в ненастье. Все это должно было притягивать к себе Онофре Боувилу, ведь он жил в горах, далеко от моря. И он в первое же утро прежде всего побежал в порт, понадеявшись найти там работу на погрузке-разгрузке кораблей.

Экономическое развитие Барселоны началось в конце XVIII века, продолжалось до XX века, но оно не было непрерывным. За периодами наивысшего подъема наступали периоды спада. Поток приезжих не иссякал, а спрос на рабочие руки падал; и вот тогда поиски работы наталкивались на почти неодолимые препятствия. Вопреки тому, что говорил сензор Браульо накануне вечером, Барселона в те дни, когда Онофре Боувилу бросился на поиски занятия, которое позволило бы ему зарабатывать на жизнь, уже несколько лет находилась в состоянии подобного спада.

Путь на пристань преграждал полицейский кордон. На удивленный вопрос Онофре ответили, что среди портовых рабочих обнаружилось несколько случаев холеры — ее, без сомненья, занесли на каком-нибудь судне из дальних стран. Через плечо стражника он сумел разглядеть страшную картину: кое-кто из грузчиков сбрасывал с себя тюки и сгибался в три погибели: одних рвало прямо на каменные плиты внутренней гавани, другие, присев у лебедок, опорожняли желудок — текли желтые потоки. Схватки отпускали, и рабочие снова взваливали на спину тюки и тащили их, пока схватки не повторялись: они боялись потерять дневной заработок. Здоровые обходили зараженных, грозили им цепями и баграми, если те пытались приблизиться; горстка женщин старалась преодолеть санитарный кордон и помочь мужьям или приятелям; полиция бесцеремонно их отталкивала.

Онофре Боувилу пошел дальше вдоль моря, к Барселонете. В те времена большинство кораблей ходило под парусами. Оборудование порта тоже было доисторическим: к причалу нельзя было подойти бортом, только кормой. Это очень усложняло погрузку и выгрузку, которые приходилось производить с помощью баркасов и шлюпок. Целый рой их бороздил воды в любой час суток, привозя и увозя грузы. На причалах и на припортовых улицах полным-полно было старых моряков с обветренными, задубленными лицами; обычно они закатывали брюки до колен, носили тельняшку и фригийский колпак. Курили тростниковые трубки, пили водку, ели копченое мясо и сухари,

жадно сосали лимоны; в долгие разговоры с барселонцами не пускались, но в своей компании говорили не смолкая; не заводили новых знакомств, держались задиристо, но при них обычно имелась собака или попугай, а то и черепаха или какая-нибудь другая небольшая зверюшка, которой они расточали ласку и заботу. По сути дела, судьба их была трагична: они уходили в море юнгами, еще совсем детьми, и лишь к старости возвращались в родные места, с которыми их ничто не связывало, кроме воспоминаний. Вечные странствия мешали им обзавестись семьей или найти настоящих друзей. Возвратясь на родину, они чувствовали себя здесь чужими. Но в отличие от иностранца, который худо-бедно, но может приспособиться к обычаям приютившей его страны, они привозили с собою груз обманчивых воспоминаний о родных местах, который столько лет таскали за собой, растратив столько свободных часов на бесплодные мечтания и всяческие проекты; обнаружив, что действительность отнюдь не совпадает с их идеализированными воспоминаниями, они никак не могли приспособиться к сегодняшней жизни: воспоминания мешали им. Некоторые моряки, именно чтобы избежать подобного разлада, предпочитали окончить свои дни в чужеземном порту. Такую судьбу избрал себе один чуть ли не столетний морской волк по прозвищу Штурм, неведомо где родившийся; Штурм был знаменитостью в Барселоне, в которой обосновался. Говорил он на никому не ведомом языке, даже преподаватели факультета философии и словесности, к которым понапрасну водили старика соседи, не смогли его понять. По всей столице шел слух о целой кипе кредитных билетов, которые ни один барселонский банк ему не менял; кipa эта была весьма объемиста, потому старик слыл за богача и в лавках и барах своего квартала имел неограниченный кредит. Шел слух, что он и не христианин, а солнцепоклонник, что в своем жилище он держит не то тюленя, не то нерпу.

Барселонета — это квартал рыбаков, выросший в XVIII веке вне городских стен. Впоследствии он оказался в черте города и был втянут в ускоренный процесс индустриализации. Теперь там вдоль берега тянулись бесконечные верфи. По дороге на верфи Онофре Боувила увидел, как женщины разделявали рыбу: женщины были коренастые, малорослые и вроде бы веселые — они все время громко хохотали. Обнадеженный добрым расположением духа этих женщин,

он направился было к ним в надежде что-нибудь узнать насчет заработка. Кто знает, может, эти женщины подскажут мне, где найти работу, подумал он. Женщины отнесутся поласковой к такому молодому парнишке, как я. Но тут он смекнул, что хохотали они не от радости, а от какого-то нервного состояния и потому смеялись без остановки, без всякой причины и даже сами не замечали, что смеются. На самом-то деле женщины кипели от ярости и жажды мести, они без надобности размахивали ножами и так и набрасывались на морских раков и крабов. Онофре Боувила кинулся наутек. Не больше повезло ему и тогда, когда он попытался предложить свои услуги в качестве матроса на одном из тех кораблей, что стояли на якоре не в карантине. Он подошел к кораблю, и моряки, толпившиеся у борта, отсоветовали ему записываться в судовую роль. «Знаешь, парень, если не хочешь помереть, не поднимайся на борт», — сказали они. И рассказали, что у них цинга. При этом они показывали свои распухшие кровоточащие десны. На железнодорожной станции носильщики, едва передвигая искалеченные ревматизмом ноги, объяснили ему, что на работу здесь, в эту рабскую кабалу, берут только членов какого-то союза — и так повсюду. Совсем без сил добрался он к вечеру до своего пансиона. Сеньор Браульо, подходивший то к одному столику, то к другому, поинтересовался, глядя, как Онофре пожирает скудный ужин, результатами поисков. Онофре сообщил, что у него кругом неудача. Мужчина, владелец цирюльного заведения в углу прихожей, услышав этот разговор, не удержался и вмешался: «По всему виду, что ты из деревни, — сказал он Онофре Боувиле. — Пойди-ка на рынок, где торгуют зеленью, может, там найдется что-нибудь и для тебя». Пропустив мимо ушей насмешку, скрытую в этом совете, Онофре поблагодарил жильца и поддал ногой Дельфиного котика, вцепившегося ему в икру. Хозяйская дочь, она же служанка, посмотрела на него с ненавистью, а он на нее — с презрением. Ему не хотелось признаваться себе, что неудачи минувшего дня обескуражили его. Вот уж не думал, что дела такие поганые, подумал он, но потом решил: а, ладно, попытаю счастья завтра, буду терпеливо искать работу, глядишь, что-нибудь и подвернется, только бы не возвращаться домой. Эта перспектива больше всего его страшила.

Последовав советам брадобрея, Онофре на следующий день отправился на рынок, который именовался Борн;

торговали там овощами, фруктами, зеленью. Прогулялся, однако, впустую и так же зазря побывал на других рынках и в различных местах. В поисках работы безрезультатно проходили часы и дни, и даже надежд не оставалось. Под палящим солнцем и в дождь Онофре исходил из конца в конец весь город, не осталось уже и дверей, в которые бы он не постучался за время этих странствий. Готов был выполнять обязанности, о которых прежде понятия не имел: изготавливать сыр, крутить сигары, работать водолазом, каменотесом, чистить колодцы и тому подобное. В большинстве мест, где он предлагал свои услуги, работы не было, в других требовался опыт. В кондитерской его спросили, умеет ли он изготавливать вафли, кое-где на верфях — умеет ли конопатить. На все эти вопросы Онофре вынужден был отвечать отрицательно. Скоро он открыл для себя вещи, о которых даже не подозревал: самым необременительным было пойти работать в услуженье. Этому занятию в те времена в Барселоне посвящало себя 16 186 человек. Все же остальные трудились в ужасающих условиях: рабочий день растягивался безгранично; подниматься приходилось в четыре-пять утра, чтобы бегом добраться до места работы минута в минуту, а заработки были совсем скудные. Дети с пяти лет работали на стройках, на транспорте, даже помогали могильщикам на кладбище. Кое-где Онофре встречали приветливо, в других местах — с нескрываемой враждебностью. Во дворе одной из молочных лавок его чуть было не ткнула рогом корова, а угольщики науськали на него большого дворового пса, и всюду видел он нищету и болезни. Целые городские кварталы были охвачены эпидемиями тифа, оспы, рожи, скарлатины. Бывали случаи бледной немочи, синюхи, подагры, язв, столбняка, паралича, эпилепсии и крупа. Истощение и рахит съедали детей, туберкулез — молодежь, сифилис — всех подряд. Как и в других городах, бывали эпидемии и пострашнее. В 1834 году по Барселоне прокатилась волна холеры, оставив после себя 3521 покойника; двадцатью годами позднее, в 1854-м, та же самая болезнь унесла 5640 жизней, а в 1870-м в Барселонете вспыхнула завезенная с Антильских островов желтая лихорадка. Целые кварталы были эвакуированы, причал, где швартовалось карантинное судно, — сожжен. В подобных случаях в городе сперва вспыхивала паника, потом его охватывало уныние. Тянулись церковные процессии, на площадях служили молебны, где присутствова-

ли все жители, даже те, кто всего за несколько месяцев до того сам рьяно сжигал монастыри во время трагических событий или способствовал этим варварским действиям¹. Больше всех каялись те, кто чуть ли не вчера с особой яростью подносил факел к домишку какого-нибудь бедного священника, играл в кегли изображениями Святых и сооружал, по слухам, миски и чашки из костей Святых. Потом эпидемия шла на убыль и перекидывалась в другое место, но кое-где оставляла свои корни: всегда находились прибежища, где болезнь отлично могла затаиться. А тут начиналась следующая эпидемия, хотя и с предыдущей еще не было покончено полностью. Покидая последние дома, охваченные одной эпидемией, врачи шли оказывать помощь людям, заболевшим какой-нибудь новой болезнью, и работе их не видно было конца. Бессчетно плодились шарлатаны и знахари, травники и лекари. На всех городских площадях сидели мужчины и женщины, проповедовавшие весьма смутные учения, по которым был близок приход Антихриста и День Страшного суда; утверждали они, и приход некоего странствующего Мессии, подозрительно интересующегося чужим имуществом. Ничуть не усомнившись, предлагали целебные или предотвращающие болезнь средства: например, громко выть по ночам в полнолуние, привязывать к щиколоткам колокольчики, выцарапывать на груди знаки зодиака или колесо Святой Екатерины — хорошо еще, если советы были просто бесполезными, а бывало, что и приводили к печальным последствиям. Перепуганные люди, беззащитные перед смертельной болезнью, покупали амулеты, безропотно поглощали «целебное» питье и разные зелья, поили ими детей в надежде на чудодейственную силу. Аюнтамьенто печатывало дома скончавшихся от заразных болезней, но в городе было столько бездомных, что немного погодя кто-нибудь из них, предпочтя заразиться смертельной болезнью, чем жить без крова, вновь занимал дом, немедленно заболел и умирал без всякой медицинской помощи. Конечно, некоторые вели себя совсем иначе, и, как всегда, в крайних обстоятельствах не переводились люди самоотверженные. Например, рассказывали об одном действительно имевшем место случае: монашка по имени Тарсила,

¹ Имеются в виду события революции 1868 года, начавшейся с восстания флота в Кадисе; потом последовали восстания в армии, волнения горожан и крестьян.

уже в годах, с изрядным пушком на верхней губе, едва услышав о том, что неизлечимая болезнь свалила кого-то на ложе страдания, тотчас же брала гармонику и поспешала к этому человеку. И так длилось неделями, а сама она никогда ничем не болела, как бы ни кашляли на нее и ни чихали.

В тот вечер, как истекло оплаченное проживание Онофре Боувилы в пансионе, сеньор Браульо взял его в оборот:

— У нас, как вам известно, платят вперед,— сказал он ему,— вам следует уплатить за будущую неделю.

Онофре тяжело вздохнул.

— Сеньор Браульо, я ведь все еще без работы,— сказал он и добавил: — Позвольте мне прожить у вас эту неделю пока в долг, а с первой своей получки я уплачу, сколько вы сочтете нужным.

— Не думайте, сеньор Боувил, что меня не тревожит ваше положение,— отвечал хозяин,— но поймите и нас: ведь мы не только будем кормить вас бесплатно, но и потеряем те деньги, которые заплатил бы другой жилец за вашу комнату, если бы вы ее освободили. Очень прискорбно, понимаю, но мне ничего не остается, как попросить вас покинуть наш дом завтра ранним утром. Поверьте, я вынужден так поступить, но мне жаль, потому что искренне к вам расположен.

В тот вечер Онофре едва притронулся к ужину. Накопившаяся за день усталость мигом сморила его, но через час он вдруг проснулся. Черные мысли закружились в голове. Он поднялся и вышел на балкон, чтобы избавиться от них; глубоко вдохнул влажный соленый воздух, пахнувший рыбой и смолой; запахи доносились с моря. Над портом стояло сказочное зарево: свет газовых фонарей тонул в густом тумане. А весь город окутывал глубокий мрак. Холод мигом пробрал Онофре до костей, и он решил снова лечь. Зажег огарок свечи, что стояла на ночном столике, и вытащил из-под подушки заботливо сложенный пожелтый листок. С осторожностью развернул и при колеблющемся свете прочел то, что было на нем написано. По мере того как он читал строчки, которые, без сомненья, знал наизусть, губы его кривились, брови хмурились, а во взгляде смешались печаль и злость.

Весной то ли 1876, то ли 1877 года его отец эмигрировал на Кубу. К этому времени Онофре Боувиле минуло полтора года; других детей у супругов Боувиле не появилось на свет. Отец был весельчак, хороший охотник, человек разговорчивый и малость сдвинутый, по словам тех, кто знал его до того, как он пустился в эту авантюру. Мать прежде жила в горах, в долину спустилась, чтобы заключить брачный союз с Жоаном Боувилой; была она рослой, поджарой, молчаливой, с движениями нервными и манерами несколько резкими, хотя и сдержанными; пока она не поседела, волосы у нее были каштановые, а глаза того же серо-голубого цвета, что и у Онофре, который вообще-то был внешне вылитый отец. До XVIII века каталонцы отправлялись в Америку крайне редко, только на королевскую службу, но уже в XVIII веке многие из них эмигрировали на Кубу. Деньги этих эмигрантов, пересылаемые домой, неожиданно для всех оказались капиталом, с которым стало возможным взяться за индустриализацию страны, оживить экономику Каталонии, вконец истощенную еще во времена Католических королей дона Фернандо и доньи Исабелы¹. Некоторые из эмигрировавших не только присылали деньги, но еще и сами возвращались домой: то были разбогатевшие «индейцы», воздвигавшие немислимые жилища в своих деревнях. Самые экстравагантные привозили с собою рабынь, совсем черных или метисок, с которыми открыто жили. В округе из-за этого подымали большой шум, и «индейцы», вняв уговорам родных и соседей, выдавали в конце концов рабынь замуж за глуповатых батраков, живших при доме. От этих союзов рождались дети с темной кожей, без твердого места в жизни, и обычно они обращались к церкви. Их посылали миссионерами на другой конец света, на Марианские или Каролинские острова, церкви которых еще входили в епархию архиепископа Севильи или Кадиса. Позднее поток миграции обмелел.

Хотя недостатка в желающих пересечь океан в поисках удачи по-прежнему не было, но теперь это были

¹ Имеются в виду испанский король Фердинанд II Арагонский (1452—1516) и его жена королева Изабелла I Кастильская (1451—1504); их брак в 1474 году привел к формированию Испании в единое государство; во время их правления была завершена реконкиста и открыта Южная Америка. Однако непомерные расходы на колониальные захваты заоксанских земель ложились на страну тяжелым бременем.

особые случаи: младшие сыновья, обедневшие из-за принятой системы наследования, при которой все имущество семьи переходило к старшему сыну, называемому hereu¹, разоренные филлоксерой землевладельцы и тому подобное. Жоан Боувила ни под один из этих случаев не подходил: никто тогда не знал, по какой причине он решился уехать, да и потом так никто и не узнал. Одни утверждали, что тут сыграло свою роль честолюбие, другие искали причину в супружеских размолвках. Кто-то выдумал вот какую историю: будто бы Жоан Боувила вскоре после свадьбы открыл какую-то ужасную тайну своей жены и что в доме у них по ночам слышались отчаянные крики и страшные удары, что крики всю ночь не давали ребенку спать, что он плакал до самого рассвета, когда перепалка начинала ослабевать. По-видимому, все это было неправдой, потому что, когда Жоан Боувила уехал, священник по-прежнему принимал в церкви его супругу, Марию Мон, причащал ее, как и всех других прихожан, и даже обходился с ней с особым почтением. Так он и унял поползшие было злые сплетни.

Вскоре после отъезда Жоан Боувила написал жене письмо.

Письмо, отправленное с Азорских островов, куда корабль заходил, привез в приход дядюшка Тоне на своей повозке. Прочитать его должен был приходский священник, потому что Марина Мон читать не умела. Желая заставить злые языки и вовсе замолчать, он прочитал письмо в воскресенье с амвона перед проповедью. «Когда будет работа и жилье и немного temps², пошлю за вами,— сообщалось в письме.— Идем хорошо, сегодня видели акул; они грозно следовали за судном целой стаей, надеясь, что какой-нибудь пассажир свалится в воду — тогда они мигом сожрут его, перетерев тройным рядом зубов; все, что получают от моря, они разгрызают и сжирают, ничего не отдают назад». Больше писем от него не приходило.

Онофре Боувила осторожно сложил листок. Теперь он уснул крепким сном, и ему не мешали ни тощий матрас, ни полчища кровожадных клопов и блох. Однако

¹ Наследник (каталонск.).

² Денег (каталонск.).

незадолго до зари его разбудила какая-то тяжесть на животе, какое-то рычание и еще неприятное чувство, которое испытываешь, когда на тебя кто-то смотрит. Комнату освещала свеча — не та, которую он погасил несколько часов тому назад, а другая — ее кто-то держал, но Онофре не сумел разобрать в первые мгновенья, кто именно, потому что все его внимание было приковано совсем к другому: рядом сидел Вельзевул, страшный кот Дельфины. Выгнув спину, кот распустил хвост и вцепился когтями в одеяло. Руки у Онофре были накрыты простыней, и он не отваживался вытащить их, чтобы хоть лицо прикрыть, — боялся, что эти движения рассердят кота, разъярят его. Онофре не шевелился, на лбу и на верхней губе проступил пот. «Не бойся, кот тебя не тронет, — сказали ему шепотом, — только вот, если попробуешь сделать со мной что-нибудь плохое, кот бросится на тебя и выцарапает глаза». Онофре узнал голос Дельфины, но не отвел глаз от кота и не произнес ни слова.

— Я знаю, работы ты не нашел, — говорила Дельфина, и в голосе ее послышался отзвук сочувствия, возможно потому, что провал надежд Онофре укрепил силу ее предвидения, а возможно и потому, что она находила радость в беде ближнего. — Все думают, что я ни во что не вникаю, но я все слышу. На меня смотрят словно на какую-то старую мебель, ненужный хлам, даже не здороваются, когда встречаются в коридоре. Ну и слава богу, ведь это все никчемные людишки. Уверена, предел их мечтаний — затащить меня в постель... ты понимаешь, о чем я. Ну если бы кто попытался, Вельзевул бы ему всю шкуру в клочья разодрал. Вот они и предпочитают притворяться, что не видят меня.

Услышав свое имя, коварный Вельзевул зарычал. Дельфина самодовольно улыбнулась, и Онофре понял, что служанка немного чокнутая. Только этого мне и не хватало, подумал он. К чему это она ведет? — спросил он себя. О Господи, только бы не остаться слепым...

— Ты не похож на них, — продолжала шептать служанка, сразу же посерьезнев, — может, конечно, потому, что у тебя еще молоко на губах не обсохло. Ничего, еще станешь как они. Завтра уже будешь ночевать на улице, и придется всегда спать вполглаза, проснешься от голода-холода, есть будет нечего, станешь копать по помойкам, молиться будешь, чтобы не шел дождь да лето скорее наступило. Переменишься, станешь дрянью,

как все. Ну что? Молчишь? Можешь говорить, только тихо. Но не двигайся.

— Зачем ты пришла? — решил наконец раскрыть рот Онофре, он даже не шептал, а словно выдыхал слова. — Чего хочешь от меня?

— Все считают, что я гожусь только тереть полы да тарелки мыть, — продолжала Дельфина, снова презрительно улыбаясь, — а у меня есть средства. Могу помочь тебе, если захочу.

— Что нужно делать? — спросил Онофре, чувствуя, как капли пота катятся у него по спине.

Дельфина шагнула к кровати. Онофре весь напрягся, но она остановилась. «Слушай, что я тебе скажу. У меня есть жених. Никто не знает, даже мои родители, — добавила она. — Я никогда им не скажу, а в один прекрасный день, когда они меньше всего будут ожидать, я с ним сбегу. Они станут повсюду меня искать, мы будем уже далеко. Мы никогда не вступим в брак, но всегда будем вместе, и здесь меня больше не увидят. Если ты меня выдашь, я скажу Вельзевулу, и он раздерет тебе лицо, понял?» — закончила она свою речь. Онофре поклялся именем Господа и здоровьем матери, что навечно сохранит эту тайну. Дельфина осталась довольна и сразу начала снова: «Слушай, мой жених входит в одну группировку. В нее входят люди великодушные и мужественные, они стремятся покончить с несправедливостью и нищетой. — Она помолчала, хотела посмотреть, какое впечатление произвели ее слова на Онофре Боувилу, и, видя, что тот никак не реагирует, добавила: — Ты слышал об анархизме?» Онофре молча покачал головой, дескать, нет, не слышал, и она не рассвирепела, как боялся Онофре, а только пожала плечами. «Вполне понятно, — сказала Дельфина. — Это новые идеи, очень еще мало людей с ними знакомо. Но не сомневайся, скоро их будет знать весь мир, и все переменится».

В шестидесятых годах прошлого века итальянские анархистские группировки, расцветшие пышным цветом в годы борьбы за объединение Италии¹, решили послать своих членов в другие страны с целью пропаганды Идеи и увеличения числа последователей. В Испанию, где

¹ Объединение Италии закончилось в 1870 году.

анархистские идеи были известны и имели большой успех, был направлен человек по имени Фоскарини. Однако в нескольких километрах от Ниццы испанская полиция при пособничестве французской задержала поезд, в котором ехал Фоскарини, и вошла в него. «Кто здесь Фоскарини? Руки вверх!» — скомандовали полицейские, наводя на пассажиров карабины. Поднялся лес рук. «Я Фоскарини, я», — говорили пассажиры: для них не было выше чести, как быть принятыми за апостола. Молчание хранил только сам Фоскарини. Долгие годы подполья приучили его затаиваться в подобных ситуациях, он глядел в окошко и весело насвистывал, словно бы вся эта кутерьма вовсе его не касалась. Полиция без труда и обнаружила Фоскарини; апостола сняли с поезда, раздели до белья, связали и положили поперек железнодорожных путей, головой на один рельс, ногами — на другой. «Вот, Фоскарини, девятичасовой скорый и пройдет по тебе всеми колесами», — сообщили ему полицейские с дьявольским ехидством. Один из них надел снятое с Фоскарини платье и сел в поезд. Пассажиры, увидев, как он поднимается в вагон, поверили, что Фоскарини удалось обмануть незаконно задержавших его людей, и разразились овацией. Подставной Фоскарини улыбался и брал на заметку всех, кто приветствовал особенно восторженно. Оказавшись в Испании, он принялся подстрекать рабочих к беспричинным актам насилия, стремясь натравить на них общественное мнение, настроить против рабочих остальное население и оправдать репрессии правительства. «На самом-то деле он был провокатором, полицейским агентом», — пояснила Дельфина.

Приблизительно в то же самое время в барселонском порту сошел с корабля человек, взгляды которого были диаметрально противоположны как взглядам истинного Фоскарини, так и подставного. Звали его Конрад Веерд; в Соединенных Штатах, откуда он был родом, он работал спортивным обозревателем и был журналистом средней руки. Происходил он из семейства крупных землевладельцев Южной Каролины, которое в Гражданскую войну потеряло все свое имущество, в том числе земли и черных рабов. В Балтиморе, Нью-Йорке, в Бостоне и Филадельфии пробовал Веерд свои силы на журналистском поприще, к которому испытывал склонность, но так как он был южанином, то доступной для него областью журналистики оказался лишь спорт — все остальные были

закрыты. Он знал самых выдающихся спортсменов того времени, таких, как Джек Килрейн и Джон Салливен, но в целом его жизнь спортивного обозревателя проходила в занятиях совершенно ничтожных. В середине прошлого века спорт был всего лишь предлогом для пари и служил самым низменным инстинктам. Веерд писал о петушиных боях, собачьих, крысиных и боях смешанных: быки против собак, собаки против крыс, крысы против свиней и т. д. Он присутствовал также на состязаниях по боксу, выматывающих и кровожадных, длившихся по восемьдесят пять раундов и кончавшихся обычно стрельбой. В конце концов Веерд решил, что человеческая натура груба и безжалостна по своей сути и только образование может превратить человека в существо, хоть в какой-то степени выносимое. Движимый этим убеждением, он покинул спортивный мир и посвятил себя созданию рабочих обществ; деньги на это он получил от еврейских ростовщиков либеральных взглядов. Целью этих обществ было взаимное обучение их членов и знакомство с искусством, в особенности с музыкой; Веерд хотел создать хоровые общества рабочих. Вот тогда бы они перестали увлекаться крысиными боями, думал он. Жил Веерд всегда скромно, все, что зарабатывал, отдавал на содержание организованных им хоров. Постепенно в эти хоры просочились гангстеры и превратили их в преступные группы рэкетиров. Им надо было избавиться от Веерда, и его направили в Европу вербовать сторонников. Ему было известно о существовании хоров, созданных Клавé¹, и в 1876 году, на Вознесенье, он сошел с корабля на берег в Барселоне. Там он познакомился с совсем обезумевшими последователями ублюдка лже-Фоскарини, которые отстаивали свое право на убийство детей — каких попало, без разбора — при их выходе из школы. Это произвело на него тягостное впечатление.

«Другое интересное действующее лицо в этой истории, — продолжала Дельфина, — это Ремедиос Ортега Ломбрисес, по прозвищу Сигарка. Отважный борец за права обездоленных, она как-то раз получила работу на табачной фабрике в Севилье. Круглая сирота, Ломбрисес с десяти лет уже кормила восьмерых младших братьев и сестер. Двое из них умерли, остальных она вытянула, да еще

¹ Клавé, Хосе Ансельмо (1824—1874) — музыкант, организатор народных хоров в Испании.

храбро родила сама одиннадцать ребят от семи отцов. А пока она скручивала и упаковывала сигары, самостоятельно приобрела солидные знания по экономике и социологии следующим путем: каждая фабричная работница должна была сделать за свой рабочий день определенное число упаковок, и женщины решили норму одной из товаров разложить на всех, чтобы та, освобожденная от работы, читала бы им вслух. Так прослушали они Маркса, Адама Смита, Бакунина, Золя и многих других. Позиция Ломбрисес была более решительной, чем у Верда, менее индивидуалистической, чем у итальянцев. Она проповедовала не разрушение фабрик, что, по ее мнению, привело бы страну к еще более страшной нищете, но их захват и обобществление. Каждый лидер, само собой разумеется, имел последователей, и нужно признать, что люди, принадлежавшие к различным группам, всегда относились друг к другу с уважением, как бы ни были глубоки их теоретические разногласия. В любой момент они были готовы объединиться и помочь друг другу, никогда не бывало меж ними столкновений. С самого начала их главным и несгибаемым противником был социализм во всех его ответвлениях, хоть иногда и нелегко было отличить одну доктрину от другой», — закончила свой рассказ Дельфина.

Она говорила, и в соответствии с тем, как разворачивалось это простодушное, противоречивое и полное несообразностей повествование, ее желтые глаза вспыхивали огнем безумия, воздействуя на Онофре если не притягивающе, то завораживающе, хотя он и сам не сумел бы сказать почему. Служанка держала свечу высоко, словно то был путеводный маяк, и не замечала, что расплавившийся воск капает на пол. Слабый свет свечи и грубо-тканая рубаша, прикрывавшая чахлые формы девушки, придавали ей подобие некой пролетарской Минервы. В конце концов коту все это надоело, и Дельфина прервала свою агитационную речь.

— Остальное узнаешь потом, если будешь делать, как велю, — сказала она. Онофре спросил, что он должен делать. Сначала, по ее словам, необходимо постичь идею, пусть звуки рожка разбудят спящие массы. — Ты в Барселоне человек новый, — она уже заканчивала свой монолог, — никто тебя здесь не знает, ты совсем еще мальчик и выглядишь таким невинным. Ты можешь содействовать Делу, а заодно и заработать кое-какие деньги, немного,

конечно, мы ведь очень бедны, но на пансион ты зарабатываешь. Сам видишь, не так уж мы парим в мечтаниях, как некоторые изображают, понимаем, что есть-то людям нужно. Что скажешь?

— Когда начну работать? — спросил в ответ Онофре. Хоть он и не пришел в особый восторг от всего, что услышал, но предложение Дельфины означало все-таки некоторую передышку.

— Завтра с утра пойдешь в дом номер четыре по улице Мусго, — почти прошептала Дельфина. — Спросишь Пабло. Это не мой жених, но он о тебе знает. И ждет. Он скажет, что тебе нужно будет делать. Только иди осторожно, удостоверься, что за тобой не следят, помни — полиция не дремлет. А с моим отцом и с платой за пансион я все улажу, не беспокойся. Пошли, Вельзевул.

Больше она ничего не сказала и задула свечу; комната погрузилась во тьму. Онофре почувствовал, что кот уже не наваливается на него, услышал, как мягко он прыгнул на плитки пола. Глаза страшного зверя блеснули, и дверь тихонечко затворилась.



Расспрашивая встречных, Онофре узнал, что улица, которую назвала ему Дельфина, находится в Пуэбло-Нуэво, сравнительно недалеко от Барселоны. Туда ходила конка, тащили ее не лошади, а мулы, но надо было заплатить двадцать сентимов, а у Онофре Боувилы их не было, и пришлось идти по рельсам пешком. Улица Мусго, пустынная и мрачная, тянулась вдоль гражданского кладбища, на котором хоронили самоубийц. Облезлые собаки бродили по улице; по ночам они рылись на кладбище в поисках пропитания. Ночью шел дождь, и небо затаило тучи; низкое давление, липкий, влажный воздух. На Онофре Боувилу никакого впечатления такие пустяки не произвели: он пребывал в отличном расположении духа — ведь утром, за завтраком, к нему подошел сеньор Браульо и сказал: «Вчера мы с женой поговорили и пришли к общему соглашению — ведь мы все делаем вместе: мы решили предоставить вам возможность пожить у нас неделю в кредит. — Сеньор Браульо потер ухо, которое пылало,

как огненно-красная гвоздика.— Трудные сейчас времена, а вы еще слишком молоды, чтобы бродить без крова над головой по свету,— прибавил он.— Таким образом мы выражаем свою уверенность, что вы найдете себе занятие, которое ищете с такой настойчивостью, и мы убеждены, что при вашей порядочности и упорстве вы долгим трудом достигнете в будущем вполне уважаемого положения»,— напыщенно закончил он свою речь. Онофре Боувила поблагодарил хозяина пансиона и краем глаза посмотрел на Дельфину: в эту минуту служанка как раз несла через столовую ведро с грязной водой, но притворилась, что не видит его или в самом деле не заметила. Онофре поступался в двери дома под четвертым номером, и ему немедленно открыл какой-то человек, щуплый и болезненный на вид, с выпуклым лбом и тонкими поджатыми губами.

— Я Онофре Боувила, мне нужен Пабло.

— Пабло — это я,— сказал мужчина.— Проходи.

Онофре вошел в помещение: то была давно заброшенная лавка. На стенах плесень и пятна селитры, на полу — разводы керосина, несколько ящиков, мотки веревок. Из одного ящика Пабло вытащил пакет: «Вот тебе брошюры, нужно их раздать,— сказал он и протянул пакет Онофре.— Разбираешься в Идее?» Онофре заметил, что Пабло, как и Дельфина, говорит просто «идея», словно бы никакой другой «идеи» не существовало в мире; это его позабавило. Он уловил, что с такими типами, как Пабло, надо быть предельно искренним — это была лучшая стратегия,— и ответил «нет». Пабло недовольно скривился: «Прочитай внимательно одну из брошюр,— сказал он.— Нет у меня времени читать тебе лекцию, в брошюрах все изложено вполне понятно. Ты ведь должен суметь разъяснить, если кто к тебе обратится, понимаешь?» Онофре сказал, что понимает. «Ты знаешь, где придется распространять материал?» — спросил апостол. И Онофре во второй раз ответил «нет». «А, и этого не знаешь? — вздохнул Пабло, показывая своим вздохом, что вся тяжесть революции ложится на его плечи.— Хорошо, я тебе скажу,— добавил он.— Знаешь, где строят Всемирную выставку?» Онофре в третий раз ответил «нет». «Слушай, парень, ты что, с луны свалился?» — раздраженно заметил апостол. Не переставая ворчать, он объяснил, как добраться до стройки, и выпустил Онофре на улицу. Пока он запирает дверь, Онофре успел спросить:

— А что делать, когда все брошюры раздам?

Апостол в первый раз улыбнулся. «Придешь еще», — ответил он почти дружески. Сказал, что Онофре нужно прибегать в лавку утром, между пятью и шестью, только в это время. «Если где встретимся, делай вид, что меня не знаешь, — учил он, как вести себя. — Адрес этот не давай никому, никогда про меня не рассказывай, и про ту, что тебя прислала, тоже молчи, хоть бы тебя резали, — торжественно присовокупил он. — Если кто спросит, как тебя зовут, отвечай — Гастон, это твое прозвище. А теперь иди, чем короче будут наши встречи, тем лучше».

Онофре отошел от этих кладбищенских мест. Оказавшись на небольшой площади, он сел на скамейку, развернул пакет и принялся читать одну из брошюр. Вокруг бегали дети; из слесарной мастерской, хоть невидимой, но находившейся где-то поблизости от площади, доносился надоедливый грохот. Все это мешало Онофре сосредоточиться. Он едва умел читать; ему нужны были тишина и время, чтобы разобраться в том, что читал. К тому же половины слов в брошюре он не понимал. Написано было так мудрено, что, и несколько раз прочитав, Онофре все равно не уразумел, о чем там говорилось. Из-за такой галиматии мне теперь жизнью рисковать? — подумал он. Встал, завязал пакет и отправился, куда велел Пабло. Он смотрел по сторонам и, как крестьянин, понимал, что всего несколько лет назад здесь на многих гектарах плодородной земли взращивали овощи; теперь же эти земли, эти бывшие огороды, захваченные разрастающимся индустриальным городом, ждали своей еще неизвестной судьбы; их уже никто не вспахивал, не обрабатывал, и земля лежала черная и зловонная, отравленная гнилой водой протекавших здесь речушек, в которые спускали сточные воды расположенные по соседству фабрики. Иссохшая земля жадно впитывала воду, и всюду вокруг стояла жидкая, илистая грязь, налипавшая на альпаргаты и мешавшая идти.

Должно быть, Онофре спутал в какой-то момент железнодорожные пути с трамвайными и заблудился. И ни единого человека вокруг, у кого можно было бы спросить, как пройти; он взобрался на невысокий холм, решив, что оттуда он увидит цель своего путешествия или хотя бы определит, где находится. Положение солнца на небе, приблизительное счисление времени и кое-какие познания позволили ему определить стороны света. Теперь я

знаю, где нахожусь, подумал он. На востоке посветлело, сквозь тучи пробивались солнечные лучи. А под ними, поглощая их, мерцало море. Оно отливало серебром. Встав спиной к морю, Онофре различил вдали силуэт города, смутно проступавший в мутном, тяжелом от влаги воздухе; он разглядел колокольни, церковные и монастырские башни, заводские трубы. Поблизости, направляясь к заброшенной ветке, маневрировал паровоз без вагонов. Столб дыма поднимался над ним высоко в небо, но тяжелый, насквозь пропитанный влагой воздух гнал его вниз, к земле; только свистки и пыхтенье паровоза нарушали тишину. Онофре пошел дальше. Если попадался какой-нибудь холм, взбирался на него и оглядывался по сторонам. Наконец он различил за железнодорожными путями, на которых незадолго до того увидел маневрирующий паровоз, какую-то обширную площадку, кишмя кишевшую людьми, мулами, лошадьми, повозками. Высились здания, еще в лесах. Онофре Боувилла подумал, что это и есть то место, которое он искал. А если нет, так мне там объяснят, куда идти, решил он. Спустился с горки, на которую взобрался, и пошел по направлению к постройкам; под мышкой он держал брошюры.

Вот история Сьюдаделы, чье имя и сегодня остается синонимом угнетения и страдания, чья позорная память неизменна в веках.

В 1701 году Каталония, ревниво охраняя свои привилегии, которым, по ее мнению, грозила опасность, приняла сторону эрцгерцога Австрийского в Войне за испанское наследство¹. Когда сторонники Австрии потерпели поражение и в Испании воцарились Бурбоны, Каталонию жестоко наказали. Война за наследство была долгой и кровопролитной, но последствия ее оказались еще ужасней. Войска Бурбонов разграбили страну; зная о попустительстве командования, солдаты не стеснялись. Потом наступило время официальных судилищ: каталонцев каз-

¹ В 1700 году умер Карл II, последний испанский король из династии Габсбургов, и по его завещанию на престол взошел Филипп V Бурбонский; в 1701 году началась так называемая Война за испанское наследство между франко-испанской коалицией и коалицией Англии, Голландии, Австрии, Пруссии и др.; в 1714 году, после крупных побед последних, был подписан мир, по которому Филипп V остался королем Испании, но страна понесла большие потери.

нили сотнями; их отрубленные головы, насаженные на пики, выставляли на поругание и в назидание в самых людных местах Барселоны. Арестантов тысячами отправляли на каторжные работы в самые отдаленные места полуострова и даже в Америку; все они умерли в кандалах, так и не увидев любимую родину. Молодых женщин отдавали на потребу солдатне, из-за этого возникла нехватка женщин брачного возраста, и она длится в Каталонии и по сей день. Возделанные поля уничтожили, засыпали их солью, чтобы земля вовсе не родила, выкорчевали сады. Попытались истребить стада, и в особенности исключительно ценную пиренейскую породу коров; но до конца это довести не удалось, потому что часть скота ушла в горы и леса и там, одичав, жила до самого начала XIX века; только тем и спаслись коровы от стремительных налетов конницы, залпов артиллерии и штыков пехоты. Замки были разрушены, а каменные плиты пошли на стены, которыми обносили некоторые селения, превращая их в крепости и тюрьмы — может быть, еще понадобятся.

Памятники и статуи, украшавшие улицы и площади, разбили вдребезги и стерли в порошок. Стены дворцов и общественных зданий побелили: на них нарисовали непристойные картинки и нацарапали оскорбительные похабные слова. Школы превратили в конюшни, конюшни — в школы; Барселонский университет, из стен которого выходили просвещенные деятели, закрыли, университетское здание разобрали по камушку: ими завалили акведуки, каналы и оросительные канавы, снабжавшие город водой, дававшие воду огородам. Барселонскую гавань забросали каменными глыбами, в море запустили акул, специально доставленных в цистернах с Антильских островов, чтобы они опустошили воды Средиземного моря. К счастью, последнее средство привело к обратному результату: те акулы, что выжили, несмотря на климат и непривычных для их пищеварения местных моллюсков, ушли в другие широты, к Гибралтарскому проливу, ставшему уже владением англичан. Отчет обо всех этих деяниях представлялся королю. А он говорил: «Не мало ли еще наказаны каталонцы?» Филипп V, герцог Анжуйский¹, был монархом просвещенным. Один французский писатель опреде-

¹ Имеется в виду Филипп V (1683—1746) — первый король Испании из династии Бурбонов, внук короля Франции Людовика XIV.

лил его как «roi fou, brave et dévot»¹. Женился он на итальянке Изабелле Фарнезе² и умер в маразме. Он не был кровожадным, но коварные советники оговаривали каталонцев, впрочем равно как сицилийцев, неаполитанцев, заокееанских креолов, канарцев, филиппинцев, индокитайцев — всех подданных Испанской короны. Поэтому в Барселоне выросла огромная крепость, где и разместили армию, в любую минуту готовую подавить любое восстание. Вот эту-то крепость и называли с самого начала Сьюдадела. Здесь жил губернатор, совершенно не общаясь с населением: власти во всем следовали самой жесткой колониальной системе. На верхней площадке Сьюдаделы вешали преступников-бунтовщиков, безжизненные тела оставляли на потребу стервятникам. Покрытые тенью укреплений каталонцы жили как рабы, плача от тоски и ярости. Раз-другой попытались взять приступом крепость, но были без труда отражены и вынуждены покинуть поле боя, усеянное павшими. Защитники крепости измывались над осаждавшими: мочились через амбразуры на мертвых и раненых. За это злобное наслаждение они заплатились, оказавшись запертыми в крепости; солдаты и офицеры не решались больше вступать в любые отношения с местным населением, ненавидящим их; недоступными стали любые развлечения — они оказались пленниками. Без женщин солдаты предавались содомии и пренебрегали гигиеной: Сьюдадела превратилась в рассадник всевозможных болезней. Многие испанцы понимали опасность этого положения и просили одного за другим королей, правивших после Филиппа V, уничтожить этот символ вражды и позора. Только немногие фанатики утверждали, что их присутствие в Барселоне необходимо. Короли со всем соглашались, но решение откладывали, как обычно и поступают монархи, облеченные абсолютной властью. Шел девятнадцатый век, и Сьюдадела утрачивала свое значение, военные новшества сделали ее бесполезной, она стала ненужной. Когда в 1848 году вспыхнуло народное восстание, генерал Эспартеро³ счел за лучшее обстрелять Барселону с холма Монжуик. Крепость простояла полтора

¹ Король безумный, храбрый и набожный (франц.).

² Вторая жена Филиппа V, правившая от его имени Испанией вместе с Хосе Патињо (1667—1736), политическим деятелем, с 1726 года главой правительства.

³ Эспартеро, Бальдомеро (1793—1879) — военный и государственный деятель.

века: в конце концов стены, окружавшие ее, были разрушены. Земля, на которой они высились, и здания за крепостными стенами были принесены в дар городу, словно ради того, чтобы вытравить из народного сознания скопившуюся там скорбь. Некоторые постройки по справедливости были разрушены, иные стоят и по сей день. Вокруг решено было разбить публичный городской парк всем на радость. Потрясающий контраст: деревья пускали корни и цветы расцветали на той самой площадке, где было совершено столько преступных зверств, где еще недавно высились лобное место и виселицы. Соорудили там и озеро, и гигантский фонтан Каскад. А сам парк назвали — и до сих пор он сохранил свое имя — парком Сьюдадели. В 1887 году, когда Онофре Боувилла впервые здесь появился, на этой площади возвышалось то, что вскоре должно было превратиться во Всемирную выставку. Случилось это в первых числах, а может быть, и в середине мая. Как раз в те дни строительство продвинулось. Число рабочих достигло предела: их насчитывалось четыре с половиной тысячи. Случай небывалый по тем временам, да такое множество рабочих и было чрезмерным. К этому следует добавить еще и неопределенное, но тоже огромное число лошадей, мулов и осликов. Лебедки, паровые машины, строительные орудия, разные повозки и телеги. Всюду пыль, оглушительный грохот — прямо-таки столпотворение.

Дон Франсиско де Паула Риус-и-Тауле был выбран алькальдом Барселоны во второй раз. Ему уже набежало пятьдесят, и был он человеком хмурым, гордившимся своей впечатляющей лысиной и такими длинными бакенбардами, что они закрывали отвороты сюртука. В газетах утверждали, что у него благородная внешность. Он был необычайно чувствителен к чужому мнению о Барселоне и о нем самом. В знойные дни лета 1886 года он столкнулся с очень затруднительным выбором решения. Несколько месяцев ранее ему нанес визит некий кабальеро по имени Эухенио Серрано де Касанова. «Я должен сообщить Вашему превосходительству кое-что весьма серьезное», — сказал он. Дон Эухенио Серрано де Касанова был галисийцем, купившим имение в Каталонии, куда его привело еще в молодости пылкое желание послужить на военном поприще делу карлизма. Потом годы пригасили в нем пыл, но не энергию: это был человек предприимчивый, к тому же путешественник. Во время странствий по свету ему

довелось посетить всемирные выставки в Антверпене, Париже и Вене — они его потрясли. Как человек, который не мог позволить своим идеям увянуть бесплодно, он набросал план и попросил у барселонского аюнтамьенто разрешения устроить здесь нечто подобному тому, что видел в других местах. Аюнтамьенто предложило ему парк Сьюдаделы. «Если хочет сесть в лужу, к чему сам стремится, так уж пусть там», — порешили всезнающие городские власти; поступок их был легкомысленным и даже опасным. На самом-то деле никто не давал себе ясного отчета, что значит устроить Всемирную выставку: были эти выставки новшеством, сведения о них черпались только из газет. Хотя первоначальное понятие такой Всемирной выставки и мысль устроить подобный смотр родились во Франции, первая выставка открылась в Лондоне в 1851 году, а Парижская выставка состоялась в пятьдесят пятом. Организация выставки в Париже оставляла желать лучшего: вход на ее территорию был разрешен с двухнедельным опозданием против установленной даты, но даже в день торжественного открытия многие экспонаты еще стояли нераспакованными. Среди почетных гостей на выставке побывала собственной персоной и королева Виктория¹, тогда в зените славы. «Pas mal, pas mal»², — проворковала королева с легкой иронией, без сомнения, довольная неумелостью, проявленной французами. Двухметровый (не считая тюрбана!) сипай, сопровождавший королеву, нес на шелковой кармазиновой подушечке «Кохинор» — по тем временам самый крупный бриллиант в мире; королева Виктория словно бы хотела этим сказать: одна-единственная вещь из принадлежащих мне стоит дороже, чем все, что здесь выставлено; особого смысла в этом не было, так как на самом-то деле речь шла о выставке изобретений, соревновались в успехе прогресса. Потом парадные смотры отпраздновали в Антверпене, Вене, Филадельфии и Ливерпуле. Лондон вторично устроил у себя выставку в шестьдесят втором, а Париж — в шестьдесят седьмом, как раз в то время, когда Серрано де Касанова предложил сделать выставку в Барселоне. Но не хватало средств. Барселона переживала серьезный финансовый кризис, и все более настойчивые призы-

¹ Королева Великобритании (1819—1901), годы правления 1837—1901.

² Недурно, недурно (франц.).

вы отважного зачинателя не находили отклика. Имевшиеся к началу работ деньги иссякли, и от проекта приходилось отказываться. Серрано де Касанова решил повидаться с алькальдом Риусом-и-Тауле. Понизив голос, словно бы доверяя ему секрет, он сказал: «Должен сообщить Вашему превосходительству нечто особо важное: мне очень горько, но я вынужден пойти на попятный, хотя работы по приведению парка в порядок начаты и предполагавшееся событие получило широкую огласку». — «Гром и молния!» — вскричал Риус-и-Тауле, и, схватив со стола хрустальный колокольчик с золотым язычком, позвонил что было сил, и первому же, кто появился на пороге (какой-то посыльный), приказал, не глядя на него, чтобы тот собрал все необходимые бумаги и созвал бы немедленно совещание всех барселонских должностных лиц: епископа, губернатора, главнокомандующего, председателя Совета городских депутатов, ректора университета, президента Атенея¹ и так далее. Посыльный упал в обморок тут же в кабинете, и алькальду пришлось самому приводить его в чувство, обмахивая собственным платком. Собравшиеся наконец важные особы больше вели разговоры, чем выражали желание что-либо предпринять: каждый готов был высказать свое мнение, но никто не хотел давать какие бы то ни было обещания от собственного лица или от лица учреждения, которое он представлял; а еще меньше жаждали они предложить финансовую поддержку бессмысленному начинанию Серрано де Касановы. В итоге Риус-и-Тауле хлопнул по столу кожаным бюваром и резко оборвал эту говорильню. «Hostia, la Mare de Deu!»² — вскричал он. Эти вдохновенные слова, которыми он начал свою речь, были услышаны на площади Сан-Жайме, стали достоянием горожан, а сегодня они высечены среди других прославленных изречений на памятнике неутомимому алькальду. Почин сделал епископ: алькальд требует — тут уж не до смеха! Меньше чем за час Риус-и-Тауле получил от всех присутствовавших их согласие на сотрудничество и ряд обещаний, что было до крайности необходимо для дальнейшего осуществления проекта. «Отказаться от него сейчас — значит

¹ Научно-литературные общества и место, где они собираются, ведущие большую просветительскую работу; существуют с 20-х годов XIX века.

² Черт вас поberi! (каталонск.)

положить позорное пятно на Барселону, признаться в собственном бессилии». Порешили на том, что проект будет впредь осуществляться под присмотром Руководящего совета. Народился также и Опекунский совет, в который вошли должностные лица, гражданские и военные, главы различных компаний, банкиры, крупные предприниматели. Да и множество других людей оказалось вовлечено в устройство Выставки, потому что разрешить столь грандиозную задачу можно было только общими усилиями. Основали Технический совет из архитекторов и инженеров. Со временем число обществ, советов и комитетов невероятно разрослось (Комитет по связям с национальными предприятиями, Комитет по связям с возможными иностранными участниками Выставки, комитеты по проведению конкурсов и награждению победителей и т. п.), из-за чего возникло немало трений. Организацию дела все находили «очень современной». Правда, общественное мнение единодушно утверждало, что проект никуда не годится. «Кроме всего прочего,— уточняла ежедневная газета тех лет,— город не представляет достаточного интереса для иностранцев, чтобы им захотелось прожить в нем несколько дней». Все сравнивали Барселону с Парижем и Лондоном и утверждали, что ей предназначена роль весьма печальная. Никто не думал о том, что же предлагали в те годы своим гостям такие города, как Антверпен или Ливерпуль, возводившие свои почтенные выставки, вовсе не предаваясь переживаниям на тему *mea culpa*¹. Или же принимали их в расчет, но говорили: «Пусть они и выставляют себя на посмешище, если им нравится, а мы не желаем». Автор письма, опубликованного в те дни одной из газет, утверждал, что «Барселона отнюдь не находится на уровне других европейских городов такого же ранга, в ней только и есть хорошего, что благодатный климат, превосходное местоположение, памятники старины да кое-что еще, относящееся к области инициативы частных лиц. А все, что идет от администрации,— продолжает автор,— самого низкого разбора. Городская полиция в целом омерзительна, личная безопасность оставляет желать лучшего, намного лучшего; отсутствуют или очень плохо организованы огромное число услуг, необходимых в городе с двухсотпятидесятитысячным населением; узкие улицы старого города и отсутствие в нем

¹ Моя вина (лат.).

просторных площадей, равно как и в новом, затрудняют движение и сковывают человека; у нас нет красивых, широких бульваров, мало музеев, библиотек, больниц, богаделен, тюрем и т. д., достойных того, чтобы двери их распахнулись для посетителей». В том же письме, написанном на множестве страниц, говорилось еще среди прочего: «Мы сильно потратились на парк Сьюдаделы, но пространство его ничтожно, в нем нет обширного лесного массива, приличных аллей, а жалкое подобие озера просто смехотворно». Высказав свои соображения, автор письма во всех подробностях вспоминал прославленные тогда Булонский лес и Гайд-парк. Ко всем своим обвинениям он добавлял в письме еще и то, что «действия местных властей часто характеризуются рахитичностью замысла и зудом тщеславия. За те несколько лет, что нынешние управители находятся у власти, Барселона вновь стала грязным, запущенным городом. Фасады домов, даже не очень старых, производят отталкивающее впечатление!» Подобные письма совсем не редкость в тогдашней печати. Иные выражали свои соображения в более сжатом виде, как, например, одна из газет от 22 сентября 1886 года, передовице которой издатель предпослал такие слова: «Явится ли Выставка благом или бедствием для нашей торговли?» Но вообще-то противодействие устройству в Барселоне международного смотра было хилым. Большинство горожан было готово отважиться на эту рискованную авантюру, другие по опыту знали, что если городские власти что-то предпринимают, так они это доведут до конца — долгие века абсолютизма научили людей не растрачивать попусту талант и чернила. И еще один существенный фактор влиял на общественное мнение: первая Всемирная выставка, проводимая в Испании, откроется не в Мадриде, а в Барселоне. Этот факт уже комментировали столичные газеты и пришли к весьма горестному, но неоспоримому заключению, что так оно и должно быть. «Связь между Барселоной и остальным миром как по морю, так и по суше делает этот город более привлекательным для иностранцев, нежели любой другой на полуострове». С этим все в столице согласились, словно бы сами выбрали Барселону местом для устройства выставок; однако аргументы эти не тронули правительство. Было сказано: «Вы затеяли, вы и расплачивайтесь». Экономика в ту эпоху была столь же централизована, как и все в стране; богатства Каталонии, как и богатства любой

другой провинции в королевстве, мгновенно перетекали в мадридские сундуки. Повседневные нужды аюнтамьенто обеспечивались сбором местных налогов, но при неожиданных тратах власти вынуждены были прибегать к помощи правительства, просить его о вспомоществовании, кредите или, как в настоящем случае, непредвиденной поддержке. Зависимость от Мадрида воскресила у каталонцев чувство общности, заставившее умолкнуть критические голоса. «Нам преподносят ложку меда и бочку дегтя», — пояснил алькальд Риус-и-Тауле. Все с ним были согласны. «С Мадридом мы в конце концов передеремся, но без Мадрида — ничего не достигнем», — сказал Мануэль Жирона. Он был известным банкиром и еще выполнял обязанности президента Атенея. Шла молва, что он никогда не теряет самообладания. «Давайте отложим пока бурные переживания и посмотрим в глаза действительности: предлагаю заключить договор с Мадридом; да, это унижение, но хорошее дело того стоит». Речь финансиста положила конец дебатам, и совещание, проходившее в среду в ресторане «Семь дверей», было объявлено закрытым. В следующее воскресенье, прослушав мессу, два представителя Совета выехали в столицу. Ехали они в экипаже, принадлежащем аюнтамьенто, на каждой дверце этого экипажа было по лепному гербу с эмблемой Графского города¹. В огромных папках из крокодиловой кожи везли они относящуюся к проекту документацию, а в больших и маленьких баулах, привязанных веревками к задку экипажа, — не одну смену белья и одежды, потому как предвидели, что долго не вернутся в родные края. Так оно и случилось; приехав в Мадрид, посланцы остановились в какой-то гостинице и на следующее утро поспешили в министерство народного просвещения, земледелия, торговли и промышленности. Их появление вызвало большой переполох: уезжая из Барселоны, они облачились в платье и плащи Жоана Фивельера², легендарного благодетеля города, в этой одежде были и теперь. За прошедшие века шерстяная материя истончала так, что просвечивала, а шелк напоминал паутину. Там, где про-

¹ Сохранившееся до наших дней название Барселоны — с 801 года, после завоевания города Каролингами, он стал центром графства.

² Член Городского совета Барселоны, вручивший в 1416 году Фернандо I, королю Арагона — с 1151 года Каталония входила в состав Арагонского королевства, — протест горожан против неуважения, проявленного к их законным правам.

ходили посланцы, торжественно несшие на вытянутых руках свои папки из крокодиловой кожи, словно то был некий особый дар, министерские ковры покрывались бурой пылью. Посланцы эти звались соответственно Гитарри и Гитарро; если бы это не были настоящие имена, можно было бы подумать, что они придуманы специально для этого случая. Посланцев проводили в приемную с высоченными потолками и обшитыми панелями стенами, где стояло всего два стула в стиле эпохи Возрождения, достаточно неудобных, а на стене висела картина — три метра на десять — из мастерской Сурбарана, на которой был изображен старик отшельник небесно-голубого цвета, весь в болячках, окруженный берцовыми костями и черепами. В этой комнате посланцев заставили прождать более трех часов; потом открылась боковая полускрытая дверь и появился некто с опухшим лицом, широченными бакенбардами, одетый в камзол, расшитый золотым шнуром. Оба посланца тотчас же поднялись со стульев. Один из них осмелился шепнуть на ухо другому: «Пресвятая Китерия, только взглянет — и душа в пятках!»; долгое ожидание расшатало его нервную систему. Они отвесили по низкому поклону. Вошедший — он был не министром, а всего лишь служителем — весьма сухо извещил их, что господин министр не мог их принять сегодня и пусть они соизволят пожаловать снова в министерство на другой день в тот же час. Замешательство, в которое повергла их ослепительная форма служителя, было лишь началом, за сим они множество раз попадали в трудное положение: посланцы Совета оказались в совершенно чуждом окружении, они не знали, как вести себя в этом городе таверн и монастырей, бродячих торговцев, бездельников, сводников, калек и нищих, внутри которого существовал мир еще более фантастический, сотканный из мишуры и торжественных церемоний, насилий и синекур, где процветали генералы-интриганы, герцогимошенники, священники-чудотворцы, фавориты, тореро, карлики и бездельники-придворные, и все они насмехались над посланцами, над их каталонским акцентом и особым складом речи. Так на хождение из гостиницы в министерство и обратно потеряли они три месяца и соответственно потратили выданную на расходы сумму и, когда деньги кончились, написали в Барселону, отчитавшись во всем и прося дальнейших указаний. С обратной же почтой пришел им пакет, отправленный самим Риусом-и-Тауле,

в котором были деньги, гипсовое изображение Пресвятой Девы Монсерратской¹ и послание, гласившее: «Будьте мужественны, одна сторона должна будет уступить, и да поможет Господь, чтобы это были не мы». Бедняги посланцы почти не покидали гостиницу, а прислуга, привыкшая к ним и смекнувшая, что чрезмерной щедрости от них ожидать нечего, не утруждала себя заботами и не стремилась поменять постояльцам полотенца и простыни и смахнуть слегка пыль со скудной разрозненной мебели в номере. Ради экономии жили посланцы в ужасающей тесноте, деля одну комнату на двоих, и здесь же готовили себе завтрак и ужин, пользуясь для этого горячей водой для мытья. Более всего страдали они все же от своих утренних посещений министерства. Целый рой бездельников и мошенников, словно бы населявших министерство и жужжавших в его коридорах и кабинетах, сочиняли едкие куплеты, задевавшие достоинство посланцев, которые слышали, как их напевают везде, где бы они ни появлялись. Самые наглые проделывали с ними шутки еще более издевательские, например, ставили ведра с водой у порога дверей, в которые им предстояло пройти, или совсем низко натягивали шнурок, чтобы посланцы споткнулись, подносили зажженные свечи к полам одежд, чтобы подпалить их. Иногда, войдя в комнату для ожидания, они видели, что стулья заняты другими просителями, более ранними; тех уже приучили к подобным ситуациям, и за целую жизнь, наполненную выжиданием, лестью, униженными просьбами, хлопотами и обманами, они очерствели и притворялись теперь, что не замечают присутствия других людей — за три обычных для министерства часа ожидания ни на минуту не уступали посланцам Барселоны стулья. Министр по-прежнему их не принимал. Каждый день, когда истекало время ожидания, в зале, где все детали были изучены до мельчайших подробностей, открывалась неприметная дверь, входил служитель в бакенбардах и протягивал им на подносе послание, в котором министр извещал, что в этот день он их принять при всем желании не сможет. Министр столь непринужденно вплетал в свой текст жаргонные словечки, что делал его совсем непонятным и ставил этим в тупик посланцев, печалившихся, правильно ли они разобрались

¹ Покровительница Каталонии.

в указаниях министра, перемены настроения которого старались уловить по едва заметным признакам. Порой после долгих колебаний и споров они посылали ответ. Для этой цели в специальной типографии на Калье-Майор были заказаны бланки с гербом, но — увы! — то ли по ошибке, то ли нарочно герб Валенсии заменил на них герб Барселоны, который они просили отпечатать. Исправление заняло бы целый месяц, так что пришлось смириться. На этих творениях печатного искусства они писали: «Мы прекрасно осознаем, сколь тяжел груз, который Ваше Превосходительство — да продлит Господь Ваши дни на долгие годы — возложили на себя, и сколь Вы заняты, но мы позволяем себе докучать Вам при всем нашем глубококом уважении, отдавая отчет в важности той миссии, которую нам доверили...» и т. д. На что министр отвечал на следующий день, уснащая свое послание самыми непристойными выражениями мадридских улиц. В ответ посланцы писали: «Быть может, у Вашего Превосходительства будет немного больше времени, если Ваше Превосходительство не станет так широко растрачивать его на шутки». По вечерам они писали домой, в Барселону, изливая свои горести и тоску по близким людям. Иной раз чернила расплывались, появлялась клякса — трудно было сдерживать слезы.

Между тем в Барселоне Руководящий совет Всемирной выставки под руководством Риуса-и-Тауле не дремал. «Поставим Мадрид перед свершившимся фактом» — похоже, таким было указание. Заказали, получили и одобрили проекты зданий, памятников, различных сооружений, подсобных служб, которым предназначалось разместиться на выставочной площадке; строительство развернулось, да еще в темпе, который имевшийся капитал долго не мог выдержать. Когда весь парк Сюдаделы был перекопан, аюнтамьенто пригласило корреспондентов посетить строительство.

Желая усилить их интерес, Совет удостоил журналистов банкетом; меню свидетельствует о космополитических склонностях амфитрионов: Potage: Bisque d'écrevisses à l'américaine. Relève: Loup à la genevoise. Entrées: Poulardes du Mans à la Toulouse, tranches de filet à la Godard. Légumes: Petit pois au beurre. Rôts: Perdreaux jeunes en croustade, galantine de dinde truffée. Entremets: Biscuits Martin décorés. Ananas et gateaux. Dessert assorti. Vins: Porto, Château d'yquem, Bordeaux y

Champagne Mumm¹. На банкете была сообщена и назначенная дата открытия Выставки (весна 1887 года); хвалебные отклики появились в многочисленных изданиях. Напечатали рекламные афиши и развесили их по всем железнодорожным станциям Европы; разослали приглашения в адрес множества компаний и фирм, испанских и иностранных: их призывали принять участие и сообщали о проведении различных литературных конкурсов, как было тогда принято. Ответов получили немного, но все же получили. В конце 1886 года в печати стали появляться сообщения о распределении заказов на обеспечение тех или иных услуг: «Обслуживание ватерклозетов и туалетных комнат передано в руки сеньора Фракседаса-и-Флори, как вполне соответствующее условиям, которые уже известны. Этот достойный предприниматель предполагает обеспечить в названных выше заведениях полное их обслуживание, снабжая туалеты всем необходимым: бельем, мылом и одеколоном. В распоряжение посетителей Выставки и ее участников будет предоставлена также комната для чистки обуви и достаточное число посыльных для различных поручений и доставки в отели купленных на Выставке товаров. Мы поздравляем сеньора Фракседаса-и-Флори: понимая всю доходность предприятия, он успешно помешал иностранцам положить в карман значительный куш». В Мадриде министр не выдержал и уступил. Это был человек свирепого, какого-то даже нечеловеческого вида, крупный и плотный. За глаза его называли Африканцем. В Африке он никогда не бывал и никаких отношений с этим континентом не поддерживал; Африканцем его прозвали за внешность и манеры. Узнав о прозвище, он ничуть не досадовал, а взял за обыкновение носить в носу серьгу. Посланцев Совета он принял крайне холодно, но время, хоть они об этом и не знали, сыграло в их пользу: увидев этих людей, министр оказался обезоружен. Бесконечные часы ожидания, горести и перенесенные издевательства состарили их; не разлучаясь ни днем, ни ночью, они в конце концов стали похожи друг на друга как две капли воды, и оба — на отшельника

¹ Суп: бульон из раков по-американски. Рыбная перемена: кайкан по-жюневски. Первая мясная перемена: леманские пулярки по-тулузски, филе по-годарски. Овощи: зеленый горошек с маслом. Вторая мясная перемена: куропатки на гренках; паштет из индейки с трюфелями под галантином. Сладкое: фигурный торт Мартен; ананасы и пирожное. Конфеты. Вина: портвейн, шато-икем, бордо и шампанское Мумм (франц.).

с картины из мастерской Сурбарана, в созерцании которой провели они долгие месяцы. Министр вдруг почувствовал, что он утомился: безмерная власть, которой он выхвально перед ними, тяжелым грузом легла ему на плечи — и упорное противостояние закончилось усталой, немного грустной беседой.



Строительную площадку в парке Сюдаделы окружал забор, охранявший работы на Выставке от назойливых любопытных. В ограде, однако, имелось немало проломов, а кроме того, народ, работавший там, входил и выходил через калитки как хотел и когда хотел, и никто ничего не проверял, поэтому пройти за забор не составляло труда. Онофре Боувилла положил за пазуху пять брошюр и, спрятав остальные между двумя гранитными глыбами у какой-то стены, тянувшейся вдоль железной дороги, проскользнул на стройку. Только теперь, увидев весь этот ад, эту жуткую неразбериху, он ясно осознал необыкновенную трудность своей задачи. До сих пор он ведь только помогал матери в поле, но не занимался никаким делом и даже не представлял, сколь сложно вступать в общение с себе подобными. А, ладно, подумал он, буду считать, что я переменил занятие: раньше раскидывал курам кукурузу, а теперь раскидываю брошюры, распространяю подпольно революцию. Все едино: управлялся с тем делом, должен управиться и с этим. Воодушевившись таким глубокомысленным выводом, он подошел к плотникам, прибивавшим доски к остову того сооружения, которое должно было вскоре стать выставочным павильоном. Желая обратить на себя внимание, он закричал сначала: «Эй, привет! — потом: — Добрый денек послал нам Господь!» — и так далее. Наконец один из плотников краем глаза посмотрел на него и слегка приподнял брови — спрашивал, чего парень хочет.

— Я принес интересные брошюры, — крикнул Онофре, вытащил одну книжечку и показал ее плотнику.

— Что ты говоришь? — закричал теперь уже плотник; грохот молотков, одним из которых стучал он сам, не давал ему в эту минуту разобрать ни слова, а может быть,

он уже навсегда оглох. Онофре хотел повторить, но ничего не вышло: подвода, которую тащили три мула, заставила его быстро попятиться. Погонщик лихо щелкал кнутом, раскручивая его в воздухе, и в то же время тянул за уздечку, крепко упершись пятками в землю и откинувшись всем телом назад. «Поберегись, поберегись!» — орал он. Белесые тучи пыли поднимались при каждом толчке над наваленным на подводе мусором. Колеса гремели по камням и выбоинам, звук был какой-то металлический, словно бы кто-то стучал дверным молотком. «Эй, мулы, веселей, веселей!» — кричал погонщик. Онофре Боувила предпочел уйти. Мысль о том, что лучше бы всего выкинуть брошюры на свалку, показалась ему прекрасной, но уже через несколько минут он отверг ее, боясь, как бы анархисты не устроили за ним слежку, особенно на первых порах.

— Что там у тебя, парень? — спросил каменщик, к которому он подошел; каменщик этот работал еще с несколькими товарищами, сейчас у них был перерыв. Один из них караулил. Увидев поблизости старшего рабочего, он свистел, и каменщики поспешно брались за работу. Между прочим, от этого ведет свое начало одна народная песенка.

— Вот вам, если надумали делать революцию, — ответил Онофре, протягивая книжечку.

Каменщик скомкал брошюру и кинул ее на кучу щебня.

— Слушай, парень, мы же ни читать, ни писать не знаем, — сказал он Онофре. — Ты тут еще что-то и про революцию говорил? Это дело серьезное. Знаешь, — добавил каменщик, — лучше будет, если ты уйдешь, пока старший не увидел тебя.

После этих слов Онофре насторожился и некоторое время тщательно разглядывал площадку. Он быстро стал отличать старших рабочих. Подметил также, что в обязанности их входило отдавать распоряжения и следить, чтобы рабочие их выполняли, а не наблюдать за идейными заблуждениями подчиненных. Но действовать все равно нужно остороженько, подумал Онофре. Каждый старший отвечал за какой-нибудь определенный участок площадки или за какой-то вид работ; старших было много, и вели они себя по-разному. Еще по площадке ходили взад-вперед какие-то люди в пыльниках, были они в шляпах и в очках и проверяли, как идут работы:

снимали размеры с помощью вары¹ и теодолита, сверяли свои данные с планами и давали указания старшим рабочим, внимательно их слушавшим и изо всех сил старавшимся изобразить полное понимание. «Не извольте беспокоиться, все будет, как вы сказали, все-все, даже самая маленькая деталька», — казалось, хотели сказать они своими поклонами и расшаркиванием. Важные господа были архитекторы, их помощники и служащие. Они приходили, чтобы как-то объединить уже выполненные работы. Каждая группа мастеровых, казалось, работала сама по себе, ни от кого как бы не завися — кроме тех дней, когда появлялись архитекторы. Одни ставили леса, другие их снимали; эти рыли канавы, те их засыпали, здесь складывали кирпичную стену, там — ломали, и везде — приказы, противоречащие один другому, крики, свистки, ржание лошадей, рев ослов, шипенье паровых котлов, скрип колес, звон железа, грохот камней, стук топоров, скрежет инструментов, словно бы сюда собрали со всей страны безумных, чтобы нашли они выход своему неистовству и буйству. К этому времени работы на выставке обрели собственный жизненный ритм, сбить с которого их ничто и никто не могло. Технических средств хватало, чтобы довести работы до конца: в Барселоне насчитывалось теперь 50 архитекторов и 146 подрядчиков, а в их распоряжении — сотни и сотни плавильных печей, лесопилен и механических мастерских. Рабочих рук тоже хватало, хоть отбавляй — ведь в Барселоне наступил экономический спад и вместе с ним безработица. Единственное, чего не было в нужном количестве, так это денег, чтобы платить такой массе народа и поставщикам материалов. Мадрид, как утверждала одна сатирическая газета тех времен, «зубами держался за мощну»: эта острота, дающая представление о юморе эпохи, лишь подтверждала упорную скарედность правительства. «Не везет, — сказал Риус-и-Тауле, пожимая плечами. — Обойдемся, попросту не будем никому платить». Городская управа, действуя по этому принципу, вошла в огромные долги. «Я только тогда и чувствую себя алькальдом, — говорил Риус-и-Тауле, — когда могу тратить сколько вздумается да веселиться от души». Сподвижники алькальда подхватили его девиз. Но Онофре Боувила еще не знал всего этого. Бродя по строительной площадке, к разме-

¹ Измерительный инструмент.

рам которой он пытался понемногу привыкнуть, Онофре пугался то того, то другого. Сильней всего он испугался, когда откуда ни возьмись на стройке появились жандармы. Однако, оправившись от испуга, он подумал, что в этом немыслимом беспорядке жандармы должны бороться с митингами, выступлениями рабочих, возмущениями и другими серьезными вещами, а его присутствие, может, пройдет незамеченным, если он будет остерегаться. Немного успокоившись, Онофре вспомнил о своем грузе, но до конца рабочего дня так и не сумел пристроить ни единой брошюры. Валясь с ног от усталости, не евши с утра, он вытащил пакет, который спрятал прежде, чем пролезть на площадку, и возвратился пешком в пансион. А пока шел, думал: да неужто у меня не хватит ума передать какую-то брошюру другому человеку, ведь чего проще. Не может быть, чтоб не справился, говорил Онофре сам себе, хоть и видно, что все куда трудней, чем кажется поначалу. Не берись за любое дело, пока не оглядишься хорошенько, не поймешь, на каком ты свете, подумал он. Конечно, мне еще многому нужно научиться. Правда, учиться-то надо наскоро, времени ведь в обрез, присовокупил он убежденно. Я, конечно, совсем молодой, но как раз теперь и прокладывать себе дорогу, если хочешь стать богатым, потом поздно будет. Стать богатым — вот намеченная цель в жизни. Когда отец эмигрировал на Кубу, они с матерью перебивались кое-как, голодали и мерзли каждую зиму. С той поры как вошел он в разум, терпеливо сносить эти тяготы помогало ему твердое убеждение, будто в один прекрасный день отец вернется с набитыми деньгами карманами. Вот жизнь пойдет, думал Онофре, и навсегда уже, никогда не переменится. Мать не говорила и не делала ничего такого, что могло породить в голове мальчика подобные фантазии, но она и не разубеждала его — просто никогда не заводила об этом разговор. Так он и предавался своим вымыслам сколько хотел. Никогда не задумывался, почему же не получают они хоть изредка денежные переводы от отца, если тот и в самом деле, как воображал себе Онофре, разбогател, почему отец допускает, чтобы жена и сын влачили свое нищенское существование, в то время как сам он живет в довольстве. Когда же Онофре по наивности делился своими мечтами с другими, их ответы отталкивали мальчика, и поэтому он совсем перестал говорить об отце. Он мол-

чал, упорно, как мать. Так и жили они год за годом вплоть до того дня, когда дядюшка Тоне привез новость: Жоан Боувила вернулся с Кубы, и он в самом деле разбогател. Какими путями эта новость достигла ушей водителя, не знал никто. Многие сомневались в ее истинности, но вынуждены были признать правду, когда, несколько дней спустя, дядюшка Тоне привез в своей повозке Жоана Боувила собственной персоной. Десять лет назад он же отвез его в Бассору, на железнодорожную станцию, откуда тот отправился в Барселону и сел там на корабль — теперь он привез его обратно. Перед церковью собрался народ со всей округи посмотреть, как придет Боувила, люди неотрывно глядели на холм, на дорогу, спускавшуюся к деревне через дубовую рощу. Служка дожидался знака от священника, чтобы зазвонить в колокол. Один Онофре не узнал сразу отца, когда повозка появилась из-за поворота. Остальные мигом поняли, кто перед ними, хотя он и сильно переменялся за десять лет от крайностей тамошнего климата и превратностей жизни. На нем был белый полотняный костюм и панاما с широкими полями. На коленях он держал квадратный пакет, завернутый в цветастый платок. «Должно быть, ты и есть Онофре» — таковы были первые его слова, которые он произнес, слезая с повозки. «Да, сеньор», — ответил Онофре. Жоан Боувила преклонил колена и поцеловал пыль на дороге — он не хотел подниматься с колен, пока священник не благословит его. Смотрел на сына повлажневшими глазами, взор его помутнел от нахлынувших чувств. «Совсем большой, — сказал он. — И на кого ж, говорят, ты похож?» «На вас, отец», — ответил Онофре не колеблясь. В ту минуту он почувствовал, с каким любопытством все на них смотрят, понял, что у них в мыслях. Жоан Боувила снял с повозки квадратный пакет. «Смотри-ка, что я тебе привез», — сказал он, сдергивая с пакета цветастый платок. Нет, это был не пакет, а проволочная клетка, в которой сидела обезьяна, немного побольше кролика, худая и с длинным хвостом. Обезьяна казалась разъяренной — хоть и была невелика, но свирепо скалилась; Жоан Боувила открыл дверцу и просунул внутрь руку; обезьяна крепко уцепилась за пальцы. Он вытащил руку и поднес обезьяну к лицу Онофре, который опасливо на нее глядел. «Не бойся, сынок, возьми, — сказал отец, — она не тронет, это тебе». Онофре взял обезьянку на руки, но она взобра-

лась ему на плечо, уселась и хлестнула по лицу хвостом. Вмешался священник: «Я отслужу благодарственный молебен Господу за твое возвращение», — сказал он. Жоан Боувила слегка склонил голову, потом оглядел сверху донизу церковный фасад. Это было простое строение из нетесаного камня, с одним только прямоугольным нефом; колокольня в основании была квадратной. «Церковь нужно бы обновить как следует», — громко сказал Жоан Боувила, которого после возвращения все стали звать Американцем, народ надеялся, что с его приездом дела в долине пойдут по-новому. Жоан Боувила снял шляпу, предложил руку жене, и они вместе вошли в храм. Перед алтарем сияли свечи. Никто прежде не видывал такой церемонии. Онофре отчетливо припоминал эти сказочные мгновенья, пока тащился, голодный и усталый, в свой пансион. Когда навстречу ему ехал экипаж, он старался осторожно разглядеть, кто в нем сидит, словно бы промелькнувший образ мог питать его мечты. Однако, по мере того как он подходил к своему мрачному кварталу, экипажи встречались все реже. Минувший день не обескуражил Онофре. На завтра, только забрезжило, он уже был на площадке. Брошюры оставил в пансионе и разгуливал теперь налегке, чтобы хорошенько разглядеть стройку — поле своей будущей деятельности. Он быстро сообразил, что не все работавшие здесь люди принадлежат к одному разряду. Здесь были мастеровые и чернорабочие, и между ними существовала большая разница. Мастеровые владели ремеслом, уважали иерархию и обычаи старинных корпораций, говорили о хозяевах с уважением и почти на равных разговаривали со старшими рабочими; их гордость можно было сравнить с гордостью художника, они ощущали себя людьми нужными, им и дела не было до пропаганды защиты интересов трудящихся, потому что получали они за труды приличное вознаграждение. Чернорабочие или поденщики были выходцами из деревни и ничего не умели; в город их привело отчаяние: согнала с земли засуха, разорила война и ее бедствия или просто с наследственного надела семья не могла прокормиться. Вот они и тащили за собой в город жену и детей, а случалось, и дальних родичей, ставших непригодными к труду: оставить их в деревне одних на произвол судьбы они не могли, вот и сносили с героической стойкостью бедняков еще и необходимость их кормить. Жили поденщики в сколоченных из жести, досок

и картона лачугах прямо на морском берегу, и поселок этот тянулся от причала Выставки до газовой фабрики. Женщин и детей было видимо-невидимо в этом лагере, возникшем под тенью строительных лесов и каркасов, в которых уже угадывались очертания будущих дворцов и павильонов. Были здесь и жены чернорабочих, и подружки. Но почти все — на сносях. По целым дням развешивали женщины влажную одежду на веревках, натянутых на воткнутых в песок жердях, надеясь, что теплый морской ветерок и сияющее солнце ее просушат. Женщины стряпали еду на стоящих у дверей жаровнях и раздували огонь соломенными вениками, размахивая ими что было сил; они чинили одежду, штопали ее и, занимаясь всем этим, еще приглядывали за детворой. Грязь толстым слоем покрывала ребячьи личики; разгуливали малыши нагишом — животы огромные, вздутые — и кидались камнями в кого попало. Если они подходили поближе к стряпавшей женщине, то рисковали схлопотать затрепину или шлепок. Их отгоняли, но запах пищи притягивал ребятишек, и они снова подходили к жаровне. Между женщинами часто вспыхивали перепалки, слышалась ругань, крики, доходило и до драки. Жандармы в этих случаях держались на благоразумном расстоянии и не вмешивались, если только не сверкнет нож или наваха. Онофре Боувила по целым дням приглядывался к незнакомой жизни. Внешность у него была самая безобидная, ни к одному участку работ он приписан не был, определенных часов работы для него не существовало — вот он и ходил из конца в конец строительства, чтобы к нему попривыкли. Если кто работал, он тому не мешал; если отдыхали — расспрашивал об их занятии; если нужно было кому-то помочь — помогал. Мало-помалу коситься на него бросили, а кое-кто даже и стал относиться уважительно.

Промелькнула первая неделя, и, хотя не удалось отдать ни одной брошюры, Онофре нашел на подушке деньги, которые обещала Дельфина и которые она же сама наверняка и положила. Внутренне он поздравил себя с порядочностью и честностью своих работодателей. И я не смошенничаю, думал он, хоть мне эта революция, которую пропагандирую на всех углах, совершенно ни к чему, но хочется показать, что могу это делать не хуже других. Скоро начну раздавать проклятые брошюры: усердие и благоразумие уже приносят плоды,

я победил первоначальное недоверие, которое могло возникнуть из-за неловкости, да к тому же за мной никто не наблюдает: все увлечены этой дурацкой Выставкой. И в самом деле: в 1886 году, когда до открытия оставалось еще два года, одна газета предупреждала, что «теперь Барселону станут постоянно посещать иностранцы, желающие составить себе представление о ее красоте, поэтому парадное убранство города, удобства и личная безопасность — вот вопросы, к которым должно по преимуществу обратиться драгоценное внимание властей». После этого и дня не проходило, чтобы газеты не высказывали различных пожеланий. Построить сточную систему в новой части города — предлагала одна. Снести бараки, обезображивающие Пласа-де-Каталунья, — предлагала другая. Поставить на Пасео-де-Колон каменные скамьи. Привести в порядок окраины города, такие, как Побле-Сек, через которые будут проезжать те, кто воспользуется пребыванием в Барселоне, чтобы побывать на горе Монжуик и поглядеть на прекрасные источники. Некоторых волновала деятельность владельцев гостиниц, ресторанов, заезжих дворов, кофеен, пансионатов, они увещевали их, поясняли, что «стремление получить как можно больше выгоды, в общем-то, приводит к противоположному, приносит только вред самим владельцам, и в результате приезжий не хочет при таких условиях тратиться». Эти газеты куда больше занимало, какое впечатление производят на чужеземца городские жители, честности, познаниям и манерам которых они откровенно не доверяли, нежели сам город Барселона.

«Дай мне, Пабло, еще брошюр», — сказал Онофре. «Ты целых три недели возился с распространением тех, что были в первом пакете, — проворчал апостол. — Постарайся работать поживее». Было пять часов утра; солнце поднялось над горизонтом, и лучи его пробивались сквозь щели в дверях. В резком свете этого раннего летнего утра грязное, заваленное хламом логово Пабло показалось еще более тесным. «Сперва мне было нелегко, но увидишь, уже с сегодняшнего дня все переменится», — сказал Онофре. Вторую упаковку брошюр он распространил всего за шесть дней. Пабло сказал ему: «Слушай, мальчик, прости меня за мои слова в прошлый раз. Я знаю, начинать всегда трудно, но иногда сдает нетерпенье,

понимаешь? Все из-за жары, жара и заточенье меня убивают». Жара давала себя чувствовать и на строительной площадке Выставки. Здоровые люди бились в судорогах, а скоро начались и летние поносы, особенно опасные, потому что уносили детей десятками.

— Еще хуже будет, когда закончим строить и останемся без работы,— говорили самые спокойные.

Самые доверчивые считали главным, чтобы открылась Выставка, тогда Барселона превратится в великий город, где всем найдется работа, городское хозяйство наверняка станет лучше, все получают нужную им помощь. Над подобными благоглупостями охотно потешались другие рабочие. Онофре, пользуясь случаем, рассказывал о Бакунине и всегда умудрялся раздать несколько брошюр. Но, занимаясь своим делом, он не мог не твердить про себя: Господи помилуй, сам не знаю, как превратился в пропагандиста анархизма. Еще несколько недель назад слыхом не слыхивал про эту чушь, а теперь, верно, кажусь твердо убежденным человеком; мог бы и посмеяться, если бы я не рисковал собственной шкурой. В конце концов, всегда повторял он в заключение, постараюсь делать дело наилучшим образом. Что ни говори, а делать его плохо так же опасно, как и делать хорошо, а делая его хорошо, я вхожу в доверие к тем и другим, а сам никому не доверяю. Мысль о том, как было бы здорово, если бы тебе все доверяли, а ты — никому, казалась Онофре вершиной мудрости.



— Значит, молодой человек, вы трудитесь на строительстве Всемирной выставки? Прекрасно, прекрасно,— сказал сеньор Браульо, когда Онофре Боувилла отдал ему свой первый заработок.— Я убежден, и я так и сказал своей жене, она не даст мне соврать, что Выставка, если захочет того Господь, послужит расцвету Барселоны, и город займет подобающее ему место.

— Именно так я и думаю, сеньор Браульо,— ответил Онофре.

Постепенно Онофре познакомился не только с сеньором Браульо, его женой сеньорой Агатой, Дельфиной

и Вельзевулом, но и с другими обитателями этого мирка. Пансионеров бывало когда как: то восемь, то девять или десять, но только четверо были постоянными жильцами: Онофре, мосен¹ Бизансьо, священник на покое, гадалка по имени Микаела Кастро и парикмахер, который обслуживал клиентов в прихожей и которого все запросто звали Мариано. Дородный и энергичный, он был по натуре своей человеком плохим, но любезным в обращении. К тому же завзятый болтун и, вероятно, поэтому оказался первым постояльцем, с которым свел знакомство Онофре Боувила. Парикмахер рассказал, что выучился ремеслу на военной службе, потом работал мастером в разных парикмахерских, пока, охваченный жадой процветания из-за того, что хотел вступить в брак с одной маникюршей, не открыл свое заведение. «А свадьбы так и не было. За несколько дней до объявления помолвки она вдруг расплакалась», — рассказывал Мариано. Стал расспрашивать, что случилось. И она призналась, что состоит в связи с одним сеньором, которому приглянулась: тот делал ей часто подарки, обещал снять квартиру. Вот она и сдалась, а теперь не может выйти замуж за Мариано, не поведав ему обо всем. Мариано совсем растерялся: «Но сколько же времени это длится?» — только это и нашелся спросить. Ему хотелось знать, продолжается ли связь несколько дней, несколько месяцев или лет? Почему-то эта деталь казалась ему самой важной. Тайна так и осталась нераскрытой. Смятение чувств мешало маникюрше понять, о чем ее спрашивают, только все твердила: «Я очень, очень... несчастна». Потом парикмахер настаивал, чтобы она вернула подаренное к помолвке кольцо. Маникюрша вернуть кольцо отказывалась, и адвокат, к которому он обратился, посоветовал не доводить дело до суда. «Проиграете», — сказал адвокат. Теперь, когда прошло столько лет, парикмахер радовался, что все так обернулось. «Женщины — неиссякаемый источник расходов», — утверждал Мариано. О своей же работе в парикмахерской говорил, напротив, всегда с интересом. «Как-то работаю я в парикмахерской в Равале, — рассказал он Онофре при следующем удобном случае, — и слышу какой-то грохот на улице. Выглядываю и спрашиваю: «Что происходит? Откуда столько шума?»

¹ Почтительное обращение, которое в Каталонии добавляют к имени священника.

Глядь — у дверей парикмахерской выстроился целый эскадрон верхами. Вдруг флигель-адъютант спрыгивает с коня и входит в парикмахерскую; мне и сейчас кажется, будто я слышу, как стучат его каблуки и звенят шпоры по каменным плитам пола. Значит, смотрит он на меня и спрашивает: «Вы хозяин?» А я: «Хозяин отлучился». А он: «И никого здесь нет, кто бы мог подстричь?» — «К вашим услугам, ваша милость, садитесь». «Нет, — говорит, — не меня надо стричь. Генерала Коста-и-Гассоль». Представляешь себе? Нет, ясное дело, ты еще слишком молодой и не можешь его помнить. Тебя тогда и на свете не было. Так вот, это был карлистский генерал, прославившийся своей доблестью и жестокостью. С горсткой людей взял он Тортосу и поставил под ружье полгорода. Потом его расстрелял Эспартеро, тоже был великий человек; если хочешь знать мое мнение, так они были под стать друг другу; ладно, политику в сторону, я в нее не вмешиваюсь. О чем я рассказывал? А, да, и вот вижу я, как входит в парикмахерскую самолично Коста-и-Гассоль, весь увешанный медалями, с головы до пят; садится в кресло, смотрит на меня и говорит: «Подстричь и побрить». Я, конечно, наложил в штаны, но говорю: «Готов служить вашей милости, генерал». В общем, делаю, что велено, и, когда кончаю работу, он спрашивает: «Сколько с меня?» А я: «Для вашей милости, генерал, даром». И генерал встает и уходит».

Такие истории Мариано мог рассказывать часами, пока что-нибудь или кто-нибудь не прерывал его болтовни. Как всякий цирюльник его времени, Мариано вырывал зубы, составлял мази, ставил горчичники и припарки и помогал женщинам скинуть, старался сбыть чудодейственные мази своей скудной клиентуре. Был он мнительный, страдал от камней в желчном пузыре и в печени, всегда тепло одевался и как чумы боялся Микаэлы Кастро, которая нагадала ему тяжкую смерть в очень скором времени. Гадалка была женщиной в годах, одно веко у нее толком не поднималось, молчаливая, рот открывала, только чтобы предсказать несчастье. Твердо верила в свой провидческий дар; пророчества ее не сбывались, но это ничуть не разубеждало ее, не ослабляло веру в себя, и она по-прежнему вещала о грядущих катастрофах. «Опустошительный пожар сметет с лица земли Барселону, никто не спасется, не выйдет живым из огненной могилы», — сообщала она, входя в комнату, служившую

столовой. На нее не обращали внимания, хотя почти каждый старался тихонько коснуться чего-нибудь деревянного или сложить пальцы для заклатья. Никто не знал, откуда берутся в ее голове эти ужасы и зачем. «Ждите наводнений, эпидемий, войн, голода», — ни с того ни с сего вдруг говорила она. Клиентура ее — она принимала прямо в пансионе, в своей комнате, по особой договоренности с сеньором Браульо, очень к ней благоволившим и проявившим в этом случае великодушие, — состояла из людей самого разного возраста, но очень скромного положения и достатка. После беседы с гадалкой люди всегда выходили озабоченными и грустными. И тем не менее вскоре снова приходили за новой дозой пессимизма и отчаяния. Пророческие откровения придавали некоторую значительность их однообразной повседневной жизни, и, возможно, именно поэтому они часто появлялись у гадалки. Возможно, еще и потому, что близкая и неизбежная трагедия помогала легче переносить ничтожность сегодняшней жизни. Никогда ничто из предсказанного не сбывалось, а если и случались какие-нибудь беды, то совсем иного свойства. Мосен Бизансьо ел на другом конце столовой и, уставившись в скатерть, едва слышно шептал заклатья. Никогда не садились они вместе. Оба жили высокой духовной жизнью и уважали друг друга, хоть и сражались в разных лагерях. Для мосена Бизансьо Микаела Кастро была достойным врагом, воплощением Сатаны. А для Микаелы Кастро мосен Бизансьо служил неиссякаемым источником самоутверждения, ибо верил в ее дар, хоть и приписывал его дьяволу. Мосен Бизансьо, старый, потрепанный жизнью человек, говорил, что не хочет умирать, пока не побывает в Риме, не преклонит колена и не поклонится праху Святого Петра. К тому же ему очень хотелось собственными глазами увидеть огромную кадилъницу, которая, как он ошибочно полагал, находится в Ватикане. Микаела Кастро предсказала, что он в скором времени предпримет путешествие в Рим, но умрет в дороге и даже не в виду Святого города. За мосеном Бизансьо из ближних церквей присылали, когда для какой-нибудь праздничной службы требовалось участие большего числа священников, чем состояло в штате, нужно было увеличить число поющих в хоре или исполняющих требы; звали его и как знатока церковного пения, восьмигласия и псалмов, даже простым служкой приходилось ему бывать; во всех тонкостях торжественных

церковных служб, ныне в значительной степени позабытых, был он докой, хотя особым дарованием не обладал. Всеми этими трудами, да еще и подменой священников, зарабатывал кое-какие деньги, ровно столько, чтобы жить, не страшась завтрашнего дня. Клирик, парикмахер, пифия и сам Онофре Боувила занимали комнаты третьего этажа. Эти комнаты, хоть и ничем не лучше и не просторнее других, обладали тем неоценимым преимуществом, что в них были балконы и выходили они на улицу. Поэтому в комнатах на третьем этаже жить было веселее, хоть и змеились по потолку трещины, полы перекосились, на стенах темнели пятна сырости, а мебель стояла там разрозненная и ободранная. Балконы выходили в тупичок, вид открывался сумрачный, но иногда, в солнечный день — ослепительно яркий, — на кованых перилах рассаживались белоснежные горлицы, залетевшие, должно быть, сюда из какой-то голубятни и потерявшиеся или просто не желавшие возвращаться и гнездившиеся теперь где-то здесь, по соседству. Мосен Бизансьо часто крошил им неосвященные облатки для причастия. Вот птицы и прилетали каждый день. В комнатах второго этажа, где не было ни окон, ни балконов на улицу, останавливались случайные постояльцы.

На четвертом этаже, под черепичной крышей, спали сеньор Браульо, сеньора Агата и Дельфина. Сеньора Агата страдала от артрита и подагры, которые не давали ей шагу ступить, и сидела она в кресле в какой-то полудреме. Оживлялась, лишь когда ела лакомства, а так как врач категорически запретил ей сладкое, то муж и дочка разрешали попробовать ей крошечку чего-нибудь вкусного только по великим праздникам. Боли у нее были постоянные, но она никогда не жаловалась, и не потому, что обладала сильной волей, а скорее от слабости организма. Иной раз глаза ее увлажнялись и по гладким, круглым щекам текли слезы, но в лице ничего не менялось, и оно все так же ничего не выражало. Эта трагедия в семье, казалось, ничуть не огорчала сеньора Браульо. Он всегда находился в добром расположении духа и рад бывал поспорить по любому поводу, любил рассказывать анекдоты, а также слушать, как их рассказывают другие, и, как бы ни были они плохи, хвалил, смеялся сдержанно, но долго; мог пройти целый час, а он все еще улыбался, вспоминая рассказанный анекдот, — не было слушателя благодарнее его. В любой час он разгуливал по дому вы-

мытый, вычищенный — Мариано брил его по утрам, а при надобности еще и вечером. К завтраку, обеду и ужину он появлялся безупречно одетым, в остальное время ходил в подштанниках, чтобы не мять брюки, которые дочь, ворча, гладила ежедневно. Он дружески относился к парикмахеру, почтительно — к священнику и снисходительно — к гадалке, к столику которой подсаживался редко, потому что когда она впадала в транс, то теряла контроль над своими движениями и тогда сеньору Браульо грозила опасность. Кроме изысканности манер, сеньор Браульо обладал еще способностью наставлять себе синяки и шишки: то он появлялся с заплывшим глазом, то с кровоточащим порезом на подбородке, то с синяком на скуле, то с вывихнутой рукой; вечно ходил в бинтах, пластырях и примочках. В мужчине, столь ревниво относящемся к своей внешности, это не могло не выглядеть странным. Либо он самый неуклюжий человек, какого я только знаю, либо тут что-то нечисто, думал Онофре. Но самым загадочным членом семьи была Дельфина, и как раз она все сильнее волновала Онофре, которого так и тянуло к ней — влечение необъяснимое и все усиливающееся, род недуга, одержимость.

Онофре так преуспевал, раздавая брошюры, что ему частенько приходилось забегать на улицу Мусго за новым пакетом, пополнить свои запасы. Там его всегда встречал Пабло; частые встречи породили нечто напоминающее товарищеские отношения между закаленным апостолом и усердным неофитом. Пабло без конца жаловался на злобность полиции, столько лет его преследовавшей; он вынужден из-за этого жить как изгнанник, как изгой, а ведь он — человек действия, для него вынужденное бездействие страшнее пыток — так Пабло думал в то время; он выбит из колеи, завидует Онофре, ведь тот может каждый день вступать в контакт с трудящимися массами; ему казалось, что Онофре недостаточно пользуется этим неоценимым благом; Пабло бранил его, поносил за действительные или воображаемые проступки. Онофре, понемногу узнавая апостола, не мешал ему изливаться; он понимал, что по сути это был несчастный человек и будущее его было предreshено. Пабло легко обижался, противоречил из упрямства и стремился всегда

оказаться правым — три несомненных признака слабости характера. Онофре был ему необходим, особенно он нуждался в нем, чтобы не утратить правильность суждений. От Онофре зависело, чтобы он выжил в мире осторожных умников. Несмотря на особенности характера, Пабло не заслужил такого страшного конца. В 1896 году, когда он уже несколько лет находился в подземельях крепости Монжуик, тюремщики обвинили его в соучастии в изготовлении бомбы, брошенной в день праздника Тела Христова. Как-то утром его вытащили из одиночки, скрученного ремнями, врезавшимися в тело до костей, и с завязанными глазами. Тащили его на весу не составляло никакого труда: от мук и жестокого обращения он совсем ссохся и весил теперь не более тридцати килограммов. Когда сняли повязку с глаз, он увидел, что лежит на краю бездны: внизу волны бились о скалы, обнажались черные подводные камни, острые, как лезвие топора. Тюремщики оставили его, связанного, лежать у края крепостного зубца — пятки в пустоте. Достаточно было сильного порыва ветра — он потерял бы равновесие, и все бы кончилось. Он мог и сам попытаться упасть в бездну и положить конец пытке, но не захотел или не отважился. Только не по своей воле, наверное, подумал он. Лейтенант, с ввалившимися щеками и каким-то восковым, трупным цветом лица, уперся концом сабли ему в грудь. «Подпиши признание, — сказал офицер, — а не то прикончу прямо здесь. Подпишешь, выйдешь через несколько дней на волю по-хорошему». Ему показали заявление, написанное как бы от его имени: он сообщал, что является одним из тех, на ком лежит ответственность за трагедию в праздник Тела Христова, что зовут его Джакомо Пиментелли и что он — итальянец. Все было абсурдно: проведя годы в темнице, Пабло никак не мог участвовать в том, что ему ставили в вину, что совершилось на улице считанные дни тому назад. К тому же Пабло не был итальянцем, в нем не было ни капли итальянской крови, хотя еще никому не удалось докопаться ни до его настоящего имени, ни до места рождения: на допросах он отвечал, что его зовут Пабло, и это все, что он гражданин мира и брат всему эксплуатируемому человечеству. Его водворили обратно в камеру, так и не заставив подписать бумагу. Там его подвесили за запястья на дверях и продержали восемь часов. Время от времени тюремщик подходил, плевал ему в лицо и скручивал половые органы. Почти каж-

дый день разыгрывали сцену казни: иногда набрасывали петлю на шею, иногда клали голову на плаху и делали вид, будто бы сейчас обезглавят, а бывало — ставили к стенке перед отделением солдат. Наконец мужество оставило Пабло, и он подписал показания, приняв на себя вину, которая в какой-то степени и была его виной, потому что он в то время ненавидел любое человеческое существо и, не колеблясь, убил бы кого угодно, если бы представился случай. Тогда Пабло по срочному приказу расстреляли в крепостном рву, как и многих других. Жестокий приказ отдал дон Антонио Кановас дель Кастильо¹, в то время премьер-министр, пятый срок исполнявший эту должность. Несколькими месяцами позднее, на водах в Санта-Агеда, он рассказал жене, что столкнулся сейчас с какой-то странной личностью, пациентом, как и они, бальнеологического курорта, и этот молодой человек поздоровался с ним необычайно учтиво. «Хотелось бы знать, кто он», — сказал задумчиво премьер-министр. Взгляд его омрачило тяжкое предчувствие, но он не поделился им с женой, боясь взволновать ее. Кановас одевался всегда в черное, собирал картины, фарфор, трости и старинные монеты, был сдержан в разговоре и всеми силами души презирал тех, кто выставлял напоказ золото и драгоценности. Всецело занятый внутренними и внешними проблемами, которые вставали перед страной, он был готов подавить железной рукой анархистское движение. Нам и так вполне хватает всяких трудностей, не хватало только этой стаи бешеных псов, думал он. Твердость — вот единственный способ обуздать хаос, который, по его мнению, надвигался на Испанию. Человек, вызвавший в его душе беспокойство в то лето 1897 года, был — и на этот раз в самом деле — итальянцем по фамилии Анджоллило; в книге приезжих он записался как корреспондент «Иль пополо»; молодой, волосы пепельные, и нечто декадентское во внешности, манеры самые изысканные. В один прекрасный день, когда Кановас сидел в плетеном кресле в саду водолечебницы под раскидистым деревом и читал газету, к нему подошел Анджоллило и сказал: «Умри, Кановас, умри, палач, никчемный, кровожадный человек». Выхватил из кармана пистолет и, трижды выстрелив в упор, убил на-

¹ Кановас дель Кастильо, Антонио (1828—1897), политический и государственный деятель, лидер консервативной партии.

повал. Супруга Кановаса в ярости набросилась на убийцу знаменитого человека и стала колотить его перламутровым веером с инкрустациями, который носила подвешенным на запястье. «Убийца! — закричала она. — Убийца!» Анджоллило отмел это обвинение, сказав ей, что он не убийца, а мститель за своих товарищей анархистов. «К вам, сеньора, у меня никаких претензий нет», — добавил он. Мужчины редко объясняют свои поступки, а если делают это, то неудачно.

Такое огромное количество материалов расходовалось для работ на Выставке, что, как сообщает газета тех дней, «все печи для обжига кирпича опустошены, так же много тратилось в это время и цемента, который поступал сюда со всех концов Каталонии и из-за границы. Только стройка главного Дворца промышленности каждодневно потребляет по 800 кинталов¹ цемента. Неустанно работают и обширные кузницы компаний «Маритима» и «Каса Жерона» в соответствии с договором на поставку арматуры и прогонов, так же трудятся и различные плотничьи мастерские, где уже изготавливаются некоторые, очень важные конструкции». Строительная площадка достигла 380 000 квадратных метров, уже поднимались первые здания, спроектированные специально для Выставки. Еще крепкие строения старой Сюдаделы отремонтировали; часть сохранившихся стен разобрали, а по улице Сисилья стали строить новые кварталы, чтобы до конца уничтожить следы военных укреплений. Это не означало, однако, что работы очень продвинулись. На самом-то деле дата, первоначально назначенная для открытия Выставки, миновала. Назвали другую, «на этот раз окончательную»: 8 апреля 1888 года. И все же, несмотря на твердое решение, пытались еще раз отложить открытие Выставки, но сделать это было уже невозможно: к 1889 году свою Выставку готовил Париж, а открыть Выставку одновременно с парижской было бы равнозначно самоубийству. Барселонские газеты несколько умилили свои восторги, зато усилили критику. «Возможно, было бы справедливее, если бы такие усилия и такие деньги потратили на вещи более насущные и необходимые, а не растрачивали на помпезные общественные здания, которые, конечно, произво-

¹ Мера веса, равная 46 кг.

дят впечатление, но от которых очень мало пользы, чтобы не сказать, что они и вовсе бесполезны», — доказывали одни. Другие высказывались еще куда более резко: «Per qualsevol que coneixi la matèria, és clar i evident com la llum del dia que l'Exposició Universal de Barcelona tal i como la projecten els que s'han col·locat al front d'ella, o no arribara a realitzar-se o es farà en tals condicions, que posarà en ridícul a Barselona en particular i a Catalunya en general, produint la rïna completa del nostre Municipi»¹. И тому подобное. На строительную площадку, посмотреть, как идут работы, приехал сам Риус-и-Тауле. Его сопровождало множество важных лиц; все они из кожи лезли: прыгали с балки на балку, преодолевали канавы, перелезали через канаты, старались спастись от мулов, хватавших их зубами за полы пиджаков. Цилиндрами прикрывали рты от пыли. Весь спектакль разыграли, чтобы угодить энергичному альяльду. «No estaré content, — сказал он, — fins arribar al vertigen»².

Онофре Боувилла тоже сильно продвинулся вперед. Стараясь объяснить содержание брошюр, которые он распространял, он и сам их постиг, понял, до какой степени правы революционеры в своих требованиях. Любой искры было достаточно, чтобы вспыхнул пожар. Онофре говорил обо всем этом, прибегая иной раз к логике, иногда — к демагогии. Некоторые из слушателей, которых ему удалось убедить, помогали ему пропагандировать Идею. Разразившиеся в начале сентября дожди превратили парк в сплошную топь; отдельные случаи тифозной лихорадки, задержка в выдаче заработка из-за медлительности, с какой Мадрид перечислял свою скудную субсидию, которую правительство в конце концов пожаловало Выставке, способствовали быстрому распространению Идеи. Онофре и сам удивлялся своему успеху: ведь мне, что ни говори, всего тринадцать лет, думал он. Даже Пабло улыбнулся, что случалось крайне редко: «В первые времена христианства, — сказал он, — чаще удостоивались обращения ма-

¹ «Что бы там ни было, а ясно как божий день, что Всемирная выставка в Барселоне, как ее планируют устроители, либо не состоится, либо выставит на осмеяние Барселону и всю Каталонию и, уж конечно, разорит нашу Городскую управу (каталонск.).

² Я не успокоюсь, пока не дойду до предела (каталонск.).

лолетние, чем достигшие зрелости; Святая Инеса была твоего возраста, тринадцать ей исполнилось, когда ее поразили меч; Святой Вит в двенадцать лет принял мученический венец. Еще более удивительна,— присовокупил Пабло,— история Святого Кирика, сына Святой Иулитты: трех лет от роду он своим красноречием унижил префекта Александра, и тот схватил и швырнул ребенка на ступени лестницы, что вела на помост, с такой силой, что раскроил ему череп, мозги разлетелись по сторонам и окропили стол, где сидели судьи».

— Откуда ты все это знаешь? — спросил Онофре.

— Я читаю. А что мне еще делать в этой клетке? Читаю и думаю, вот и убиваю время. Иногда приходят в голову такие мысли, что сам пугаешься их глубины. А другой раз беспричинная тоска охватывает и кажется, будто это сон, очнусь — весь в холодном поту. А бывает вдруг ни с того ни с сего расплачусь и плачу часами, и никак не перестать,— сказал апостол.

Но Онофре, сам весь во власти переживаний и волнений, его не слушал.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Нет, это совсем не то, что люди называют любовью. А если это не любовь, так что же со мной творится? — спрашивал он себя. И летом 1887 года, и почти всю осень наваждение, виновницей которого была Дельфина, все сильнее его обволакивало. Он и двумя словами с нею не перекинулся с той самой ночи, как она явилась со своим котом к нему в комнату и предложила работать на Идею; с тех пор они лишь обменивались понимающими взглядами и кивком головы при встрече в коридоре пансиона. Каждую пятницу он находил на подушке деньги; теперь ему казалось, что их несправедливо мало по сравнению с его усилиями и успехами, с его заслугами. Ночной разговор при свете свечи — вот и все, что Онофре знал о Дельфине; он без конца твердил фразы, которые она тогда произносила, неустанно, придирчиво, снова и снова пытаясь извлечь из них какие-нибудь дополнительные сведения, отыскать скрытый смысл. Все догадки были лишь плодом его воображения, ничто из его ложных воспоминаний не происходило на самом деле, из их обломков он строил свои карточные замки. Возможно, в нем про-

сыпался мужчина, но он про это не знал, хотел все постичь разумом; он верил, что решит таким путем любую сложную задачу. Теперь, однако, он сознавал, что так ничего и не понимает. Что же делать? — спрашивал он себя. Лишь в одном Онофре был уверен: она сказала ему, что у нее есть жених, и это для него нож острый. Он только и думал, как бы разрушить это жениховство. Но необходимо было еще до многого доискиваться; ведь Онофре не знал, ни кто этот человек, ни где и когда они видятся, что делают, когда бывают вместе, и т. д. В пансионе жизнь шла заведенным ходом, и родители Дельфины совершенно не подозревали о похождениях дочери, из чего он заключил, что виделись они в какие-то неурочные часы, быть может, поздно вечером. Редчайший случай для той эпохи! Почти до двадцатых годов нынешнего столетия все дела, за редким исключением, заканчивались вскоре после захода солнца; все, что не заканчивалось, могло быть безошибочно воспринято как нечто из ряда вон выходящее. В народном воображении ночь была населена привидениями и изобиловала опасностями; все, что делалось при свете свечи, обретало волнующий и загадочный оттенок. Существовало также верование, будто ночь — это живое существо, и обладает оно странной властью притягивать к себе людей, и тот, кто уйдет в глубину ночи, никогда не вернется. Вообще ночь олицетворяла смерть, а заря — воскресение. Электрическое освещение, навсегда покончившее с темнотою в городах, еще только зарождалось; практическое использование его многим казалось неприемлемым по самым разным причинам. «Искусственное освещение должно не ослеплять, не меняться, а давать достаточно света, не оказывая теплового воздействия на глаза, — писал один журнал в 1886 году. — Яркий свет допустим лишь при затемнении его стеклянным абажуром или другим устройством, рассеивающим лучи». Барселонская газета в том же году, напротив, утверждала, что «электрический свет, по мнению профессора Кона из Бреслау, прославленного окулиста, куда более предпочтителен при чтении и письме, нежели любой другой, если только он ровный и яркий». Впрочем, Онофре еще был далек от этих споров. Воображение рисовало ему, как Дельфина уходит в ночной мрак на встречу с возлюбленным и превращается в какое-то иное, опасное и одновременно притягательное, существо. Непроницаемое выражение лица, шершавая, как у ящерицы, кожа, кошачьи глаза, копна

грязных, торчащих во все стороны, словно ламповая щетка, волос, рваное и нелепое одеянье — несуразное чучело, но только днем: очарование сумерек превращало Дельфину в существо волшебное. Пламенно возжелав захватить тайных любовников врасплох, Онофре решил проводить ночи напролет не смыкая глаз. С того времени он, как только утихали последние звуки в пансионе и гасла последняя керосиновая лампа, выходил из своей комнаты и устраивался на лестничной площадке. Если она выйдет из комнаты, то непременно должна пройти здесь, думал он. Она пройдет мимо, не заметив меня, и мне удастся выследить ее и узнать, куда она идет и зачем. Проведенные на посту ночи стали для него привычны и нескончаемы. Часы в церквях Введения во Храм и Святого Иезекииля отбивали время с раздражающей медлительностью. Ничто не нарушало тишины. Около двух часов из своей комнаты обязательно выходил мосен Бизансьо и шел в уборную. Через несколько минут он возвращался, и сразу же слышался его храп. В три Микаела Кастро заводила разговор сама с собой или с духами; монотонное бормотанье длилось до рассвета. В четыре и в половине шестого священник снова посещал уборную. Парикмахер спал совсем тихо. В своем укрытии Онофре Боувила отмечал все эти подробности. От скуки ему хотелось видеть нечто важное в каждом пустяке. Более всего его занимал кот, коварный Вельзевул; мысль о том, что он, быть может, охотится на мышей и бродит по дому или что Дельфина берет его с собой, отправляясь ночью на любовное свиданье, ужасала Онофре. Текли долгие часы, а он думал о каком-нибудь верном средстве избавиться от кота, не вызвав подозрений. Занималась заря, а он все сидел, погруженный в свои размышления, оцепеневший, уставший, в отвратительном настроении. К себе Онофре возвращался до того, как просыпались постояльцы, и, схватив пачку брошюр, шел на Выставку. Нынче ночью я тоже займу свой пост, говорил он себе, а понадобится, так хоть целый год так просижу. В конце концов усталость стала его смаривать, и как раз, когда особенно следовало быть начеку, он клевал носом.

Однажды Онофре внезапно очнулся от сна. Его разбудил легкий шорох платья. Затаив дыханье, он уловил звук шагов: кто-то осторожно спускался по лестнице. Наконец-то, подумал он. Сидя на корточках у самых ступенек, Онофре почувствовал, как совсем рядом кто-то

прошел. Его смутил пряный аромат: никогда бы не подумал, что Дельфина станет прибегать к таким уловкам, прихорашиваться, идя на свидание с мужчиной. Для него старается, подумал Онофре. Значит, это любовь. Переждал две секунды и пошел следом. На искусственном мраморе ступенек шаги преследуемой и преследователя были почти не слышны. Если она остановится, я на нее натолкнусь, предусмотрительно подумал он. Расстояние между ними стало увеличиваться. Так я упущу ее, подумал Онофре. Она здесь в доме каждую щелку знает и уже множество раз ходила тем же путем, а я, дурак, даже не сосчитал заранее, сколько ступенек в каждом пролете. На лестничных площадках он рисковал получить увечье. Совсем растерявшись от непредвиденных сложностей, Онофре не мог сообразить, где он и который сейчас час, находится ли на нижнем этаже или еще на втором, и прошло ли всего несколько минут или целый час, как он включился в эту бессмысленную погоню. Заскрипели петли входной двери. Боже, она и в самом деле уйдет от меня, подумал Онофре и мигом слетел с лестницы; в прихожей споткнулся, упал и ударился коленом, но и хромая пошел дальше. Луны не было, и на улице царил такая же тьма, как в доме. Под открытым небом аромат духов становился неуловим на расстоянии всего нескольких шагов. Добравшись до первого перекрестка, он посмотрел направо и налево. Дул влажный левант. Ухо не уловило ни единого звука. Онофре прошел еще немного наугад, но вынужден был признать, что преследование сорвалось, и вернулся в пансион. Там он вновь занял свой сторожевой пост, но уличная сырость пробрала до костей и сотрясал озноб. Все это бессмысленно, решил он. Из всех сил старался сдержаться и не чихнуть, чтобы не выдать себя. Больше дожидаться не мог; вернулся в комнату и лег в постель. Стало жалко себя. Она провела меня, думал он, теперь ее обнимает другой, они надо мной потешаются, а я лежу здесь, в постели, больной. Должно быть, он заснул, потому что, когда открыл глаза, на него внимательно смотрел какой-то человек, которого он вроде бы и знал. «Он умер совсем недавно», — сказал тот. Было ясно, что относилось это к нему. «От трупa еще не пахнет, и суставы сохраняют полную подвижность», — говорил между тем человек. Комнату освещал только ночник, свет отражался в пенсне говорившего, отбрасывая на стену огромную тень. Теперь я знаю, кто это, сказал

себе Онофре. Но что он здесь делает, с кем разговаривает? Словно бы в ответ на вопрос, почему он очутился здесь, отец Онофре вышел из полумрака и подошел к мужчине в пенсне. «Вы думаете, получится хорошо?» — спросил отец. Он был все в том же белом полотняном костюме, но, подчиняясь торжественности минуты, снял панаму. «Не беспокойтесь, сеньор Боувила,— ответил мужчина.— Когда вы его получите, он будет так выглядеть, словно бы и не умирал». Это, конечно, сон, сказал себе Онофре. Не очень давно он пережил похожую сцену: как-то зимним утром обезьяну, которую отец привез с Кубы, нашли мертвой. Мать всегда поднималась раньше всех; она и обнаружила в клетке скорченный труп. Мать никогда не питала нежности к этому грязному, буйному, злому зверьку, который, казалось, не проявлял никакой привязанности к тем, кто его кормил, но, увидев зверька мертвым, не смогла сдержать острую жалость и залилась слезами. Оказаться здесь и умереть, так далеко от всех своих, подумала она. Какое ужасное одиночество! Когда муж встал, она вся кипела от негодования. «Это ты виноват,— сказала она ему.— Зачем увез ее из родных мест? Для чего-то поселил же ее Господь в тех местах. Не знаю, к чему тебя приведет такое поведение и такое тщеславие»,— добавила она потом, совсем уже невпопад. Онофре проснулся и слушал разговор родителей. «Разве узнаешь, что случилось бы с нею, не привези я ее сюда»,— возразил Американец. А потом, когда все доводы у обеих сторон исчерпались, воскликнул: «Придумал! — и в первый раз обратился к сыну: — Онофре, хочешь посмотреть Бассору?» Жоан Боувила ездил в Бассору часто; все считали, что там у него вложены в дело капиталы, а остатки находятся в банках этого города. Отсутствовал Жоан дня по три-четыре; вернувшись, никогда ничего не рассказывал о том, что делал или что видел или как идут дела, из-за которых уезжал. Иной раз, хотя и не всегда, привозил разные пустяковые подарки: ленты, лакомства, туалетное мыло или иллюстрированный журнал. Иногда возвращался очень взволнованный, никак не поясняя своего воодушевления, но за ужином бывал более разговорчивым, чем обычно. В таких случаях он сообщал жене, что в следующий раз они поедут в Бассору вместе, а потом, прежде чем вернуться домой, заедут в Барселону или в Париж. Все эти обещания кончались ничем. Но на этот раз, вероятно, из-за смерти обезьяны,

отец взял Онофре с собой в Бассору. Зима только-только начиналась, и дорогу еще не занесло, но все же в город они попали, когда смеркалось. Прежде всего пошли в мастерскую, где работал чучельник, — адрес им дал полицейский. В узелке принесли они труп обезьяны, и чучельник очень им заинтересовался. «Никогда еще мне не приходилось набивать чучело обезьяны», — сказал он, ощупывая опытными пальцами безжизненное тельце. В мастерской царил полумрак; возле стен стояли всякие звери и птицы, они находились на разных стадиях препарирования; у одного чучела еще не хватало глаза, у другого — рога, у некоторых — оперенья; у большинства через разрез в брюхе виднелась рамка из переплетенных тростинок, заменяющая скелет; сквозь эту решетку вылезали кончики соломинок и клочки ваты. Чучельник извинился за то, что здесь темновато, и объяснил, что толстые створки ставен приходится держать закрытыми, иначе могут залететь мясные мухи и моль. Прощаясь с чучельником, Американец протянул ему некоторую сумму денег в качестве задатка, а мастер в свою очередь протянул расписку, предупредив, что не сможет выполнить заказ прежде Богоявления. Сейчас самый разгар охоты, а в моду вошло препарировать подстреленных зверей и украшать чучелами столовую, гостиную или living¹. «Бассора — город с утонченными вкусами», — добавил чучельник. Пока он говорил все это, Онофре захотелось еще раз посмотреть на обезьяну. От стола, на который ее поместили, шел запах лекарства. Лежавшая брюшком кверху, со скрюченными ногами и руками, обезьяна словно бы стала меньше; сквозняк шевелил сероватую шерсть бакенбардов бедного зверька. «Пошли, Онофре», — сказал отец. На улице стемнело, и небо стало красным, словно адские своды на картинках в катехизисе, которые им показывал иногда священник, чтобы научить страху божьему. Как объяснил ему отец, отсвет исходит от заводских горнов. «Смотри, сынок, это и есть прогресс», — сказал Американец. И еще добавил, что ему приходилось видеть в Америке города, где дым от печей никогда не пропускает солнца. Онофре Боувиле только что исполнилось двенадцать, когда умерла обезьянка и отец привез его в Бассору. По освещенным газовыми рожками людным улицам они пошли посмотреть на центр города; мас-

¹ Общая комната (англ.).

теровой люд шел и в ту же сторону, что и они, и навстречу: из дома на фабрику. Тут как раз завыл гудок — объявляли начало новой смены. Посреди мостовой была проложена узкоколейка; проходил паровоз, изрыгая снопы искр и сажу, которая сыпалась на прохожих, пачкала стены зданий; лица у людей были измазаны копотью. Проезжали велосипеды, экипажи, довольно много двухколесных повозок, которые тащили, задыхаясь, деревенские клячи. На главной улице стало светлее, проходившие мимо люди, почти одни мужчины, были лучше одеты — время прогулок уже миновало и женщины разошлись или разъехались по домам. Панёли были узкие: рестораны и кафе захватывали часть тротуара своими маркизами; за стеклами под ними можно было различить силуэты сотрапезников, расслышать гул голосов посетителей. Онофре с отцом вошли в такое место, где можно было поесть. Мальчик почувствовал, что люди смотрели на Американца с насмешкой: белый полотняный костюм, панамы, спасавший его от холода плащ — такая одежда, да еще зимой, бросалась в глаза. Американец не обращал на это внимания, могло показаться, будто он слеп. Появившись салфеткой и нахмутив брови, он внимательно изучал меню. Заказал протертый суп, запеченную рыбу, гуся с грушами, салат и фрукты с кремом. Тогда Онофре был в восторге: ни разу в жизни он не пробовал таких яств. Теперь же эти воспоминания, напротив, преследовали его, превращаясь в кошмар, от которого он очнулся, обливаясь потом. Не вдруг смог он сообразить, где находится, и его охватил необъяснимый страх. Потом он узнал свою комнату в пансионе, услышал, как бьют часы в церкви Введения во Храм; эти привычные вещи, окружавшие его, и звуки вернули ему спокойствие. Теперь уже не образ чучельника смущал его, а некая неопределенная мысль о том, что он стал жертвой обмана. Мысль о неясном обмане все время вертелась в голове, хоть он и не мог объяснить, ни откуда она явилась, ни почему она так неотвязна. Онофре вновь и вновь перебирал события этой ночи и с каждым разом отчетливее ощущал, что его провели. Мог бы поклясться, что оказался свидетелем тайной вылазки Дельфины, говорил он себе, и все же концы с концами не сходятся; и еще: либо я глубоко заблуждаюсь, либо здесь все куда таинственнее, чем я предполагал. Он хотел спокойно подумать о том, что случилось, но голова шла кругом, кровь стучала в висках,

он едва не задохнулся от жара, который внезапно навалился, так же, как прежде — леденящий холод, заставлявший стучать зубами. Когда Онофре наконец забылся сном, перед ним опять предстал чучельник, опять ожили, причиняя острую боль, подробности их поездки в Басору. Он проснулся и вновь принялся перебирать в уме недавние события. Между этими событиями, казалось, была какая-то связь. Что произошло тогда? — спрашивал себя Онофре. Что произошло тогда, что может мне дать ключ к происшествиям сегодняшней ночи? Он мучительно искал ответа. Обдумая все завтра, когда голова будет лучше варить, уговаривал он себя, но мозг упорствовал и требовал решить сейчас эту бесплодную и изнуряющую задачу; каждый час был бесконечной мукой.

«Не бойся, сынок, это я». Голос был тот же, что слышался ему во сне. Он проснулся или думал, что проснулся, и совсем близко над собой увидел чье-то чужое лицо — незнакомец с тревогой наблюдал за ним. Онофре хотел закричать, да помешала слабость. Незнакомец подмигивал и говорил с ним ласково, как с ребенком или с собачкой. «На вот, выпей... это настой из трав. Здесь хина, жаропонижающее; пей, станет легче.— Он поднес к губам Онофре чашку, от которой шел пар, и Онофре с жадностью выпил настой.— Не спеши, не спеши, пей помедленней, детка, не надо залпом». Теперь Онофре узнал мосена Бизансьо. А тот, догадываясь, что сознание больного понемногу проясняется, добавил: «У тебя сильный жар, но, по-моему, ничего серьезного. Просто ты очень много работал, спал мало, а доконал тебя тяжелый катар, застал тебя врасплох, но ты не беспокойся. Болезни посылаются нам Господом, и следует принимать их со смирением и даже с благодарностью, потому что это словно бы сам Господь говорит с нами через микробов, дает нам урок смирения. Я, хоть и отменно здоров, за что и воздаю благодарение Господу, полон разными недугами, как и полагается в моем возрасте: каждую ночь должен три-четыре раза облегчать мочевой пузырь, и это причиняет много беспокойства, к тому же и желудок с трудом переваривает продукты, в которых много крахмала, а к перемене погоды ломит спину. Вот так-то».

— Который час? — спросил Онофре.

— Половина шестого, должно быть, — ответил священник. — Слушай, что ты делаешь? — испугался он, увидев, что Онофре пытается подняться.

— Нужно идти на Выставку, — ответил тот.

— Да забудь ты о Выставке. Придется им обойтись без тебя, — сказал мосен Бизансьо. — Ты с постели подняться не можешь, а уж о том, чтобы выйти из дому, и речи нет. Кроме того, сейчас половина шестого не утра, а вечера. Ты весь день бредил и говорил во сне.

— Говорил? — встревоженно воскликнул Онофре. — И что же я, отец мой, говорил?

— То, что всегда говорят в таком случае: ничего. По крайней мере ничего такого, что я мог бы разобрать. Спи спокойно.

Когда он поднялся на ноги и смог пойти на Выставку с пакетом подрывных брошюр, этот пыльный и безобразный мир показался ему таким чужим, словно он отсутствовал не два-три дня, а вернулся из дальнего путешествия. Я здесь только время теряю как дурак, сказал он себе. Ему пришла мысль серьезно поговорить с Пабло, попросить, чтобы дали более серьезное поручение, чтобы повысили в революционной иерархии. Однако скоро он сообразил, что ни Пабло, ни другие анархисты не поймут таких притязаний. Ведь их Дело — это не предприятие, в котором участвуют, чтобы получить доход; это был идеал, ради которого следовало пожертвовать всем, ни на что не надеясь взамен, не требуя ни компенсации, ни признательности. Такой мнимый идеализм, рассуждал Онофре, оправдывает в их глазах то, что они используют людей, не удовлетворяя их законных интересов, не вникая в их нужды; для этих одержимых все средства хороши, если служат революции. Сказав себе это, Онофре поклялся, что будет, насколько это в его силах, уничтожать анархистов, как только представится удобный случай. Эта ненависть и жажда мести мешали ему видеть, до какой степени он воспринял от анархистов их понимание мира, до какой степени проникся им. Хотя его цели впоследствии стали совсем иными, диаметрально противоположными, он всегда, как и анархисты, был склонен к крайнему индивидуализму, к прямому действию, к риску, к немедленным результатам и к упрощению проблем. Так же, как и у

них, у него была повышенная тяга к убийству. Но сам он об этой особенности своей натуры никогда не узнал. Он всегда считал себя непримиримым врагом анархистов. Анархистский сброд проповедует справедливость, но без колебаний подставил меня под опасность и эксплуатирует без зазрения совести, жаловался он самому себе. Хозяева, которые открыто эксплуатируют трудящегося человека, и то справедливей: тому, кто работает усердно, денег больше платят и выслушивают, хотя и с неудовольствием, его требования. Про требования он вспомнил потому, что среди каменщиков на Выставке царило недовольство. Они просили, чтобы либо набавили по полпесеты, либо сократили на час рабочий день. Совет отказал: бюджет уже утвержден, доказывали им, и не от нас зависит внести изменения. Ответ весьма избитый. Ходили разговоры о забастовке, и это весьма тревожило Совет. Дела шли неважно: фонды таяли с невероятной быстротой, не соответствовавшей скорости продвижения работ. Из восьми миллионов песет, обещанных правительством в качестве дотации, реально Совет получил только два. В октябре 1887 года аюнтамьенто Барселоны было уполномочено выпустить заем на три миллиона песет, чтобы покрыть дефицит, возникший при строительстве Выставки. В эти самые дни строительство кафе-ресторана почти закончили, Дворца промышленности — сильно продвинули вперед и уже начали строительство будущей Триумфальной арки. В том же самом месяце одна из газет писала: «На рассмотрение Руководящего совета представлен проект здания, по архитектуре напоминающего церковь и предназначенного для выставки предметов католического богослужения, здание предполагают воздвигнуть на месте церкви. Проект сделан со вкусом и принадлежит парижскому архитектору мсье Эмилю Жуифу, из мастерской «Шарло и Компания», которая возьмет на себя расходы и т. д.» И через несколько дней другое сообщение: «Сообщаем с уверенностью, что известный промышленник нашего города дон Онофре Каба, имеющий патент на разработку очищенной соли с фабричной маркой «Голубка», готовит для предстоящей барселонской выставки чудесный и занятный экспонат. Это точная копия фонтана «Геркулес», находящегося на старом Пасео-де-Сан-Жоан, вышиной в десять пядей и выполненная из соли, которой он занимается». В последних числах ноября температура упала необычно низко. Холода простояли недолго, лишь пред-

вестьем близких зимних холодов. На ослабевшего от жара, еще не выздоровевшего как следует Онофре холод оказал пагубное воздействие. Впервые с тех пор, как приехал в Барселону, он заскучал по своей долине и по своим горам: уже полгода Онофре не видел родных мест. К этой тоске добавилось и непрестанное беспокойное напряжение, в котором Дельфина, сама того не ведая, держала его. Надо что-то предпринять, сказал Онофре себе, иначе повешусь на каком-нибудь дереве.

В тот ноябрьский день он явился на выставочную площадку, как и каждое утро, с пакетом брошюр, но, кроме того, принес еще и что-то тяжелое в мешке. Сначала Онофре несколько часов походил по площадке, посмотрел, как идут работы, поговорил с людьми. Ему сообщили о требованиях каменщиков, о возможной забастовке, о разногласиях. «На этот раз мы выход найдем,— говорили они.— Быстро решимся, кота за хвост тянуть не будем». Онофре со всеми соглашался, но, вместо того чтобы думать о забастовке, думал о коте Дельфины; теперь все на свете наводило его на мысли о Дельфине или о чем-нибудь с нею связанном, словно бы мыслительные способности были приторочены к девушке резинкой, которая растягивалась до определенных пределов, а потом разом съеживалась. Но это не мешало Онофре соглашаться и кивать головой. Он уже приобрел эту привычку, которая у него сохранится на всю жизнь: соглашался, а мысленно продумывал порядок действий и был готов на самые жуткие предательства. Когда солнце поднялось высоко и стало потеплее, он подошел к группе рабочих и принялся разглагольствовать как обычно. Уставшие от тяжелой работы люди охотно его окружили, чтобы немного отвлечься. Действовать надо было очень быстро; старшие рабочие, предположив, что народ что-то затевает, могли вызвать полицию.

— Сегодня я хотел бы поговорить о другом,— сказал Онофре тем же тоном, каким говорил обычно.— Сегодня я хочу сделать и вас участниками сенсационного научного открытия, которое может переменить вашу жизнь так же или даже еще больше, чем устранение всех форм государства, о котором я несколько дней назад рассказывал.

Он нагнулся, раскрыл мешок, вытащил из него флакончик с мутной жидкостью и показал слушателям.

— Это средство для волос, в эффeкте действия которого можно не сомневаться, я вам продаю не по песете, не по два реала и даже не за реал... — так вступил Онофре в мир коммерции. Через несколько лет его игра на повышение и понижение заставит сотрясаться биржи в Европе, но сейчас он продавал флаконы, украденные прошлой ночью из шкафчика брадобрея Мариано, своего соседа по пансиону. Онофре подолгу слушал бродячих торговцев и мошенников, орудовавших у Пуэрта-де-ла-Пас, и пытался теперь расхваливать товар, как они. Наконец замолчал, и воцарилось гнетущее молчание. Боюсь, подумал он, что я зашел слишком далеко, поставил на карту единственную возможность добывать на жизнь и проиграл; анархисты не простят меня; рабочие почувствуют себя оскорбленными, намнут мне бока, а возможно, и сдадут жандармам, тогда все кончится крепостью Монжуик. Вот о чем думал Онофре, пока длилось молчанье. Вдруг из толпы раздался грубый голос: «Дай один!» Великан с приплюснутым лицом, низким лбом подошел, расталкивая локтями собравшихся: в руке у него было десять сентимов — столько стоил флакончик. Онофре взял десять сентимов, протянул флакончик великану и спросил, не хочет ли кто-нибудь еще. Захотели многие. Они протягивали ему монеты по десять сентимов, пробиваясь сквозь толпу и отталкивая друг друга, чтобы не остаться ни с чем. Меньше чем за две минуты мешок опустел. Онофре попросил собравшихся разойтись. И сам подал пример, укрывшись в переулочке, который образовывали восточный фасад здания, предназначенного дать приют музею имени Марторея¹, и стена между парком и Аллеей промышленности; переулочек был узенький, всегда безлюдный. Онофре вытащил из кармана деньги и с удовольствием их разглядывал. Погрузившись в это занятие, он вдруг заметил на стене чью-то тень и попытался сунуть монеты обратно в карман, но оказался лицом к лицу с великаном, купившим первый флакон, который он все еще держал в руке. «Узнаешь?» — спросил великан. Брови и борода придавали ему устрашающий вид, он походил на людоеда:

¹ Музей петрографии, минералогии и палеонтологии; назван так в честь известного каталонского художника XV века Берната Марторея.

весь волосатый, шерсть на груди переходила прямо в бороду.

— Конечно, узнаю,— сказал Онофре.— А что тебе надо?

— Меня зовут Эфрен, Эфрен Кастельс. Я из Калельи. Но только не из Калельи под Палафрушелем, а из той, что на побережье,— сказал великан.— Я поденщик и работаю здесь всего полтора месяца; поэтому мы с тобой друг друга не видели, но я знаю, кто ты. Вот и пошел за тобой, чтобы сказать: отдай мне две песеты.

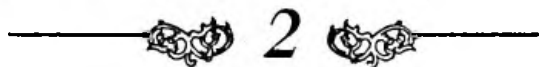
— А нельзя ли узнать, с какой стати я их тебе отдам? — спросил Онофре, стараясь простодушно улыбаться.

— Потому что благодаря мне ты заработал четыре. Не купи я первый флакон, ты бы ни одного не продал. Говоришь ты красно, только для торговли этого мало. Я-то знаю: мой дед со стороны матери был лошадиник, торговал конями. Ну, давай две песеты, и будем компаньонами. Ты станешь товар расхваливать, а я буду делать почин. Так и расшевелим покупателей. Тебе не придется много говорить, не устанешь и выставляться поменьше будешь. А если что не так, я тебя защищу, силы мне не занимать: одним ударом башку проломлю кому хочешь.

Онофре стоял и пристально смотрел на великана, ему нравилось выражение его лица: парень, видать, честный, ведь готов удовольствоваться двумя песетами, а мог бы запросто проломить голову. И Онофре сказал: «Да ты и в самом деле очень сильный. Только никак не пойму, почему ты не отберешь у меня все четыре песеты вместо этих разглагольствований. Кроме нас, здесь никого нет. А я, хоть бы и захотел, все равно в полицию на тебя донести не могу»,— добавил он. Великан захохотал. «Ты очень хитрый,— сказал он, отсмеявшись.— Вот даже то, что ты сейчас сказал, показывает, до чего хитрый. А я совсем наоборот: сильный, да глупый; сколько бы ни думал, все равно ничего не придумаю. Заберу я у тебя четыре песеты — так у меня и будут только эти четыре песеты. А я рассудил по-другому: ты пойдешь далеко, я хочу быть твоим компаньоном и чтобы ты мне отдавал половину того, что зарабатываешь». «Слушай,— сказал Онофре великану из Калельи,— вот как мы поступим: ты мне помогаешь продавать средство для ращения волос, и за каждый отработанный день я плачу тебе песету, неза-

висимо от того, много ли, мало я заработаю. И даже если ничего не заработаю. А про будущее поговорим, когда представится подходящий случай. Согласен?»

Великан подумал секунду и сказал, что согласен. «По рукам»,— ответил Онофре. «Я был дурак дураком,— признавался впоследствии великан,— и не разобрал толком, что мне предлагает Онофре, хоть и знал, что он со своей природной ловкостью меня обманывает. Но сопротивляться не имело смысла. Я свои возможности хорошо знаю»,— добавил он. Ударили по рукам и создали сообщество, которое просуществует не одно десятилетие. Эфрен Кастельс умрет в 1943 году, получив от генералиссимуса Франко титул маркиза в благодарность за оказанные родине услуги. Несмотря на старческую немощь и болезнь, он все еще будет великаном, и когда умрет, гроб придется делать по мерке. Он оставит значительное состояние в акциях, недвижимости и бесценную коллекцию картин каталонских художников, завещанную Музею современного искусства, который откроют к этому времени в бывшем арсенале Сьюдаделы. Это здание, перестроенное и отремонтированное именно к Всемирной выставке 1888 года, находилось всего в нескольких шагах от места, где Эфрен Кастельс заключил свою первую сделку с человеком, которому слепо станет служить всю жизнь и под покровительством которого ему будет суждено стать богачом, маркизом и преступником.



В тот день, возвращаясь домой, Онофре прикупил в аптекарском магазине еще несколько флаконов со средством для волос и, никем не замеченный, поставил их на место тех, что украл у брадобрея. Он был всем доволен и, поужинав у себя в комнате, принялся соображать, куда бы спрятать деньги. Теперь на него навалились заботы, которые появляются вместе с деньгами,— ни одно место не казалось ему достаточно надежным, и в конце концов он предпочел носить деньги при себе. Потом вспомнил об Эфрене Кастельсе. Такого поворота дел он не предвидел, но, раз уж так получилось, нечего портить

себе здоровье. Великан может пригодиться. А нет, так недолго и избавиться от него. Куда больше Онофре беспокоил Пабло: рано или поздно анархисты услышат о торговле, которую Онофре ведет под прикрытием их Дела и с ущербом для Дела. Тогда кто знает, как они себя поведут. Может быть, уже сегодня надо было прекратить все эти революционные разглагольствования и заняться исключительно торговлей, но согласятся ли анархисты на такую замену? Нет, они сочтут его за предателя и прибегнут, наверное, к насилию. Сколько сложностей, думал Онофре и никак не мог заснуть; потом уснул, но спал беспокойно и видел тягостные сны. В них он снова оказывался в Бассоре вместе с отцом. Его изумляло, что он все время видит во сне одно и то же. С какой стати самые обычные события представляются теперь исполненными глубокого смысла? — спрашивал себя Онофре. И снова пытался припомнить все, что тогда случилось. Они с аппетитом ужинали, когда в залу вошли трое молодых людей из хорошего общества. Увидев их, отец побледнел. Эти молодые люди были потомками тех, кто заложил основы каталонской промышленности в первые годы XIX века. Титаническими усилиями разбудили их предки эту сельскую страну, спавшую летаргическим сном, и превратили ее в страну совсем иную — процветающую и развивающуюся. Их потомки уже не были, подобно им, крестьянами или мастерами: они получали образование в Барселоне, ездили в Манчестер познакомиться поближе с последними успехами текстильной промышленности и жили в Париже в годы его блеска. В этом ослепительном городе они узнали все, что там было самого благородного, и все, что было самого порочного; разинув рот, осматривали Дворец науки и промышленности (где имели возможность увидеть самые необычные изобретения и самую сложную и современную технологию, а на фронтоне Дворца могли прочесть написанный золотыми буквами призыв: «Обогащайтесь!») и «Салон отверженных» (где Писсарро, Мане, Фантен-Латур и другие художники выставляли свои непонятные, чувственные полотна, написанные в стиле, который тогда назывался импрессионизмом); в этом городе самые любознательные и рассудительные ходили в больницу Сальпетриер смотреть сеансы гипноза молодого врача Шарко, не применявшего при этом никаких приборов, и в Латинский квартал слушать Фридриха Энгельса, предсказывавшего неизбежность при-

шествия революционного пролетариата; пили champagne¹ в шикарных ресторанах и кабаре и абсент в грязных трущобах; проматывали деньги, понапрасну добиваясь милостей у знаменитейших куртизанок, у тех grandes horizontales², которые кое для кого уже олицетворяли Париж; они совершали в сумерках прогулки по Сене на новых bateaux-mouche («Géant» и «Celeste»)³ и с башен Нотр-Дам упивались воздухом и светом этого волшебного города, из которого родителям частенько приходилось выманивать их обещаниями и угрозами. Теперь от того Парижа не осталось и следа: его величие подогревало зависть и алчность других наций; непомерная гордость посеяла семена войны; несправедливость и ослепление породили ненависть и раздор. Наполеон III после унижительного разгрома при Седане, состарившийся и больной, жил в изгнании в Англии, а Париж после трагических дней Коммуны с трудом приходил в себя. Память о том, навсегда исчезнувшем, Париже по-прежнему жила в сердцах представителей крупной каталонской буржуазии, случайных хранителей chic exquis⁴ Второй Империи.

— Мать твою, Боувила, чтоб меня разорвало, вы здесь! До чего же мала земля! — заорал что было мочи один из троих молодых людей, вошедших в середине ужина в залу столового заведения в Бассоре. — А как семья? Все в порядке?

Двое других подошли к столу и принялись хлопать Американца по плечу. А он ошеломленно смотрел на этих людей и на сына, которого заметили пришедшие.

— А этот парень, он кто? Ваш сын? Какой рослый! Как тебя, мальчик, зовут?

— Онофре Боувила, к вашим услугам, — сказал он. Отец, вставая, чтобы поздороваться с ними, уронил стул. Все захохотали, и Онофре понял, что для этих людей его отец всего лишь паяц, мишень для шуток.

— Мы с сыном приехали, чтобы исполнить тягостный долг, — сказал Американец. Но трое бассорцев уже не обращали на него никакого внимания.

— Хорошо, хорошо, — говорили они. — Не хотим вам мешать. Мы-то зашли ненадолго, перекусим и поговорим

¹ Шампанское (франц.).

² Прославленных кокоток (франц.).

³ Прогулочные пароходы («Исполин» и «Лазурный») (франц.).

⁴ Особого шика (франц.).

о делах. А потом, набив живот, пойдем домой, побудем немножечко в лоне семьи. Кроме него вот, конечно,— добавил один, указывая на товарища,— потому как он у нас неисправимый холостяк и отправится сейчас шататься по притонам.

Предмет этой шутки слегка покраснел. Черты его лица являли собой странную смесь молодости и увяданья. Казалось, на него все еще оказывают действие алкоголь и наркотики, поглощенные в парижских притонах, словно бы его тело все еще оставалось расслабленным от сладостных ласк какой-нибудь *demi-mondaine*¹. «Приятного аппетита!» — прощаясь, говорили они. Американец молчал; настроение у него почему-то совсем испортилось. Когда они вышли из заведения, дул пронизывающий ветер и мостовая покрылась тонкой корочкой льда, который потрескивал и ломался под ногами. Американец завернулся в плащ. «Эти засранцы,— цедил он сквозь зубы,— думают, что я вот так и позволю им поработить меня; раз я деревенский и оказался в городе, так они думают взять меня голыми руками. Городская пустельга, не отличат грушевого дерева от помидорного куста! Никогда не доверяй, сынок, городским,— прибавил он в полный голос, в первый раз обратившись к нему с тех пор, как приход трех мужчин прервал их ужин.— Грош им цена, а воображают, что они пуп земли». Зубы у него выбивали дробь то ли от холода, то ли от ярости, и он шагал широко: Онофре даже приходилось иногда бежать, чтобы не отстать. «Отец, а кто они?» — спросил он. Американец пожал плечами. «Никто, три провинциальных прощелыги. Денежные люди. Их зовут Балдрич, Вилагран и Тапера; у меня были кое-какие дела с ними». Он говорил, а сам посматривал по сторонам, искал, где же гостиница, в которой они заказали номер. В этот час по улице прогуливались только одинокие женщины с изможденными голодом, худыми и землистыми лицами. Покачивая бедрами и дрожа от холода, они ходили под газовыми фонарями, в бледном кружке отбрасываемого света. Американец немедленно схватил Онофре за руку и перетащил на другую сторону. В конце концов они натолкнулись на ночного сторожа с опухшей красной физиономией, и тот указал им, как пройти к гостинице. Пока шли, очень устали: ходить по темным улицам — это совсем не

¹ Дама полусвета (франц.).

то, что по полям. В гостинице отогрелись от сковывавшего их холода: труба работавшей в вестибюле отопительной системы «саламандра» проходила по всем комнатам снизу вверх; она давала тепло и источала желтоватый дым, который просачивался на стыках труб отопительной системы, оставляя кислый вкус во рту. Из вестибюля или из какого-то соседнего дома доносились аккорды рояля и приглушенный гомон; откуда-то издалека долетел паровозный гудок; по брусчатке процокали копыта лошадей. Отец и сын улеглись в широкую двуспальную постель, и Американец погасил керосиновую лампу. Прежде чем заснуть, он сказал сыну: «Знаешь, Онофре, некоторые женщины делают жуткие вещи за деньги, тебе уже пора все это знать. Когда приедем в другой раз, я сведу тебя в одно из таких мест, но только ни слова матери, о чем мы тут с тобой беседуем. А теперь спи и не думай о том, что видел и слышал сегодня вечером».

С тех пор прошло больше года, а он все еще думал о том, что видел и слышал в тот вечер, вспоминал совершенно отчетливо смеющиеся лица тех мужчин, ему казалось, что за ним гонятся те жалкие безымянные женщины, о которых напомнил ему отец и которые теперь в путанице беспокойных снов походили на Дельфину, и это его волновало. На следующее утро он проснулся разбитый, отчаявшийся в своих надеждах, но все равно закинул за плечи мешок и отправился на строительную площадку Выставки. Он не мог теперь пойти на попятный. Беда уже случилась, сказал Онофре себе. А кроме того, не дашь Эфрену Кастельсу песету, о которой договорились, так зарабатываешь хороший удар, может, даже смертельный. Но когда Онофре оказался на своем обычном месте и начал, как и накануне, продавать средство для волос, хорошее настроение вернулось к нему. Виды на будущие заработки и ощущение, что он работает на себя, его поддерживали.

Торговля в последующие дни оказалась такой прибыльной, что его беспокоило лишь одно — где спрятать деньги. Можно носить с собой, но тогда будешь жить в постоянном страхе: кварталы, в которых он часто бывал, кишмя кишели бродягами и грабителями. Мысль открыть счет в банке не пришла ему в голову; он считал, что банки принимают на вклады только деньги, заработанные честным путем, а он не думал, что его заработок честный. Да и все равно: если ты несовершеннолетний,

банк не примет от тебя вклад. В конечном итоге было найдено весьма распространенное решение: спрятать деньги в матрац, но не в свой, а в матрац мосена Бизансьо. Священник был беден как церковная крыса, и никто, даже и он сам, не заподозрил бы, что спит на целом состоянии. Предполагать, что Дельфина станет выколачивать матрац, было нелепо, такой случай следовало полностью исключить. Кроме того, священник выходил из пансиона по утрам очень рано, и комната стояла пустая. С этими трудностями Онофре покончил, оставались анархисты. Наконец настал день, когда Онофре увидел Пабло в сильном гневе. Ни о чем не спросив, тот отвесил ему крепкую затрещину. Онофре покатился по полу, апостол снова кинулся на него. Старался попасть в лицо, пнуть ногой под ребра. «Дрянь, предатель, иуда», — кричал Пабло, пытаюсь ударить что было сил. Онофре укрывался от ударов, не вступая в драку. «Успокойся, Пабло, успокойся! Что с тобой? Совсем спятил, что ли?» — повторял он.

— Ты знаешь, сволочь, что со мной, — Пабло с трудом выговаривал слова. — Ну-ка, признавайся, чем занимался эти дни, а? Средством для волос торговал? Деньги делал? Разве за это тебе платили? Ну-ка скажи!

Онофре подождал, пока тот выдохнется, потом заговорил. Кончилось все тем, что оба пришли в хорошее расположение духа и вместе посмеялись. В одном они сходились, хоть взгляды их на жизнь были прямо противоположными: оба ни во что не ставили общество и его членов; любой обман, любая подлость этически оправдывались ими, ведь жертва была так глупа — они исповедовали старую доктрину: человек человеку волк. Онофре убедил Пабло в том, что продажа средства для волос была только уловкой, чтобы сбить со следа полицию, ширмой для его истинной деятельности. «Никто не распространял за эти месяцы больше брошюр, чем я. Разве это не достаточное доказательство моей преданности Делу? — сказал он. — Ведь я постоянно подвергаюсь риску». В конце концов Пабло извинился за свое дикое поведение. «Одиночество сводит меня с ума», — повторил он снова. Пабло не хотел следить за тем, как действуют другие, это было недостойно его. Он хотел сам бросать бомбы, но ему не разрешали. Онофре больше не слушал: был сыт по горло его жалобами; в эти минуты он погрузился в размышленья на совсем другие темы.

После той ночи, когда он вышел из дома, определяя направление лишь по аромату духов и по шагам, и оказался одурачен темнотою, он считал и пересчитывал ступеньки и повороты на пролетах лестницы в пансионе, запоминал все предметы вокруг и много раз проделывал этот маршрут вслепую. Если Дельфина снова выйдет из дома, мне нужно будет позволить ей немного уйти вперед, а потом идти следом; нечего бояться, что я ее потеряю в другой раз, говорил он себе. Конечно, если только с нею не будет проклятого кота, добавлял он, и по коже у него пробегал мороз. При первом удобном случае он спросил у Эфрена Кастельса, не знает ли тот, как убить кота. «Очень просто,— отвечал великан,— крути шею, пока не сдохнет, вот и все». Онофре больше никогда не просил у него никаких советов.

Наконец в один прекрасный день, перед Рождеством, Онофре снова услышал шуршанье ткани на третьем этаже и тихие спускающиеся шаги. Не дыша, сказал себе: «Теперь или никогда». Волна аромата проплыла совсем рядом: он переждал, сколько счел нужным, и двинулся следом. Уже был на нижней ступеньке лестницы, когда незнакомка открыла входную дверь. Ночь была лунная; силуэт женщины отчетливо вырисовывался в проеме дверей. Длилось все не более секунды, но и этого хватило, чтобы Онофре отчетливо понял, что преследовал вовсе не Дельфину. Осознав это, решил во что бы то ни стало не терять из виду женщину, чей силуэт смутно различал в лунном свете или — более четко — когда она проходила мимо уличных ниш: в них всегда горели масляные лампы, поставленные там каким-нибудь благочестивым человеком перед изображением Божьей матери или Святого — другого освещения в городе, кроме как на центральных улицах, не было. Той ужасной зимой 1887 года стояли лютые холода. Незнакомка шла, грациозно постукивая каблучками. Ни неуверенные шаги запоздалого гуляки, ни стук палки ночного сторожа о камни мостовой не напоминали о том, что где-то среди пустынных улиц есть еще хоть одна живая душа. Только безумная женщина может выйти из дому в такой час, подумал Онофре. А между тем они забирались все глубже в весьма необычное место — в балку, отделявшую в те времена склон горы от железнодорожного полотна в районе, называемом Морро. Район этот, с километр в поперечнике, находился к югу от старой стены. Проник-

нуть туда можно было, только перебравшись через овраг длиной метров двести, два-три шириной и метров восемь глубиной: на самом деле это был огромный угольный склад; уголь привозили из Англии или Бельгии на больших каботажных судах и сваливали в котловину, где он оставался, пока его не перевозили на фабрики Барселоны или предместий. Уголь хранили вдали от города из-за частого самовозгорания. А так, вблизи от моря, было легче потушить пожар в самом начале или хотя бы попытаться сделать это, если огонь шел поверху. Если же он, напротив, начинался в глубинах угольных куч, то можно было не допустить, чтобы он принял катастрофические размеры. Сначала в различных местах появлялись тонкие струйки молочного дыма с кисловатым, ядовитым запахом; затем эти выделения образовывали темное, все вокруг заволакивавшее облако, и горе тем, кто вдыхал этот дым; под конец показывались языки пламени. Тогда уже бороться с огнем было поздно. Такое бедствие называли всепожирающим пожаром. Пламя поднималось на двадцать-тридцать метров, отбрасывая багровые отблески на небесный свод, которые в светлые ночи были видны и в Таррагоне, и на Мальорке. Стоявшие у причалов корабли уходили в открытое море и бросали там якорь, предпочитая морскую качку раскаленному воздуху и смертоносному угару, отравлявшему воздух. Подобные пожары, по счастью нечастые, начавшись, длились, бывало, по несколько недель, и потери от них были неисчислимы: к тому, что сгорал весь привезенный из-за границы уголь, добавлялись убытки от простоя всей промышленности. Поэтому непосредственно примыкающие к угольному складу места были небезопасны для жизни человека. И поэтому же на той стороне оврага вырос целый квартал заведений, пользовавшихся самой дурной славой в Барселоне. Там были театры, показывавшие бесстыдные зрелища, грязные таверны, где орали и дрались, жалкие притоны, где курили опий (те, что почище, находились в верхней части города, возле Валькарки), и публичные дома последнего разбора. Ходило туда только барселонское отребье и кое-кто из недавно сошедших на берег моряков: немало их уже никогда отсюда не отчаливало. Жили здесь лишь проститутки, сводни, сутенеры, контрабандисты и преступники. Совсем немного денег — и можно было договориться с бандитом; добавив еще — с убийцей. Полиция входила в эту зону

не иначе как днем и только для переговоров или обмена людьми. Это было как бы независимое государство, здесь дошли до того, что изготавливали свои бумажные деньги, которые имели хождение, словно бы то и в самом деле были настоящие купюры. Существовал и свой кодекс законов, очень строгий,— правосудие творили весьма упрощенно и очень действенно: никого не удивляло, что время от времени на притолоке входных дверей какого-нибудь увеселительного места раскачивался повешенный.

При виде места, куда, сама о том не ведая, привела Онофре незнакомка, он сказал себе: «Если эта девушка не Дельфина, как же узнать, кто она такая, и зачем мне лезть в этот угольный туннель, откуда выйдет злоумышленник, прикончит меня и закопает так, что никто не найдет». Ведь все знали, что погибших лихой смертью, если только их трупы не должны были послужить назиданием, закапывали в груды угля. Там они и оставались, пока лебедка не перетаскивала уголь в парусную лодку, в вагон или повозку; случалось, что кочегар, подкидывая в топку, замечал среди кусков угля сапог или пальцы или череп с еще прилипшими к затылку прядями волос. Онофре почувствовал искушение отказаться от преследования.

Но он не повернул и оказался у входа в это бесчестное и гнусное место; здесь улицы, как обычно бывает в бедных городских поселениях, образовывали правильные квадраты. На проезжей дороге в сухой потрескавшейся грязи, в собственном дерьме и блевотине, в облаке вони храпели пьяные. Из таверн доносились гитарные переборы и песни. Песни были похабные, но в них звучали обреченность и тоска. «Как дошел я до жизни такой? — казалось, спрашивали пьяные, надтреснутые голоса певцов.— Разве об этом мечтал я ребенком?» и т. д. Слышался стук кастаньет, топот каблуков, крики, звон разбитой посуды, грохот сокрушаемой мебели, беготня и ссоры. Незнакомка шла, уверенно выбирая направление. Спрятавшись за углом дома, Онофре увидел, как она вошла в какое-то заведение и деревянная дверь захлопнулась за нею. Онофре решил дожидаться на улице и посмотреть, что же будет дальше. Завывал холодный ветер, влажный и соленый. Онофре прикрыл рот и нос теплым шарфом, который предусмотрительно захватил с собой. Долго ждать не пришлось: всего через несколько минут женщина вышла из заведения, а вслед ей неслась какая-то

тарабарщина. Онофре впервые увидел ее лицо, правда, против света и мимолетно, но это не помешало ему разглядеть и узнать потаскуху. Не может быть, подумал он, мне померещилось. Женщина вдыхала носом белый порошок из маленького конверта, зажмуривалась, широко разевала рот, высовывала язык, поводила плечами, вертела задом, все ее тело извивалось. Потом, радостно взыв, словно сытая собака, она направилась к соседней таверне, окно которой выходило на улицу. От нагретого «саламандрой» воздуха стекла, и без того мутные, совсем запотели, создав завесу, мешавшую смотреть изнутри, но позволявшую подглядывать снаружи, оставаясь незамеченным. Именно это и сделал Онофре Боувила. Завсегдатаи имели вид самый зверский: кто играл в карты, готовый подменить карту на столе той, что спрятал в рукав вместе с ножом, чтобы мигом всадить его в горло сжувничававшему; кто с остекленевшими глазами, сжимая в объятьях тощую блудницу, танцевал под звуки концертино, на котором играл слепой. У ног слепца лежала собака и, казалось, спала, но время от времени неожиданно впивалась зубами в икры танцоров. В углу женщины, за которой он шел по пятам, разговаривала с молодым красавчиком — выющиеся волосы и золотисто-смуглый цвет лица. Женщина жеманилась, а он все хмурился и хмурился, и вот Онофре увидел, как красавчик вlepил женщине оплеуху; она же вцепилась ему в волосы и сильно рванула, словно хотела оторвать голову. Но обильно смазанные бриллиантином волосы выскользнули у нее из рук. Тогда красавчик ударил женщину в зубы; попятившись, она пошатнулась и, оседая на стол, смахнула с него бутылки, стаканы и уже сданные карты. Игроки здорово намяли ей бока. Красавчик выступил вперед, страшно сверкая глазами, с кривым ножом в руке. Женщина горько плакала, а завсегдатаи потешались и над жертвой и над палачом. Тут конец спектаклю положил мужчина за стойкой: он пригрозил женщине, приказав немедленно убираться; никто не ставил под сомнение, что во всем случившемся виновата она, ведь это она разозлила красавчика. Онофре снова спрятался за углом дома и увидел, как она, спотыкаясь, вышла на улицу: из уголка рта текла струйка крови; смешавшись с губной помадой, она стала лиловой. Женщина пальцами потрогала зубы — все ли на месте, потом сняла парик, вытерла платком в горошек пот со лба, снова надела па-

рик и отправилась в обратный путь. Ветер лег, стало тихо, воздух был сухой, прозрачный и такой холодный, что при вздохе ломило в груди. Онофре Боувила догнал женщину, когда она уже спускалась в овраг.

— Эй, сеньор Браульо,— крикнул он,— подождите меня! Это я, Онофре Боувила, ваш постоялец. Не бойтесь меня!

— Ох, милый,— откликнулся хозяин пансиона, по щекам которого еще текли слезы.— Они били меня в зубы и разрывали бы на куски, если бы я не поспешил ретироваться. Этот сброд!

— Но какого черта, сеньор Браульо, вы ходите в такое отвратительное место, чтобы вас колотили? Да еще в женской одежде! В этом есть что-то ненормальное,— сказал Онофре.

Сеньор Браульо пожал плечами и снова двинулся в путь. Густые тучи закрыли луну, и не стало видно ни зги. Они ползли на животе, наталкивались на угольные завалы, разбивали в кровь колени, ладони и лицо. В конце концов Онофре и сеньор Браульо взялись за руки, чтобы поддерживать друг друга.

— О! — снова вскричал через несколько минут сеньор Браульо,— Онофре, разве вы не видите? Пошел снег. Уже сколько лет в Барселоне не шел снег!

Позади них поднялся шум: обитатели и посетители этого порочного места высыпали на улицу со свечами и керосиновыми лампами в руках, чтобы полюбоваться на необычайное зрелище.



Зима в том году была суровой, таких холодов жители Барселоны не помнили. Несколько дней и ночей беспрестанно валил снег, он покрыл землю толстым слоем; город тонул в сугробах, замерло всякое движение, прекратили работу даже самые необходимые городские службы; температура воздуха опустилась чуть ли не на десять градусов ниже нуля — в других широтах это не так уж и много, но для барселонцев морозы оказались настоящим бедствием, ибо город был беззащитен, здесь никогда не принималось никаких мер против холода, жители не привыкли

к такой погоде, и очень многие пострадали. Однажды утром Онофре, более закаленный, как всякий сельский житель, вышел на балкон полюбоваться заснеженными крышами и, увидев возле перил мертвого голубя, поднял его, но обледеневшая птица выскользнула из рук, упала на мостовую и разлетелась на куски, точно фаянсовая фигурка. От замерзшей воды лопались водопроводные трубы, перестали работать уличные колонки и фонтаны. Пришлось развозить воду в огромных бочках на конной тяге. Подъезжая в назначенный час к месту раздачи, возчик трубил в медный горн, оповещая жителей. Выстраивались длинные очереди, стоять в которых было мучительно: холод пронизывал до костей. Возникали ссоры и драки, так что приходилось вмешиваться полиции. Случалось, у кого-нибудь обувь примерзала к обледенелой мостовой, и приходилось отдирать ее силой или лить под ноги горячую воду. Многие набирали снег в чаны, вносили в дом и ждали, пока он растает, другие собирали и растапливали свисающие с крыш сосульки — все эти тяготы хоть и причиняли немало огорчений, но в то же время создавали дух взаимопонимания; общая беда, сближавшая барселонцев, порождала немало анекдотов.

В особенно тяжелом положении оказались те, кто работал на воздухе. Жестоко страдали рабочие на строительной площадке Всемирной выставки, выходящей к морю и открытой всем ветрам. В других местах, например в порту, все работы были приостановлены, но здесь они продолжались, и даже во все возрастающем темпе; к тому же требования строителей остались неудовлетворенными — вот тут-то и было решено объявить забастовку. Когда Онофре, державший Пабло в курсе событий, рассказал об этом решении, апостол пришел в ярость. «Такая забастовка — верх глупости», — сказал он. Онофре спросил, почему он так считает.

— Понимаешь, парень, есть два вида забастовок: одни устраиваются, чтобы добиться определенных мелких уступок, а другие — чтобы расшатать существующий строй и тем способствовать его грядущему падению. Забастовки первого типа ничего, кроме вреда, рабочим не приносят, так как, по сути дела, лишь укрепляют существующие несправедливые общественные отношения. Нетрудно понять, что в такой забастовке нет никакого проку. Ведь забастовка — единственное оружие пролетариата, и глупо использовать его на пустяки. А у предстоящей забастовки

нет ни руководителей, ни организации, ни денежного фонда, ни четко определенных целей. Она с треском провалится, а для нашего дела это будет гигантский шаг назад.

Онофре не очень-то ему поверил, гнев апостола, по его мнению, вызван был тем, что забастовщики не пожелали иметь дело с анархистами, не только не предложили им возглавить эту акцию, но даже не попросили совета. Однако он понял, что забастовка — оружие обоюдоострое, что рабочим надо пользоваться им осмотрительно, не то хозяева могут ловко повернуть его против них. Теперь Онофре ограничивался тем, что следил за событиями со стороны, стараясь запоминать любую мелочь, но самому не пострадать, если дела примут дурной оборот. Забастовка, как и предсказывал Пабло, закончилась ничем: однажды утром пришел он в парк Сюдаделы и увидел, что почти все рабочие собрались на центральной площади, будущей Выставке, на бывшем плацдарме крепости перед Дворцом промышленности. Пока что это был лишь огромный остов, собранный из деревянных брусьев высотой до 26 метров, а площадь он занимал в 70 000 квадратных метров. Весь в снегу, заброшенный и пустой, он казался скелетом ископаемого чудовища. Собравшиеся здесь рабочие стояли молча; кто замерз, топал ногами и хлопал себя руками по бокам; колыхалось море шапок. Гражданская гвардия заняла стратегически важные пункты, например на плоских крышах, где фигуры в плащах и треуголках четко вырисовывались на фоне ясного утреннего неба. Вокруг парка разъезжали конные патрули.

— Если они на нас накинутся, помните, что саблями рубить можно только справа от лошадиной морды, — говорили старые рабочие, не раз принимавшие участие в подобных стычках, — а если станешь слева, ничего они с тобой не сделают. — Так бывалые бойцы успокаивали новичков. — Если тебя настигли, бросайся на землю и прикрой голову руками. Никакая лошадь не наступит на неподвижное тело. А бежать — боже сохрани.

Некоторые утверждали, что можно запросто испугать лошадей, надо только помахать перед их мордой платком. Тогда якобы лошади встают на дыбы, а то и сбрасывают седока. Однако всякий думал: пусть попробует это сделать другой.

Наконец был дан сигнал трогаться в путь. Никто не знал, кто его подал, но все не спеша пошли, шаркая ногами. Онофре, который шел чуточку в стороне, заметил, что толпа,

в которой насчитывалось несколько тысяч человек, вдруг поредела и теперь осталось человек двести или триста; остальные куда-то исчезли. Те, кто остался, вышли из парка через ворота между оранжереей и кафе-рестораном и пошли по улице Принсеса по направлению к площади Сан-Жауме. Вид у них был мирный — казалось, они хотят покончить с акцией, оказавшейся бесполезной, и идут только из чувства солидарности и рабочей чести. Над витринами на улице Принсеса не опускались решетки, и в окнах домов торчали головы любопытных, желавших посмотреть на манифестацию. За процессией следовали жандармы, сабли покоились в ножнах, и, судя по всему, их больше беспокоил холод, нежели нарушение общественного порядка. Онофре некоторое время шел с манифестантами, потом свернул в переулок, чтобы срезать угол. Вышел на маленькую площадь и наткнулся на эскадрон конной жандармерии и три установленных на лафеты пушки. Когда вновь примкнул к манифестации, он уже знал, что, если дойдет до драки, прольются реки крови. К счастью, ничего такого не случилось. Дойдя до улицы Монкада, демонстранты дружно остановились. Какая разница: идти дальше или остановиться здесь, думали, должно быть, многие из них. Шагай хоть до светопреставления, все равно никакого толку. Кто-то влез на решетку у окна второго этажа и сказал речь. Манифестация, мол, удалась. Затем его сменил другой оратор, рабочий, и сказал, что виной всему отсутствие организации и классового самосознания, и призвал манифестантов вернуться на работу. «Только так,— сказал он в заключение,— возможно, удастся избежать репрессий». Обоих ораторов выслушали внимательно и с уважением. Потом Онофре через Эфрена Кастельса узнал, что первый был провокатором, а второй — честным рабочим, симпатизирующим синдикалистам. Его уволили сразу же после забастовки, и больше Онофре этого человека ни разу не встречал. А общий итог оказался таков: после обеда все вернулись на рабочие места, ни одно из требований строителей не удовлетворили, а местная печать даже не упомянула о событии.

— Иначе и быть не могло,— проворчал Пабло, и в его безумных глазах мелькнул огонек удовлетворения.— Теперь пройдут годы, прежде чем удастся организовать какое-нибудь массовое выступление. Даже не знаю, стоит ли продолжать распространение брошюр.

Онофре, почуяв опасность лишиться скудного источника

доходов, сменил тему и рассказал о том, что он видел в боковой улочке, когда отошел от процессии.

— Ясное дело,— сказал на это Пабло,— а как бы ты думал? Они не допустят, чтобы горстка рабочих добилась своего и создала опасный прецедент. Пока все тихо-мирно, они не ввязываются: военный отряд, дескать, обеспечивает порядок, чтоб демонстрация не нарушала уличное движение. И люди думают: на что могут жаловаться эти рабочие, когда у нас такое доброе и гуманное правительство? Ну а если уж дело примет дурной оборот, конная жандармерия разгонит толпу. А не поможет, угостит народ картечью!

— Зачем же нужны такие выступления? — спросил Онофре.— У тех пушки, и с ними ничего не поделаешь. Давайте заниматься чем-нибудь другим, с чего хоть какой-то прок будет.

— Не говори так, парень, не надо.— Взор Пабло блуждал по невидимому горизонту, который был шире и светлей, чем сырые, потрескавшиеся стены подвала, где он жил.— Никогда так не говори. Оружью мы действительно можем противопоставить лишь то, что нас много, да еще смелость, порожденную отчаянием. Но придет день, и мы победим, заплатив за победу страданиями и кровью. Это не такая уж дорогая цена за светлое будущее наших детей, за общество, в котором у всех равные возможности, за мир, в котором не будет ни угнетения, ни голода, ни войны. Мне, скорей всего, до этого не дожить, да и тебе, сынок, тоже, хоть ты совсем еще юный. Должны пройти долгие годы, нужно свершить громадные дела: разрушить все, что есть, до основания, покончить с угнетением и государством, которое это порождает и поддерживает, с полицией и армией, с частной собственностью и деньгами, с церковью и образованием, которое ныне удел избранных, и мало ли с чем еще. Тут дел самое малое лет на пятьдесят, понимаешь?

Холод, жертвами которого в ту зиму стали многие жители Барселоны, не пощадил и обитателей пансиона. Серьезно заболела провидица, Микаела Кастро. Мосен Бизансьо привел врача, чтобы тот ее осмотрел; белый халат молодого врача пестрел красными пятнами. Достав из баульчика не очень чистые, тронутые ржавчиной инструменты, он принялся выстукивать и выслушивать больную. Все решили, что в болезнях он и не разбирается, а красные пятна на халате, скорей всего, от томатного сока, но никто

ничего не сказал. Однако этот молодой человек, внешность которого не внушала доверия, уверенно поставил диагноз: Микаеле Кастро осталось недолго жить. Как называется болезнь — не сказал, дескать, старость и всякие осложнения, но надежды нет. Прописал какие-то болеутоляющие лекарства и ушел. Пансионеры и сеньор Браульо собрались в вестибюле, чтобы обсудить положение, там же сидела сеньора Агата, как всегда грея ноги в тазу. Брадобрей Мариано высказался за то, чтобы убрать больную из пансиона и как можно скорей. Хоть врач и сказал, что болезнь не заразная, но поостеречься не мешает.

— Отвезем ее в дом призрения, — предложил он, — там за ней будут присматривать, пока она не умрет.

Сеньор Браульо согласился с брадобреем, сеньора Агата, по обыкновению, молчала и вроде бы не вникала в суть обсуждения; Онофре сказал, что готов присоединиться к мнению большинства. Возразил только мосен Бизансьо: будучи священником, он не раз бывал в домах призрения и знает, в каких условиях содержатся там больные. Даже если в больнице окажется свободная койка, оставить бедную женщину на произвол судьбы, чтоб она умирала в незнакомом месте среди других тяжелобольных и на попечении чужих людей, — это жестоко и не по-христиански. Особого ухода за ней не требуется, и никому она здесь не помешает.

— Эта безумная живет в пансионе много лет, — продолжал мосен Бизансьо. — Здесь ее дом. Будет по справедливости, если несчастная умрет среди нас, вроде бы в кругу семьи, ведь, кроме нас, у нее нет никого на свете. И не забудьте, — добавил он, поочередно устремляя взгляд на каждого из собеседников, — что эта женщина давно вступила в союз с дьяволом, за что на том свете будет осуждена на вечные муки. Так давайте же пред лицом этого ужасного будущего сделаем, что можем, дабы последние дни земной жизни не были для нее слишком тягостными.

Брадобрей начал было спорить со священником, но тут вдруг вмешалась сеньора Агата. «Мосен прав», — сказала она хриплым, как у шахтера, голосом. До сих пор никто, кроме мужа, не слышал, как она говорит, и ее лаконичная реплика решила исход обсуждения. Не успела она закрыть рот, как Онофре тут же согласился с ее мнением. В конце концов брадобрею пришлось уступить, ничего другого ему не оставалось. Мосен Бизансьо взялся ухаживать за больной, чтобы другие себя не утруждали. Разошлись в полном

согласии, а в час ужина всем немного взгрустнулось: никогда уж Микаела Кастро не развлечет их своими пророчествами.

Но вот кончился и 1887 год. Барселонцам он почему-то показался длиннее других, возможно, из-за того, что принес им мало радости — бывает и так. «Пусть новый год будет чуточку получше!» — желали друг другу барселонцы. А может, дурное мнение о прожитом годе сложилось из-за жестокой декабрьской стужи. Там, где снег не убрали, он превратился в лед, люди падали, ломали себе ноги или руки. «У нас теперь, как на Северном полюсе», — говорили шутники. Пласа-де-Каталунья, на которой велись работы, была вся в ямах, канавах и кучах земли — ни дать ни взять унылая тундра. По этому поводу одна из газет опубликовала сногшибательную заметку: в какой-то яме на этой самой площади нашли-де несколько крупных яиц, и лабораторный анализ показал, что это пингвины яйца. Разумеется, все было вымыслом, заметка предназначалась для публикации первого апреля, а по ошибке попала в набор преждевременно. Но само ее появление свидетельствует о том, что наступившие холода всецело подчинили себе жизнь горожан, особенно тех, у кого не было теплого жилья.

На берегу моря, где ютились в лачугах приезжие рабочие со своими семьями, создалось критическое положение. Как-то вечером женщины, боясь замерзнуть насмерть, взяли детей на руки и двинулись в путь. Мужья порешили не идти с ними, опасаясь, как бы их участие в шествии не придало всему иной оттенок. Женщины с детьми прошли по железному мосту, что соединяет морской берег с парком Сьюдаделы, и проследовали мимо строящихся павильонов к Дворцу изящных искусств. Дворец этот, ныне не существующий, находился справа от павильона Сан-Хуана, если смотреть от Триумфальной арки, он стоял на самом углу, образуемом этим салоном и улицей Комерсио, то есть за пределами парка, но на территории Всемирной выставки. Дворец изящных искусств имел длину 88 метров, ширину — 41 метр и высоту — 35 метров, не считая четырех башенок с куполами, увенчанными статуями Славы. Во Дворце, кроме предназначенных для экспонатов помещений, был еще роскошный зал размерами пятьдесят на тридцать метров, где пред-

полагалось торжественно награждать победителей конкурсов. В этом зале и решили заночевать женщины с детьми. Жандармский офицер, ведавший охраной парка, доложил о происшедшем властям предержавшим. «Сделайте вид, будто ничего не заметили»,— ответили ему.

— Но они там разводят костры посреди зала, и из окон валит дым,— возразил офицер.

— Ну и что? Не открывать же по ним стрельбу, чтобы иностранные газеты растрезвонили об этом событии за четыре месяца до открытия Выставки. Не обращайтесь внимания, а там посмотрим,— последовало официальное указание.

— Хорошо,— сказал офицер,— но мне нужен письменный приказ. Если через полчаса я его не получу, прикажу очистить Дворец, устрою резню и не буду нести никакой ответственности. Имейте в виду, что на крыше кафе-ресторана у меня установлен пулемет, и, когда женщин выкинут из Дворца, я угощу их свинцом.

Пришлось одному из служащих аюнтамьенто тащиться по холоду, скользя и падая, чтобы доставить приказ раньше, чем офицер выполнит свою угрозу. На другой день власти посовещались и решили, что женщины с детьми, но без мужей, поселятся на две недели в еще не заселенных новых казармах на улице Сисилья. Пусть там разводят костры и вообще делают все что хотят. Вести переговоры с женщинами было нелегко: в свое время Эфрен Кастельс продал им несколько флаконов средства для ращения волос, и у некоторых появились бороды. Поэтому советник, явившийся во Дворец изящных искусств от имени алькальда, увидел перед собой бородатых женщин. К этому он был не готов и потому согласился удовлетворить все их требования; лишь благодаря связям в высших сферах его не разжаловали. А все потому, что Эфрен Кастельс был сам не свой до женщин. Сатир, да и только: под предлогом продажи своего товара заходил в лачуги, когда все мужчины работали на стройке, и пожинал обильную жатву. Его мужественный вид пленял всех подряд, нраву он был игривого, умел подольститься и денег не жалел, так что на любовном поприще судьба ему благоприятствовала. Онофре относился к этой слабости компаньона с неодобрением. «Из-за тебя мы того и гляди нарвемся на крупную неприятность»,— говорил он.

— Да не бойся,— отвечал ему Эфрен Кастельс.— Я знаю женщин: им ничего не стоит обмануть мужа, но

любовника, который сумел потрафить, ни за что не предадут, хоть режь на куски. Спрашиваешь, почему? Хоть убей, не знаю! Должно быть, нравится страдать. Хочешь, чтоб женщина в тебе души не чаяла, колоти ее, изменяй — вот самый надежный способ. Если б не мое простодушие, я бы за счет женщин мог жить припеваючи. Но что поделаешь, я не из таких. Наоборот, сам теряю голову и позволяю выжать себя как лимон.

Деньги, которые давал ему зарабатывать Онофре, Эфрен тратил на подарки возлюбленным. «Видно, весь фокус в том, чтобы быть щедрым и нахальным,— говорил себе Онофре.— От всякого человека можно ждать лишь того, что сам сумеешь от него получить. Все люди — мягкий воск». Вот какие мысли приходили в голову Онофре Боувиле во время нескончаемых бдений на лестничной площадке пансиона, где он караулил Дельфину. Там его до костей пробирал холод, и лишь молодость и крепкое здоровье спасали от опасной простуды. Сеньор Браульо не уходил больше по ночам: ждал весны, чтоб принарядиться. Онофре и словом не обмолвился о том, что проводит ночи напролет на лестничной площадке, стараясь накрыть Дельфину с женихом на месте преступления. Он думал, что сеньор Браульо ничего не знает о похождениях Дельфины, равно как и та не знает о похождениях отца.

В одну из таких ночей часов около двух его вывел из задумчивости чей-то голос. Доносился он из комнаты Микаелы Кастро, гадалки. Мосен Бизансьо, взявший на себя заботы о больной, спал, как говорится, без задних ног, а возможно, с возрастом он стал туговат на ухо. Минута шла за минутой, а никто не являлся на зов страждущей; прорицательница просила пить, но голос у нее настолько ослабел, что нелегко было даже определить, откуда он доносится. Онофре прошел на кухню, взял из шкафчика стакан, наполнил водой и понес в комнату Микаелы Кастро. Его встретил тошнотворный запах гниющих водорослей; Онофре ощупью отыскал ледяную руку провидицы и вложил в нее стакан с водой. Услышал, как жадно она глотает воду, принял пустой стакан. Умирающая что-то невнятно пробормотала. Склонившись к изголовью, Онофре услышал: «Воздай тебе Господь, сынок» — и подумал: только-то и всего? Но в голове его зародилась некая мысль.

К середине января погода наладилась. Город пробу-

дился от летаргического сна. На строительной площадке Выставки, оттаяв, показались из-под льда перила и пьедесталы, которых строителям неделями не удавалось доискаться. Образовались огромные лужи, непроходимые и опасные, ибо вода, просачиваясь в землю, могла вызвать и на самом деле вызвала оползни, так что некоторые здания осели и потрескались, иногда свыше допустимых норм. Случился даже небольшой обвал, засыпавший подмастерье каменщика и раздавивший его насмерть. Из-за спешки разыскать тело не удалось, а здание начали возводить заново на обломках прежнего. Случай этот огласки не получил, и посетителям Выставки в голову не приходило, что у них под ногами засыпан мусором труп — такое нередко случалось на стройках в старину. Однако в парке происходили не только трагические события, бывали и смешные истории. Когда потеплело, на морском берегу появился цыганский табор. Жены строителей стали на порогах своих хижин и преградили путь пришельцам, ибо ходили слухи, что цыгане крадут грудных детей и уносят их с собой. На самом же деле цыгане этого табора кормились тем, что паяли кастрюли, стригли собак, гадали и водили медведя, которого заставляли танцевать. Рабочих, у которых не было ни кухонной утвари, ни собак и которые не интересовались своим будущим, забавлял только танцующий медведь. Пришлось гражданской гвардии вмешаться и выгнать цыган с площадки на бывшем плацдарме, где они лихо били в бубны. Офицер, получивший повышение после похода женщин ко Дворцу изящных искусств, позвал к себе цыгана, который, судя по всему, был за главного, и велел тотчас убираться со своим табором ко всем чертям. Цыган возразил, дескать, они никому не причиняют зла. «Я с тобой много разговаривать не буду, скажу так: сейчас я пойду до ветра и, если, когда вернусь, ты еще будешь здесь, медведя вашего велю застрелить, мужчин отправлю на принудительные работы, а женщин остригу наголо. Соображай сам». Цыган с медведем как ветром сдуло. А вот тут и начинается смешная часть этой истории. Через два-три дня после этого разговора на строительной площадке появилась группа людей, не менее живописная, чем предыдущая. Ее возглавлял мужчина в темно-зеленом фраке и цилиндре того же цвета. У него были черные, как гагат, нафабранные усы. За ним шли еще четверо и несли на плечах нечто, покрытое брезентом. Жандармы,

едва завидев пришедших, набросились на них и, подгоняя прикладами, повели к начальнику. Но оказалось, что это первый участник Международной выставки, некий Гюнтер ван Элькезеріо, и четверо рабочих, прибывших с ним из Майнца. Незадачливый участник Выставки вез изобретенную им электрическую прялку и, заблудившись, спрашивал по-немецки и по-английски, где он может оставить свое изобретение, пока Выставка не распахнет двери.

Стремясь избежать суматохи в последние дни перед открытием, барселонские власти обратились к участникам Выставки с просьбой присылать экспонаты заранее. Понадобились склады для хранения экспонатов, пока не достроят павильоны, где они будут выставлены. Дело это оказалось не таким простым, как выглядело на первый взгляд. Надо было защитить экспонаты от дождя, сырости (особенно если речь шла о тонких механизмах, предметах искусства и вообще обо всех экспонатах, материал или устройство которых требовали деликатного обращения), от мышей, тараканов, муравьев и тому подобного. Кроме того, надо было разместить их таким образом, чтобы в нужный момент любой экспонат без труда можно было найти и поставить на предназначенное место. Власти все предусмотрели и своевременно опубликовали исчерпывающую классификацию всех возможных экспонатов и их разновидностей; каждому роду продукции присваивался либо тот или иной номер, либо какая-нибудь буква или определенное соединение того и другого, так что не было никаких сложностей. Онофре Боувила, в скором времени заполучив такой список, внимательно его изучил. До тех пор он и не представлял себе, что на свете так много вещей, которые можно купить и продать. Открыв эту истину, он несколько дней ходил в мрачном расположении духа, а потом, пригласив на помощь Эфрена Кастельса и преодолев тысячу опасностей, проник в один из таких складов. При свете фонаря, который захватили с собой, они увидели нагроможденные до потолка ящики и тюки разных размеров. Некоторые такие большие, будто в них карета с лошадьми, а другие — такие маленькие, что их можно было бы сунуть в карман. В каждой упаковке что-то содержалось. Онофре поглядел на список при колеблющемся свете лампы, которую держал Эфрен

применяемые в медицине, хирургии и ортопедии; стулья, кровати и т. п.; бандажи для грыжи, варикозных вен и т. п.; приспособления для больных: костыли, специальная обувь, очки, пенсне, слуховые рожки, деревянные протезы ног и т. п.; искусственные зубы, глаза, носы и т. п.; сгибающиеся конечности; другие ортопедические устройства; различные приспособления для искусственного или специального питания; смирительные рубашки и т. п.». «Ничего себе!» — воскликнул Эфрен Кастельс. По требованию Онофре гигант из Калельи, пользуясь своей могучей силой, разломал один из самых больших ящиков. Там оказался типографский пресс.

Добродушный по природе, Эфрен Кастельс завоевал доверие ребятни, гонявшей по пляжу, сыновей соблазненных им женщин. Через мальчишек он отправлял и получал любовные записки, назначал свиданья. Под руководством Онофре Эфрен собрал и обучил мальчишек: с наступлением темноты они проникали на склады, ловко распаковывали ящики и тюки, а экспонаты вручали Онофре и Эфрену. Те, смотря по обстоятельствам, продавали товар или разыгрывали его в лотерею; кое-какая мелочь перепадала ребятам. У Эфрена Кастельса деньги долго не залеживались, а вот Онофре Боувиле, не тративший ни гроша по-пустому, накопил в матраце мосена Бизансьо приличное состояние.

— И для чего тебе столько денег? — говорил гигант своему компаньону. — Пусть я бы копил, это было бы понятно, я глуп, и мне не мешает позаботиться о завтрашнем дне. Но зачем копишь ты, я не понимаю, ты всегда можешь что-нибудь придумать.

На самом деле Онофре не тратил деньги лишь потому, что не знал как, потребности такой у него не было и некому было надоумить.

После долгой слежки Онофре установил, что Дельфина отлучалась из дома только на какой-нибудь час по утрам: она ходила на рынок. Полагая, что тут он ее и накроет, Онофре как-то раз не пошел по своим делам, а потащился следом за ней. Дельфина несла две плетеные корзины, а за нею важно выступал кот. Шла она уверенно, но была при этом рассеянна, будто о чем-то мечтала; по причине этой самой рассеянности ступала в лужи и сползала с кучи мусора. Слонявшиеся по улицам маль-

чишки поглядывали на нее с опаской. Они боялись кота и поэтому не дразнили ее и не швырялись камнями. На рынке Дельфина была не в почете у торговок. Ведь она никогда не останавливалась посудачить, товар выбирала придирчиво и строго смотрела за весом. Торгуясь до последнего, брала товар с изъясном, лишь бы торговка уступила. Например, зеленщица уверяла, что капуста не подгнила и идет первым сортом, а Дельфина доказывала, что это не так, и запах не тот, и черви уж завелись — платить настоящую цену за такую гниль она не намерена. Если торговка стояла на своем и повышала голос, Дельфина подбирала Вельзевула с земли и ставила на прилавок. Тот сразу выгибал спину и, ошетилившись, выпускал когти. Этот прием всегда приносил успех: торговка, струхнув, уступала. «Ладно, берите,— говорила она,— берите капусту и платите, сколько она стоит по-вашему, но больше ко мне не подходите, я вам ничего не продам, вот и весь сказ». Дельфина, пожав плечами, уходила, а на другой день все начиналось сначала. Завидев ее, торговки бледнели от злости, они даже обращались к бродившей по рынку ворожее, чтобы та напустила порчу на прижимистую покупательницу и в особенности на кота.

Все это Онофре разведal без труда, потому что торговки после ухода Дельфины на комментарии не скупились.

Дельфина возвращалась домой, когда к ней подошел Онофре.

— Пошел прогуляться,— сказал он, выходя из переул-ка ей навстречу,— гляжу — ты идешь. Помочь?

— Сама управлюсь,— ответила служанка, прибавляя шаг, словно хотела показать, что две полные корзины для нее не тяжесть.

— А я и не говорю, что не справишься. Просто хотел оказать тебе любезность.

— Для чего? — поинтересовалась Дельфина.

— Да просто так, без всякой цели. Когда помогают с какой-то целью, это уже не любезность, а расчет.

— Больно складно ты говоришь,— заметила служанка.— Отойди, не то напущу на тебя кота.

Вельзевула надо было убрать, убить. Онофре придумал много способов, но все они были сопряжены с немалыми

трудностями; наконец измыслил нечто такое, что, по его мнению, было выполнимо. Он решил смазать оливковым маслом черепичную крышу пансиона: когда Вельзевул пойдет на крышу прогуляться, как это делают все коты, он сорвется и упадет, а брякнувшись на мостовую с крыши четырехэтажного дома, наверняка разобьется насмерть. Выполняя этот план, Онофре чуть сам не сорвался, зато смазал каждую черепицу, после чего вернулся к себе в комнату и завалился спать. В ту ночь ничего не случилось, но в следующую, после того как Онофре, утомленный бдением на лестничной площадке, уснул (на часах церкви Святого Иезекииля как раз пробило два), его разбудил какой-то шум. С балкона доносились стоны и ругательства. Неужели Вельзевул свалился на голову какому-нибудь полуночнику? Вот уж это было бы совсем ни к чему. Онофре выглянул на балкон и отпрянул в испуге: при лунном свете он увидел человека, который висел снаружи балкона, уцепившись за перила; он тщетно пытался подтянуться, чтобы влезть на балкон, и взывал о помощи. «Ради бога, помогите,— обратился он к Онофре,— дайте руку, не то я разобьюсь». Онофре схватил незнакомца за запястья и втащил в комнату. Тот поскользнулся и шлепнулся задом об пол. «Ой, всю задницу отбил!» — простонал он. Онофре велел ему не орать. Зажег свечу в подсвечнике. «Ну а теперь расскажи, за каким чертом ты висел на моем балконе», — потребовал он.

— Сам не пойму, как это случилось, — ответил незнакомец. — Какая-то сволочь намазала крышу жиром или чем-то еще. Счастье мое, что я успел ухватиться за решетку балкона, иначе не говорил бы сейчас с тобой.

— А как ты очутился в такой час на крыше? — спросил Онофре.

— Да тебе-то что?

— Мне, может, все равно, а вот владельцам пансиона и полиции наверняка захочется об этом узнать.

— Но-но, полегче, — забеспокоился незнакомец, — я не вор и ничего плохого не делал. Меня зовут Сисиньо, я жених девушки, которая здесь живет.

— Дельфины!

— Да, именно так ее зовут, — сказал Сисиньо. — Родители у нее строгие и не разрешают встречаться с мужчинами. Мы и встречаемся по ночам на крыше.

— Вот здорово! — воскликнул Онофре Боувила. — А как же ты туда забираешься?

— Приношу с собой лестницу. За домом — подъем, не так-то высоко и лезть. А сам я маляр.

На вид Сисиньо можно было дать лет тридцать пять: узкие плечи, жидкие волосы, глаза навывкате и маленький подбородок. Во рту не хватало двух зубов, из-за чего он пришепetyвал. Так вот каков мой соперник! — разочарованно подумал Онофре.

— И что же вы с ней делаете на крыше? — спросил Онофре.

— Много будешь знать.

— Да не бойся ты. Я из ваших, меня зовут Гастон. Спроси обо мне у Пабло.

— Ну, тогда другое дело, — в первый раз улыбнулся Сисиньо.

И он рассказал Онофре, что, по правде говоря, ничего особенного они на крыше не делали. Ну там разговоры, поцелуйчики и прочая ерунда. Заниматься любовью всерьез на крыше несподручно. Сисиньо не раз предлагал Дельфине встретиться в более подходящем месте, но та — ни в какую. Дескать, ты меня тогда разлюбишь. И это продолжается уже два года. «Сам не знаю, как я терплю такую канитель», — сказал Сисиньо.

— Почему же вы не поженитесь? — спросил Онофре.

— Тут есть заковыка, — ответил Сисиньо. — Дело в том, что я женат. У меня две дочери. Дельфине я об этом пока еще не сказал, никак с духом не соберусь, боязно ее огорчить. Бедняжка ведь надеется. Если б моя жена отдала богу душу, все бы наладилось, да она здоровая как лошадь.

— А жена твоя что говорит?

— Ничего. Я ей объясняю, что у меня ночная работа, она верит. Перед тем как вернуться домой, я нарочно пачкаю одежду краской.

— Ладно, — сказал Онофре, — сиди здесь, а я пойду за Дельфиной. Не то еще она полезет на крышу, упадет и убьется.

Выйдя в коридор, он повстречал мосена Бизансьо, который направлялся в уборную. Из комнаты пророчицы доносились жалобные стоны. Не хватало еще только, подумал Онофре, чтобы я сейчас повстречал сеньора Браульо в женском платье с оборками. В хорошенький дом я попал!

Едва Онофре легонько постучал в дверь спальни Дельфины, как услышал ее свистящий шепот. Он назвал себя. «Убирайся, или я напущу на тебя кота», — услышал в ответ. «Я пришел только, чтоб сказать тебе, что Сисиньо попал в беду, — сказал Онофре. — Несчастный случай». Дверь спальни тотчас отворилась. Сверкнули две пары глаз. Кот выгнул спину, Онофре отступил, а девушка сказала: «Не бойся, он тебя не тронет. Что случилось?»

— Твой жених сорвался с крыши. Он у меня в комнате. Иди к нему, только кота с собой не бери, — сказал Онофре.

Они вместе пошли вниз по лестнице. Онофре взял Дельфину за руку, та ее не отдернула и ничего не сказала. Онофре почувствовал, что она дрожит.

Сисиньо лежал на кровати. При бледном свете лампы он казался мертвецом, хотя глаза его были открыты и он пытался улыбнуться.

— Я вас оставляю, — сказал Онофре Дельфине. — Гляди, чтоб он не умер у меня в комнате, мне это ни к чему. Вернусь на рассвете.

Выйдя на улицу, Онофре остановился, не зная, куда направить стопы. И тут услышал кошачий вопль: рядом с ним Вельзевул шмякнулся о камни мостовой. Онофре взял валявшийся поблизости железный прут и затолкал кошачий труп в канализационный люк. Так за одну ночь Дельфина лишилась обоих своих заступников.



Его Высокопреосвященство сеньор епископ Барселонский посетил Рим, будучи еще послушником: по пути в Милане, где он пробыл несколько дней, видел Его Императорское Высочество эрцгерцога Франца Фердинанда Австрийского (того самого, который впоследствии так трагически погиб в Сараеве), когда тот на площади принимал парад гвардейских частей. Образ высокородного наследника престола оставался в памяти славного прелата до конца его дней. Рабочие, завидев епископа, разгибали спины и снимали шапки. Звонили колокола и трубили трубы кавалерийского отряда, сопровождавшего свиту епископа. Его Высокопреосвященство сеньор епископ и

Его Превосходительство сеньор алькальд рука об руку прошли под Триумфальной аркой. За ними толпой следовали представители городских властей. После них со скупающим видом шагали консулы разных стран. Рядом с прелатом шел дьякон с кропильницей, то есть серебряным сосудом, наполненным освященной водой. В правой руке епископ держал кропило, которое время от времени макал в святую воду. Если брызги попадали на кого-нибудь из рабочих, тот сразу же осенял себя крестом. Жалко было смотреть, как на роскошную епископскую мантию садится пыль. Во Дворце промышленности, где должна была происходить церемония, стены почти совсем еще не были обшиты, но их задрапировали, и получился шатер. На лучшем месте соорудили часовенку, в которой стояла недавно отреставрированная статуя Святой Лусии из позолоченного серебра, датируемая XVIII веком. Слева от центрального нефа расположился городской оркестр, который заиграл марш, как только появилась процессия. Епископ благословил строительство. Он и алькальд выступили с речами, которые заканчивались здравицей в честь Его Величества короля и Ее Величества королевы. Два посланца, ездившие в Мадрид столько раз, что наизусть запомнили названия всех городов и сел, лежавших на пути, прослезились: они ощущали себя если не истинными отцами Выставки, так уж, во всяком случае, крестными. Но на самом деле их старания привели к плачевному результату: правительство выделило средства, которых было недостаточно, чтобы спасти барселонский муниципалитет от разорения, но получение которых не позволяло каталонцам утверждать, будто грандиозное предприятие — их собственное детище. Посланцы этого не знали, а может, и знали, но все равно плакали. Снова зазвонили колокола, и на этом торжественный акт был завершен, и рабочие снова приступили к работе. Это произошло 1 марта 1888 года, за месяц и семь дней до открытия Выставки.

Торговые операции Онофре Боувилы множились и приобретали размах, особенно после того, как к делу были привлечены малолетние воришки и были обнаружены экспонаты, числившиеся под рубрикой «бетель, перуанская трава, гашиш и другие растения, используемые для курения или жевания» и предназначенные для выставки

в Сельскохозяйственном павильоне (расположенном, как и Дворец изящных искусств, за пределами парка, у северной стены, на шоссе, ведущем в Сан-Мартин и к французской границе, между улицами Роже-де-Флор и Сисилья). Некий штукатур, разбитной малый, не раз падавший с лесов и лестниц, помог выгодно сбыть эти экспонаты за границу. Вся эта торговля немало тревожила Пабло, который понимал, что его подопечный хоть и выказывает ему уважение, но на самом деле водит за нос. Пабло не знал, как ему поступить: Онофре давно завоевал доверие рабочих — строителей Выставки, а со своими единомышленниками Пабло не решался даже поделиться теми заботами, которые возникли из-за его собственной слабости. Он общался с внешним миром только через Онофре, и тот вертел им, как хотел.

Пабло не раз говорил своему ученику, что в Каталонии первым делом надо разрушить театр «Лисео», и Онофре решил побывать там, чтобы понять, почему театру отдается предпочтение. Пабло говорил: «Лисео» — это символ, как в Мадриде король, а в Риме — папа. В Каталонии, слава богу, нет ни короля, ни папы, зато у нас есть «Лисео». И вот Онофре купил билет (как ему показалось, за невероятную сумму) и вошел в театр через дверь для простой публики — из переулка, где повсюду валялись растоптанные капустные листья. Знатная публика входила через подъезд на бульваре Рамблас, к которому подкатывали элегантные экипажи. Дам почти что выносили на руках: вечерние платья были такими длинными, что дамы уже скрывались за стеклами дверей, а шлейфы все еще выползали из экипажей, словно бы змеи решили послушать оперу. Онофре долго поднимался по бесконечной лестнице. Запыхавшись, пришел наконец в какую-то выгородку, вдоль которой тянулась железная скамья, а на ней уже сидели меломаны, которые проводили в театре целые дни, спали, облокотившись на барьер и положив голову на руки, висли на нем, как циновки на площадке для просушки, подкрепляли силы горбушкой хлеба с чесноком и дешевым разливным вином. Прямотаки питомник для вшей, сказал себе Онофре. Зрители приносили с собой огарки свечей и в полутьме галерки читали партитуру и либретто. Некоторые из них теряли в «Лисео» зрение и здоровье. Зато весь остальной театр являл совсем иную картину. Партер ослепил Онофре: шелка, муслин, бархат, усыпанные блестками накидки, дра-

Его Превосходительство сеньор алькальд рука об руку прошли под Триумфальной аркой. За ними толпой следовали представители городских властей. После них со скупающим видом шагали консулы разных стран. Рядом с прелатом шел дьякон с кропильницей, то есть серебряным сосудом, наполненным освященной водой. В правой руке епископ держал кропило, которое время от времени макал в святую воду. Если брызги попадали на кого-нибудь из рабочих, тот сразу же осенял себя крестом. Жалко было смотреть, как на роскошную епископскую мантию садится пыль. Во Дворце промышленности, где должна была происходить церемония, стены почти совсем еще не были обшиты, но их задрапировали, и получился шатер. На лучшем месте соорудили часовенку, в которой стояла недавно отреставрированная статуя Святой Лусии из позолоченного серебра, датируемая XVIII веком. Слева от центрального нефа расположился городской оркестр, который заиграл марш, как только появилась процессия. Епископ благословил строительство. Он и алькальд выступили с речами, которые заканчивались здравицей в честь Его Величества короля и Ее Величества королевы. Два посланца, ездившие в Мадрид столько раз, что наизусть запомнили названия всех городов и сел, лежавших на пути, прослезились: они ощущали себя если не истинными отцами Выставки, так уж, во всяком случае, крестными. Но на самом деле их старания привели к плачевному результату: правительство выделило средства, которых было недостаточно, чтобы спасти барселонский муниципалитет от разорения, но получение которых не позволяло каталонцам утверждать, будто грандиозное предприятие — их собственное детище. Посланцы этого не знали, а может, и знали, но все равно плакали. Снова зазвонили колокола, и на этом торжественный акт был завершен, и рабочие снова приступили к работе. Это произошло 1 марта 1888 года, за месяц и семь дней до открытия Выставки.

Торговые операции Онофре Боувилы множились и приобретали размах, особенно после того, как к делу были привлечены малолетние воришки и были обнаружены экспонаты, числившиеся под рубрикой «бетель, перуанская трава, гашиш и другие растения, используемые для курения или жевания» и предназначенные для выставки

в Сельскохозяйственном павильоне (расположенном, как и Дворец изящных искусств, за пределами парка, у северной стены, на шоссе, ведущем в Сан-Мартин и к французской границе, между улицами Роже-де-Флор и Си-силья). Некий штукатур, разбитной малый, не раз падавший с лесов и лестниц, помог выгодно сбыть эти экспонаты за границу. Вся эта торговля немало тревожила Пабло, который понимал, что его подопечный хоть и выказывает ему уважение, но на самом деле водит за нос. Пабло не знал, как ему поступить: Онофре давно завоевал доверие рабочих — строителей Выставки, а со своими единомышленниками Пабло не решался даже поделиться теми заботами, которые возникли из-за его собственной слабости. Он общался с внешним миром только через Онофре, и тот вертел им, как хотел.

Пабло не раз говорил своему ученику, что в Каталонии первым делом надо разрушить театр «Лисео», и Онофре решил побывать там, чтобы понять, почему театру отдается предпочтение. Пабло говорил: «Лисео» — это символ, как в Мадриде король, а в Риме — папа. В Каталонии, слава богу, нет ни короля, ни папы, зато у нас есть «Лисео». И вот Онофре купил билет (как ему показалось, за невероятную сумму) и вошел в театр через дверь для простой публики — из переулка, где повсюду валялись растоптанные капустные листья. Знатная публика входила через подъезд на бульваре Рамблас, к которому подкатывали элегантные экипажи. Дам почти что выносили на руках: вечерние платья были такими длинными, что дамы уже скрывались за стеклами дверей, а шлейфы все еще выползали из экипажей, словно бы змеи решили послушать оперу. Онофре долго поднимался по бесконечной лестнице. Запыхавшись, пришел наконец в какую-то выгородку, вдоль которой тянулась железная скамья, а на ней уже сидели меломаны, которые проводили в театре целые дни, спали, облокотившись на барьер и положив голову на руки, висли на нем, как циновки на площадке для просушки, подкрепляли силы горбушкой хлеба с чесноком и дешевым разливным вином. Прямотаки питомник для вшей, сказал себе Онофре. Зрители приносили с собой огарки свечей и в полутьме галерки читали партитуру и либретто. Некоторые из них теряли в «Лисео» зрение и здоровье. Зато весь остальной театр являл совсем иную картину. Партер ослепил Онофре: шелка, муслин, бархат, усыпанные блестками накидки, дра-

гоценности; непрерывно хлопали пробки откупориваемых бутылок шампанского, сновали официанты, слышался тихий говор, как в любом другом месте, где собираются богачи. Вот таким я и хочу стать, подумал Онофре, хотя бы для этого пришлось терпеть эту дурацкую музыку, которая никогда не кончается. Ему не повезло: он попал на «Трифона и Касканте», оперу с мифологическим сюжетом, скучную вещь, которая шла в «Лисео» один-единственный раз, да и в остальных театрах мира, видимо, не чаще.

Во время завтрака к нему подошла Дельфина. Даже ее некрасивость не могла скрыть следы бессонницы и беспокойства. Она спросила, не видел ли он случайно Вельзевула. «Нет, где ж я мог его видеть»,— ответил Онофре. «Он исчез несколько дней тому назад»,— с грустью сказала Дельфина. «Невелика потеря»,— заметил он.

У ворот строительной площадки его ждал Эфрен Кас-тельс.

— Плохо дело,— сказал он, едва завидев Онофре.— Вот уже два дня я замечаю, что за тобой ходят какие-то два типа, вроде выслеживают; сначала я подумал, просто любопытные, но они с тебя глаз не спускают. Как я понимаю, они тут не работают. Все выспрашивают.

— Должно быть, полицейские ищейки,— предположил Онофре.

— Да нет, повадки не те,— возразил Эфрен.

— Тогда кто?

— Не знаю, дружище, но мне это не по душе,— заявил гигант.— Не отдохнуть ли недельку-другую? Тут уж дело идет к концу.

Это была правда. Онофре огляделся вокруг: огромная стройка, которую он застал в самом начале, подходила к концу. Когда он появился здесь впервые два года тому назад, площадка напоминала поле брани, а теперь казалась декорацией волшебной сказки: красота и строгость линий, разнообразие форм и размеров. Когда Технический совет Выставки представил алькальду свой первый проект, тот собственноручно разорвал его на клочки. «То, что вы мне принесли,— это базар, где торгуют хламом,— закричал он,— а мне нужна круговая панорама». За два с половиной года пришлось кое-чем поступиться в целях экономии, но в общем чаяния алькальда сбылись. Онофре и

гигант из Калельи присели на известняковые блоки напротив хижины из лиан — рекламы филиппинской табачной компании. У входа в нее дрожал от холода полуголый туземец, который, сидя на корточках, сворачивал из листьев сигару. Его специально доставили из Батанги, научили говорить *au gevoig*¹ и велели торчать здесь, пока с Выставки не уйдет последний посетитель. Стоило небу нахмуриться, несчастный со страхом поднимал глаза: а ну как налетит циклон и смерч унесет его вместе с хижинкой обратно в Батангу. Все это никому не нужно и ничего не означает, подумал Онофре. Да мы и сами почти так же, как все наши стремления, наши труды, — ничто. «Послушай, — сказал Эфрен Кастельс, — не надо унывать. Ты парень смысленный, что-нибудь придумаешь».

Онофре, не постучав, вошел в комнату пророчицы. Умирающая, до подбородка укутанная одеялами, лежала с закрытыми глазами. При свете свечи, горевшей в маленькой железной канистре, подвешенной к изголовью, он увидел, что Микаела Кастро очень стара. Онофре повернулся к двери, хотел уйти. «Это ты, Онофре?» — спросила гадалка. «Спи, Микаела, — ответил он, — я зашел только узнать, не нужно ли чего». «Мне-то ничего не нужно, — сказала старуха, — а вот у тебя, видно, какая-то забота».

— Почему вы знаете? — спросил удивленный Онофре, ведь пророчица даже не открывала глаз.

— Ко мне каждый приходит со своей заботой, сынок. Чтобы понять это, не надо быть провидицей. Ну говори, что с тобой.

— Скажите, Микаела, что со мной будет, — попросил Онофре.

— Ах, милый, сил-то совсем нет. Я уже не в этом мире. Который час?

— Примерно половина второго.

— Мало у меня остается времени, и мне уже сказали об этом. Знаешь, там меня ждут, скоро я буду с ними вместе. Всю жизнь я слышала их голоса, теперь и сама вступлю в этот хор, а в этом мире кто-то будет слушать меня. У нас, у духов, тоже один сменяет другого. Вот и я сменю какую-нибудь душу, которая устала, займу ее место, а она отправится ко Господу на вечный покой. Я знаю, мосен Бизансьо говорит, будто меня поджидает дьявол,

¹ До свиданья (франц.).

но это не так. Мосен Бизансьо добрый человек, но знает он очень мало. Ладно, не будем терять времени, подай мне карты, они в шкафу, на третьей полке сверху.

Онофре открыл шкаф. Там лежала мягкая одежда, тряпье и несколько стопок рисовой бумаги, обвязанных шелковой лентой. На указанной полке он увидел старый молитвенник, четки с белыми бусинками и засохший, почти истлевший венок из гиацинтов. Там же была и колода карт. Он взял ее и подал гадалке, которая только сейчас открыла глаза. «Пододвинь стул, сынок, и садись рядом,— сказала она,— только помоги мне сесть... вот так, хорошо, спасибо. Всякое дело надо делать как следует, а то они будут надо мной смеяться, когда я к ним попаду»,— сказала провидица. Разгладила одеяло и разложила по кругу девять карт рубашкой кверху. «Это круг мудрости,— сказала она,— а еще он называется Соломоновым зеркалом. Здесь центр небесной сферы, а вот четыре созвездия со своими планетами». Покрутив над картами указательным пальцем, она ткнула в одну из них. «Это дом предначертаний,— пояснила она, открывая карту,— или восточный угол. Вижу, что ты проживешь много лет, будешь богатым, женишься на очень красивой женщине, которая родит тебе троих детей, может, будешь много путешествовать, насладишься добрым здоровьем».

— Спасибо, Микаела,— сказал Онофре, вставая со стула,— не утруждай себя. Это все, что я хотел знать.

— погоди, Онофре, не уходи. То, что я тебе сказала,— это ерунда, враки. Не уходи. Теперь я вижу запущенный мавзолей, залитый лунным светом. Это означает богатство и смерть. Вот король треф, короли тоже означают смерть, но еще и власть, такова уж их природа. Теперь я вижу кровь, она символизирует деньги и кровь. Теперь... Что это? Я вижу трех женщин, Онофре. Подвигай стул и садись к изголовью.

— Я здесь, Микаела,— сказал Онофре Боувила.

— Слушай хорошенько, сынок, что я тебе скажу. Я вижу трех женщин. Одна из них в доме ссор, неприятностей и бед. Она сделает тебя богатым, вторая — в доме предначертаний, где живут и дети. Эта женщина тебя возвеличит. Третья — в доме любви и познаний. Она сделает тебя счастливым. В четвертом доме — мужчина; берегись его, это дом отравлений и трагических смертей.

— Не пойму, о чем вы толкуете, Микаела,— признался Онофре, сбитый с толку ее речами.

— Ах, сынок, таковы все оракулы: предсказываем на-верняка, но невнятно. Если бы я могла предсказывать точно, разве умирала бы я здесь, в этом мерзком пансионе? Слушай и запоминай. Когда предсказание сбудется, поймешь все сразу. Хоть проку будет мало, но все же почувствуешь себя спокойнее. Однако пусть говорят карты. Я вижу трех женщин.

— Вы это уже говорили, Микаела.

— Я сказала не все. Одна сделает тебя богатым, другая возвеличит, третья сделает счастливым. Но та, которая сделает тебя счастливым, сделает тебя и несчастным; та, что тебя возвеличит, сделает из тебя раба; та, что сделает тебя богатым, проклянет тебя. Из трех эта последняя — самая опасная, потому что она святая, знаменитая святая. Бог услышит ее проклятье и, чтоб покарать тебя, создаст мужчину. Это тот самый, о котором уже говорили карты, злой человек. Он не знает, что Бог создал его, чтобы тебя покарать,— сказала предсказательница.

— А как мне его узнать? — спросил Онофре.

— Таких людей всегда узнают. Только узнаешь ты его или нет, конец будет тот же. Уже предрешено, что именно он с тобою совладеет и противостоять ему бесполезно: у вас с ним разное оружие. Будет насилие и смерть, вас обоих пожрет дракон, но ты особенно не бойся. Драконы страшны на вид, но все у них уходит на рычание и извержение огня из пасти. Бойся козы, она олицетворяет коварство и обман. И хватит, я устала,— закончила речь предсказательница.

Карты соскользнули с одеяла и рассыпались по полу. Старуха уронила голову на подушку, глаза ее закрылись. Онофре показалось, что она умерла, он снял с крючка канистру со свечой и поднес свечу к бледному лицу пророчицы. Пламя качнулось: она дышала. Онофре собрал карты и положил их обратно в шкаф, тщательно перемешал колоду, чтобы никто не мог узнать его будущее; потом на цыпочках вышел и вернулся к себе. Лежа в постели, он долго думал о том, что сказала ему провидица, стараясь постичь смысл ее слов.

Дельфина по-прежнему каждое утро ходила на рынок. Видя, что кота с ней нет, торговки старались излить на нее всю злость, копившуюся годами: отказывались отпустить товар, заставляли долго ждать, всячески обзы-

вали или вовсе с ней не разговаривали, обсчитывали, а если она возражала, смеялись ей в лицо. Однажды бросили в спину тухлое яйцо, и она не стала смывать с одежды пятно. Онофре не встречал Сисиньо и ничего не знал о нем, но у него создалось впечатление, что маляр и служанка не встречались после того, как он и Вельзевул свалились с крыши. Микаела Кастро умерла ночью, в тот самый день, когда гадала ему. Рано утром мосен Бизансьо зашел к ней и нашел мертвой. Он закрыл ей глаза, погасил свечу и сообщил о случившемся хозяевам и жильцам пансиона. На другой день усопшую отпели в церкви Святого Иезекииля и похоронили. В шкафу нашли бумаги, из которых узнали, что на самом деле ее звали не Микаела Кастро, а Пастора Лопес Марреро и что ей исполнилось шестьдесят четыре года. Не было никакой возможности отыскать кого-нибудь из родственников, да и наследство осталось не такое, чтобы стоило труда вести поиски. Дельфина сменила белье на постели умершей (новое, правда, было такое же грязное), и комнату сдали молодому человеку, изучавшему философию. Никто, конечно, не сказал ему, что на этой самой постели несколько часов назад умер человек. Впоследствии студент сошел с ума, но совсем по другим причинам.

Неподалеку от входа в парк с улицы Адуана стоял небольшой павильон, отделанный мозаичными плитками снаружи и внутри; назывался он Павильоном содовых вод. К концу января его достроили, но до середины марта здание пустовало. Онофре Боувила и Эфрен Кастельс подобрали ключи и хранили там украденное. Как-то малолетние воришки притащили партию часов, и компаньоны не знали, что с ними делать. Тут были карманные часы, напольные, уличные, с репетиром, с секундной стрелкой, судовые хронометры, совмещенные с секстаном, песочные часы, указывающие время года и фазы луны, электрические, солнечные часы, обозначающие страны света и меридиальное отклонение, шагомеры и прочие счетчики, применяемые в промышленности, строительстве, научных исследованиях и коммерции,— чего там только не было. Иначе говоря — все, что имелось в каталоге.

— Куда девать все эти часы,— сказал Эфрен Кастельс.— От одного их тиканья и боя сойдешь с ума.



Перед открытием Всемирной выставки власти Барселоны решили очистить ее от нежелательных элементов. «В последнее время отцы города стараются избавить нас от бродяг, мошенников и прочих тунеядцев, которые, скомпрометировав себя в маленьких городках и селениях, нашли временное пристанище в Барселоне, воспользовавшись притоком рабочей силы в наш город; если властям и не удалось изжить на корню социальные язвы, позорящие нашу столицу, тем не менее определенных успехов они достигли», — писала одна из газет. Каждую ночь производились полицейские облавы.

— Пока что сюда не приходи; наша группа временно прекращает работу, — сказал Пабло.

Онофре спросил, что он собирается делать, где предполагает скрываться. Апостол лишь пожал плечами: будущее его не радовало. «Не сомневайся: мы с новыми силами еще вступим в бой», — сказал он, хоть и не очень убежденно. «А как же брошюры?» — спросил Онофре. Апостол презрительно скривился: «Никаких брошюр», — сказал он. Онофре поинтересовался, что будет с его заработком. «Останешься без него», — ответил Пабло, и в его голосе прозвучали нотки злобной иронии.

— Бывают обстоятельства, когда всем приходится затягивать ремень потуже. А кроме того, в делах политических заработок никому не гарантирован.

Онофре хотел было еще о чем-то спросить, но апостол сделал нетерпеливый жест, словно бы торопил уйти поскорее, и Онофре пошел к дверям. «Подожди, — остановил его Пабло, — может, мы больше никогда и не увидимся. Борьба предстоит долгая, — неожиданно сказал он, и было видно, что сказать он хотел совсем другое: вещи куда более важные и значительные занимали его в эту минуту, но он как-то не решался о них говорить, то ли стеснялся, то ли не умел выразить свои мысли и поэтому поспешил укрыться за обычной пустой риторикой. — На самом-то деле борьбу нельзя прекращать. Дураки социалисты считают, будто главное — совершить революцию, она все уладит; а говорят они это потому, что думают, будто эксплуатация человека человеком не может возродиться, будто стоит лишь один раз освободить общество

от ига тех, кто сегодня всем распоряжается, сразу жизнь пойдет по правильному пути. Но мы-то знаем, что там, где существуют хоть какие-то отношения подобного типа, существует и эксплуатация слабого сильным. Борьба и чудовищная агония — вот неизбежная судьба человечества! — Он закончил свою речь и обнял Онофре. — Может, больше и не свидимся, — сказал апостол дрожащим от сдерживаемых чувств голосом. — Прощай и будь счастлив».

В одну из проводившихся тогда облав попал сеньор Браульо, одетый, как всегда во время своих вылазок, в женское платье. На этот раз, для разнообразия, ему досталось от полиции: его хорошо отделали и потребовали денег, если он хочет выйти на свободу. «Все что угодно, — сказал он, — лишь бы не узнали моя бедная больная жена и моя единственная дочь». Денег с собой у него не было, поэтому он послал в пансион какого-то паренька, чтобы тот попросил требуемую сеньором судей сумму у Мариано, брадобрея. «Скажи, что я ему скоро отдам», — велел он передать. Но у Мариано денег не оказалось. Он сказал, что такой суммой не располагает, и соврал, конечно. Посланцу не осталось ничего иного, как только побыстрей вернуться в полицию и передать сеньору Браульо, что Мариано денег не дал. Тогда сеньор Браульо, видя, что скандал неизбежен, воспользовался небрежностью охраны и попытался вонзить себе в сердце гребень. Помешали кости корсета, и он отделался лишь глубокими царапинами, залив, однако, кровью верхние и нижние юбки и перепачкав пол в полиции. Охранники отняли гребень и поддали как следует в пах и по почкам. «Ну-ка, соображай!» — кричали они. Сеньор Браульо снова отправил посланца в пансион. «Там есть молодой человек по имени Боувила, Онофре Боувила, — сказал ему сеньор Браульо, лежавший на узкой скамейке, чуть живой и весь в крови. — Не думаю, чтоб у него были хоть какие-нибудь деньги, но он сообразит, как мне помочь». Он обязательно поможет, или уж Господь вовсе от меня отступился? — подумал он, когда посланец отправился выполнять порученье. Если Онофре не вытащит его из этой передраги, надо бы придумать, как в другой раз покончить с собой. Я ведь сам во всем виноват, решил он. Онофре Боувила выслушал посланца и понял, что судьба дает ему редкий шанс. «Скажи сеньору Браульо, что к утру я приду в полицию с деньгами, так что пусть не отчаивается и не делает

глупостей». Посланец ушел, а Онофре поднялся этажом выше и постучался в комнату Дельфины. «Не пойму, зачем мне впускать тебя?» — спросила служанка, когда он назвался. Услышав ее грубый ответ, Онофре усмехнулся.

— Лучше открой, Дельфина, — мягко сказал он. — Твой отец попал в беду. Сидит в полицейском участке, пытается покончить с собой. Видишь, как все это серьезно.

Дверь тотчас отворилась, но Дельфина стала в проеме, загораживая вход. Она была в той же рубашке, в которой приходила к нему предлагать работу и которая была на ней, когда он ходил звать ее к Сисиньо. Из соседней комнаты послышался голос сеньоры Агаты.

— Дельфина, таз.

Заслышав голос матери, девушка нетерпеливо шагнула вперед: «Пусти, нужно принести маме воды».

Онофре не двинулся с места. В глазах Дельфины он видел страх, и это придавало ему храбрости. «Подождет, — процедил он сквозь зубы, — у нас с тобой дела куда более срочные». Дельфина прикусила губу. «Не пойму, чего ты хочешь», — сказала она наконец. «Не понимаешь? Дурочку строишь? Я ж тебе сказал: твой отец в опасности».

Дельфина поморгала в задумчивости, словно обрушившаяся неожиданно лавина важных событий лишила ее способности разбираться в обстановке. «Ах да, отец, — пробормотала она наконец. — А что же я могу сделать для него?» «Ты — ничего, — живо отозвался Онофре. — Сейчас помочь ему могу только я, от меня зависит его жизнь». Дельфина побледнела и опустила глаза. Часы на церкви Святого Иезекииля пробили несколько раз. «Который час?» — спросил Онофре. «Половина четвертого, — ответила Дельфина и сразу же добавила без всякого перехода: — Если от тебя зависит помочь ему, почему же ты этого не делаешь? Чего ждешь? И что тебе нужно от меня?» Из соседней комнаты доносились жалобные мольбы больной: «Дельфина, в чем дело? Почему ты не идешь? С кем ты разговариваешь?» Дельфина шагнула было в коридор, он воспользовался этим движением, схватил ее за плечи и грубо прижал к себе. Он ощущал скорее ярость, нежели страсть; пока она не двигалась, он тоже не двигался, но ему казалось, что попытка Дельфины выйти в коридор явилась началом их борьбы. Сквозь плотную ткань рубашки он чувствовал угловатое тело. Служанка не отбивалась, голос ее стал умоляющим: «Отпусти меня,

пожалуйста, мама не может ждать, это жестоко. Если ей не помогу, у нее начнется приступ». Онофре как будто не слышал ее мольбы. «Ты знаешь, что тебе надо сделать, если хочешь снова увидеть отца живым», — сказал он, оттесняя Дельфину обратно в комнату. Ногой притворил за собой дверь, в то же время неловко пытаюсь расстегнуть ее рубашку. «Онофре, не делай этого, ради бога», — попросила девушка. Он только тихонько рассмеялся: «Сопротивляться бесполезно, — со злостью сказал он. — Теперь у тебя нет кота, твоего защитника, Вельзевул свалился с крыши и разбился в лепешку о мостовую. Я сам запихнул всю эту мерзкую кашу в сточную канаву. Черт побери!» — вдруг вскрикнул он — никак не мог расстегнуть на ней рубашку: ему еще не приходилось возиться с пуговицами и крючками на женской одежде; к нервному напряжению прибавилась неопытность, и все это мешало ему. Увидев его затруднение, Дельфина легла на кровать и, задрав подол, обнажила ноги. «Ну иди», — сказала она.

Когда Онофре поднялся, часы на церкви Святого Иезекииля пробили четыре. «До восхода солнца осталось совсем немного», — сказал он. — Я обещал сеньору Браулю, что до рассвета приду в участок и выкуплю его; свое слово я сдержу. Дело есть дело», — добавил он, глядя на Дельфину. В глазах ее светился какой-то загадочный огонек. «Не знаю, зачем ты все это затеял», — сказала она, словно говорила сама с собой. — Я не стою таких усилий». В рассветном полумраке тело служанки казалось мертвенным, чуть ли не серым. «Какая она худая», — подумал Онофре. Мысленно он сравнивал Дельфину с женами рабочих с Выставки, которых видел, когда те в летнюю жару плескались в море чуть ли не голые. Как странно, подумал он, теперь она мне кажется совсем иной. И вслух сказал: «Прикройся». Дельфина натянула на себя простыню. Растрепанные и всклокоченные волосы нимбом окружали ее голову. «Тебе уже нужно идти?» — спросила она. Он ничего не ответил, а стал поспешно одеваться. Сеньора Агата перестала звать на помощь, в комнате царила глубокая тишина. Онофре пошел к двери.

— погоди, — остановила его Дельфина. — Не уходи. Не оставляй меня. Что теперь со мной будет? — Несколько мгновений она ждала ответа, но Онофре даже не понял смысла вопроса. — Что я скажу Сисиньо? — добавила она немного погодя, закрывая лицо левой рукой.

Услышав это имя, Онофре расхохотался:

— Ну, за этого не беспокойся, у него жена и дети, он тебя все время обманывал. Если ты ждешь чего-то от этого проходимца, то будешь сильно разочарована.

Дельфина пристально посмотрела на Онофре.

— Когда-нибудь я скажу тебе одну вещь,— спокойно сказала она.— Откроюсь. А сейчас уходи.

Онофре спустился на второй этаж, дождался, пока мосен Бизансьо пойдет в уборную, и достал из матраца священника нужную сумму. Выкупил сеньора Браульо у полиции и привез в пансион на извозчике, так как тот очень ослаб из-за потери крови. Дельфину они нашли в коликах и судорогах: ее рвало, из нее хлестала кровь; оказывается, она испугалась, что забеременеет, и приняла какое-то снадобье, и теперь казалось, что наступил ее последний час.

— Дочь моя! — воскликнул сеньор Браульо.— Что с тобой случилось?

— А что с вами, отец? В такой одежде и весь в крови!..

— Да, на мне кровь и позор, милая моя Дельфина... Но ты-то! Что ты с собой сделала?

— То же, что и вы, отец. То же самое,— ответила Дельфина.

— Только бы твоя бедная мать не узнала!

Когда зашли навестить сеньору Агату, оказалось, что той совсем плохо. Мосен Бизансьо, встревоженный доносившимися с четвертого этажа горестными воплями и рыданиями, в ночной рубашке поднялся наверх предложить свою помощь. Сеньор Браульо спрятался в шкаф, чтобы священник не увидел его в женском наряде, а Онофре попросил мосена Бизансьо сходить за тем самым врачом, который осматривал Микаелу Кастро. Когда священник ушел, Дельфина отвела Онофре в сторону.

— Уходи из пансиона и не возвращайся,— сказала она.— Не задерживайся, даже чтоб собрать вещи. Больше я ничего тебе не скажу, я тебя предупредила, соображай сам.

Не раздумывая долго о том, что означала эта угроза, Онофре понял одно: Дельфина говорит всерьез, и он ушел из пансиона. Небо розовело, пели птицы. Рабочие шли на строительную площадку. Несли на руках маленьких детей, чтоб те хоть немного еще поспали. У ворот будили: взрослые шли на трудные и опасные работы, а дети — на те, что полегче.

Придя в парк Сьюдаделы, Онофре увидел, как над деревьями и мачтами поднимается воздушный шар. Инженеры испытывали его подъемную силу и прочность швартовов. Нельзя было допустить, чтобы, когда Выставка будет работать вовсю, шар оторвался бы и полетел по воле ветра, унося в гондоле перепуганных туристов. В те дни беспокойство о туристах было главной заботой устроителей Выставки. Газеты только об этом и писали. «Каждый из посетителей, вернувшись в свою страну, станет глашатаем и пропагандистом всего, что он увидел, услышал и узнал». Шар подымался превосходно; лишь когда дул неприятный *vent de garbí*¹, гондола раскачивалась. В то утро инженер, поднимавшийся в гондоле, не раз повисал вниз головой на канате, которым был привязан, и это его явно тревожило. Все это, конечно, мелочи, неприятности, которые могут возникнуть в последнюю минуту, без них не обходится. Вход на Выставку был через Триумфальную арку. Сохранившаяся и поныне, эта арка сложена из добротного кирпича в стиле мудехар². Ее украшают гербы всех провинций Испании, барселонский — в замке свода. Были также фризy, по одному с каждой стороны; барельефы на них изображают два события: Мадрид тоже принимает участие во Всемирной выставке (в память об имевшихся расхождениях) и Барселона благодарит иностранных участников Выставки. Символика на обоих фризах не очень общепринятая. От Триумфальной арки начиналась широкая тенистая аллея Сан-Хуан, мощенная мозаичной плиткой, освещаемая сильными фонарями и украшенная восемью бронзовыми фигурами, как бы принимавшими посетителей, словно бы говоря: «Милости просим!» Именно здесь возвышался Дворец правосудия, сохранившийся до наших дней, Дворец изящных искусств, Дворец сельского хозяйства и Дворец наук, ныне не существующий. Вход в сам парк обозначался двумя столбами, увенчанными каменными скульптурными группами. Одна изображала Торговлю, другая — Промышленность, обе как бы говорили: ждите от нас только результатов. Такое содержание не нравилось центральному правительству, более склонному к аллегориям духовного плана, чем, видно, и объяс-

¹ Северный ветер (каталонск.).

² Архитектурный стиль с заметным арабским влиянием.

няется скудость материальной помощи Мадрида. Оба столба сохранились.

Вспоминая подробности случившегося несколько часов назад, Онофре думал: как это Эфрен, простой и грубый человек, завоевывает женщин без особых усилий, а я, такой умник, — лишь с превеликим трудом? Ответа на этот вопрос он так никогда и не нашел. В то утро он обошел все условленные места, но Эфрена Кастельса не повстречал. Вышел на берег моря. Бригада рабочих разравнивала граблями песок, уничтожая последние следы еще недавно стоявшего там лагеря, в котором рабочие с семьями прожили почти два с половиной года. Часть пляжа благоустроили, возвели Павильон кораблестроения и Павильон Трансатлантической компании, оба связанные с морем, и еще павильон для демонстрации племенных лошадей, ржание которых можно было услышать, когда стихал прибой. Мол заканчивался роскошным плавучим рестораном. Солнечные блики на волнах слепили глаза. Онофре Боувилла не знал, куда девались жившие здесь женщины и дети. Дул крепкий и теплый весенний бриз.

Вечером Онофре вернулся в пансион. В прихожей — никого. В столовой тоже. Из двери высунул голову брадобрей Мариано. «Что ты тут делаешь? — спросил он. — Как ты меня напугал!» «Что случилось, Мариано? — спросил в свою очередь Онофре. — Куда все подевались?» Брадобрей от волнения едва выговаривал слова. От страха был бледен, словно его мукой обсыпали.

— Пришли жандармы, забрали сеньора Браульо, сеньору Агату и Дельфину, — сказал он. — Всех троих пришлось уносить на носилках. Сеньору Агату — потому что ей было совсем плохо, похоже, она умирала. А сеньора Браульо и его дочь — потому что оба истекали кровью. Здесь темно, и ты, верно, не заметил, но вся прихожая залита кровью. Теперь кровь, наверное, уже свернулась. Кровь отца смешалась с кровью дочери. Не знаю, куда их увезли: в тюрьму, в больницу или прямо на кладбище. Как вспомню — с души воротит. А уж при моей-то профессии я всякого повидал. За что их забрали? Почему я знаю. Мне, как ты понимаешь, не докладывали. Слухи-то разные. Говорят, девчонка, эта страхолюдина, состояла в банде злоумышленников, из тех, что прозываются анархистами. Не берусь сказать, так оно было или нет, люди говорили. Понятное дело — женщины. Да еще у девчонки-то вроде были какие-то отношения с маляром, кото-

рый тоже входил в эту банду. На него кто-то и донес, а после него сцапали девчонку и остальных.

— А мной не интересовались?

— Да, вот ты сейчас сказал, и я вспомнил, кажется, спрашивали и про тебя,— сказал брадобрей с каким-то даже удовлетворением.— Обыскали все комнаты, а у тебя рылись дольше, чем у других. Спрашивали, когда ты обыкновенно возвращаешься. Я сказал, под вечер. Не стал им говорить, что и у тебя с этой вертушкой... Чего не знаю, того не знаю. Кое-что я видел, кое-что заметил, но, так сказать, официально — знать ничего не знаю. Мосен Бизансьо сказал им, что ты сюда не приходишь, как ушел на днях, так только тебя и видели. Раз он носит сутану, поверили его вранью, а не моей правде. Поэтому никого и не оставили караулить.

Онофре поспешил унести ноги подобра-поздорову. Размышлял на ходу: конечно, Дельфина со злости, чтоб отомстить Сисиньо и ему, выдала всю организацию. Ему она сказала, чтобы не теряя времени уходил из пансиона. Уходи, не собрав вещи, и не возвращайся — вот как она сказала. Не захотела, чтобы он попал в лапы жандармам. Зато Сисиньо теперь в тюрьме, Пабло тоже и даже она сама. А вот меня Дельфина пожелала спасти, хоть из-за меня-то вся каша и заварилась. Подумала, я трус. Так или иначе, а из Барселоны надо пока исчезнуть, тут же решил он. Через какое-то время все пойдет по-старому. Анархистов выпустят из тюрьмы, если раньше не казнят. А он снова примется за свои дела; может, удастся собрать шайку этих малолетних воришек или даже уговорить анархистов заняться делами поприбыльней, чем их революция, о которой они мечтают. Но сейчас надо бежать. Однако прежде он должен зайти в пансион и забрать деньги, спрятанные в матрасе у мосена Бизансьо. Правда, соваться туда рискованно. Наверняка этот подлый брадобрей Мариано донес полиции о его появлении в пансионе, едва он скрылся из виду. Но и отказаться от денег невыносимо. К счастью, Онофре нашел выход: разыскал на стройке приставную лестницу, взвалил на плечи и так прошел полгорода, никто даже не поглядел на него. Потом, когда совсем стемнело, приставил лестницу к задней стороне дома, как это делал Сисиньо. Поднялся на крышу, где два года подряд видались маляр и Дельфина. Онофре знал окошко, которое вело на чердак: через него он выбирался на крышу мазать маслом черепицу. Четвертый

этаж был пуст, его обитатели угодили в тюрьму. Если в доме и были полицейские, то они, несомненно, подкарауливали его в прихожей, полагая, что он явится через входную дверь, с улицы, а уж никак не с крыши. Темнота ему благоприятствовала: он прекрасно знал все закоулки в доме. Спустился на третий этаж, приоткрыл дверь комнаты мосена Бизансьо, услышал ровное дыхание спящего старика, спрягался под кроватью и стал ждать. Когда часы на церкви Введения во Храм пробили три, священник встал и вышел. Вернется минуты через две, за это время нужно успеть управиться. Онофре сунул руку в матрац — денег не было. Тщетно ворошил он рассыпавшуюся в пыль солому. Ошибиться он не мог — деньги исчезли. Послышались шаги возвращавшегося мосена Бизансьо. А что, если схватить его за горло и заставить сказать, куда девались деньги? Нет, не годится. Если в доме полицейский, он услышит шум и прибежит с пистолетом в руке. Надо переждать, может, представится более удобный случай. Пришлось пролежать под кроватью, задыхаясь от пыли, еще целый час, пока священник снова не отправился в уборную. Тогда Онофре выбрался из-под кровати, вышел в коридор, разминая затекшие ноги, затем поднялся на крышу, откуда спустился на улицу. Рано утром увидел, как мосен Бизансьо отправился по своим благочестивым делам. Онофре, убедившись, что никто за ним не следит, вышел ему навстречу.

— Онофре, сынок, какая радость! — воскликнул священник. — Не чаял тебя больше увидеть, — от волнения старик прослезился. — Видишь, какие ужасные вещи здесь произошли. Я как раз иду в церковь отслужить мессу во здравие бедной сеньоры Агаты. А потом помолюсь за сеньора Браульо и за Дельфину, наступит их черед.

— Все это очень хорошо, отец мой, но скажите, где деньги? — спросил Онофре.

— Какие деньги, сынок? — удивился мосен Бизансьо. Непохоже было, что старик кривит душой. Может, Дельфина сама перепрятала деньги, прежде чем донесла в полицию, подумал Онофре. Или полицейские нашли их при обыске. Могло случиться и так, что мосен Бизансьо обнаружил деньги случайно и по простоте душевной пустил их на благотворительность. В конце концов, кто мог подозревать, что эти деньги — мои? Ах, в недобрый час решил я их сберечь, а не тратил сразу же, как Эфрен Кастельс.

По дороге на Выставку, куда он направился, чтобы спасти хотя бы наворованное детьми, Онофре пришлось посторониться и пропустить внушительную процессию: со станции гнали партию быков для корриды, сразиться с которыми во время празднеств должны были самые знаменитые по тем временам тореро: Фраскуэло, Геррито, Лагартихо, Масантини, Эспартеро и Кара-анча. Быки мотали головами, едва не задевая рогами зевак, останавливались и близоруко разглядывали фонарные тумбы. Какой-нибудь шутник снимал с головы платок и начинал в шутку размахивать им перед мордой быка, идущего впереди. Погонщики, подгонявшие быков палками, старались зацепить и шутника. В парке Сюдаделы Онофре прошел в павильон, где они хранили часы, и обнаружил, что тайник пуст. Конец, подумал он. Когда Онофре Боувила выходил из павильона, к нему подошли двое. Зайдя справа и слева, разом схватили за руки. Онофре заметил, что один из мужчин удивительно красив. Тотчас сообразил, что всякое сопротивление бесполезно, и смиренно позволил себя увести. Покидая территорию Выставки, оглянулся: за одну ночь павильоны преобразились и теперь сверкали в лучах солнца; сквозь ветви деревьев, раскачиваемых легким бризом, видны были киоски и статуи, палатки, грибки и зонты и маленькие мавританские купола базаров и торговых ларьков. На бывшем плацдарме перед старинным арсеналом инженеры, прибывшие *ex profeso*¹ из Англии, испытывали Волшебный фонтан. Даже люди, уводившие Онофре, на минуту остановились, разинув рты. Водяные столбы и арки меняли форму и цвет без видимого вмешательства или добавления краски — все выполняло электричество. Вот какой всегда должна быть жизнь, подумал Онофре, позволяя вести себя, быть может, на смерть. А что же Эфрен? Сколько песет я ему переплатил, а теперь, когда он так мне нужен, куда он подевался? Онофре не знал, что Эфрен крадучись следует за ним на некотором расстоянии.

— Садитесь в экипаж, — сказали конвоиры, остановившись перед двухместной каретой: занавески задернуты, и не видно, есть ли кто внутри; на козлах восседал старый кучер без ливреи и посасывал трубку.

— Не сяду, — сказал Онофре.

Один из конвоирующих распахнул дверцу экипажа,

¹ По обязанности (лат.).

другой подтолкнул пленника: «Полезай без фокусов!» Онофре повиновался. В карете сидел мужчина: на вид лет пятидесяти, а может, и меньше, брюшко и двойной подбородок, но плечи узкие и щеки ввалились, лоб плоский и высокий. Волосы, только на висках тронутые сединой, подстрижены ежиком. Чисто выбрит от уха до уха, без бакенбардов, но с густыми подкрученными усами, какие носили французские маршалы. Это был дон Умберт Фига-и-Морера, служить которому Онофре будет много лет.

Свита монарха в те времена была многочисленной отчасти по практическим соображениям, но главным образом по канонам придворного этикета, ведь король — наместник Бога на земле, и ему не положено утруждать себя обыденными делами, даже, например, подносить ложку ко рту; была и еще одна причина, которая заключалась в том, что испанские короли с незапамятных времен не отпускали от себя никого из тех, кто служил им хотя бы день, и всякая служба королю превращалась в пожизненную должность; бывали случаи, когда монарх, будучи в зрелом возрасте, брал с собой на войну кормилицу, няню и гувернантку, как если бы это были сенешаль, мажордом или камергер (не мог же король унижить себя заявлением, что они, мол, мне не нужны, ибо это означало бы, что некогда он в них нуждался, а теперь желает сэкономить на их содержании); таким образом вокруг короля скапливалось столько всякого народу, что это мешало ему совещаться во время войны с генералами, а в мирные дни — с министрами. Его Величеству дону Альфонсу XIII (храни его Господь) было два с половиной года в апреле 1888 года, когда он прибыл в Барселону с матерью, королевой-регентшей Марией Кристиной, сестрами и свитой. Город был потрясен. Королевскому семейству отвели покои в бывшей резиденции губернатора в Сьюдаделе (то есть на территории Выставки, и тем самым, кстати, снимался вопрос о входных билетах, которые стоили одну песету, и абонементах — двадцать пять песет) и в здании бывшего Арсенала, ну а что касается свиты, куда входили казначеи и кастеляны, егеря и доезжачие, стремянные и стольники, арбалетчики, свечники, обойщики, священники, ведающие раздачей милостыни, камеристки, камерфрау, фрейлины и дуэньи, то этих пришлось размещать, где найдется место. Дело осложнялось еще при-

бытием членов королевских семей, знати и высокопоставленных особ других стран. По этому поводу ходило немало анекдотов на любой вкус, например такой: саксонскому бургграфу пришлось ютиться на одной кровати с цирковым артистом из Парижа, дрессировщиком кошек; или еще: некий мошенник выдавал себя за Великого Могола и ужинал в ресторанах и кафе, как говорится, за красивые глаза. Барселонцы не жалели сил, чтобы избавить гостей от всяких неудобств, а те платили им черной неблагодарностью, как часто бывает в таких случаях. Гости, как правило, проявляли высокомерие, морщили носы по любому пустяку, то и дело говорили: «Какая гадость!», «Какая дыра!», «Ну и народец!» и тому подобное. Пренебрежение ко всем вокруг представлялось им хорошим тоном.

Всемирная выставка открылась, как и было намечено, 8 апреля. Торжественная церемония открытия прошла следующим образом: в половине пятого пополудни в зал для торжественных церемоний Дворца изящных искусств вошел Его Величество король со свитой. Сел на трон. Ногами оперся о кучу подушек, так как до пола не доставал. Рядом с ним — принцесса Астурийская донья Мария де лас Мерседес и инфанта донья Мария Тереса. Рядом с королевой-регентшей, одетой в черное, сидела герцогиня Эдинбургская. Затем расположились герцог Генуэзский и герцог Эдинбургский, принц баварский Рупрехт и принц Уэльский Георг. За ними — сам премьер-министр дон Паркседес Матео Сагаста, другие министры, приближенные Их Величеств, прибывшие на Выставку испанские гранды (в сопровождении арбалетчиков или иных стражей согласно ритуалу), местные власти, дипломатический корпус, чрезвычайные послы, консулы, генералы, адмиралы, командующие эскадрами, Руководящий совет Выставки и множество прочих лиц. По всему залу стояли, насколько позволяла толпа, лакеи в панталонах до колен, как во времена императора Фридриха, которые держали эмблемы знатных гостей: латунный ключ или цепь, пояс, хлыст, оленьи рога, медвежью лапу, арбалет или колокол. На торжественном акте присутствовало пять тысяч человек. Когда закончились речи, воспитатели увели детей: короля и его сестер. Взрослые посетили павильоны, начав с экспозиции Австрии, родины королевы. Во Французском павильоне был исполнен вальс Шопена, а в Губернаторском дворце были

поданы закуски — в ту пору входил в моду lunch¹. Когда королева уже заканчивала lunch, последний из придворных еще только входил в павильон Австрии. Вечером в «Лисео» был дан спектакль, на котором присутствовала королева, надевшая на этот раз графскую корону². Давали «Лозн-рина»; к началу второго акта часть свиты только заканчивала lunch. В целом открытие Выставки прошло торжественно и со вкусом. Выставка оказалась достойной посетивших ее высоких гостей. Правда, некоторые сооружения еще не были завершены, другие, построенные давным-давно, уже являли признаки обветшания. В газетах писали об «огромных трещинах» и о «большом беспорядке». Но главное — людям Выставка понравилась. На взгляд наших современников, сооружения Выставки с их строгими линиями, резными украшениями в виде букетов цветов, с их драпировками и балдахинами напоминают похоронное убранство, но они, видимо, вполне соответствовали вкусу той эпохи, тогдашнему представлению об изяществе и красоте. Ведь обо всем следует судить в исторической перспективе. В барселонский порт пришли шестьдесят восемь военных кораблей из различных стран, на борту которых находилось девятнадцать тысяч моряков и пятьсот тридцать восемь пушек. Сейчас это было бы воспринято как угроза, но тогда барселонцы сочли это знаком расположения и вежливости. Еще далеко было до мировой войны, и оружие носило, так сказать, декоративный характер. В стихотворении, написанном по этому поводу, Федерико Раола формулирует эту мысль так:

Раздаются на весь свет
Пушек залпы громовые:
Это чудища морские
Шлют нам мирный свой привет.

Похожую мысль высказывает Мельчор де Палау в «Гимне открытию Выставки», одна строка которого гласит:

Гремит, но не разит войны ужасное орудье.

Всемирная выставка оставалась открытой до 9 декабря 1888 года. Закрытие ее прошло скромно: «Te Deum»³ в соборе и короткий торжественный акт во Дворце промыш-

¹ Ленч (англ.).

² Т. е. корону графства Барселонского.

³ «Тебя Бога хвалим» (лат.).

ленности. Выставка была открыта двести сорок пять дней, ее посетило более двух миллионов человек. Расходы на строительство составили пять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь песет пятьдесят сентимов. Некоторые постройки использовались потом для других целей. На барселонском аюнтаменте повис огромный долг, который пришлось выплачивать много лет. Остались также воспоминания о днях блеска и убеждение, что Барселона, если бы захотела, могла бы снова стать вполне европейским городом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

О доне Умберте Фига-и-Морере известно немного: родился в Барселоне, родители его держали в Равале скромную лавку и торговали сушеными фруктами; получить образование ему помогли монахи-миссионеры, осевшие на некоторое время в Барселоне из-за политических неурядиц в тех странах, где они насаждали христианство, а здесь они насаждали просвещение, то есть выполняли сходную, но менее трудную задачу. Умберт изучал право, женился поздно, в тридцать два года. В профессии своей преуспел: к сорока годам его контора стала одной из самых известных в Барселоне; но она пользовалась дурной славой, и сейчас вы поймете почему: хотя никто открыто не оспаривал равенство всех граждан перед законом, в середине XIX века фактическое положение дел было совсем иным. Люди порядочные, с положением в обществе, пользовались снисходительностью, в которой беднякам отказывали. Бедняк и прав-то своих не знал, а если бы и знал, не смог бы своим знанием воспользоваться, да и судьи вряд ли бы признали, так что выиграть свое дело бедняк не мог. На этот счет судьи придерживались немногих, но очень твердых принципов. Это была эпоха веры в науку, и на любой случай имелось

высокоавторитетное научное суждение. Иначе говоря, на всякий случай, на любое дело, сходное с другими, можно было подыскать незыблемый закон, а совокупность таких законов позволяла безошибочно определить возможные последствия. Так же относились и к закономерностям человеческого поведения: надо найти их обоснование и применить соответствующий закон. В юриспруденции существовали теории на любой вкус: одни считали, что наследственность — решающий фактор, который определяет поведение индивида на всем протяжении его жизни; другие считали, что решающую роль играет полученное воспитание, и т. д. Были и такие, кто ссылался на свободу воли, но их доводы не достигали цели, им возражали, что такая теория ведет неизвестно куда. Вообще в моде был детерминизм, а эта теория облегчала жизнь многим, особенно тем, кто должен был судить о человеческом поведении. Судьи не нарушали законов, но применяли их по своему разумению, смотря по обстоятельствам. Никаких нюансов не требовалось: стоит взглянуть на обвиняемого — и ясно, с кем имеешь дело. Если преступление совершал человек благородный, знатного происхождения и с достатком, они говорили себе: какие-то чрезвычайные обстоятельства довели его до преступления» — и готовы были проявить снисходительность. Если же преступление совершал бедняк, им незачем было искать мотивы преступления и ломать себе голову. Предрасположенность к преступлению обусловлена не только наследственностью, но и отсутствием религиозных принципов, гражданского самосознания и культуры, утверждали социологи. Если же обвиняемый указывал на смягчающие или даже снимающие вину обстоятельства, ответ был один: дескать, видно, что за птица обвиняемый, в тюрьму его — и все тут, тюрьма наставит на путь истинный. Но в результате получалось совсем иное. Вот при таких обстоятельствах дон Умберт Фига-и-Морера, будучи сам скромного происхождения, придерживался другого мнения, более соответствовавшего реальной жизни. «То, что происходит с правонарушителями-бедняками, — говорил он, — объясняется лишь тем, что у них нет хорошего адвоката, который таскал бы для них каштаны из огня». И это была чистая правда, ни один законник не ставил свои способности на службу беднякам. Все желали иметь клиентами людей знатных и состоятельных. А поскольку таких было немного, то мало было и преуспевающих в финансовых делах адвокатов. А меж тем неимущие подзащитные, говорил себе Умберт

Фига-и-Морера, это широкое поле деятельности, весь вопрос лишь в том, как извлечь из него прибыль. Я никто, связей у меня нет, значит, мне так же трудно будет завоевать клиентуру среди богачей, как и среди бедняков. И начал наведываться к беднякам, предлагал свою помощь человека ученого, заказал визитные карточки попроще, без завитушек, из-за которых нелегко было прочесть, что на них написано. «Если придется иметь дело с судом, вспомните обо мне», — говорил он и вручал такую карточку. Бедняки относились к нему недоверчиво, не принимали всерьез, насмехались над ним или посылали его ко всем чертям. Но потом, когда доходило до суда, многие о нем вспоминали, отыскивали визитную карточку и говорили себе: чем черт не шутит, попыток не убыток; ну а если угожу в тюрьму, так не заплачу, и дело с концом. Умберт с готовностью брался за самые безнадежные дела, обращался с клиентами учтиво, без насмешки и снисходительности, серьезно трудился над каждым делом. Судьи и прокуроры полагали, что он действует так из альтруизма, и пробовали разубедить его: «Не тратьте зря времени, дорогой коллега, — говорили они, — на этих дрянных людишек, они созданы для преступлений, тюрьма по ним скупает». Умберт почтительно выслушивал подобные благие советы, но не следовал им; в душе он соглашался со всем, что ему говорили, его интересовал только гонорар. Воспитавшие его миссионеры научили его терпеливо слушать, всегда соглашаться, у них он перенял искусство убеждения; большинство процессов он выигрывал вопреки предсказаниям коллег, ибо досконально изучил все тонкости судопроизводства и всегда находил какую-нибудь лазейку, чтобы добиться успеха; умел вызвать в зале всеобщее возмущение, перед лицом которого судьи и сановники вынуждены были согласиться с его доводами, прокуроры швыряли на пол кодексы законов, сбрасывали с плеч мантии, а на глазах у них выступали слезы. «Так не может продолжаться, — говорили они, — он заставляет нас поворачивать законы, как ему нужно». Они верили в одно: закон щедр, содержит всякого рода оговорки, но вовсе не для того, чтобы ими пользовалось всякое отребье. Они никак не ожидали, что адвокат, такой же юрист, как и они, станет пользоваться лазейками, оставляемыми законом, для защиты преступников из низов. С великим неудовольствием выносили оправдательные приговоры. «Он обвел нас вокруг пальца, — говорили они, — но преступника придется оправдать» — и тому подобное. Оправданные преступники тоже не могли

прийти в себя от изумления, спрашивали его с любопытством и каким-то суеверным страхом: «Чего ради вы нас выручаете, сеньор адвокат?» Им казалось — перед ними святой. «Ради денег, — отвечал он, — ради того, чтобы вы заплатили мне гонорар». Преступники, у которых тоже есть своя незыблемая этика, беспрекословно выкладывали деньги на бочку, никогда с ним не торговались — так он стал понемногу богатеть. Прошли годы, и вот как-то зимним вечером к нему явились необычные клиенты.

Контору он держал на улице Сан-Педро, у него было два помощника, секретарша и рассыльный. Он уже подумывал, не увеличить ли число служащих. В тот вечер в конторе, кроме рассыльного, никого не было. Умберт Фига-и-Морера изучал подробности дела, слушание которого было назначено на утро следующего дня. В дверь постучали. Как странно, подумал он, в такой поздний час. Кто бы это мог быть? Велел рассыльному спуститься и открыть, но прежде убедиться, что посетители, кто бы они ни были, пришли с добрыми намерениями; выяснить это было не так-то легко: чуть не у каждого, кто заходил сюда, была физиономия висельника. Но на этот раз никаких проблем не возникло: у подъезда стояли трое элегантно одетых мужчин и еще один субъект экстравагантного, но не устрашающего вида. Трое сеньоров были в полумасках — для Барселоны тех времен в этом не было ничего необычного.

— Вы пришли с добрыми намерениями? — спросил рассыльный.

Ему ответили утвердительно и, отодвинув в сторону тростью с набалдашником, венчавшим, очевидно, рукоять стилета, вошли в дом. Трое в полумасках уселись по разные стороны стоявшего в приемной длинного стола. Четвертый остался на ногах; дон Умберт сразу узнал его, хотя не видел много лет, это был один из воспитавших его миссионеров, чьей щедрости он обязан был всем, чего достиг в жизни, и вот он вернулся, дабы обратиться к нему с просьбой, в которой он не сможет отказать. Как дон Умберт узнал впоследствии, судьба забросила этого миссионера в Эфиопию и Судан, и там он многих обратил в Христову веру, но в конце концов сам принял язычество, против которого воевал столько лет; теперь его послали в Барселону обучать колдовству. Одет он был в мирскую одежду, а в руке держал трость с человеческим черепом, служившим набалдашником. Стоило взмахнуть тростью, и в черепе стучали камешки.

— Чему обязан честью видеть вас? — спросил дон Умберт у странной делегации.

Мужчины переглянулись.

— Мы с большим интересом следили за вашими успехами, — сказал один из сеньоров в масках. — И теперь пришли к вам с предложением. Мы деловые люди с безупречной репутацией, именно поэтому нам нужна ваша помощь.

— Если это в моих силах...

— Сейчас вы в этом убедитесь. Мы, как я уже сказал, люди известные и очень дорожим своей доброй репутацией. Вы же пользуетесь заслуженным уважением в преступном мире. Словом, нам нужно, чтобы кто-то сделал за нас грязную работу, и просим вас быть нашим посредником. За вознаграждением, разумеется, дело не станет.

— Нет! — воскликнул он. — Ведь это же аморально! Тут вмешался миссионер-вероотступник:

— Мораль, — сказал он, — делится на две категории: есть индивидуальная мораль и мораль социальная. Что касается первой, сам дон Умберт не совершит ничего предосудительного, а лишь выступит как посредник, то есть ограничится исполнением функций, свойственных его профессии. Что касается социальной морали, то и с этой стороны все в порядке: речь идет о том, чтобы поддерживать общественный порядок, нормальное функционирование государственной машины. Ты, сын мой, избавил многих преступников от заслуженной кары, теперь же ты будешь побуждать к преступлению других, которым, возможно, придется пойти на эшафот, — тем самым лишь восстановишь нарушенное тобою же равновесие.

Маски положили на стол груду денег. Дон Умберт согласился выполнить их поручение, и все прошло как нельзя лучше. Затем подобные поручения посыпались на него градом. Каждый вечер в конторе появлялись кабальеры в масках, не раз заходили и дамы. У подъезда скапливались экипажи, образуя пробки. Отпетые преступники, которым теперь нечего было скрывать, приходили в контору ересь бела дня и даже без масок.

— Ты гляди, — говорил он жене, — как хорошо идут мои дела.

Ему требовалось все больше людей, не только помощников и секретарш, но и агентов, которые чувствовали бы себя как рыба в воде на самом дне общества. Таких людей он и вербовал где мог, не обращая никакого внимания на их сомнительное прошлое.

— Мне сказали, что ты стоящий парень,— заявил он Онофре Боувиле, когда того посадили к нему в тильбюри,— ловко обделываешь дела. Будешь работать на меня.

— А в чем состоит эта работа? — спросил Онофре.

— Ты должен делать, что я скажу,— ответил дон Умберт Фига-и-Морера,— и не задавать неуместных вопросов. Полиция знает о твоих проделках. Если б не я, ты сидел бы уже за решеткой. Выбирай одно из двух: либо будешь работать на меня, либо сядешь лет на двадцать.

И Онофре Боувиле проработал на дона Умберта Фига-и-Мореру с 1888 по 1898 год, до того самого года, когда Испания потеряла свои колонии.

Для начала его отдали в распоряжение красивого парня, который схватил его в парке Сьюдаделы, некоего Одона Мостасы, из Саморы, двадцати двух лет от роду. Онофре дали наваху, дубинку и вязаные перчатки, велели без особой нужды дубинку в ход не пускать, а наваху — лишь в безвыходном положении; в том и в другом случае прежде надо надевать перчатки, чтобы не оставить на дубинке или рукоятке навахи отпечатки пальцев. А главное — чтоб его не опознали, так поучал новичка Одон Мостаса, «ибо если тебя опознают, то могут опознать и меня, а потом того, кто мне приказывает, и так переберут одно за другим все звенья цепи и выйдут на нашего хозяина, дона Умберта». На самом-то деле вся Барселона знала, что дон Умберт Фига-и-Морера водится с подонками, род его занятий был секретом полишинеля, но в делах его были замешаны власти, видные политические деятели, крупные коммерсанты — и все ему было нипочем. Порядочные люди держали его на известном расстоянии, хотя публично объявляли видным адвокатом. Он двойной игры не понимал, считал, что принадлежит к барселонской аристократии, и был счастлив. Его тщеславие косвенным образом разделяли Одон Мостаса и остальные члены банды. Если они случайно оказывались в полдень недалеко от Пасео-де-Грасиа, то говорили друг другу: «Пошли на бульвар, посмотрим, как прогуливается дон Умберт». Он там показывался каждый божий день верхом на чистокровной кобылке хересской породы и выглядел очень элегантно. Затянутой в перчатку рукой приветствовал других всадников, а перед дамами, катавшимися в открытых экипажах с великолепной упряжкой, приподнимал изумрудно-зеленый бархатный цилиндр.

Одон Мостаса и его сотоварищи глядели на него издали, не высовываясь, дабы не повредить престижу хозяина, показав свое знакомство с ним. «Гордись, парень,— говорил Мостаса Онофре Боувиле,— гордись тем, что твой хозяин — самый элегантный человек в Барселоне, да и по могуществу равных ему нет». Все это было преувеличением: дон Умберт Фига-и-Морера был простого происхождения, а по могуществу уступал собрату по профессии, которого звали дон Алешандре Канальс-и-Формига. Тот никогда не красовался на Пасео-де-Грасиа, хотя проживал совсем неподалеку; он построил себе четырехэтажную башню в стиле мудехар на улице Дипутасьон, в нескольких десятках метров от знаменитого Пасео. Контора, где он потом и умер, находилась на улице Платерия. Жизнь его протекала в доме и в конторе. Лишь изредка ходил он на карусель, установленную на пустыре недалеко от его дома: водил туда малолетнего, кривобокого и слабенького, сына. Было у него еще трое сыновей, но те умерли во время страшной эпидемии чумы 1879 года.

Поначалу Онофре Боувиле поручали мелкие дела, причем никогда не посылали одного. Например, он шел с Одон Мостасой в порт наблюдать за разгрузкой какого-нибудь товара или караулил неизвестно кого возле дверей какого-нибудь дома, пока не скажут: «Ладно, все, можете идти», и тому подобное. Потом обязан был обо всем докладывать субъекту, которого Одон Мостаса прозвал Маргарито, а на самом деле он звался Арнау Пунселья. Этот служил у дона Умберта уже не первый год, поначалу клерком в конторе; потом расцвел в лучах славы хозяина и стал со временем одним из первых доверенных лиц; теперь он надзирал за контактами с преступниками, творившими самые грязные дела. Был он низкорослым и болезненным, носил очки с толстыми стеклами и накладку на лысину цвета воронова крыла, у него были длинные и не очень чистые ногти, одевался он кое-как, ухитрялся сажать жирные пятна на любой предмет одежды; был женат, и говорили, что у него много детей, но точно никто не знал, ибо в силу замкнутости характера он ни с кем не откровенничал. Был он скрупулезен, недоверчив и прозорлив: он сразу заметил необыкновенную способность Онофре запоминать даты, имена и цифры, его недюжинную память. «Главное во всякой работе — пунктуальность,— говорил он своим детям, которым стремился дать тонкое воспитание.— Любая ошибка запросто может привести к катастрофе». Поэто-

му он и интересовался способностями Онофре Боувилы. Потом открыл в нем и другие качества, которые его даже испугали. Онофре не догадывался, какое внимание к нему проявляют, он старался оставаться незамеченным, не знал, что умственные способности так же трудно скрыть, как и их отсутствие, простодушно верил, что никто не обращает на него внимания. И он жил, как жилось.

Одон Мостаса был пригожим прожигателем жизни, простоватым и бесшабашным, его знали во всех зланных местах Барселоны и ее окрестностей, его любили за живость характера и щедрость. Сопровождая его, Онофре Боувил, сам к тому не стремясь, обрел новых друзей, чего раньше с ним не случалось. Поселился он в пансионе чуточку почище того, которым заправляли сеньор Браульо и сеньора Агата; владельцы этого заведения, убедившись, что доходы у Онофре регулярные, почитали его как члена королевской семьи. Почти каждый вечер он пускался во все тяжкие, вместе с Одоном Мостасой и его шайкой отправлялся в барселонские трущобы. Там он повстречал много женщин, готовых принять от него деньги в обмен на свои прелести и минуты блаженства; такое положение дел показалось ему справедливым и удобным, оно вполне соответствовало тому образу жизни, который он избрал. Изредка вспоминал о Дельфине: какой я был дурак, сколько трудов потратил зазя, да еще и страдал, когда все, оказывается, проще простого. Теперь-то я навсегда излечился от любовного недуга. С наступлением лета они стали посещать знаменитые «шатры», там все ему особенно нравилось: люстры, ковры, бумажные цветы, публика, надсаживающиеся оркестры, запах духов, характерные для подобных мест танцы — вальс со свечами, танец цветов и так далее. Туда приходило много девушек в расцвете юности, они ходили группами, взявшись за руки, и хохотали по любому пустяковому поводу; кто-то что-то сказал одной из них — все хохочут так, что не остановишь, вот уж поистине безудержный смех. Самыми задорными и ядреными из этих девиц были торговки рыбой; служанки были самыми простодушными, а модистки — самыми многоопытными и опасными. Иногда наведывались в Барселонету на корриду. После корриды пили пиво или красное вино с водой в барах, которых было полно на площади вокруг арены, там организовывались буйные вечеринки, разгул продолжался до утра. Однажды Онофре вздумалось посетить Всемирную выставку, о ней в ту пору много говорили. Вся Барселона приняла праздничный

вид: городские власти обязали владельцев домов подновить фасады, владельцев экипажей — покрасить и почистить свои кареты, всем жителям было предписано одеваться как можно нарядней. Для обслуживания иностранных посетителей Выставки отобрали сотню самых смысленных полицейских и заставили их за несколько месяцев выучиться говорить по-французски; теперь они бродили по городу, точно неприкаянные души, и бормотали что-то непонятное, за ними увязывались мальчишки, которые передразнивали ретивых служителей порядка — ну и тарабарщина! Онофре пошел на Выставку один, купил билет; ему показалось очень смешным, что он идет через главный вход вместе с важными господами. Бродил в общем потоке, перекусил в кафе-ресторане под названием «Castell dels tres dragons»¹ (на его строительстве работало 170 человек, он почти всех знал по имени), затем посетил музей имени Мартореля, диораму Монсеррата², валенсианскую орчатерию³, турецкую кофейню, «American Soda Water»⁴, павильон Севильи, построенный в мавританском стиле, и т. д. Сфотографировался (фотография не сохранилась) и зашел во Дворец промышленности. Там увидел стенд, на котором демонстрировали свои машины Балдрич, Вилагран и Тапера, те самые три сеньора из Бассоры; на него нахлынули грустные воспоминания, ему как будто стало трудно дышать, окружающая публика показалась противной, и он быстро протолкался к выходу из Дворца. И великолепное зрелище превратилось для него в злую насмешку, он столько всего здесь перенес несколько месяцев назад. Больше Онофре на Выставку не ходил и слышать о ней не хотел.

Его увлекала ночная жизнь старой Барселоны, которую пышность и великолепие Выставки нисколько не изменили, он восхищался этой от всего отвлеченной жизнью, как деревенский житель. Как только появлялась возможность, он шел, один или с приятелями, в заведение под вывеской «L'Empori de la Patacada»⁵. Этот убогий и грязный притон находился в полуподвале на улице Уэрта-де-ла-Бомба; днем заведение выглядело мрачным, неуютным и тесным, и лишь после полуночи, когда его оживляла простая и нетретьева-

¹ «Замок трех драконов» (каталонск.).

² Знаменитый монастырь в горах под Барселоной, где, по преданию, хранится сердце покровительницы Каталонии.

³ Заведение, где продают оршад.

⁴ Американская содовая вода (англ.).

⁵ Здесь: «Веселье до упаду» (каталонск.).

тельная публика, заведение, как будто черпая силы из собственной слабости, на глазах увеличивалось в размерах: ни одна пара не оставалась без места за столиком. У дверей посетителей встречали официанты со свечами, чтобы посветить, и ружьем, чтобы защитить от грабителей. Последнее было не лишним, так как туда приходили не только головорезы, которые могли сами за себя постоять, но также и молодые люди из зажиточных семей и женщины из общества, сопровождаемые другом, возлюбленным или собственным мужем; здесь они искали острых ощущений, каких не испытываешь в размеренной добропорядочной жизни, а потом рассказывали об увиденном, обычно сгущая краски. Здесь танцевали, а иногда и ставили *tableaux vivants*¹, которые пользовались большой популярностью в XVIII веке, но к концу XIX века были почти совсем забыты. Это были немые сцены, изображавшие события «из современной жизни» (Их Величества король и королева Румынии принимают испанского посла, Великий князь Николай в уланском мундире со светлейшей супругой и тому подобное) или носили «исторический, а также назидательный» характер (героическая гибель защитников Нумансии, смерть Чурруки и прочее); но чаще всего это были «библейские» или «мифологические» сцены, они-то и пользовались особым успехом, потому что в них почти все действующие лица выступали обнаженными. Для барселонцев прошлого века «обнаженными» означало «в трико», и участники живых картин надевали тонкое трико телесного цвета. Так было не потому, что люди тогда отличались более строгой моралью, чем теперь, а потому, что для глаза приятны сами формы человеческого тела, а не покрытая волосками кожа, не создающая эротического настроения. В этом вопросе обычаи не раз менялись: как известно, в XVIII веке нагота не привлекала никакого внимания, если кто-то показывался на людях голым, это не причиняло никакого ущерба его достоинству, мужчины и женщины купались при гостях, переодевались в присутствии слуг, справляли малую и большую нужду на улице и так далее. Это явствует из дневников и писем той эпохи. Так, например, в дневнике герцогини К *** можно прочесть такие строки: «Dinner chez les M ***, madame de G ***, comme d'habitude, préside la table à poil»². И в другой записи: «Bal chez le prince

¹ Живые картины (франц.).

² На обеде у М *** мадам де Г ***, по обыкновению, сидит во главе стола в чем мать родила (франц.).

V *** — presque tout le monde nu sauf l'abbé R *** déguisé en papillon; on a beaucoup rigolé»¹. В «L'Empori de la Patacada» танцевали под оркестр из четырех музыкантов, вальс к тому времени был популярен во всех слоях общества, пасодобль и чотис² оставались танцами для черни, танго еще не появилось; на вечерах у состоятельных людей по-прежнему танцевали ригодон, мазурку, кадрили и менуэт; полька и хава имели большой успех в Европе, но не в Каталонии; такие народные танцы, как хота и сардана, из заведений, подобных «L'Empori de la Patacada», были изгнаны. Летом в тесном помещении бывало душно, зато в осенние ночи, когда дождь и холод гнали людей под крышу, от посетителей не было отбою. С наступлением весны террасы кафе и танцевальные площадки на открытом воздухе отбивали у этого заведения часть клиентуры. Среди шумной толпы Онофре Боувилла из всех сил старался веселиться. Иногда это ему удавалось, но чаще, несмотря на все усилия, его не покидали беспокойство и заботы, никогда ему не удавалось попасть в общий тон шумного веселья, никак он не мог с головой окунуться в водоворот разгула. Одона Мостасу, который привязался к Онофре и считал себя в какой-то степени ответственным за его состояние духа, беспокоила постоянная серьезность молодого товарища. «Да ну же,— говорил он,— оставь ты на время все заботы. Почему бы тебе не развлечься? Гляди, какие бабы, голову можно потерять!» Онофре улыбался и спокойно отвечал: «Не надо подзуживать меня, Одон, от развлечений я устаю». Одон Мостаса смеялся этому парадоксу, он не понимал, что Онофре говорит правду: ему стоило огромного труда отвлечься от своих мыслей хотя бы на минуту, лишь усилием воли мог он уйти от воспоминаний о том ужасном дне, когда в дом его родителей явился необычный гость. Дядюшка Тоне привез его в своей двуколке из Басоры. Поношенный сюртук, манишка, очки и цилиндр. При нем был толстый кожаный портфель. Гость старательно обходил лужи и кучи грязного тающего снега и всего пугался, даже вспорхнувшая с ветки птица заставила его шарахнуться. Церемонно представился и прошел погреться к очагу, где еще краснели пышущие жаром угли. Сквозь открытую дверь падали яркие лучи февральского солнца,

¹ Бал у князя В *** — все голые, кроме аббата Р *** в маскарадном костюме бабочки, веселились до упаду (*франц.*).

² Народный танец.

доставая до середины пола; этот ясный, но еще холодный свет придавал четкость очертаниям всех предметов, словно они были нарисованы остро отточенным карандашом. Гость сказал, что прибыл по поручению своих доверителей сеньоров Балдрича, Вилаграна и Таперы. Он лишь служащий одной из юридических контор в Бассоре и просит не относить на его счет то, о чем он будет говорить. «Мне поручено неприятное дело, я сожалею, что вынужден довести дело до конца, но так мне повелевает мой профессиональный долг,— сказал он, затем добавил:— Вы сообразовайте...» — и сделал сочувственный жест, неизвестно кому предназначенный. Американец ответил жестом, выражавшим нетерпение и, казалось, говорившим: «Прошу вас перейти к сути дела». Гость покашлял, и тогда мать Онофре заявила, что ей надо пойти покормить кур. «Мальчик пойдет со мной, и вы спокойно поговорите»,— добавила она, глядя мужу в глаза. Тот сказал, что уходить никуда не нужно, пусть они оба останутся и послушают, что скажет этот сеньор. Гость долго кашлял, будто в горло ему попал дым. Очень тихим, почти неслышным голосом поведал он Американцу, что его доверители решили подать в суд, обвиняя Жоана Боувилу в мошенничестве. «Это весьма серьезное обвинение,— сказал Американец,— прошу вас, объяснитесь». Тот смущенно стал излагать не очень четкие обвинения. Как будто бы Жоан Боувилла дал понять всем в Бассоре, что он вернулся из Америки богачом, ходил к промышленникам и финансистам и уверял их, что ищет надежное дело, куда мог бы вложить капитал. На этот предмет получал кредиты, ссуды и дотации. Но время шло, а никаких вложений Жоан Боувилла не производил, и тогда сеньоры Балдрич, Вилагран и Тапера, более других потратившиеся на авансы, решили произвести расследование с целью выяснить действительные размеры состояния Жоана Боувиллы. «Расследование производилось осторожно и деликатно»,— поспешил добавить гость. В результате выяснилось то, что все и подозревали: у Жоана Боувиллы не было ни реала. «Это была чистой воды мошенничество,— сказал посланец фирмы, но тут же побледнел и поспешно присовокупил, что такое категоричное утверждение никоим образом не представляет собой морального осуждения с его стороны. Он лишь исполнитель чужой воли.— Это обстоятельство снимает с меня всякую ответственность за те беды, которые, возможно, ожидают вас». Воцарившееся после этих

слов молчание нарушила мать: «Жоан,— сказала она,— о чем говорит этот человек?» Теперь Американец в свою очередь разразился кашлем. И наконец признал, что гость говорит чистую правду. «Я всех обманывал: на Кубе, где в то время богатели даже недоумки, я не сумел заработать даже на сколько-нибудь приличное существование». И Жоан Боувила стал рассказывать. Сначала, когда он еще был бодр духом, ему удалось кое-что скопить, но его разорила некая колумбийка, жадная до денег авантюристка. Затем путем займов он собрал некую сумму и вложил ее в дело, но оно прогорело, и в какие бы дела он ни вкладывал деньги, все они оказывались надутельством. В конце концов ему пришлось браться за самую грубую и грязную работу, от которой с отвращением отказывались даже негры-рабы. В Гаване нет такой плевательницы, которую бы он не мыл, такого сапога, которого бы он не чистил, такой уборной, которую бы он не выгребал, иногда даже без черпака. За эти годы он навиделся эмигрантов, которые приезжали полумертвыми от голода, а через несколько месяцев бросали в лужу монеты, чтобы он доставал их оттуда, залезая по локоть в грязь,— так они над ним потешались. Питался банановой кожурой, рыбьими хребтами, гнилыми фруктами и прочими отбросами, о которых и упоминать-то неприлично. Наконец он сказал себе: «Хватит, Жоан, довольно».

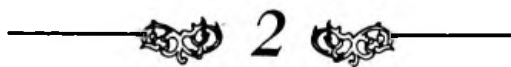
— Было у меня немного денег,— рассказывал Американец,— добытых позорным способом: я получал их от английских моряков за то, что я помогал им удовлетворять низменные инстинкты; вот на эти-то деньги я и купил себе костюм, в котором вы меня видите, и билет на обратный проезд в трюме грузового судна.

Перед отъездом Жоан Боувила занял еще немного денег, заранее зная, что долг не вернет, и ненастным вечером, когда лил проливной дождь, отплыл на родину. Раздевшись догола, обмазался дегтем, чтобы никто из кредиторов его не узнал, если случайно повстречается. «И вот в таком виде, несовместимом с достоинством белого человека,— рассказывал Американец,— я в последний раз прошел по улицам страны надежд, которая для меня оказалась хуже каторги и рабства». По отплытии не смывал деготь и не переодевался, пока судно не покинуло пределы испанских территориальных вод. Потом жил на эти деньги и на те, которые добывал мошенничеством. Знал, что рано или поздно правда выйдет наружу, и

горестная исповедь облегчила ему сердце. «В глубине души я рад,— добавил он,— что теперь пришел конец моим мещеничествам. Я их совершал не из подлости или жадности, а из тщеславия. А вообще-то я все это делал ради Онофре. Хотел, чтобы сын мой познал, какой может быть жизнь, какой она могла бы быть, если бы бог не послал ему такого никчемного отца, как я». Дело это последствий не имело: убедившись в невозможности получить обратно всю сумму сразу, Балдрич, Вилагран и Тапера отказались от иска и заставили Американца работать на них, чтобы вычитать определенный процент из его жалованья в погашение долга. Теперь Онофре старался забыть обо всем этом, но не мог. Много пил, стал завсегдатаем нескольких домов терпимости. И еще тратил деньги на щегольскую одежду. В долги, однако, не влезал, карт сторонился, как чумы. К этому времени он уже перестал расти, раздался в плечах, возмужал и собой был недурен. При всей своей сдержанности был приветлив и прост в обращении; воры, проститутки, сутенеры, торговцы наркотиками, полицейские и осведомители уважали его, старались завоевать его расположение, без всяких усилий с его стороны инстинктивно угадывали в нем врожденные качества лидера. Даже Одон Мостаса, которому он был обязан повиноваться, подпал под его влияние: Онофре принадлежало последнее слово, он решал, делать что-нибудь или не делать, в случае надобности он объяснялся с Арнау Пунсельей, то есть с Маргарито. Тот увидел в этом подтверждение своих опасений. Этот парень заставит говорить о себе, думал он, всего только год с нами, а уже что твой петух в курятнике. Если не буду остерегаться, обойдет меня в два счета. Надо бы его изничтожить, да не придумаю как. Сейчас он пока что мелкая сошка, проскользнет меж пальцев, как блоха, но как знать, может, скоро будет уже поздно. Маргарито старался войти в доверие Онофре, всякий раз, как виделся с ним, заговаривал об одежде, хвалил его покупки, а на самом деле, будучи неряшлив, остро ненавидел элегантность других. Онофре не догадывался, что собеседник кривит душой, искренне верил, что у них одинаковый вкус к хорошо сшитой одежде, даже просил у Маргарито совета, где лучше покупать галстуки, ботинки и тому подобное. Он стал уже настоящим денди: в пансионе, где он проживал, расхаживал в длинном кимоно из набивной ткани. Предпочитал магазины на улице Фернандо и на улице Принсеса, но по временам

его охватывала неизъяснимая грусть. В душные летние ночи покрывался липким потом, вертелся, никак не мог уснуть, нервничал. Тогда он набрасывал на плечи кимоно из набивной ткани и выходил покурить на балкон. Что это со мной? — думал Онофре. Однако, хотя сознание его оставалось ясным, ответа на этот вопрос найти не мог. А в действительности он, как и все на свете, был не в состоянии увидеть самого себя, а видел лишь отражение своей личности и своих действий в сознании других людей и потому судил о себе ошибочно. Поскольку четко проанализировать свои чувства он не мог, у него и возникала какая-то неопределенность, какое-то неудовлетворение, а отсюда и его беспокойство. Тогда он вспоминал, что произошло с отцом. Он считал, что ненавидит отца за то, что тот предал мечты, которые он лелеял, пока отца не было, за то, что отец не оправдал его тщетных ожиданий, которые он считал реальными и на которые, по его мнению, имел право. Обвинял отца в том, что тот узурпировал его естественное право. Поэтому он и ушел от отца — по крайней мере он так полагал. Это по его милости я оказался здесь, только он ответствен за все, что бы я ни сделал, думал Онофре. Но ненависть к отцу была мнимой, воображаемой, а в душе его сохранилось бывшее восхищение отцом. Без всяких на то оснований, сам не зная почему, он считал, что на самом деле отец оказался не неудачником, а жертвой какого-то широкого заговора. Вот этот непонятный заговор, в результате которого отец лишен был заслуженного успеха и состояния, предстоит уничтожить ему, Онофре, и он возьмет лишь то, что принадлежит ему по праву совести. Но эти смутные мысли приходили в противоречие одна с другой, сталкиваясь с его природой и с природой всего, что Онофре окружало: теперь в деньгах он не испытывал недостатка, позади остался тошнотворный мир прежнего пансиона, с течением времени тускнели воспоминания о Дельфине, у него были друзья, успех, и, когда удавалось отделаться от непонятной грусти, ему казалось, что он живет полной жизнью. Летними ночами, когда неясная тревога выгоняла на балкон, Онофре прислушивался к знакомым звукам: бряканью тарелок и кастрюль, звону стаканов, разговорам и спорам, смеху, трелям щеглов и канареек, доносившимся издали аккордам пианино, руладам начинающей певицы, лаю неугомонного пса, бормотанию пьяниц, обнимающих фонарные столбы, тягучим жалобам слепых нищих, просивших ми-

лостыню ради Христа. Он мог простоять на балконе всю ночь, думая о печальном, не в силах оторваться от ночных звуков — все лето бы стоял так, зачарованный ночными звуками невидимого города. Но его снова охватывало беспокойство. Нынешнее уважение окружающих было недостаточным, чтобы смыть нанесенное ему оскорбление, то унижение, воспоминание о котором его преследовало, стереть с его лба воображаемое клеймо. Я должен идти дальше, говорил он себе, мне нельзя оставаться здесь. Если не предпринять чего-нибудь в ближайшее время, жизнь моя остановится там, где она есть, и я превращусь в заурядного проходимца. Как ни нравилась ему жизнь воров и распутных женщин, разум подсказывал ему, что эти люди живут в долг: общество терпит их, пока они ему нужны, а может, из-за того лишь, что уничтожать их слишком накладно; их держат в определенных границах, используют в своих целях, но оставляют за собой право и возможность смести их с лица земли, когда это понадобится. А те, бедняги, думают, что мир у них за пазухой, раз у них за поясом нож и девки самого низкого пошиба млеют, глядя на них. Разумеется, ему не хватало силы воли, чтобы покинуть развеселое общество забияк и шлюх, где ему жилось так вольготно. Вот он и откладывал со дня на день крутой поворот в своей жизни. Невдомек ему было, что такие повороты совершают по велению чувства, ведь он решил никогда не влюбляться, не терять голову из-за женщины, потому и не находил веских причин для того, чтобы оставить такой удобный для него образ жизни. Онофре мог бы жить год за годом, не видя жизни, как это случалось со многими другими, и кончить так же, как они: от ножа соперника, в тюрьме или на эшафоте, куда судьба приводит профессиональных наемных убийц, мог спиться и так далее, если бы Арнау Пунселья, он же Маргарито, не встал на его пути. Онофре пришлось изменить свою жизнь в целях самосохранения.



В те годы тайные нити, управлявшие политикой Барселоны, держал в руках дон Алешандре Канальс-и-Формига. Человек он был суровый, скупой на слова и жесты, с высо-

ким лбом и черной бородкой клинышком, благоухал самими тонкими духами, безупречно одевался, и каждое утро в его контору, откуда он почти не вылезал, заходили парикмахер, маникюрша и массажист, это была единственная роскошь, которую он себе позволял; остальную часть дня до позднего вечера он принимал решения, имевшие далеко идущие последствия для жизни города: манипулировал избирательными бюллетенями, покупал и продавал голоса, создавал или разрушал политические карьеры. Посвящал этим делам все свое время и всю свою энергию, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести; он обладал, по существу, неограниченной властью, но ею не пользовался, приберегал на черный день, как скупец приберегает свои монеты. Политические деятели и просто влиятельные люди уважали и побаивались его, часто обращались к нему; поговаривали, кроме того, что лишь он один в нужный момент сможет обуздать и ввести в нужное русло синдикалистское движение, выраставшее грозной тучей на политическом горизонте. Сам он на этот счет ничего не говорил.

Если для достижения своих целей ему приходилось прибегнуть к насилию, он перед этим не останавливался. При нем состоял целый отряд бандитов и убийц, возглавляемый неким Жоаном Сикартом. Это был человек сложной судьбы: барселонец по происхождению, он родился и вырос на Кубе, куда родители его, как и отец Онофре Боувилы, уехали искать счастья; оба умерли от лихорадки, когда Жоан Сикарт был малюткой, так что он остался совершенно без призора. Полюбил насилие и дисциплину, пожелал сделать военную карьеру, но из этого ничего не вышло: из-за небольшого легочного недомогания не поступил в училище. Вернулся в Испанию, прожил какое-то время в Кадисе, не раз попадал в тюрьму и вынырнул в Барселоне, где и вступил в войско дона Алешандре Канальс-и-Формиги, который правил им железной рукой. Был он костляв, с крупными чертами лица и глубоко сидящими маленькими глазками, что придавало его внешности восточный колорит, но, как ни странно, волосы у него были светлые, цвета спелой ржи.

Деятельность этой грозной организации время от времени неизбежно вступала в конфликт с деятельностью банды дона Умберта Фига-и-Мореры. Но пока что столкновения не приводили к острым ситуациям, разногласия улаживались без особого труда. Дон Умберт Фига-и-Мо-

рера, равно как и его ближайший помощник Арнау Пунселья, иначе говоря, Маргарито, были людьми мирными и в случае столкновения высказывались за соглашение. Они даже пытались в свое время договориться с доном Алешандре Канальс-и-Формигой окончательно, но тот, чувствуя свое превосходство, не пожелал отозваться на это предложение. Пришлось уступить, слишком неравными были силы, к тому же у противника они оказались лучше организованы: объединялись в эскадроны, как конная жандармерия, под командованием единого начальника, обладали опытом подавления забастовок и разгона митингов. Люди дона Умберта являли собой, напротив, сборище преступников, пригодных разве что для кабацкой драки. Но город был слишком мал и слишком беден, чтобы содержать обе банды, а те все росли, и рано или поздно они должны были столкнуться лицом к лицу. Все об этом знали, но никому не хотелось в это верить.

Встреча с хозяином состоялась в марте, в пятницу, под вечер, последние лучи солнца гасли на занавесках, небо было ясным, на окружавших площадь деревьях набухали почки. Дон Умберт отвел занавеску, вышел на застекленный балкон и, прислонившись лбом к стеклу, стал смотреть на площадь. Не знаю, правильно ли я действую, думал он. Время бежит, а ничего не меняется, и мне почему-то становится грустно. Ему вспомнилась Всемирная выставка, и тут же он подумал об Онофре Боувиле: грандиозный смотр и деревенский паренек, пытающийся всеми средствами проложить себе дорогу в жизни. Теперь Выставка уже закрылась, после гигантских усилий город остался почти ни с чем: несколько зданий, слишком больших, чтобы найти им полезное практическое применение, десяток-другой статуй и куча долгов, с которыми городским властям никак не рассчитаться. Краеугольные камни всякого общества — невежество, косность, несправедливость и глупость. Накануне дон Умберт принял Арнау Пунселью, тот говорил о вещах, которые встревожили его: так дальше продолжаться не может.

— Надо либо переходить к действиям, либо смириться и ждать, чтоб нас извели на корню, — сказал ему Арнау Пунселья.

— Все мы знали, что поздно или рано дело обернется именно так, — сказал дон Умберт, — но я не думал, что так

скоро.— План, предложенный помощником, показался ему идиотским. Никакого шанса на успех.— Как тебе мог прийти в голову такой вздор?

Тот ответил, что речь идет не о том, чтобы победить противника, а о том, чтобы утвердиться. Нанести первый удар и тут же начать переговоры. Пусть почувствуют, что мы не безрукие и сдаваться на их милость не собираемся, такой язык они лучше поймут, чем самые разумные доводы. Ну, потеряем сколько-то людей, с этим ничего не поделаешь.

— А мы? Что будет с нами? — спросил дон Умберт.

— С нами ничего плохого не случится, — ответил помощник, — будьте покойны, я все рассчитал до мелочей. Я давно присматриваюсь к этому парнишке, он настырный, сделает все как надо. Жаль, конечно, что придется им пожертвовать.

По натуре Арнау Пунселья не был злым, но в этом случае им руководили зависть и страх. Он позвал Онофре Боувилу в свой кабинет и сказал, что ему поручается важнейшее задание. «Посмотрим, как ты себя покажешь», — сказал Маргарито. Тут распахнулась высокая двустворчатая дверь, и вошел дон Умберт Фига-и-Морера. «Дон Арнау Пунселья сказал мне, что ты стоящий парень. Посмотрим, как ты себя покажешь», — сказал он, не зная, что повторяет слова своего помощника. Потом они изложили ему план во всех подробностях. Онофре Боувилу слушал их, открыв рот. Он ни о чем не догадывается, подумал Арнау Пунселья, будто с луны свалился. А вслух сказал: «Главное — чтоб ни одна живая душа об этом не знала».

Оставшись один, Онофре провел в раздумье не один час, потом отправился искать Одона Мостасу. Найдя этого фанфарона, сказал ему: «Слушай меня внимательно, мы сделаем так...» Он решил отойти от предложенного ему плана и действовать иначе, на свой страх и риск. «Хватит подчиняться», — сказал он себе. Он давно уже знал о существовании дона Алешандре Канальс-и-Формиги, Жоана Сикарта и его банды головорезов. В курс дела его ввел тот же Одон Мостаса. Он даже подумывал о том, не предложить ли свои услуги Жоану Сикарту. Предательство было не в его характере, но он понимал, какая из группировок обладает реальной властью, и не видел смысла поддерживать сторону, обреченную на поражение. Он знал, что Жоан Сикарт — это та фигура, на которой

держится вся власть дона Алешандре, на нем держится вся организация. Исходя из этих сведений, он и построил свой план действий, продумал его до мелочей и лишь после этого пошел к Одону Мостасе. «Их преимущество перед нами,— сказал он,— настолько явно, что никто из них не принимает нас всерьез, вот мы этим и воспользуемся, только действовать надо быстро и смело». Он не добавил «и жестоко», хотя считал, что, действуя именно таким образом, можно добиться успеха. И он осуществил все, что задумал. Барселона подобного еще не видала. Пока шло сражение, весь город следил за ним затаив дыхание. Возможно, если бы силы были равны, такой жестокости и не потребовалось бы.

Война началась в тот же вечер. Часть людей Сикарта собиралась в кабачке на улице Арко-де-Сан-Сильвестре недалеко от площади Санта-Каталина. Туда зашли несколько молодчиков во главе с Одоном Мостасой и стали задирать соперников — обычное дело, никто не придавал этому особого значения. Одона Мостасу там прекрасно знали, женщины говорили, что такого красавчика не сыщешь во всей Барселоне. Люди Сикарта только посмеивались: нас, мол, больше и в своем деле мы половчей. В ответ на эту насмешку молодчики Одона Мостасы выхватили ножи и начали пырять всякого, кто попадался под руку, потом быстро выскочили из кабачка, пока остальные не опомнились. На площади Санта-Каталина их дожидалась карета, в которой они и унеслись. Весть об этом событии быстро разнеслась среди обитателей городского дна. Не прошло и двух часов, как последовало возмездие: в «L'Empori de la Patasada» ворвались двенадцать человек с ружьями и открыли пальбу, прервав демонстрацию живой картины под названием «Невольница султана». Два человека было убито и шесть ранено, но ни Онофре Боувилы, ни Одона Мостасы среди них не было. Стрелявшие выскочили на улицу, которая оказалась темной и пустынной, и тут поняли свою ошибку, но слишком поздно. Увидели, что приближаются два закрытых экипажа, лошади скачут во весь опор. Хотели бежать, но не успели, попали между двух огней, по ним стреляли из шестизарядных «кольтов». Люди Одона Мостасы могли бы прикончить всех двенадцать головорезов, но удовлетворились двумя заездами с разворотом: пули достались семе-

рым, один из них скончался на месте, еще двое — через несколько дней. Жоан Сикарт был озадачен. Не понимаю, что им надо, говорил он себе, и как далеко они пойдут. Из-за чего они это делают и какая у них цель? Вот о чем он размышлял, когда ему доложили, что его хочет видеть какая-то женщина; назвать себя она не пожелала, но сказала, что может предложить ему решение того вопроса, который он тщетно пытался разрешить. Из любопытства он велел ее впустить. Эту особу он никогда не видел, но, так как не был равнодушен к женским чарам, принял ее любезно. Дама, лицо которой было скрыто густой вуалью, заговорила низким голосом. «Меня послал к вам Онофре Боувила», — сказала она первым делом. Жоан Сикарт ответил, что не знает такого. Женщина как будто не слыхала его слов. «Он хочет с тобой повидаться», — сказала она без обиняков, — он тоже озабочен, тоже не понимает, зачем вся эта бойня». Она говорила с ним, как посол с главой правительства иностранной державы, Жоан Сикарт не знал, как ей отвечать. Женщина продолжала: «Если ты хочешь покончить с этим дурацким положением, поди к нему или прими его здесь, у себя, он придет, если ты гарантируешь ему неприкосновенность». Жоан Сикарт пожал плечами: «Скажи ему, пусть приходит, если ему так хочется, но только один и без оружия». «Ты даешь честное слово, что он выйдет отсюда живым и здоровым?» — спросила женщина. Несмотря на вуаль, в глазах ее заметно было беспокойство. Наверно, его любовница или мать, подумал Жоан Сикарт. Заметив, что его персона вызывает у красивой женщины такой страх, он напыжился от гордости и улыбнулся. «Можешь на этот счет не беспокоиться», — сказал он. Договорились о часе, и Онофре Боувила явился минута в минуту. Увидев его, Жоан Сикарт покривился. «Теперь я знаю, кто ты», — сказал он. — Ты щенок Одона Мостасы, я слышал о тебе. Что ты хочешь мне продать?» Эти слова он произнес презрительным тоном, но Онофре не рассердился. «Мне не нужны ни новички, ни шпионы, ни предатели», — продолжал издеваться над ним Сикарт. В конце концов спокойствие Онофре Боувилы вывело его из себя, и он начал орать. «Что тебе надо? Зачем ты пришел?» — кричал он. Его люди, находившиеся в вестибюле, слышали его крики, но не знали, вмешаться или сидеть сложа руки. Если понадобится, он позовет — решили они.

— Если ты не хочешь выслушать, что я должен тебе

сказать, то зачем ты согласился меня принять? — спросил Онофре Боувила, когда счел, что Сикарт излил свою злость. — Ведь я подвергаю себя опасности и риску своим положением.

Жоан Сикарт вынужден был признать справедливость этих слов. Его, в общем-то, раздражало, что приходится разговаривать на равных с молокососом, но в то же время спокойствие и достоинство, которое проявил этот самый молокосос, произвели на него впечатление. На смену презрению пришло интуитивное уважение. «Ладно, — сказал он, — выкладывай, что там у тебя». Онофре понял, что выиграл дело. Противник сдается, подумал он. А вслух сказал, что возникшая война — сплошная бессмыслица, произошло какое-то недоразумение, никто не знает, с чего началось, но теперь это дело разрастается, как снежный ком, и он может вызвать лавину, которая погребет нас всех. «Это не может не тревожить и тебя, — продолжал он, — и тем более меня, потому что мне первому достанется. Не считаешь ли ты, что с войной надо покончить?»

— Ого, так не мы же первые начали, а вы, — живо возразил Жоан Сикарт.

— Какая теперь разница, — сказал Онофре Боувила. — Речь идет о том, как прекратить драку. — И добавил доверительно: — Нам эта война не нужна. Что мы выиграем? Нас меньше, и мы хуже подготовлены к ней, чем вы, и вы сомнете нас в два счета. Всё в вашу пользу. Я тебе говорю об этом, чтобы ты понял: нет у меня никаких тайных целей, и пришел я только затем, чтобы замириться.

Жоан Сикарт по привычке не поверил Онофре, но в глубине души посчитал, что тот говорит искренне, ибо и ему эта бессмысленная война была ни к чему. Погибали его люди, все доходные дела были приостановлены, в городе царила напряженная атмосфера, тут уж не до прибылей. Разговор окончился ничем, но оба согласились встретиться еще раз, после того как обдумают все как следует. Онофре удалось убедить Сикарта, что у того в руках все главные нити, и Сикарт не подозревал, что идет навстречу собственной гибели, что сам копает себе могилу. В тот вечер вооруженные столкновения продолжались бы, если бы от заката до восхода не лил дождь, лишь две небольшие группы столкнулись в темном переулке, разрядили пистолеты и карабины, которые теперь всегда носили с собой, целясь сквозь пелену дождя. Вспышки выстрелов освещали струи, стекавшие с крыш. Стреляли, стоя по

щиколотку в воде, пока не кончились патроны. Из-за плохой видимости жертв не было. В эту ночь произошло еще два события. Шестнадцатилетний мальчишка из приближенных дона Умберта Фига-и-Мореры погиб, сломав себе шею, когда прыгнул с глинобитной стены, спасаясь от воображаемой погони. В эту же ночь кто-то зашвырнул дохлую собаку в окно публичного дома, куда имели обыкновение заходить Одон Мостаса, Онофре и их сообщники. Никто не понял, что означал этот зловещий подарок. В ту ночь из предосторожности никто из них в бордель не пришел, девки провели ночь без сна, опасаясь кровавого побоища. В три часа ночи сотворили молитву, перебирая четки. Все в городе знали, что идет необъявленная война, но местная печать не осмелилась даже упомянуть о ней.

На другой день загадочная незнакомка снова пришла к Жоану Сикарту и сказала, что Онофре Боувилла хочет с ним встретиться еще раз. Но из осторожности, по соображениям личной безопасности при существующем положении дел не хочет приходить сюда. Не то чтобы он не верил твоему слову, а просто боится, как бы твои люди не вышли из-под твоего контроля. Не хочет идти к волку в пасть. Стало быть, назначь какое-нибудь нейтральное место. Он придет один, а ты можешь взять с собой какую хочешь охрану. Сикарт назначил встречу в соборе, хоть подобное предложение и задело его самолюбие. Его люди окружили собор, заняли каждую часовенку; сеньор епископ сделал вид, что не замечает вооруженных людей в Божьем храме. В общем, Сикарт следил за всей бандой дона Умберта Фига-и-Мореры и потому знал, что Онофре идет на свидание с ним один, и еще раз подивился его смелости.

— Теперь самое время подписать мирный договор, — сказал Онофре. Говорил он спокойно, размеренно, как того требовала обстановка храма. После ночного дождя распустились розы, а камни паперти сверкали, точно отполированные. — Завтра, возможно, будет уже поздно. Городские власти не станут сидеть сложа руки и до бесконечности терпеть такое положение. Рано или поздно они обязаны восстановить нарушенный нами общественный порядок, волей-неволей им придется это сделать, может, объявят чрезвычайное положение, тогда город займут армейские части. И всем нам придет конец. Твой хозяин и мой сумеют выкрутиться, а мы-то с тобой — козлы отпу-

щения, нам гнить в подземельях Монжуика в назидание прочим. Они напуганы синдикатами, скоро это станет главной проблемой, и воспользуются случаем показать свою решимость и свою власть. Ты знаешь, что я прав. Очень может быть, что все это и тебя заденет.

Хоть недоверие Жоана Сикарта и возрастало, он не мог не поддаться влиянию Онофре Боувилы, ибо в душе согласен был с его доводами.

— У меня нет оснований не доверять моему хозяину, дону Алешандре Канальс-и-Формиге,— высокомерно возразил он.

— Тебе виднее,— заметил Онофре.— А я вот никому не доверяю, не положил бы голову на отсечение ни за того, ни за другого.

В то время как Онофре сеял семена сомнения в душе Сикарта, таинственная незнакомка явилась пред очи самого дона Алешандре. Наплела что-то насчет несчастной любви. Дон Алешандре клюнул на приманку и велел впустить женщину в кабинет. Перед ее появлением опрыскал себя одеколоном из пульверизатора, который держал в ящике письменного стола рядом с револьвером. Она лица не открыла. Без всяких предисловий заявила, что Жоан Сикарт собирается предать его, ей, дескать, это доподлинно известно. «Перейдет во вражеский стан в самый разгар войны, и ты в критический момент останешься беспомощным»,— сказала она, задыхаясь от волнения. Дон Алешандре рассмеялся. «Это невозможно,— сказал он,— с чего ты это взяла?» Та расплакалась: «Я страдаю по тебе, потому и пришла. Если с тобой что-нибудь случится...» Тот почувствовал себя польщенным и стал успокаивать женщину. «Для беспокойства нет оснований»,— сказал он. Предложил ей рюмочку ликера, который она тотчас выпила. Затем вернулась к делу и сообщила, что Жоан Сикарт уже два раза встречался с человеком из лагеря дона Умберта Фига-и-Мореры, один раз в своем кабинете, другой — в соборе. «Вели справиться, и убедиться, что я не лгу,— сказала она.— Если бы люди Умберта не рассчитывали на сообщничество Сикарта, как бы они осмелились начать войну, заранее зная, что проиграют ее? Подумай над тем, что я сказала, Алешандре, Сикарт снюхался с Умбертом Фига-и-Морерой»,— заявила она напоследок. Дон Алешандре не пожелал обсуждать с незнакомой женщиной такой серьезный вопрос.

— Будет тебе, красавица, иди с богом, у меня есть

дела поважней, чем слушать твои сказки,— сказал он. Но когда женщина ушла, послал записку епископу, в которой просил сообщить, действительно ли был в соборе Сикарт. Не верю ни слову из того, что наговорила эта сумасшедшая бабенка, сказал он себе, но осторожность не помешает, особенно в таких делах, как это. На самом деле визит этой женщины произвел на дон Алешандре более сильное впечатление, чем он готов был признать. Подумать только, я веду, можно сказать, монашеский образ жизни, а такая интересная женщина тайно от всех беспокоится о моей безопасности, подумал он. Ай-яй-яй, дело вроде пахнет распутством. Но как бы там ни было, я не могу пропустить мимо ушей те сведения, которые она мне сообщила. Скорей всего, она преувеличивает, наверняка преувеличивает, а может, просто ошибается. А что, если нет? Принесли записку от епископа, в которой тот подтверждал, что Сикарт был-таки в соборе. Дон Алешандре Канальс-и-Формига вызвал Жоана Сикарта и попытался что-нибудь выведать исподволь. Его старания были замечены Сикартом, и это усилило сомнения, зароненные в его душу Онофре Боувиллой. Но он сделал вид, что не улавливает ничего странного в поведении хозяина, дабы не выдать своих мыслей. Видно, он хочет заменить меня кем-то другим, подумал он, да не знает, как от меня избавиться. У Сикарта был заместитель по имени Бош, человек недалекий и грубый, который давно уже завидовал его положению. Может, дон Алешандре обратил внимание на Боша, а может, уже и договорился с ним, но помалкивает об этом. Во время разговора оба почувствовали сдержанность собеседника, хотя каждый выказывал дружелюбие. Это, однако, не помешало им договориться о том, что надо как следует ударить по банде дон Умберта Фига-и-Мореры. Сикарт пообещал уничтожить банду, попрощался с хозяином и вышел. Но, оставшись один, сказал себе: похоже, все это делается с одной целью. Пока у него есть враг, хотя бы и такой слабый, как дон Умберт, ему без меня не обойтись. Но если я покончу с бандой его противника, что помешает ему покончить потом и со мной? Нет, надо договориться с Онофре Боувиллой. Мир нужен мне не меньше, чем ему, а он кажется человеком рассудительным. Повидаюсь-ка я с ним, и попробуем все вернуть на свои места. А дон Алешандре, оставшись один, бросился в глубокое кожаное кресло, уронил руки и чуть не заплакал. Меня покидает мой

самый верный слуга, сказал он себе. Что же со мной будет? Он считал, что его жизни грозит опасность, но еще больше беспокоился за сына. Мальчику было двенадцать лет, от рождения у него был искривлен позвоночник, и передвигался он с большим трудом, никогда не участвовал в играх и шалостях сверстников, зато очень интересовался учебой и проявлял необыкновенную склонность к математике и всяким расчетам. Друзей у него не было. Так как остальные дети умерли почти одновременно во время эпидемии 1879 года, дон Алешандре всю любовь и жалость перенес на последнего сына — в отличие от жены, которая после трагедии как будто упрекала тех, кто остался в живых. И теперь дон Алешандре подумал: если эти негодяи действительно что-то затевают, им может прийти в голову покуситься на моего сына, так как они знают, что для меня это будет смертельный удар. Да, конечно, они это сделают, если я не приму мер. На другой день сын дона Алешандре — Николау Канальс-и-Ратаплан в сопровождении матери, няни и горничной отбыл во Францию, где у дона Алешандре были друзья и немалые деньги в банках.

Узнав об отъезде семьи хозяина, Жоан Сикарт окончательно поверил, что его предали. Отправил Онофре Боувиле такое послание: «Жоан Сикарт хочет срочно с тобой повидаться». «В этот раз,— ответил Онофре,— встретимся один на один». «Как хочешь,— ответил Сикарт,— назначь место сам». Онофре задержался с ответом, хотя давно все обдумал. «В церкви Святого Севериана, за полчаса до мессы, которая начинается в семь». «В этот час,— был ответ Сикарта,— церковь будет закрыта». «Я позабочусь, чтоб ее открыли». На обмен посланиями ушел целый день. Стычек не было, но улицы Барселоны оставались безлюдными, никто без особой нужды из дома не выходил.

До восхода солнца люди Сикарта расположились на ближних улицах, между колонн, в бакалейной лавке напротив церкви, в развалинах заброшенного дворца. Они рассчитывали увидеть, как придет Онофре, но тот их опередил: он ночевал в церкви. В назначенный час он сам открыл им двери. Трое сообщников Сикарта ворвались в храм с оружием в руках, чтобы удостовериться, не подготовил ли Онофре засаду. Увидели только самого Онофре — он без всякого оружия спокойно стоял у двери — да полумертвого от страха ризничего, который мо-

лился у алтаря. Этот боялся не столько за собственную жизнь, сколько за осквернение храма. Трое головорезов были разочарованы. «Вот видите,— сказал им Онофре,— ваши предосторожности были излишними». Но они не видели, что на лбу у него образовались крупные капли пота, схватили ризничего и потащили на улицу. Подвели к Жоану Сикарту. «Все спокойно,— сказали они,— и мы притащили этого парня, чтоб он тебе это подтвердил». Сикарт посмотрел в глаза ризничему.

— Ты знаешь, кто я?

— Да, сеньор,— ответил тот писклявым голосом.

— Стало быть, ты понимаешь, что тебя ждет, если ты скажешь мне неправду?

— Да, сеньор.

— Так скажи, кто там у тебя в церкви?

— Только этот юноша.

— Побожись.

— Клянусь Богом и всеми Святыми.

— А Одон Мостаса?

— Ждет на Пласа-дель-Рей со всей своей бандой.

— Почему на Пласа-дель-Рей?

— Онофре Боувилла велел им ждать там.

— Ладно,— сказал Сикарт, отводя глаза от ризничего.

Разговор этот вселил в него больше беспокойства, чем уверенности. Всю ночь он провел без сна, думал, думал, но так ни до чего и не додумался. Теперь ему предстояло решить главную задачу: с одной стороны, он хотел договориться с Онофре Боувиллой и сохранить прежний status quo, но, с другой стороны, он не любил соглашений, был бойцом, и возможность уничтожить врага ослепила его. Что мне стоит послать людей на Пласа-дель-Рей и покончить с Одоном Мостасой и всей его шайкой? А сам я меж тем займусь Боувиллой, который ждет меня, как ягненочек. Мигом очистим город от врагов, и вся Барселона будет в наших руках. Но у него возникали и другие, противоречивые мысли. Его заместитель спросил:

— Ну чего ты ждешь? Говори, что делать.— Это был тот самый Бош, которого он подозревал в предательстве. Однако теперь все, что в бессонную ночь казалось очевидным, рассеялось, как ночной кошмар.

— Как увидишь, что я вошел в церковь, оставь трех человек у входа, а с остальными иди на Пласа-дель-Рей,— сказал он Бошу,— там сейчас находятся люди Одона Мостасы, перебей их всех до одного. И запомни:

ни один из них не должен остаться в живых. А я потом, подойду.



С восходом солнца Жоан Сикарт вошел в церковь Святого Севериана, построенную в стиле барокко, не очень большую, но и не очень маленькую. Я прикончу его за-просто, думал он. Тем самым мы раз навсегда покончим с создавшимся положением, не только глупым, но и опасным. Он не успеет выстрелить, я убью его раньше. Правда, я дал ему честное слово, что он будет в безопасности, и сам он свое слово держал, но тут уж не до чести. Всю жизнь я слова не держал, так к чему теперь цацкаться с молокососом. В церкви царил полумрак, и поначалу Сикарт ничего не мог разглядеть. Услышал голос Онофре Боувилы, который стоял у алтаря: «Сюда, Сикарт, я здесь! Иди, не бойся». По спине Сикарта пробежал холодок. Это все равно что убить собственного ребенка, подумал он. Оглядевшись в полутьме, пошел меж рядами скамеек. Левая рука сжимала в кармане оружие. Это был маленький пистолет, из которого можно стрелять только в упор, причем один раз. Такие изготовляли в Австро-Венгрии, и в Испании их почти не знали. Поэтому Сикарт подумал, что и Онофре Боувилы об этом оружии ничего не знает и не догадается, что Сикарт им воспользуется, когда подойдет поближе.

Точно такой же пистолет, но только серебряный, инкрустированный бриллиантами и сапфирами, австрийский император Франц Иосиф подарил своей жене, императрице Елизавете. Дабы не оскорбить чувствительность императрицы, ибо высокородным дамам оружие дарить не положено, оружейники по приказу императора придали пистолету форму ключа. «На всякий случай носи его в сумочке,— сказал император,— никто не обратит на него внимания. Сейчас столько покушений, что я боюсь за тебя и детей». Императрица никак не ответила на эту заботу, она не любила своего супруга, обращалась с ним презрительно, даже на официальных приемах замораживала всех своей холодностью. Однако пистолет носила в сумочке, как рекомендовал монарх, но вот несчастливым утром 10 сен-

тября 1898 года, когда она шла по набережной Монблан в Женеве, ее убил Луиджи Лукени. Он два дня дожидался ее у подъезда отеля, где она остановилась, но подкараулить не смог. У него не было денег даже на то, чтобы купить кинжал (двенадцать швейцарских франков), и он сам выточил из латуни лезвие и рукоять. Накануне императрица посетила баронессу Ротшильд, в саду которой порхали экзотические птицы и бродили вывезенные с Явы дикобразы. Императрица Елизавета окончила свои дни на шестьдесят втором году жизни, не утратив стройности фигуры и красоты лица, она была последним образцом элегантности и высокого достоинства в Европе и даже писала элегии. Сын ее покончил с собой, зять, император Мексики Максимилиан, был расстрелян, сестра погибла во время пожара в Париже, кузен, Людовик II Баварский, прожил последние годы жизни в сумасшедшем доме. Луиджи Лукени, который ее убил, через двенадцать лет покончил с собой в Женеве, где отбывал пожизненное заключение; родился он в Париже, но детство провел в Парме. Если бы императрица Зисси, как любили называть ее приближенные, воспользовалась пистолетом, подаренным императором, она могла бы опередить убийцу и остаться в живых. Перед тем как нанести роковой удар, Лукени несколько секунд помедлил: у императрицы и сопровождавшей ее графини Штарай были зонтики для защиты от солнца, ему пришлось заглянуть под каждый из них, дабы от волнения не совершить ошибку и не стать посмешищем в глазах потомков. При этом он бормотал: «Scusate, signora»¹. Видимо, императрица забыла, что в сумочке у нее пистолет, или же вспомнила, но не пожелала себя защитить, она не раз говорила, что устала от жизни. Незадолго до смерти императрица писала своей дочери: «Меня так гнетет бремя жизни, что порой я ощущаю физическую боль и думаю, что лучше бы мне умереть».

Свободную руку Сикарт держал на виду, будто собирался обменяться рукопожатием с Онофре Боувиллой. Но тот, когда Сикарт подошел поближе, не глядя, что делает другая рука головореза, вдруг вскинул руки, рухнул на колени и закричал:

— Сикарт, не убивай меня ради всего святого, я так молод и я безоружен!

¹ Извините, синьора (итал.).

Сикарт заколебался, помедлил несколько мгновений, и это были последние мгновения его жизни. Из темноты выступил человек, схватил его и свернул ему шею. Из рта и носа хлынула кровь, все произошло так быстро, что Сикарт не успел даже выхватить пистолет, не то чтобы воспользоваться им, как через несколько лет случится и с императрицей Елизаветой. Его убил Эфрен Кастельс, гигант из Калельи, которого Онофре несколько месяцев никому не показывал, так что никто и не подозревал о его существовании, а теперь наступил именно такой критический момент, когда понадобилась его помощь.

Безжизненное тело Жоана Сикарта лежало у главного алтаря — большое святотатство, но дело сделано. Онофре и Кастельс бегом бросились по центральному нефу к дверям и закрыли их на засов. Люди Сикарта, дожидавшиеся снаружи, заподозрили неладное, подошли к дверям, но открыть их не смогли.

Тем временем остальные люди Сикарта отправились на Пласа-дель-Рей. Трое догнали Боша и доложили: «Церковные двери наглухо закрыты изнутри, а Сикарт не выходит». Бош не обратил особого внимания на это сообщение, он на самом деле давно жаждал занять место Сикарта, и вероятность того, что тот попал в смертельную ловушку, ни в коей мере его не встревожила. Поглощенный честолюбивыми мечтами, он привел людей к месту назначения, они вывалились на площадь гурьбой, не послав вперед разведчиков и не приняв никаких мер предосторожности, чего не случилось бы, если бы их вел не Бош, а Сикарт. Бош поздно почувал опасность: площадь была пуста, люди Одона Мостасы словно испарились. Люди недоуменно глядели на своего предводителя, будто спрашивали: «Что мы тут делаем?» А тот и сам был ошарашен отсутствием противника. Люди Одона Мостасы, рассредоточившись на крышах, открыли беспорядочный огонь, осыпая пришедших градом пуль. Перестрелка продолжалась почти два часа, шайка Боша, хотя и более многочисленная, несла большие потери, и виной тому было отсутствие организации: Сикарт исчез, Бош опростоволосился (кстати, он пал одним из первых), и люди не знали, как им действовать. А головорезы Мостасы чувствовали себя в этой неразберихе как рыба в воде, это была их естественная среда. В конце концов люди Боша прекратили сопротивление и, побросав оружие,

пустились наутек. Одон Мостаса их не преследовал: не было времени снова всех собирать.

Об этом позорном поражении, потрясшем основы его могущества, дон Алешандре Канальс-и-Формига пока еще не знал. И пребывал в отличном расположении духа; только что ушла массажистка, и слуга помогал ему завязывать галстук. Сын его в полной безопасности, в Париже, к тому же он отделался от жены, с которой жил не очень дружно, сквозь окно в кабинет врывались яркие солнечные лучи — и тут ему доложили, что снова пришла та самая загадочная незнакомка. Он принял ее, задержавшись лишь на то время, которое требовалось, чтобы опрыскать одеколоном бороду. На этот раз, усаживая гостью, он осмелился взять ее за талию. Усадил он ее на диван, обитый темно-вишневым плюшем. Женщина как-то рассеянно сопротивлялась его вольностям. Взор ее был прикован к окну. Речь вела уклончиво и чуточку бессвязно. Через некоторое время, когда дону Алешандре удалось крепко обнять гостью, по окну прошел солнечный зайчик, пущенный с ближайшей крыши. Это подавали знак Онофре Боувила и Эфрен Кастельс, дескать, все кончено, действуй. Дама одним движением сорвала вуаль, шляпку и парик. Дон Алешандре застыл разинув рот. Из-за корсета с фальшивыми грудями она вытащила кинжал и на мгновение закрыла глаза. «Да простит мне господь грех мой!» — прошептала она, и это было последнее, что слышал дон Алешандре, перед тем как рухнул мертвым на диван. Успел еще подумать о сыне, хорошо, что хоть тот в безопасности. О себе же подумал с горькой иронией: а я-то вообразил, что завоевал женское сердце. Мнимая женщина оказалась сеньором Браульо, в прошлом хозяином пансиона, где когда-то жил Онофре Боувила, разыскивавший его теперь в квартале Карбонера специально для выполнения этого задания. Сеньор Браульо постоянно обретался в этом веселом местечке, пытаясь развеять свои печали и избавиться от одиночества, принимая наркотики и снося побои педерастов, которые считали себя настоящими мужчинами, а фальшивый слабый пол ни в грош не ставили. После того как его снова арестовали, на этот раз как предполагаемого члена анархистской организации по доносу Дельфины, он вскоре вышел на свободу: ему нетрудно было доказать свою непричастность к этому делу, рассказав комиссару полиции и судье о своих подлинных прегрешениях. Вернувшись, он хотел

было снова заняться пансионом, но положение оказалось отчаянным: жена его скончалась в больнице, Дельфине и ее сообщникам предстоял суд, выдвинутые против них обвинения грозили если не казнью, то пожизненным заключением. Никогда я не увижу свою дочь, говорил себе несчастный владелец пансиона. В его отсутствие никто не занимался приборкой, на всем лежал толстый слой пыли, в кухне гнили остатки пищи, распространяя невыносимое зловоние. Он собрался было навести порядок, да не хватило духу. С помощью мосена Бизансьо и брадобрея поместил объявление в газетах и вскоре нашел покупателя, пожелавшего взять на себя заботы о пансионе. На полученные деньги сеньор Браульо загулял в квартале Карбонера и опустил до такой степени, что почувствовал на бледных щеках дыхание смерти; хоть он и искал ее, но, увидев, как она близка, испугался. И вот однажды вечером, выйдя из какого-то притона, столкнулся носом к носу с Онофре Боувилей. Не помня себя бросился в его объятия: «Помоги мне, умоляю тебя, не дай мне здесь погибнуть». На что Онофре ответил: «Пойдемте со мной, сеньор Браульо, с этой жизнью покончено». С тех пор он делал все, что велел ему Онофре, не задаваясь вопросом, хорошо это или дурно.

А теперь он сбросил с себя женское платье, которое запихал за диван, на котором лежал только что убитый им человек. В нижнем белье подошел к окну и зеркальцем от пудреницы послал зайчик на крышу, где Онофре Боувила и Эфрен Кастельс ждали сигнала о завершении операции. Объясняя, что он должен делать, Онофре сказал, чтобы он запер дверь кабинета на ключ и не открывал бы никому, пока он сам за ним не придет. И только сейчас сеньор Браульо сообразил, что из-за волнения забыл, что ему было велено. А в коридоре уже слышались шаги и голоса — люди дона Алешандре спешили на помощь своему хозяину. Кто-то дернул за ручку, и сеньор Браульо чуть было не упал в обморок, но все обошлось: дон Алешандре сам постарался запереть дверь, чтобы дама, которую он надеялся соблазнить, не удрала; так перед смертью он успел спасти жизнь своему убийце. Все люди одинаковы, подумал сеньор Браульо, увидев, что дверь заперта, — свиньи и подлецы. Присутствие убитого действовало ему на нервы. Когда Онофре Боувила и Эфрен Кастельс явились наконец, он был на грани самоубийства — собирался выброситься из окна. Привязал

уже себе на шею бронзовую вазу на тот случай, если расстояние от окна до камней мостовой окажется недостаточным, чтобы разом умереть. Онофре и Эфрен Кастельс собрали все бумаги, какие нашли в кабинете дон-Алешандре.

— Этим мы заставим полгорода плясать под нашу дудку, — сказал Эфрен Кастельс. — Им крышка.

В тот же вечер оба явились в кабинет Арнау Пунсельи и доложили: «Задание выполнено». Показали изъятые бумаги, тот взглянул и невольно присвистнул: «Да им крышка!» Услышав свои собственные слова, Эфрен Кастельс расхохотался. Арнау Пунселья только теперь обратил внимание на гиганта, которого до той минуты не замечал или делал вид, что не замечает. Спросил у Онофре, что это за тип, желая тем самым укрепить свой авторитет у присутствующих. Онофре Боувила спокойно ответил, что гиганта зовут Эфрен Кастельс. «Это мой друг и первый помощник. Это он убил Жоана Сикарта». Услышав это признание, Арнау Пунселья, иначе Маргарито, задрожал, ибо понял, что сейчас с ним что-то сделают. Они открыли мне эту тайну, потому что сейчас они меня убьют, подумал он. А тем временем Эфрен Кастельс приподнял его, взяв под мышки, и на весу пронес через кабинет, как будто он был грудным младенцем. Тщетно тот дрыгал ногами.

— Что за шутки? — кричал он. Но прекрасно понимал, что это не шутки, и тогда Арнау Пунселья спросил еле слышным голосом: — Куда вы меня несете?

— Туда, где тебе и место, — ответил Онофре Боувила. — Ты задумал меня уничтожить, хотел, чтобы меня прикончили люди Сикарта, а я всегда плачу той же монетой.

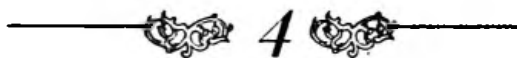
Гигант из Калельи открыл балконную дверь и швырнул Арнау Пунселью за перила. На этом самом балконе дон Умберт Фига-и-Морера несколькими днями раньше размышлял о смысле жизни. Теперь, через несколько минут после того, как с Арнау Пунсельей было покончено, дверь его кабинета распахнулась, и вошли Онофре Боувила и Эфрен Кастельс. Пришли доложить об успехе операции. Банда Канальс-и-Формиги разгромлена, его подручные Сикарт и Бош убиты, сам Канальс тоже мертв, все его бумаги в настоящий момент в руках Онофре Боувилы; потери невелики: всего-навсего четверо убитых и с полдюжины раненых. Но, к сожалению, погиб и Арнау

Пунселья, с ним произошел непонятный несчастный случай. Дон Умберт Фига-и-Морера не знал, что делать и что сказать, не думал он, что план, задуманный Арнау Пунсельей, будет иметь такие кровавые последствия. Теперь на его совести смерть многих людей. Он сам слышал душераздирающий предсмертный вопль Арнау Пунсельи и понял, что дело обернулось совсем по-другому. Ну что ж, вздохнул он, дела не поправишь, придется привыкать к новым условиям. Вслух поинтересовался какими-то незначительными деталями, скорее всего чтобы выиграть время; Онофре охотно дал необходимые пояснения, хотя знал, что дон Умберт его не слушает. Тем самым он давал понять, что намерения у него хорошие, что он по-прежнему будет выполнять приказы хозяина. Одон Мостаса и его люди любили и обожали дона Умберта и никогда бы его не предали, тем более ради какого-то Онофре Боувилы. Онофре это знал и не думал поворачивать в этом направлении. Наконец это понял и дон Умберт, и состоялся откровенный разговор. Дона Умберта обуревали сомнения. Да, город теперь принадлежит мне, думал он. Но я не готов принять на себя эту власть, особенно после того, как потерял самого верного помощника, чей труп лежит распростершись внизу, у меня на глазах. Что же мне делать? Онофре Боувилы помог разрешить его сомнения, ибо предвидел такую ситуацию. Без заносчивости, но с твердостью, неподобающей его возрасту и положению, которую дон Умберт должен был терпеть, он сказал, что надо завладеть организацией покойного противника, не включая ее в свою. Слово «свою» он подчеркнул голосом. Дон Умберт с удовольствием огрел бы наглеца хлыстом, который был у него всегда под рукой, но его напугали решительный вид Онофре и присутствие в кабинете Эфрена Кастельса. С другой стороны, то, что говорит этот нахальный юноша, не лишено смысла, сказал он себе. В самом деле, не надо смешивать разные вещи, я — это я, а Канальс — царство ему небесное — был Канальс. Раз Арнау Пунсельи нет в живых, надо подумать, кто же возглавит дело Канальса. Онофре сказал, что есть у него подходящий человек. Дон Умберт Фига-и-Морера не мог скрыть удивления. «Уж не Одон ли Мостаса или этот громила, которого ты привел ко мне?» — спросил он. Онофре Боувилы не обиделся. «Нет, что вы, — ответил он, — всякому свое место. Человек, о котором я говорю, имеет склонность к таким делам, и в его преданности мож-

но не сомневаться,— сказал он.— Он ждет в вестибюле, если позволите, я его приведу сюда и представлю вам». Получив согласие, он ввел в кабинет сеньора Браульо. Мысль о том, что он убил себе подобного, так волновала этого человека, что он не мог ничего толком сообразить, не мог разграничить две ипостаси своего существования: то говорил как мужчина, владелец пансиона, то начинал вести себя, как цыганка, которая щелкает кастаньетами.

— Я — человек крайностей,— сказал он дону Умберту, когда их представили друг другу.— Когда на меня найдет, я готов перерезать себе глотку. На этот раз, правда, дело до того не дошло, но не так давно мне пришлось потерять немало крови.

Дон Умберт Фига-и-Морера задумчиво чесал в затылке, не понимая, зачем это чучело в деле такого размаха.



К началу лета жизнь вошла в привычное русло, никто уже не вспоминал о стычках и перестрелках, державших город в напряжении и страхе три-четыре месяца назад. Многие поначалу морщились, узнав, что место дона Алешандре занял сеньор Браульо, но понемногу стали признавать и его; он был всегда изысканно любезен, консервативен, в махинациях держался известных пределов, расчеты вел с безукоризненной точностью. Онофре запретил ему ночные вылазки. «Незачем бродить по Карбонере и выставять себя на посмешище,— сказал он.— Если уж вам станет невтерпеж и захочется встряхнуться, занимайтесь этим у себя дома, денег у нас теперь хватает. Но на людях — только серьезность». Сеньор Браульо поселился в бельэтаже дома на Ронде-де-Сан-Пабло, а в цокольном этаже устроил контору. Иногда по ночам соседи слышали доносившиеся оттуда песни, гитарный перезвон, шум потасовки и треск ломаемой мебели. После этого сеньор Браульо предстал перед почтенными горожанами с забинтованной головой, синяком под глазом и тому подобное. Ему покоя не давала лишь мысль о том, что дочь его Дельфина все еще в тюрьме, эта забота постоянно грызла душу. Теперь-то у него была возможность добиться, чтобы ее выпустили, он как раз

такими делами и занимался, но Онофре Боувила категорически запретил ему и это. «Мы пока еще не можем позволить себе подобной роскоши,— говорил он.— О таком шаге начнут говорить, ворошить прошлое, Дельфиной мы займемся попозже, когда укрепим свое положение». Бывший владелец пансиона, как ни обожал дочь, но, чувствуя свою слабость, уступал Онофре. Тайно посылал Дельфине в тюрьму еду и сладости, а также носильное и постельное белье. Та не выражала никакой благодарности, рвала белье зубами и пересылала обратно, не воспользовавшись им. Одон Мостаса состоял теперь при сеньоре Браульо в должности покойного Жоана Сикарта. Он, правда, не обладал командирской жилкой и талантами своего предшественника, но пользовался добрым расположением подчиненных. Как мужчина он был неотразим, и сеньор Браульо тайно вздыхал по нем. Место Одона Мостасы Онофре Боувила занял сам, взяв на себя еще и обязанности покойного Арнау Пунсели. Дон Умберт Фига-и-Морера утвердил такое распределение должностей. Он жил счастливей жизнью в наилучшем из миров, волею судеб он стал вести все закулисные дела влиятельных людей Барселоны. Он никогда и не мечтал подняться так высоко. Характер его складывался из противоречий: разумно дозированная смесь остроты ума и глупости, нарочитое актерство и врожденная наивность; он вершил труднейшие дела, проявляя невежество и недалекость, но также смелость и напористость, и в итоге все получалось как нельзя лучше, а приписывал это дон Умберт своим достоинствам. Был он самодоволен и тщеславен, жил напоказ; какими бы неотложными делами ни занимался, в полдень, разрядившись в пух и прах, выезжал на своей знаменитой кобылке на Пасео-де-Грасиа. Эта его серая в яблоках лошадка хересской породы, стоившая целое состояние, была хорошо выезжена, каждый день проделывала путь из конца в конец Пасео, от улицы Каспе до улицы Валенсии, умело лавируя в потоке колясок. Правда, иногда не обходилось без происшествий, ибо лошадка часто спотыкалась, падала вдруг на передние ноги, сбрасывая седока. Оба тотчас поднимались, лошадь ржала, а всадник стряхивал с сюртука пыль и навоз; какой-нибудь мальчишка бросался с тротуара на помощь, уворачиваясь от колес и копыт, подбирал с мостовой цилиндр и хлыст и подавал их дону Умберту, когда тот снова садился

в седло. Дон Умберт с невозмутимым видом протягивал мальчишке сверкавшую в лучах полуденного солнца монету, на чем происшествие и заканчивалось. Высокопоставленные горожане, зная, что он лишен чувства юмора, хвалили его барственные жесты, расточали ему улыбки — знатного сеньора сразу видать. Так как он был глуп, то принимал эти похвалы как знак искреннего уважения. Крупная буржуазия, не обладая родословным древом, каким гордятся аристократы, вынуждена была в повседневной практике строго оберегать свою кастовую принадлежность: барселонские богачи восхищались деньгами дона Умберта и в особенности его умением их тратить, но считали его выскочкой, затесавшимся в их круг, по сути дела, всерьез его никто не принимал. А он этого не замечал, его тщеславие, как и всякое истинное тщеславие, не было направлено на достижение какой-то цели, оно существовало в себе и для себя; дон Умберт красовался не для того, чтобы укрепить свое положение, ни тем более для того, чтобы прельщать женщин, у которых он тем не менее пользовался успехом: немало замужних женщин и даже девиц соответствующего возраста вздыхали, завидев его на прогулке, — он этого не замечал. Не лучше обстояли дела и в его семейной жизни: жена считала себя совершенством красоты и обладательницей утонченного ума и благородных манер — что ни отдай, все будет мало, а потому полагала, что совершила ошибку, вступив в брак с доном Умбертом, всячески третировала мужа на глазах у прислуги, которая брала с нее пример. Он безропотно сносил такое обращение, его никогда не видели сердитым, он будто жил в своем, обособленном мире. Свыкнувшись с тем, что его никто из домашних не слушает, бродил по дому, издавая какие-то нечленораздельные звуки, ни от кого не ожидая ответа, единственно из удовольствия слышать собственный голос. А иногда происходило и обратное: ему казалось, что он сказал то, что на самом деле только подумал. Такое отсутствие общения не причиняло дону Умберту никакого ущерба. Все силы он отдавал работе, известный успех в обществе удовлетворял его самолюбие, он обожал свою дочь, что давало выход запасу нежных чувств.

В те времена летний отдых представляли себе несколько иначе, чем теперь. Лишь привилегированные

семейства, подражая королевской семье, переносили свою резиденцию, как только начиналась жара, куда-нибудь в горы, где климат посуше, но при этом предпочитали не уезжать слишком далеко от Барселоны, проводили лето в Сарриа, Педралбесе, Бонанове — ныне это городские районы. Остальные барселонцы спасались от жары с помощью вееров и кувшинов с холодной водой. Среди молодежи по примеру французов входили в моду морские купанья, хотя это начинание вызвало большой скандал. Почти никто не умел плавать, и число утонувших из года в год оставалось соответственно высоким. Священники в своих проповедях ссылались на эту печальную статистику как на доказательство гнева Господня. Дон Умберт Фига-и-Морера, занявший положение в Барселоне слишком поздно, чтобы приобрести летний деревянный дом на окраине, вынужден был сам построить его в месте, называемом Будальера, к северу от города. Он приобрел там неровный участок земли, на котором росли сосны, каштаны и магнолии, и возвел простой летний дом без претензии на роскошь. Как обычно случается с адвокатами, при покупке земли он не принял никаких мер предосторожности и теперь вынужден был тратить время на решение земельных споров, возникших несколько веков назад. Фактически его надули: участок оказался тенистый, сырой, кусались москиты; местность настолько не пользовалась популярностью, что единственными соседями дона Умберта были отшельники, жившие в вонючих пещерах, питавшиеся корешками и древесной корой, они бродили полуголые, утратив с годами речь и разум. «Только такому дураку, как ты, могло прийти в голову купить участок на этой свалке», — говорила ему жена каждый божий день, а то и несколько раз за день. Она предпочла бы поехать на взморье, в Окату или Монгат, любимые места отдыха нуворишей. Но муж на сей раз воспротивился.

— Вы же не умеете плавать, ни ты, ни девочка, — заявил он, — вас может увлечь куда-нибудь течением. А еще я слышал, что на дне моря живут спруты и миноги, которые нападают на купающихся и терзают их на глазах родных и знакомых.

— С ними это случается, верно, потому, — возражала жена, — что они купаются обнаженными. Их неприкрытая плоть вызывает аппетит у морских хищников, ведь человеческое тело отличается от тела животного только

одеждой.— При этом рот ее кривился в саркастической улыбке, словно она злорадствовала насчет тех несчастных, что не умеют как следует одеваться. Сама она носила модный кринолин с двухметровым шлейфом и кучу драгоценностей и была уверена, что никакое морское животное не осмелилось бы вонзить в нее зубы. В этом муж был с ней согласен. Летом 1891 года их летнюю резиденцию посетил Онофре Боувила.

Он быстрым галопом поднялся в гору и заблудился в лесу. Лошадь шла вся в пене, тяжело дыша. Сейчас она издохнет подо мной, и я останусь в лесу, как путник, потерпевший катастрофу, сказал себе обеспокоенный Онофре. Самое любопытное, что я заблудился в лесу, значит, я теперь городской житель. Наконец он увидел дом и тенистый сад, окруженные невысокой стеной из темного камня. Из трубы струился дым. Онофре спешился и, ведя лошадь в поводу, подошел к стене в надежде увидеть кого-нибудь, кто указал бы ему дорогу. Сад был безлюден, щебетали птицы, жужжали мухи и осы, порхали бабочки. Меж деревьев в бликах солнечного света он увидел девушку. На ней было платье с короткими рукавами из белого органди, отороченное кружевом и украшенное лентами алого бархата; из-под плоеного белого чепчика, отделанного матерчатыми цветами, выбивались ярко-рыжие локоны. Чепчик и локоны позволяли видеть лишь часть лица: переносицу, румяную щечку, мягкий изгиб лба, округлый подбородок и так далее. Онофре Боувила остолбенел, а когда опомнился, видение исчезло. Кто бы это мог быть? — спросил он себя. Заметила ли она меня? На крестьянку не похожа, но одна в таком глухом месте... Чудеса! Тем временем появился слуга. Онофре подозвал его и спросил, не тот ли это дом, который он ищет. Узнав, что так оно и есть, вручил поводья слуге и велел доложить о себе. Дон Умберт Фига-и-Морера категорически запретил своим людям появляться в его летней резиденции и беспокоить его по какой бы то ни было причине: не хотел, разумеется, посвящать домашних в свои дела. Онофре посмел нарушить этот приказ из желания выяснить, до какого предела может прийти в своем непослушании. Горничная провела его в шестиугольную комнату на втором этаже. В ней было несколько дверей. Освещалась она лишь непрозрачным слуховым

окошком, поэтому в ней царил полумрак, создававший приятное ощущение свежести. Но и при таком слабом свете сверкал камин искусственного мрамора, на консоли которого стояло высокое зеркало в золоченой раме, бронзовый канделябр и часы в стиле поздний ампи́р под стеклянн́ым колпаком. Из мебели здесь был лишь лакированный столик, а на нем — алебастровая Венера в раковине, и еще мавританский ночник и груда атласных подушек. Онофре Боувила был поражен. В этой простоте, подумал он, и состоит истинная элeгантность. Шум за спиной заставил его повернуться. По привычке сунул руку в карман брюк, где носил пистолет, снятый с трупа Жоана Сикарта. Одна из дверей открылась без стука, в проеме стояла та самая девушка, которую он несколько минут тому назад видел в саду, только теперь на ней не было чепчика, а в руках она держала книжечку в черном переплете, судя по всему, молитвенник; присутствие в комнате незнакомого человека заставило ее застыть на пороге. Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но не мог произнести ни звука; она, видимо, чувствуя себя более свободно, захлопнула книгу. Затем сделала грациозный реверанс, такой глубокий, что чуть не коснулась коленкой пола, и что-то пробормотала, чего Онофре Боувила не расслышал.

— Простите, — удалось ему выговорить, — что вы сказали?

Перед его неистовым взглядом она опустила глаза, посмотрела на арабески на плитах камина.

— Пресвятая Дева! — произнесла она наконец тоненьким голоском.

— Пресвятая и непорочная! — откликнулся Онофре.

Она повторила реверанс, не глядя ему в глаза, и покраснела.

— Я не знала, что здесь кто-то есть, — сказала она, — горничная меня не предупредила...

— Нет, нет! — поспешно прервал ее Онофре. — Это я должен просить у вас прощения, что испугал вас...

Еще до того, как он закончил эту фразу, она вышла и притворила за собой дверь. Оставшись один, Онофре зашагал по комнате. «Дурак, идиот, скотина, — твердил он, не заботясь о том, говорит про себя или вслух, так что его могут услышать. — Как же ты позволил, чтобы она ушла? Теперь Бог знает, увидишь ли ты ее еще когда-нибудь». До этого мгновения Онофре никогда не колебался

даже в более рискованных ситуациях, всегда находил нужное решение. Или она, или не жить мне на свете! — сказал он себе. Преклонил колени на подушки, брошенные на пол. О Господи, а я-то думал, что такие страсти не для меня! Впрочем, что это я говорю? — продолжал он, стоя в позе кающегося грешника, она же еще девочка, если я скажу ей о любви, что она поймет? Испугается или, того хуже, посмеется надо мной. В конце концов, я всего-навсего простой парень, деревенщина, головорез на службе у негодаев. Он силился извлечь из сердца эту отравленную стрелу, которой ранила его судьба, пытался побороть охватившую его слабость, как человек, который строит песчаную дамбу, чтобы удержать море. В испуге схватил он алебастровую Венеру и изо всех сил швырнул ее в каминное зеркало. Статуэтка тотчас рассыпалась на кусочки, зеркало тоже растрескалось, но какое-то мгновение еще держалось, так что, несмотря на трещины, он успел разглядеть в нем испуганное лицо девушки, изогнутое полумесяцем, затем все рухнуло, упали также несколько каминных плит и с грохотом разбились вдребезги, осколки полетели во все углы комнаты. Остались лишь пятна амальгамы на цементе. Тут Онофре услышал шум за спиной, обернулся. На этот раз услышал приглушенный крик. Девушка вошла и с ужасом смотрела на зеркало, которое уже ничего не отражало, как будто комната и те, кто в ней находился, более не существовали, и она поняла, что он хотел этим сказать ей, уловила смысл этого варварского поступка. Позволила ему прижать себя к груди и услышала, как яростно бьется сердце этого неистового человека.

— Меня никто еще не целовал, — сказала она, переводя дыхание.

— И не поцелует, пока я жив, — ответил Онофре Боувиле, — не то я проломлю ему голову. — Тут он поцеловал ее в губы и добавил: — И с тобой сделаю то же самое. — Она выгнулась, откинула назад голову на тонкой шейке и плечи, ярко-рыжие волосы, теперь уже распущенные, падали до пояса. Бессильно опустила руки вдоль тела, так что пальцы касались пола, колени ее подогнулись, она повисла на руках Онофре, державшего ее за талию, из полуоткрытых губ вырвался вздох. «Да!» — сказала она, в одно мгновение решив свою судьбу.

Онофре поднял глаза и вздрогнул: в комнате стоял

кто-то еще. Это был дон Умберт Фига-и-Морера, который только что вошел, а с ним еще двое. Один из них был архитектор Косме Вальбуэна. Дон Умберт, наскучив однообразием усадьбы, решил ее расширить, используя примыкавшие к дому курятник и голубятню. Но для этого приходилось вторгаться на соседний участок. Эти две пяди земли надо было оттягать у соседа, который оказался, кроме всего прочего, другом и компаньоном дона Умберта. Этот последний, не желая утруждать себя такими мелкими делами, вызвал из Барселоны молодого адвоката, по слухам, весьма способного. Он как раз специализировался в такого рода услугах. Втроем они весь день осматривали дом, сад и окрестные поля. Адвокат все замерял лентой и предлагал те или иные архитектурные изменения, на которые архитектор не обращал внимания. Зато архитектор подсказывал дону Умберту, что надо сделать, чтобы выиграть тяжбу. Спорили, горячились, все получали полное удовольствие. Потом пообедали, аппетит у всех был отменный. Супруга дона Умберта не возражала против присутствия этих бездельников, так как понимала, что дочь входит в девический возраст, а адвокат и архитектор были холостыми, перед каждым из них открывалась блестящая карьера. Во всяком случае, оба имели положение в своем профессиональном кругу. Чего нельзя сказать о моем плутоватом муже, думала она. Тот отделивался шутками: «Ну скажешь тоже, девочке одиннадцатый год». А теперь он растерялся: ведь дон Умберт был не так глуп, чтобы не заметить безвольной отрешенности дочери и неукротимого жадного взгляда своего подчиненного, однако предпочел сделать вид, что не понял, что случилось. «Ага,— сказал он,— я вижу, вы познакомились и подружились. Это хорошо, я рад, рад». Те не сразу разомкнули объятье и, обретя ясность мысли, растерялись. Даже Онофре Боувила, который всего минуту-другую назад презирал дона Умберта, теперь видел в нем отца женщины, которую любил, и был готов оказывать ему подчеркнутое уважение, мигом утратив всякий гнев и обретя покорность. Адвокат и архитектор ходили по комнате, разглядывая следы разрушения.

— Главное,— сказал первый,— чтобы никто не порезался битым стеклом.

Когда Онофре Боувила возвращался, солнце светило ему в спину. В кустах стрекотали цикады, на небе появлялись звезды. Что со мной теперь будет? — думал он, глядя

на небесный свод. Одно Онофре знал наверняка: пока она отвечает на его любовь, он не предаст дона Умберта Фига-и-Мореру.

Еще лето не кончилось, а архитектор и адвокат уже попросили у дона Умберта Фига-и-Мореры руки его дочери. Их соперничество и обусловленная им необходимость сделать выбор позволили ей сначала тянуть с ответом, а потом наотрез отказать тому и другому. Она стояла на своем то энергично, то капризно, иногда рыдала и топала ногами; не щадя нежного и хрупкого тела, билась лбом о стену или стучала кулачком по столу и все время ходила в бинтах. Такое поведение и скрытая угроза совершить над собой и кое-что похуже, если родители будут настаивать на ее браке с кем-либо из двух претендентов, быстро заставили отца сдаться. Мать, однако, догадалась, что упорное сопротивление дочери вызвано не антипатией к претендентам, которых она и разглядеть-то хорошенько не пожелала, а какой-то другой, более серьезной причиной. Вспомнила, что зеркало и статуэтка были разбиты как раз в тот день, когда в их летний дом в Будальере неожиданно пожаловал подчиненный ее мужа. Поразмыслив об этом совпадении, она сделала свои выводы, а затем напрямую спросила дона Умберта, в чем тут дело; тот в конце концов сознался, что действительно застал свою дочь с этим молодым человеком, но смягчил краски, когда описывал сцену, свидетелем которой оказался и которая дает основания полагать, что девочка питает известную симпатию к этому юноше. Жена его пожелала узнать, а кто же этот молодой человек. Дон Умберт стал давать весьма туманные объяснения, но она его не слушала: ее интересовало не то, что муж хочет ей сказать, а то, что он хочет от нее скрыть, и все же из сбивчивого рассказа дона Умберта она поняла, что Онофре Боувилла, безусловно, наименее подходящий из претендентов. Что ж, сказала она себе, откажемся от адвоката и архитектора, но спрячем девочку подальше от этого деревенского парня, а когда она его забудет, подыщем ей мужа, который более соответствовал бы ей по своему положению в обществе, она совсем еще девочка, можно отказаться еще хоть от дюжины претендентов. По настоянию жены дон Умберт поместил дочь в интернат. Та вопреки ожиданиям вовсе не противилась — там

она избавится от других женихов. В конце концов, для нас так будет даже лучше, сказала она себе. Онофре сначала вознегодовал, но потом согласился с ней. Придет день, и она будет моей, подумал он, а пока что надо набраться терпения. Какими-то немыслимыми способами он передавал ей письма сотнями. И для него это было очень полезно, ибо до той поры он едва мог нацарапать свою подпись; можно сказать, что он научился грамоте в любовной переписке. Она писала ему реже, трудно было обойти монастырскую цензуру. «Прежде всего,— писала она в одном из писем,— я благодарю Господа нашего Иисуса Христа, которому молюсь денно и нощно, чтобы Он как разлучил нас, так же пожелал как можно скорее вновь соединить нас, ибо Он знает, как я тоскую по тебе, как жажду тебя увидеть». Стиль письма, позаимствованный у Святого Павла, казался странным для юной влюбленной девушки, но, возможно, она писала так из опасения, что письмо попадет в руки монахинь или ее родителей, а может быть, она и на самом деле была набожна. Впоследствии, будучи замужней женщиной, Маргарита постоянно проявляла благочестие. Те, кто общался с ней в зрелые годы, характеризовали ее по-разному, чаще других прилагались эпитеты «безмятежная» и «мечтательная». Некоторые думали, что она искала в религии утешения, так как всю жизнь была несчастна по вине Онофре Боувилы.

Меж тем Барселона приближалась к рубежу между прошлым веком и нынешним со скудным багажом надежд, зато с множеством нерешенных проблем. «Кажется, все, чего мы добились ценой невероятных усилий, лопнет, как мыльный пузырь»,— говорили видные граждане Барселоны в уютной полутьме кружков, клубов и салонов. Продолжался экономический спад. Роскошные магазины на улице Фернандо закрывались один за другим, вместо них открывались более крупные магазины на Рамблас и Пасео-де-Грасиа — нововведение, к которому барселонцы относились весьма сдержанно. «Крупные магазины — это лампа Аладдина или пещера Али-Бабы?» — под таким заголовком давала свой комментарий одна из газет. Экономическая политика правительства никак не способствовала улучшению положения дел. В Мадриде не внимали доводам и просьбам каталонцев,

специально отправлявшихся в столицу, а также некоторых кастильцев, проявлявших прозорливость и понимание экономических прогнозов, которые составляли специалисты,— правительство отвергло все или почти все протекционистские меры, призванные защитить национальную промышленность; после отмены пошлин, затруднявших сбыт в Испании, рынок заполнили иностранные товары, которые были лучше, дешевле и удобней в обращении, чем отечественные, а испанская торговля и без того едва дышала. К бедам трудового народа прибавились закрытие заводов и фабрик и массовые увольнения. К тому же шла война на Кубе и в Мелилье¹. Всякую неделю в Америку и Африку отправляли сотни солдат, в большинстве своем безусых юнцов. На портовых причалах и платформах железнодорожных вокзалов происходили душераздирающие сцены. Жандармам не раз приходилось применять силу против матерей, пытавшихся задержать отправку войск тем, что они цеплялись за швартовы или становились на рельсы перед паровозом. Лишь немногие из сотен и тысяч молодых людей, отправлявшихся на войну, вернутся на родину, да и среди них окажется немало калек и тяжелобольных. Эти обстоятельства усиливали народное недовольство, которое и без того было немалым. Рабочие ассоциации, вызывавшие озабоченность покойного Канальс-и-Формиги, набирали силу, особым влиянием пользовались анархисты. Они делились на последователей Фоскарини, де Веерда и других лидеров. Эти ассоциации собирались нерегулярно, обычно для того, чтобы объявить и провести какую-нибудь всеобщую забастовку, которая, как правило, успеха не приносила. Ожесточившись от стольких поражений и устав от тяжелой, но безысходной борьбы, некоторые призывали к непосредственному действию. Воодушевленные примером итальянских, французских и особенно русских единомышленников, они предлагали «рубить головы гидры», сколько бы их у нее ни было, и чем больше, тем лучше», по выражению одного из руководителей движения. Так начались черные десятилетия террора: не проходило публичного акта, парада, процессии, чтобы не прогремел зловеющий взрыв адской машины или бомбы. Одни из уце-

¹ Имеется в виду восстание на Кубе против колониального режима в 1895 году и кампания за упрочение испанского влияния в Марокко (Мелилья — город в Марокко) в 1893 году.

левших, оглушенные взрывом, искали среди жертв своих родных и близких, другие разбегались во все стороны, глядя перед собой расширенными от ужаса глазами и не останавливаясь для того, чтобы выяснить, своя или чужая на них кровь. Если собирались люди зажиточные, гнев и отчаяние анархистов проявлялись с особой силой. Всякий раз, как происходило такого рода событие, Онофре Боувила не мог не вспомнить Пабло с его анархистскими идеями, которые он сам помогал распространять, хоть и не разделял их. Иногда спрашивал себя, не Пабло ли бросил бомбу в Мартинеса Кампоса¹ или в зрительный зал «Лисео»; о последнем трагическом событии в знаменитом театре вспоминают и поныне на премьерах. Но о своих сомнениях Онофре никому не рассказывал, его новое положение и любовь заставляли скрывать, что и он когда-то был связан с анархистами. Напротив того, своей невесте и клиентам, с которыми вел дела, он давал понять, что происходит из порядочной семьи и лишь превратности судьбы вынудили его заниматься довольно темными делами на службе у дона Умберта Фига-и-Мореры. Никто уже не вспоминал о его участии в баталиях, которые покончили с всемогуществом преступной шайки и с доном Канальс-и-Формигой. Онофре всякий раз, как позволяли обстоятельства, отрицал насилие, объявлял себя сторонником жестких мер против анархистов, которых величал «бешеными псами», и при этом восхвалял кровавую политику, с помощью которой правительство Испании пыталось восстановить порядок. Такая его позиция не могла не вызвать одобрения представителей крупной буржуазии, с которыми ему случалось иметь дело. Те, беспокоясь за свое полученное по наследству имущество и свою жизнь, заключили перемирие в извечной борьбе с Мадридом. Как бы политика правительства ни вредила экономическим интересам Каталонии, еще страшней было лишиться его вооруженной поддержки — так они считали. Потом в частной беседе жаловались, что пришлось пойти на такую меру. «Печально, — говорили они, — что приходится сдаваться на милость какого-то солдафона-генерала, после того как Каталония пожертвовала испанской армии истинных корифеев воен-

¹ Мартинес Кампос, Арсенио (1831—1900) — военный и политический деятель, командующий войсками в Мелилье во время марокканской кампании и генерал-губернатор Кубы во время восстания 1895 года.

ного дела». Они намекали на генерала Прима, героя Мексики и Марокко, и на генерала Вейлера, который в те годы умирал мятежных кубинцев¹. Самые трусливые барселонские политики даже боялись, что каталонская партия победит на выборах — а основания к этому были, так как влияние ее росло, — и тогда Мадрид, которому они считали себя обязанными всем, придет в ярость. Вот благодаря этим обстоятельствам и процветали дела, которые вершил сеньор Браульо. Онофре Боувила довольно потирал руки. Через много лет он скажет: «Я всегда считал, что главная болезнь Испании заключается в том, что большая часть денег — в руках подлых полуграмотных негодяев». Мадридское правительство в свою очередь пожинало плоды такого положения вещей и нахально обращало внимание на внутренние проблемы Каталонии, как если бы оно рассматривало еще одну колониальную проблему: посылало невежественных генералов, которые знали лишь язык штыков и считали, что силой оружия можно утихомирить по крайней мере половину человечества. Ах, думал Онофре денно и ночно, наблюдая, что вокруг него происходит, какие прекрасные времена для того, у кого есть воображение, деньги и дерзание. Последнего мне не занимать, но где взять денег? Они нужны мне позарез, я должен раздобыть их любым способом, такой случай судьба предоставляет лишь раз в жизни, и то не каждому. Любовь к невесте только подстегивала его честолюбие, а полная невозможность увидеться с нею не позволяла ему растрачивать силы. Он уже не ходил на вылазки с Одоном Мостасой и ему подобными и предпочитал на людях не показываться в сомнительной компании своих товарищей по оружию. Были у него тайные радости, которые обеспечивали ему сеньор Браульо и Эфрен Кастельс. В те дни газеты объявили, что к Земле приближается комета Саргон, диаметр которой, по расчетам, составлял 50 000 километров. Объявились пророки, которые предсказывали конец света, они провозглашали, что нынешние смуты и беспорядки — лишь прелюдия и предупреждение. На всех это производило тягостное впечатление, но в итоге дело кончилось ничем.

¹ Речь идет об уроженцах Каталонии: генерале и политическом деятеле Хуане Прим-и-Пратсе, графе Реусском (1814—1870), и о Вальериано Вейлере (1838—1930), сменившем Мартинеса Кампоса на посту генерал-губернатора Кубы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Всякий путешественник, прибывающий в Барселону в первый раз, сразу же заметит границу между старым и новым городом. Кривые улицы сменяются прямыми и широкими; на тротуарах становится свободнее, развесистые платаны дарят тень, здания становятся выше — иной путник изумится: он, будто по волшебству, попал в другой город. Барселонцы, понимают они это или нет, способствуют общему заблуждению: переходя границу старого и нового городов, они меняются сами, меняются их врожденные черты, поведение и одежда. Так было не всегда, у этого перехода есть традиция, история, легенда.

За многовековую историю Барселоны не было случая, чтобы ее стены помешали взятию и разграблению Барселоны. Зато она после этого росла. Внутри городских стен плотность населения увеличивалась так, что невозможно становилось жить, а за стенами свободно простирались огороды и пустоши. Под вечер жители окрестных селений поднимались на холмы (ныне Пучет, Грасиа, Сан-Хосе-де-ла-Монтанья и т. д.) и глядели в подзорную трубу на барселонцев; те суетливо, старательно и деловито сновали туда-сюда, здоровались друг

с другом, исчезали в лабиринте улочек и переулков, снова встречались и еще раз здоровались, спрашивали друг друга, как здоровье и как идут дела, и прощались до следующего раза. Деревенских жителей это забавляло. Иногда кто-нибудь по дурости пытался швырнуть в них камень, но докинуть, разумеется, не мог: во-первых, далеко, а во-вторых, мешала стена. Скученность угрожала здоровью и жизни барселонцев, любая заразная болезнь вызывала эпидемию, ибо изолировать больных не было никакой возможности. Закрывались городские ворота, жители окрестных селений ставили кордоны, тех, кто пытался пройти, отгоняли дубинками, а то и забрасывали камнями, цены на продукты питания возрастали втрое. Кроме того, в тесноте трудно было соблюдать приличия. «Остановившись на постоялом дворе, который мне всячески рекомендовали,— писал некий приезжий,— я выяснил, что комнату площадью не более шести квадратных метров мне придется делить с пятью другими постояльцами. Среди них оказалась пара молодоженов, проводивших медовый месяц; после того как все улеглись и потушили свет, молодые услаждали слух остальных шушуканьем, хихиканьем, вздохами и стонами. Плата за постоял умопомрачительна — еще скажи спасибо, что хоть так устроился!!!» Очень метко сказал в своем послании властям священник отец Кампусано: «Всякий барселонский ребенок, прежде чем научиться говорить, наглядно знакомится со способом, каким он был произведен на свет». Такое положение вещей вело к падению нравов, частым вспышкам эпидемий венерических болезней, частым случаям изнасилования и даже к психическим нарушениям, как это было в случае с Жасинто (или Жасинтой) Пеу: «Мне так часто доводилось видеть голыми отца и мать, братьев и сестер, дядей и теток, дедушек и бабушек, двоюродных братьев и сестер, слуг и служанок, что я теперь не знаю, к какому полу себя отнести». Проблема жилья была острейшей, непомерная квартирная плата поглощала большую часть доходов семьи. Весьма показательны некоторые простые цифры. В середине XIX века площадь Барселоны составляла 427 гектаров. В то же самое время Париж занимал 7802 гектара, Берлин — 6310 и Лондон — 31 685 гектаров. Даже такой сравнительно небольшой город, как Флоренция, располагал площадью 4226 гектаров, то есть в десять раз большей, чем Барселона. Почему было не разрушить стены? Да потому что

правительство не разрешало — из весьма сомнительных стратегических соображений оно душило Барселону, мешало городу расти и усиливать свое могущество. Короли, королевы и регенты, сменявшие друг друга на испанском троне, делали вид, что озабочены решением более насущных проблем, а правительства не спешили что-либо предпринять и при этом иронизировали: дескать, если им не хватает земли, пусть жгут побольше монастырей. Тем самым Мадрид намекал на кровопролитные столкновения тех бурных десятилетий, во время которых было сожжено несколько монастырей, а на их месте возникли площади, рынки и тому подобное. Наконец городские стены были все-таки разрушены. «Ну теперь-то мы вздохнем посвободней», — говорили друг другу барселонцы. Но все осталось по-прежнему: со стенами или без стен город был тесен для его обитателей. Люди ютились в крошечных комнатках, где сбивались в кучу стар и млад, да еще добавлялись и домашние животные.

После того как стены снесли, взорам барселонцев открылась долина, простиравшаяся до отрогов горной цепи Кольсерола, и вид этот лишь подчеркивал тесноту в городе. «Черт побери! — говорили барселонцы. — Такой простор, а мы тут как мыши в норе. Салату на грядках дышится вольней, чем нам, — разве это справедливо?» При таких обстоятельствах взоры горожан обращались к алькальду.

Тогда в Барселоне был не тот алькальд, который много лет спустя организовал Всемирную выставку, а другой. Роста он был невысокого, с солидным брюшком. Отличался набожностью — каждый день слушал мессу и причащался. В минуты религиозного созерцания старался отвлечься от городских проблем и сосредоточить внимание на чуде пресуществления. Но забота о судьбе города не оставляла его, мешала сосредоточиться. Надо что-то сделать, говорил он себе, но что? Он изучил развитие европейских городов: Парижа, Лондона, Вены, Рима, Санкт-Петербурга. Планы их развития были хороши, но требовали больших средств. А кроме того, в них не учитывалась специфика Барселоны. Когда ему хвалили план урбанизации Парижа, он всегда отвечал, что хорош-то он хорош, «да никак не отражает барселонских условий». То же самое говорил о плане развития Вены и других городов. Был убежден, что Барселоне нужен свой соб-

ственный план развития, задуманный и разработанный без подражания другим городам.

Однажды после причастия было ему видение. Будто сидит он за столом в своем кабинете, входит служитель и объявляет, что у него просят аудиенции. Алькальд подумал, не делегат ли какой-нибудь. «Он назвался кабальеро из Олота», — прервал его размышления служитель, затем вышел и впустил гостя. Алькальд поразился. Вошедший светился, его голову окружал нимб. Кожа у него была серебристая, словно амальгама. Падавшие на плечи волосы казались серебряными нитями. Туника на нем также матово светилась, будто весь он из какого-то дивного сплава. Алькальд постеснялся попросить объяснений на этот счет, спросил лишь, чему обязан честью. «Мы заметили, — сказал гость, — что в последнее время ты часто бываешь рассеян, когда причащаешься». «В такие минуты слабеет мое внимание, но не моя вера, — сказал в свое оправдание алькальд. — Меня терзает забота о плане расширения города, не знаю, что и делать». «Завтра, как только пропоет первый петух, будь у древних западных ворот города. Тебе явится избранник, но ты не говори ему о том, что я тебе открыл». Тут алькальд в испуге проснулся — он был в церкви, стоял, преклонив колени на скамеечку, во рту еще держал облатку. Все это приснилось ему в какое-то короткое мгновение.

На другой день в назначенный час алькальд был на том самом месте, где много лет спустя будет воздвигнута Триумфальная арка, которая послужит входом на Баставку. Уже двигались в обе стороны люди, мулы, повозки. Чтобы никто его не узнал, алькальд надел причетский плащ и круглую шляпу, перед ним стоял длинный торшак, куда он положил козьего сыру, и теперь поджарив сыр оливковым маслом и подсыпал в него тимьяну. Он видел, как это делают крестьяне, когда в детстве жил в деревне у бабушки и дедушки. За этим занятием он провел весь день. Слышал, как прохожие рассказывали, какой в городе поднялся переполох из-за того, что пропал алькальд, его с утра ищут, потому что он, против обыкновения, не пришел в церковь слушать мессу. Из городской казны, рассказывали, не пропало ни одного сентимо, и это, по общему мнению, было самым удивительным. Солнце уже превратилось в огромный красный шар, висевший над самым горизонтом. И тогда алькальд увидел, как к нему подходит необычное существо. Похоже на

лица у него, словно от ожога в детстве, была гладкой и безволосой, зато другая половина, правая, была изборождена морщинами, с одним усом и половиной довольно длинной бороды, ибо, как сказал незнакомец, он не то вернулся недавно из паломничества в Сантьяго, не то собирался туда отправиться. Звали его — так он сказал — Авраам Шлагобер, что по-немецки значит «сбитые сливки», но он не иудей, а старый христианин, совершает паломничество по обету (не сказал, по какому), а по профессии он градостроитель. Алькальд тотчас повел его в аюнтамьенто, показал ему планы Барселоны и ее окрестностей и обеспечил всем необходимым для составления проекта. «Это будет,— сказал Авраам Шлагобер,— Город Господень, о котором говорит Святой Иоанн, новый Иерусалим. Поскольку Иерусалим разрушен и никогда не будет отстроен заново, ибо Господь сказал, что не останется от него камня на камне, другому городу суждено заменить его и стать центром христианства. Барселона лежит на той же широте, что и Иерусалим, это также средиземноморский город — все за то, чтобы ему стать избранным городом». Вместе они прочли слова «Откровения»: «И я, Иоанн, увидел святы́й город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет»¹. Проект был создан менее чем за полгода, после чего Авраам Шлагобер бесследно исчез. Некоторые утверждают, что такого человека вообще не было, что алькальд сам чертил планы. Другие полагают, что такой человек был, только звали его иначе, и не был он ни паломником, ни градостроителем, а проходимцем, который воспользовался муками алькальда, чтобы извлечь из них выгоду,— просто-напросто перенес на бумагу мечты алькальда, а пока шла работа, жил за счет аюнтамьенто, что было вполне правдоподобно. Когда проект был полностью готов, алькальд одобрил его и представил заседанию аюнтамьенто.

Первоначальный проект ныне уже не существует, то ли его умышленно уничтожили, то ли безнадежно зате-

¹ Библия; Апокалипсис, 21: 1-4.

рялся в дебрях муниципального архива. До нас дошли лишь отдельные фрагменты, и то сомнительные, что-то вроде памятных записок. Там использованы такие меры, как сажень и парасанга, локоть и стадия¹, что, должно быть, немало смутило бы строителей; от того района, который мы теперь называем Тибидабо, к морю шел судоходный канал, от которого вправо и влево отходили двенадцать других каналов (по числу колен Израилевых), поуже и помельче, каждый из которых заканчивался искусственным озером, вокруг которых намечались жилые кварталы или полурелигиозные, полуадминистративные центры. во главе их стояли заместитель алькальда и левит. Нигде не сказано, откуда должна была взяться вода для заполнения большого и малых каналов, хотя кое-где встречаются упоминания о водоемах, расположенных там, где сегодня Вальвидрера, Флореста, Сан-Кугат и Лас-Планас. В центре старого города (где по плану надлежало снести все, кроме собора, церкви Пресвятой Девы Марии Покровительницы моряков и церкви Святого Петра) канал пересекали пять мостов, и каждый мост представлял одну из пяти христианских добродетелей. Аюнтамьенто, Провинциальный совет и Гражданское губернаторство предстояло заменить тремя базиликами по числу свойств души. Был там также Рынок воздержания, Рынок богобоязности и тому подобное. Другие стороны проекта нам неизвестны. Теперь уж мы о них ничего не узнаем. Пленарное собрание аюнтамьенто было поражено. Проект в конце концов одобрили. Горячо и единодушно. Городской совет, однако, отметил необходимость выполнить предусмотренную действующим законодательством процедуру: проект, утвержденный аюнтамьенто, должен скрепиться подписью министра внутренних дел, которому подчинены все аюнтамьенто Испании. Алькальд пришел в недоумение. «Неужели даже Господня воля нуждается в утверждении Мадрида?» — воскликнул он. «Такой закон», — спокойно отпарировали советники. Они делали вид, что солидарны с алькальдом, а в душе были рады свалить ответственность на Мадрид, пусть другие там таскают для них каштаны из огня. Они вечно нам жужжали, думали они, так пусть хоть один раз для разноразия окажут нам немаловажную услугу.

¹ Старинные меры длины, не употреблявшиеся в Испании (персидские, римские и т. д.).

Получили ответ из Мадрида: Его превосходительство министр внутренних дел подтверждает получение плана развития города Барселоны, но рассматривать его отказывается, так как он не соответствует требованиям закона о всякого рода проектах. И действительно, закон требовал представления не менее трех проектов, из которых министр мог бы выбрать один. Алькальд обезумел. Все вместе попытались успокоить его. «Объявим конкурс, пошлем в Мадрид наш проект, а с ним два других, министр обязательно предпочтет наш, так как он, несомненно, окажется лучшим», — сказали ему. На это алькальду нечего было возразить, он-то считал, что проект сделан по вдохновению, ниспосланному самим Господом Богом, и не может быть превзойден другим; он согласился объявить конкурс и стал нетерпеливо ждать новых проектов, составленных в соответствии с объявленными условиями конкурса, представил свой проект наряду с остальными, будучи в полной уверенности, что конкурсная комиссия его предпочтет. Так оно и случилось. За время конкурса проект алькальда, который до тех пор видели немногие, ходил по рукам, его живо обсуждали. В барселонских просвещенных кругах только о нем и говорили. Наконец все три проекта отослали в Мадрид. Там министр продержал их, сколько мог, не высказывая никакого суждения. Алькальд ждал ни жив ни мертв. Ночью просыпался в испуге и спрашивал: «Есть вести из Мадрида?» Камердинеру приходилось успокаивать хозяина, так как алькальд был холост.

Наконец министр соизволил ответить. Ответ его произвел впечатление разорвавшейся бомбы: Его превосходительство министр внутренних дел не отдал предпочтения ни одному из представленных проектов, по его мнению, ни один из них не обладал необходимыми достоинствами. Зато он одобрил и утвердил своей подписью четвертый проект, который либо не был представлен на конкурс, либо был представлен, но не одобрен конкурсной комиссией. А теперь был спущен барселонцам в виде постановления, имевшего силу закона. Впоследствии он получил название «план Серда¹». Алькальд попробовал урезонить министра: «Я убежден, что Ваше превосходительство решили подшутить над нами, одобрив

¹ Серда, Ильдефонсо (1815—1879) — архитектор и инженер, создатель проекта расширения старой Барселоны.

проект, который не входил в число трех представленных нами и который, стало быть, не получит одобрения барселонцев». На этот раз ответ министра пришел мгновенно: «Барселонцы запляшут от радости, друг мой, когда план Серда будет воплощен в жизнь и том же, в котором я его утвердил, — писал он алькальду, — а что касается вас лично, уважаемый алькальд, позвольте напомнить вам, что обсуждение действий министра не входит в ваши обязанности. Вы получите подробные инструкции и не заставляйте меня напоминать вам, от кого зависит ваше пребывание в должности» и прочая и прочая.

Алькальд снова созвал пленарное заседание. «Мы получили пощечину, — сказал он. — И подадим раз мы обратились в Мадрид, вместо того чтобы сами решать свои дела, как того требуют наша совесть и наша честь. Теперь из-за нашей слабости нанесено оскорбление Барселоне, пусть нам это послужит уроком!» Слова эти были встречены бурными аплодисментами. Алькальд вынул руку и продолжал. Голос его гремел по всему залу.

— Теперь наша очередь ответить, — сказал он. — То, что я предложу вам, быть может, покажется эгоистичностью, но прошу не делать поспешных выводов. Подумайте — и увидите, что другого выхода у нас нет. А предлагаю я вот что: раз Мадрид не желает выслушать наши доводы и нахально навязывает нам свои условия, каждый из нас, как представитель народа Барселоны, должен вызвать на дуэль чиновника министерства соответственно своему рангу, убить его или умереть защищая свои права и достоинства так, как делаю это я, смело бросая перчатку Его превосходительству сенатору-министру внутренних дел, дабы он и его бюрократы навсегда поняли, что, если каталонцу отказывают в правосудии, он добьется его своею собственной рукой в честном поединке.

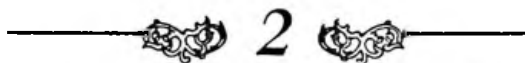
И он швырнул на пол серую лайковую перчатку, купленную накануне и пролежавшую всю ночь на алтаре Святой Лусии. Присутствующие разразились одобрительными возгласами, устроили алькальду продолжительную овацию; те, у кого были перчатки, швыряли их на пол, а у кого их не оказалось, бросали на пол шляпы, манжеты и даже ботинки. Бедный алькальд плакал от удивления. Ему неведомо было, что те, кто с таким восторгом приняли его предложение, не имели ни малейшего намерения последовать его примеру, вплоть до того, что исполнить

из них тут же послали в Мадрид письма, в которых изъявляли свою приверженность министру и сожалели о резкости алькальда, она-де вызвана душевным потрясением, пагубно отразившимся на его здоровье. Ничего не подозревавший алькальд послал министру вызов, который тот разорвал на клочки и собственноручно начертал на конверте: «Не надо передо мной паясничать». Советники предложили алькальду не настаивать, ничего, мол, не поделаешь, а взять отпуск и отдохнуть. В конце концов он понял, что все его покинули. Отказался от должности, переехал в Мадрид и стал излагать дело депутатам кортесов, пытаясь их заинтересовать. Одни из политических соображений делали вид, что согласны с ним, другие поддакивали, желая завоевать симпатии каталонцев, третьи ожидали материальных выгод за свое вмешательство. Узнав, что бывший алькальд — чокнутый, действующий на свой страх и риск, все отворачивались от него с негодованием. Бывший алькальд начал давать взятки тем, кто до них был особенно падок, и растратил на это все свое состояние, которое было весьма внушительным. Через три года, разоренный и с разбитым сердцем, возвратился в Барселону, поднялся на Монжуик и поглядел на город, оттуда он смог увидеть наметившиеся новые улицы, железнодорожные пути, сточные канавы и акведуки. Неужели это возможно, подумал он, неужели возможно, чтобы бюрократические препоны пересилили предначертанье Господне? Так велико было его отчаяние, что он бросился с кручи и разбился насмерть. Душа его отправилась прямохонько в ад, где ему объяснили, что в видениях ему явился не кто иной, как сам Сатана. «Ах, коварный враг! — воскликнул бывший алькальд, раскаявшийся в своем легковерии. — Здорово ты обманул меня, назвавшись ангелом!» «Нет уж, извини, — остановил его Сатана, — за ангела я себя не выдавал, ведь для того, чтобы искушать смертных, мы можем принимать любые обличья, кроме обличий Святого, ангела или самого Господа Бога, а также его Пречистой Матери, я назвался «кабальеро из Олота», а он, как мне известно, ближе всего к небесным телам; остальное сделали твое тщеславие и твое ослепление, роковые последствия которых ты и твоя Барселона будете ощущать целую вечность». И Сатана разразился громким презрительным хохотом.

Время показало, что из всех действующих лиц этой истории, за исключением дьявола, который всегда стремится

взять свое, прав был один лишь алькальд. Навязанный министерством план, в котором имелись и положительные стороны, был чересчур практичным, страдал рационализмом, не предусматривал ни общественных мероприятий, ни памятников, которые символизировали бы величие, которое всякий народ с основанием или без оногo приписывает себе, ни садов и бульваров, способствующих романтике и преступлениям, ни аллей со статуями, ни мостов, ни виадуков. План предусматривал разбивку на квадраты, которая вызывала недоумение как иностранцев, так и местных жителей, ибо в основе ее лежали обеспечение уличного движения и удовлетворение прочих прозаических потребностей. Если бы этот план был претворен в жизнь в том виде, как он был задуман, город стал бы по крайней мере приятным на взгляд, удобным и удовлетворяющим требованиям гигиены; в том виде, который он в конце концов приобрел, он не получил даже этих преимуществ. Да иначе и быть не могло: барселонцы не отвергли план мечтательного алькальда, но и не признали его, он не пленил их воображение и не пробудил никаких унаследованных от прародителей чувств. Они не спешили приобретать участки, занимать земли, к которым стремились и которые требовали веками, строительство шло вяло, к нему побуждали демографические условия, а не живая фантазия. В обстановке всеобщего безразличия и при попустительстве тех, кто мог бы это предотвратить (тех самых, кто за спиной одержимого алькальда писали министру, чтобы удержаться на теплом местечке), землей завладели спекулянты, которые, вопреки первоначальному плану, вместо приятного на взгляд и здорового места обитания сделали из Барселоны шумный и задымленный город, такой же перенаселенный, как старая Барселона. Из-за отсутствия основополагающих идей (хотя бы таких, которые набожность бывшего алькальда и наущение дьявола заложили в изначальный план) Барселона осталась без общественных площадок (за исключением разве что Пасео-де-Грасиа, служившего тщеславию новой буржуазии, но по сей день сохранившего свое значение для торговли), на которых могли бы проводиться праздники и митинги, коронации и линчевание. Город рос фактически без плана и порядка, единственным стимулом было желание хоть где-нибудь разместить тех, кто уже не мог быть размещен в построенных ранее кварталах, и извлечь из этого максимальную прибыль. Жители распределились

по районам согласно сословию и принадлежности к тому или иному поколению, отрыв от старины стал единственным отличительным признаком прогресса.



Дядюшка Тоне постарел, плохо видел из-за дальнорзоркости, но почти каждый день продолжал ездить на своей двуколке из Сан-Климена в Бассору и обратно. Однажды его кобыла, которой было уже восемнадцать лет, околела; случилось это ночью, утром он застал ее уже окоченевшей, прежде она никогда не ложилась отдохнуть, а теперь опрокинулась на спину, задрав копыта к небу. Дядюшка Тоне не отошел от дел, а купил другую кобылу и продолжал ездить. Новая лошадь дорогу не знала; чтобы запомнить такой длинный и сложный маршрут, любой лошади, даже самой умной, потребовался бы не один год. Из-за того, что лошадь сбивалась с пути, а старик плохо видел, они не раз заезжали неизвестно куда и однажды заблудились всерьез: стемнело, а дядюшка Тоне не имел представления, куда они попали. Он мог бы сориентироваться по звездам, но опустил туман, который все густел. Где-то выли волки, лошадь боялась и без кнута не делала ни шагу. Наконец дядюшка Тоне увидел неподалеку какие-то огни и поехал по направлению к ним. Он решил, что здесь остановились пастухи, хотя место было дикое и для пастбища непригодное. Но на самом деле это был лагерь разбойников, предводителем которых был Корне. Шайка представляла собой остатки карлистского отряда; потерпев поражение в последней войне¹, эти люди не сложили оружие и не сдались на милость победителей, а предпочли укрыться в горах. «Если мы сдадимся,— сказал Корне своим людям, доверие и преданность которых завоевал в совместных кровавых стычках,— нас поставят к стенке, и я предлагаю вам заделаться разбойниками; раз уж мы осуждены на смерть, значит, мы живем в долг и можем позволить себе роскошь рисковать жизнью даже по пустяковому поводу». И они стали разбойничать, проявляя неслыханную дерзость и отвагу.

¹ Речь идет о второй карлистской войне (1872—1876).

Сумели ускользнуть от всех вооруженных отрядов, которые охотились за ними, и прославились на всю округу — это были романтические разбойники. Землепашцы и пастухи проявляли к ним терпимость. Не помогали им, так как устали за несколько веков бесконечных кровавых столкновений у дверей своих домов, но и не доносили на них, не встречали пулями. И случилось так, что разбойники, решившие прожить короткую жизнь и умереть с оружием в руках, состарились в горах, ибо власти о них позабыли. Когда дядюшка Тоне подъехал к лагерю, он увидел лишь хилых стариков, которые едва могли взять на изготовку старинное ружье. «Я-то думал, вас давно уже нет,— сказал он,— и осталась только легенда». Разбойники накормили старика и разрешили переночевать в их лагере. Разговоров было мало: откровенничать перед посторонним они не привыкли, а друг другу давно уже все сказали. Дядюшку Тоне они знали: не раз видели, как он едет на своей двуколке, но его не грабили, понимали, что старик возит туда-сюда лишь самое необходимое для местных жителей. Наутро проводили его до дороги, дали с собой ломоть хлеба и un fuet¹. Перед отъездом сводили на небольшое кладбище, где покоились останки разбойников, умерших в горах от каких-нибудь болезней, могил было не меньше, чем оставшихся в живых. На могилах были свежие цветы и всевозможные кресты, ибо все они были очень набожны. Случай этот произошел уже давно, а теперь лошадь знает дорогу почти на всем пути следования, а дядюшка Тоне почти совсем ослеп.

— Но зато,— закончив свой рассказ, сказал он путнику, нанявшему его в тот день в Бассоре,— я, кажется, узнаю твой голос. Даже не сам голос, а твой выговор.— Путник молчал. Тогда дядюшка Тоне расхохотался.— Ну конечно! Ты — Онофре Боувила! Не говори мне, что это не так.— Онофре не сказал ни да ни нет, и дядюшка Тоне снова добродушно рассмеялся.— Иначе быть не может. Голос твой показался мне знакомым, а когда ты в ярости стиснул зубы и промолчал, я узнал тебя окончательно: ты такой же сумасшедший, как твой отец, которого я хорошо знал. Когда он уезжал на Кубу, я вез его в Бассору на этой самой двуколке. Не помню, сколько лет ему тогда было, но наверняка немногим больше, чем тебе сейчас, точно, так оно и есть, он, как и ты, задирает нос,

¹ Кнут (каталонск.).

будто все остальные лыком шиты. А когда вернулся с Кубы, я отвозил его домой. Перед церковью собрался народ, как сейчас вижу, хоть глаза мои теперь ни к черту не годятся: отец твой сидел вот так же, как ты теперь сидишь, спину держал прямо, будто палку проглотил, на нем был белый полотняный костюм, а на голове соломенная шляпа, ее панамой называют, там и страна такая есть — Панама. За всю дорогу слова не сказал. Богача из себя корчил, а у самого в кармане — ни реала. Да что я тебе рассказываю, ты, верно, не хуже меня знаешь, что он привез вместо денег?

— Обезьяну, — ответил Онофре.

— Вот-вот, больную обезьяну, вижу, у тебя хорошая память, — сказал дядюшка Тоне, стегнув кнутом лошадь, которая остановилась пощипать траву на обочине. — Но-о, Перса, не ешь сейчас, брюхо вспучит. — И щелкнул кнутом. — Ее так прозвали — Перса — еще до того, как я ее купил. Так о чем мы говорили? Ах да, о твоём отце, о том, как он чванился, дурак он, вот что я тебе скажу. Эй, ты что? Неужели ты посмеешь ударить полуслеплого старика? Ясно, посмеешь, ну, ладно, ладно, придержу язык, хотя в мыслях-то у меня останется то же самое. Я знаю, все вы такие, не хотите слушать то, что вам не по душе, вам приятней услышать то, что вам хочется, хоть и сами знаете, что говорят вам одно, а думают другое. Какой в этом смысл? Но ты не думай, что я ужасаюсь или даже удивляюсь, я уже давным-давно знаю цену людскому тщеславию, кого я только не перевидал, да и времени у меня хватает, чтоб поразмыслить. Всякий раз, как еду порожний, размышляю о том о сем. И знаю теперь, как у нас обстоят дела. Знаю также, что мне их не изменить, как бы ни старался; не могу я ничего изменить, да и жить мне осталось недолго, не уверен даже, захотел ли бы это сделать, будь у меня силы и время. Есть люди, у которых в глазах похлебка с чесноком, откроют они глаза и видят только эту самую похлебку. А я не такой. Мог бы стать таким, да не стал.

Так разглагольствовал старый возчик, бормотал глупости, которые старым и выжившим из ума людям кажутся мудростью. Онофре Боувила не обращал внимания на его болтовню, голос слышал — куда денешься, — а в смысл не вникал. Глядел на дорогу, по которой восемь лет назад проехал в обратном направлении. Уезжал он из этих краев весенним утром, едва лишь взошло солнце. Накану-

не объявил родителям о своем намерении уехать в Бассору, там он обратится к сеньорам Балдричу, Вилаграну и Тапере, они наверняка дадут ему работу на каком-нибудь из своих предприятий, и тогда он поможет отцу вернуть долг этим господам. Американец начал было возражать: он один повинен в том, что вся семья оказалась в бедственном положении, и не допустит, чтобы сын жертвовал собой... Онофре велел ему помолчать. Американец, давно уже утративший всякий авторитет среди домашних, замолчал; матери Онофре сказал, что пробудет в Бассоре недолго, пока не соберет нужную сумму. «Поработаю там несколько месяцев, от силы год. Как устроюсь, сразу же напишу. Через дядюшку Тоне буду сообщать обо всем, чем занимаюсь». А на самом деле он собирался уехать в Барселону и не возвращаться вовсе. Тогда он думал, что никогда больше не ступит на порог родительского дома, где он родился и жил до того дня, не увидит ни мать, ни отца. Когда он сел в двуколку, отец подал ему узелок с его скудными пожитками, который он положил себе под ноги. Мать повязала ему шею шарфом. Никто ничего не говорил, дядюшка Тоне сел на козлы и сказал: «Если ты готов, поехали». Он молча кивнул, боясь, что голос выдаст его волнение. Дядюшка Тоне щелкнул кнутом, и кобылка тронула, увязая копытами в весенней грязи. «Дорога нынче неважная», — сказал дядюшка Тоне. Американец помахал панамой, мать что-то сказала, но Онофре не разобрал слов. Потом стал глядеть на дорогу и не видел, вернулись в дом родители или смотрят ему вслед. Двуколка пересекла дорогу к реке, дорогу к волшебному гроту, дорогу, по которой он ходил ловить птичек, дорогу, по которой ходил рыбачить — это не та, что ведет к мосту, — дорогу, по которой осенью ходил собирать грибы, — никогда раньше не обращал внимания, как много там дорог. Долина скрылась в утренней дымке, но все еще видна была колокольня. Им повстречались две-три отары овец. Пастухи на прощанье подняли посохи и засмеялись. Они были в грубошерстных куртках и теплых шарфах, закрывавших подбородок, и в каталонских шапочках с кисточкой. Эти пастухи знали его с рождения. Теперь я уж не встречу никого, кто знал бы меня так давно, подумал он. На пути стали попадаться покинутые хутора. Холод, дождь и ветер сорвали с петель двери и створки окон, сквозь проемы видны были пустые комнаты — никакой мебели, слой прелых листьев на полу, из окон вылетали птицы. Это были

дома тех, кто уехал в Бассору искать работу на фабриках, тех, кто погасил домашние очаги, как теперь принято было говорить. Прошло восемь лет, и за эти годы Онофре много чего сделал: познакомился с многими людьми, в большинстве своем необычными и, как правило, порочными; кое-кого из них он убил, сам не зная хорошенько, за что, с другими вступил в более или менее постоянные связи. Он узнавал деревья, небо, просвечивавшее сквозь ветви, ропот листьев в лесу от свежего ветерка, запах полей. Ему казалось, что он и не покидал эту долину, что все остальное ему приснилось. Даже дочь дона Умберта Фига-и-Мореры, которую он страстно любил, представлялась ему чем-то быстролетным, вспышкой молнии в его воображении. Ему приходилось делать усилие, чтобы вспомнить черты ее лица, зримо, а не как расплывчатый образ. Иногда в его воспоминаниях к этим чертам примешивались другие: лицо несчастной Дельфины, которая уже так давно сидит в тюрьме, черты девчонки из кукольного театра, с которой он переспал неделю назад; с этой он даже не сказал двух слов, увидел ее на представлении, ему понравилось лицо ее, не безобразное, но чем-то напоминающее лошадиную морду, она была так юна, что ему пришлось договариваться с ее родителями и заплатить вперед — вот почему разговаривать им было особенно не о чем, после того как сделка состоялась. Он сказал ей что-то приятное лишь утром, при расставании, и, конечно, щедро расплатился. В последнее время Онофре завел привычку щедро расплачиваться, если замечал расположение к себе тех, кто его обслуживал; на этот раз он остался доволен и показал свою щедрость. Девочка приняла деньги как-то рассеянно, по молодости не понимала, много это или мало, словно бы это вознаграждение не было заслужено ею самой. Лишь посмотрела на него как-то странно, и теперь, когда он вспоминал этот взгляд, ему становилось не по себе.

— На что я жалуюсь? — говорил меж тем дядюшка Тоне. — На туман, который нас окутывает? Нет. На погоду? Нет, сеньор. На плохую дорогу? Тоже нет, на нее жалуйся не жалуйся... Тогда на что же? А жалуюсь я на человеческую глупость; как я уже сказал, твой отец тут не последний человек. За что я так на него нападаю? Может, из зависти? Да, конечно, я нападаю на него с такой яростью из одной только зависти.

Когда они остановились возле церкви, уже совсем

стемнело. Возчик спросил, знают ли родители Онофре о его приезде. «Нет»,— ответил тот. «А-а, ты хочешь сделать им сюрприз?» «Нет,— повторил Онофре,— просто не предупредил их, вот и все». «Что ж, кланяйся им от меня,— сказал дядюшка Тоне,— вот уж много лет я ничего о них не знаю, а ведь было время, когда мы с твоим отцом были добрыми друзьями, это я отвез его в Бассору, когда ему взбрело в голову отправиться за море, да я это тебе уже говорил». Дядюшка Тоне остался на площади и стал на ощупь пробираться в кабак, а Онофре пошел к дому.

Мать стояла в дверях, она первая увидела его. Случайно вышла подышать ночным воздухом, что в последние годы делала не часто. После того как Онофре исчез, у нее появилась привычка выходить на порог в час заката, потому что в этот час прибывала двуколка (если прибывала). Потом, ничего не говоря мужу, отказалась от этой привычки, поняла, что Онофре не вернется, и ей стало казаться, что таким поведением она противоречит воле сына. «Пойду разогрею ужин»,— сказала она, узнав его. «А отец?» — спросил он. Она жестом указала, что отец в доме. На первый взгляд отец показался ему сильно постаревшим. Годы не прошли бесследно и для матери, но он был еще слишком молод и не думал о том, что и мать не вечна.

Отец был все в том же полотняном костюме, уже ветхом и расползающемся, пожелтевшем от стирки, утратившем форму из-за бесчисленных заплат и штопки. Когда он поднял глаза от стола, Онофре увидел, что они наполнились слезами. Но выражение его лица не изменилось, словно ничего необычного не произошло. Ждал, когда сын первым нарушит молчание, он уже понял, что Онофре привела сюда какая-то настоятельная надобность, но тот молчал, и тогда отец прибег к спасительной фразе: «Ну как доехал?»

— Хорошо,— ответил Онофре. И снова оба молчали под внимательным взглядом матери.

— Ты хорошо одет,— сказал Американец.

— Денег я тебе не дам,— отрезал Онофре. Американец побледнел. «Да у меня и в мыслях не было просить их у тебя»,— процедил он сквозь зубы. «Тогда помолчи»,— сухо сказал сын. Американец понял, что в глазах Онофре он только лишь смешон, и ничего более. Легко поднялся со стула и сказал: «Пойду под навес, поищу

яиц». И вышел, захватив с собой низенькую скамеечку. Не сказал, зачем она ему. Когда Онофре остался наедине с матерью, он осмотрелся, он заранее знал, что дом покажется ему меньше, чем казался раньше, но его поразила ветхость и убожество жилья. Увидел свою старую кровать, аккуратно застеленную, будто ее прибрали только утром. Мать опередила его, он не успел задать свой вопрос. «Когда ты ушел, нам было очень одиноко», — извиняющимся тоном сказала она; Онофре сел на стул, больно стукнувшись задом о гладкое дерево — устал трястись на двуколке. «Значит, у меня есть брат?» — спросил он. Мать потупилась: «Если б мы знали хотя бы, куда тебе написать...» — уклончиво ответила она. «Где он?» — спросил Онофре. Он как будто хотел сказать: «Давайте разом покончим с этой комедией». Мать сказала, что он скоро вернется.

— Он так мне помогает, — помолчав, сказала она. — Ты же знаешь, что такое крестьянская работа. Отец твой ни на что не годен, никогда он в поле не мог работать, даже смолоду. Я так думаю, что поэтому он и подался на Кубу. Он очень переживал, — продолжала она без всякой паузы, точно говорила сама с собой, — считает, что ты ушел только по его вине. Когда прошло несколько месяцев, а ты все не возвращался, он начал тебя разыскивать, ему сказали, что в Бассоре тебя нет, что ты, наверно, в Барселоне. Тогда он снова занял денег и поехал искать тебя там. А до этого ни разу ни у кого не занимал. Пробыл в Барселоне около месяца, все разыскивал тебя, спрашивал о тебе у каждого встречного и поперечного. В конце концов пришлось ему вернуться домой. Мне стало жаль его. В первый раз я поняла, что значит для него крушение всех надежд. Потом у нас родился сын, скоро ты его увидишь. Он не похож на тебя: хоть такой же неразговорчивый, но характер у него не твой. Он скорее в отца.

— А чем отец теперь занимается? — спросил Онофре.

— Слава богу еще, что все так обернулось, могло быть и хуже. Те сеньоры из Бассоры, что хотели засадить его в тюрьму — ты помнишь? — дали ему работу, чтоб он зарабатывал себе на хлеб, я думаю, что тут они обошлись с ним по-доброму. Дали ему чемоданчик и послали по местечкам и хуторам продавать страховые полисы — это была для него новая работа. О нем болтали во всей округе, он всем был известен, и люди сбегались посмотреть, как

он шагает в своем белом костюме. Некоторые над ним насмехались, но время от времени ему удавалось продавать полисы. С его доходов и с того, что мы добываем, продавая овощи и куриные яйца, мы перебиваемся, можно даже сказать, неплохо.— Тут мать подошла к двери и выглянула в ночную тьму.— Что это он так долго? — сказала она, не пояснив, кого имеет в виду. Туман поредел, и при лунном свете видно было, как мечутся летучие мыши.— А теперь меня беспокоит его здоровье. Он уж не молод, и такая работа не для него. Шагает по многу километров в холод и в жару, устает, пьет много, а ест мало и бог знает что. И в довершение всего четыре или пять лет тому назад потерял свою шляпу: ее сорвало у него с головы ветром и унесло в пшеничное поле, до темноты искал. Я его уговаривала, чтобы купил себе другую, да куда там... А, вот и он.

— Я ходил к соседям за луком и мятой,— сказал, входя, Американец. Скамеечку он обратно не принес.

— Я тут рассказывала Онофре, как ты потерял шляпу,— сказала мать. Отец выложил зелень на стол. Сел и с удовольствием подхватил новую тему для разговора: — Невозвратимая потеря,— сказал он.— Здесь такую вещь не купишь ни в Бассоре, ни в Барселоне. Это была настоящая панама.

— Я ему сказала и про Жоана,— сказала мать. Американец покраснел до корней волос.

— Помнишь, как мы ездили в Бассору заказать чучело обезьяны? — спросил он.— Тогда ты в первый раз побывал в городе, и все тебе казалось...

Онофре смотрел на мальчика, который появился на пороге. Остановился в нерешительности. Пришлось Онофре сказать:

— Заходи и подойди к свету, дай на тебя посмотреть. Как тебя зовут?

— Жоан Боувила-и-Мон,— ответил мальчик,— к вашим услугам, сеньор.

— Не говори мне «вы». Я твой брат Онофре, ты обо мне знаешь, да? — Ребенок кивнул.— Никогда мне не лги,— сказал Онофре.

— Садитесь к столу,— сказала мать,— давайте ужинать. Онофре, благослови стол.

Все четверо уселись за стол, ели молча. После ужина Онофре сказал: «Вы только не думайте, что я здесь остаюсь». Никто ему не ответил, потому что никто и не ду-

мал, что он приехал навсегда. Стоило взглянуть на него — и стало ясно, что здесь он ненадолго.

— Я приехал, чтобы вы подписали кое-какие бумаги, — сказал Онофре, обращаясь к отцу. Вытащил из кармана какой-то документ, расправил и положил на стол. Американец протянул руку, но тут же опустил ее на стол. — Это закладная на дом и земли, — продолжал сын. — Мне нужны деньги, чтобы вложить их в дело, а взять их мне больше негде. Но вы не бойтесь. Останетесь жить в доме и по-прежнему будете обрабатывать землю. Только если у меня ничего не получится, вас отсюда выгонят, но у меня все получится.

— Не беспокойся, — сказала мать, — отец подпишет, правда, Жоан?

Отец подписал бумагу не читая. Потом встал со стула и вышел. Онофре проводил его взглядом, затем посмотрел на мать. Та кивнула. Онофре вышел из дома и пошел искать Американца. Отец сидел под смоковницей на треногой скамеечке, какими пользуются, когда доят корову. На той самой, которую унес из дома. Онофре, ничего не говоря, прислонился к стволу дерева, отсюда он видел лишь спину и затылок Американца да его покатые плечи. Тот заговорил сам:

— всю жизнь я думал, — сказал он и указал куда-то вдаль, но хотел, как видно, указать на обширные поля, освещенные луной и тянувшиеся до самого горизонта, — я думал, что все это было таким испокон веков и явилось результатом естественной смены времен года. И понадобилось много лет для того, чтобы я понял свою ошибку, но теперь-то я знаю, что эти поля и рощи до последней пяди были созданы трудом моих отцов, дедов и прадедов, которых мне не довелось знать, и еще многими прежними поколениями, которые, вооружившись киркой и лопатой, боролись с природой для того, чтобы мы сегодня могли тут хоть как-то жить. Говорят, природа мудра — ерунда это, она глупа, неповоротлива и жестока. Но люди, поколение за поколением, изменяли природу: направляли реки в другое русло, очищали воды, орошали поля и сдвигали горы, приручили диких животных, окультурили весь растительный мир, сажали деревья, сеяли злаки — все, что раньше приносило вред, обратили себе на пользу. И то, что мы сейчас видим перед собой, — плод труда многих поколений. Раньше я этого не понимал, считал, что города главней деревень, что труд крестьянина — ерунда,

а вот теперь я думаю, что скорей наоборот. Такое неправильное мнение возникает оттого, что крестьянский труд долгий, им надо заниматься не торопясь и соображать при этом, что и когда надо делать, всякая работа должна проводиться в свое время, не раньше и не позже, и не сразу увидишь, что же изменилось от твоих усилий,— горожанину этого не понять. Там у них все ясно: измерь длину, высоту и ширину, и можешь подсчитать, сколько тебе понадобится кирпичей, но и тут горожане ошибаются, любой город можно выстроить довольно быстро, за несколько лет. Иное дело земля: крестьяне не горячатся, работают спокойно, наскоком землю не возьмешь. Если б я понял все это раньше, может, жизнь моя сложилась бы совсем по-другому, но, видно, так уж мне было суждено, отношение к земле либо всасывается с молоком матери, либо создается годами тяжелых испытаний.

— Теперь ни о чем не беспокойтесь, отец,— сказал Онофре.— Все будет так, как я сказал, я верну вам деньги очень скоро.

— Ты не подумай, сынок, что меня беспокоит закладная,— сказал на это Американец.— Я до сегодняшнего дня и не подозревал, что эти земли можно заложить. Если б я это знал, наверняка сам бы давным-давно их заложил, чтобы начать какое-нибудь дело. И теперь бы у нас этих земель не было, но у тебя все будет по-другому, я в этом уверен.

— У меня не сорвется,— сказал Онофре.

— Не ломай голову и иди спать,— сказал Американец,— завтра тебе предстоит долгий путь. А может, останешься на денек-другой?

— Нет,— сказал Онофре,— дело решено.

На другой день он отправился в Барселону. В Бассоре зашел в нотариальную контору заверить бумаги. А ночь он провел в своей собственной постели, маленький Жоан спал с родителями. На обратном пути смотрел на окрестный пейзаж уже спокойнее. Когда я уезжал отсюда, говорил он себе, я думал, что вижу эти поля в последний раз, а теперь твердо знаю, что не раз еще приеду взглянуть на них. Вроде так на так получается. Как ни крути — квиты. Но если я буду сюда наведываться, то для того, чтобы извлечь для себя прибыль. Вот и вся его философия на те времена: купи-продай, продай-купи.

Развитие нового района Барселоны по плану, который в свое время взял с потолка министр внутренних дел, поначалу шло более или менее разумно: в первую очередь заселялись те участки долины, которые располагались вблизи источников питьевой воды, например у ручья, оросительного канала или верхнего бьефа плотины (как нынешняя улица Бруч), или же в тех местах, где были артезианские колодцы или ключи; в числе первых были и участки, расположенные вблизи каменных карьеров, что удешевляло строительство; хорошими считались также места, где проходила трамвайная или железнодорожная линия, и так далее. Там, где по указанным выше причинам начиналась застройка, цена на участки немедленно подсккивала, ибо на Западе нет народа, в большей степени наделенного стадным инстинктом, чем каталонцы, когда речь идет о выборе места жительства: где поселился хотя бы один, туда же устремляются и остальные. Неважно где, лишь бы всем вместе — таков был девиз того времени. Поэтому спекуляция земельными участками шла всегда по единой схеме: кто-то скупал как можно больше участков в зоне, которую считал подходящей, и строил там один-два дома, затем выжидал, пока дома не будут заселены, и начинал распродажу остальных участков по цене, намного превышающей ту, по которой он их приобрел. Новые владельцы участков, заплатив за них цену намного выше первоначальной, компенсировали убыток по системе, которая сводилась к следующему: делили каждый участок пополам, одну половину застраивали, а другую продавали за ту же цену, по которой приобрели весь участок. Тот, кто покупал вторую половину, действовал, разумеется, точно таким же образом — делил ее надвое, потом происходило дальнейшее дробление участка по той же схеме. По этой причине первое здание, построенное в этой зоне, занимало довольно большую площадь, второе — площадь поменьше, а последние имели по одной квартире на каждом этаже, причем квартиры эти были тесные и темные, без вентиляции и каких бы то ни было удобств, а дома строились из самых дешевых материалов. Эти мышиные норы (некоторые сохранились до сих пор) стоили, естественно, в двадцать пять, тридцать, а то и в тридцать

пять раз дороже, чем просторные, солнечные квартиры в первом из построенных в этой зоне домов. Кто-то сказал: «Чем меньше и безобразней дом, тем он дороже», и это была сущая правда, хотя это утверждение сильно преувеличивало парадоксальность положения. Фактически происходило вот что: владельцы привилегированных квартир «первой выпечки», как их тогда называли, по завершении цикла застройки тотчас их продавали, но, соответственно ценам на маленькие и плохие квартиры, цены на большие и хорошие к тому времени возрастали в сорок, сорок пять и даже в пятьдесят раз. После того как распродавались квартиры в домах «первой выпечки», наступала очередь домов, выстроенных на второй половине участка; затем шли в продажу дома на четвертинках и так далее до конца цикла. Но иногда и на этом дело не кончалось, квартиры перепродавались раз и другой, а то и третий. Стоило появиться покупателю, находился и продавец. И наоборот. Чтобы понять это явление, эту лихорадку, следует помнить о том, что барселонцы — народ меркантильный и что они испокон веков жили как сельди в бочке, так что на собственное жилье им было наплевать, ради гаремной роскоши они бы и пальцем не пошевелили, зато перспектива быстро нажить много денег завлекала их, как песнь сирены. Этой безудержной спекуляцией занимались не только те, кто был обеспечен и располагал положительным сальдо, которое можно было пустить в дело, но и люди менее состоятельные, которые, желая обогатиться, рисковали насущным и необходимым. Первые покупали и продавали земельные участки, дома и квартиры (покупались и продавались также преимущественные права на покупку, передачу третьему лицу и перепродажу, долгосрочные договоры, предоставляющие ипотеку, арендная плата и прочие права), но сами снимали дома или квартиры, так как в те времена считалось верхом глупости «сидеть на собственном капитале». «Пусть другие замораживают свой капитал, — рассуждали они, — я же плачу за жилье из месяца в месяц, а мои денежки „работают“». Люди менее состоятельные попадали иногда в тяжелейшее положение: когда им приходилось туго, они продавали собственное жилье и оказывались на улице с женами, детьми, прислугой и скарбом, стучались во многие двери, просили пустить переночевать или приютить больного члена семьи, грудного ребенка с кормилицей и тому подобное. Нельзя было видеть без слез, как они пле-

тутся по улицам Барселоны дождливым зимним вечером с озябшими детьми на закорках, толкая перед собой ручные тележки с домашним скарбом, а меж тем тихонько бормочут: я вложил столько-то, прибыль будет такая-то, смогу вложить еще столько-то. Наиболее благоразумные предпочитали не продавать, если условия были невыгодные, а подождать, сохранив свое здоровье и достоинство семьи, но им не позволяли так поступить, ибо это замедлило бы движение колеса спекуляции, которой заразился весь город. Поэтому некоторые семьи меняли жилье по семь-восемь раз в год.

Из сказанного выше вовсе не следует, что все, кто вкладывал деньги в спекулятивную игру, обогащались в одинаковой мере и наверняка. Эта игра, как и всякая другая, содержала в себе риск. Чтобы дело принесло желаемый результат, необходимо было удачно продать первое из построенных в зоне зданий, причем таким владельцам или жильцам, которые создали бы зоне определенный престиж одним своим присутствием. Было много известных семейств, чье появление в том или ином месте поднимало или, наоборот, сбивало цену во всем квартале, как, например, семейство по фамилии Гатунес, родом, кажется, из Ла-Манчи. Осталось неизвестным, что делала или чего не делала эта семья, довольно многочисленная, между прочим, но стоило им где-нибудь поселиться, как соседние жилища падали в цене. Хозяева их не могли, естественно, воспрепятствовать продаже жилья Гатунесам или аннулировать сделку, так что им приходилось предлагать этому семейству компенсацию за то, чтобы они переехали, или покупать их жилье по цене, которую те назначат. Обратная картина наблюдалась, когда где-нибудь поселялись престарелые супружеские пары с иностранной фамилией, особенно если это был отставной консул какой-нибудь великой державы в Барселоне. Случалось и так, что какая-либо зона, получившая предпочтение перед другими, вдруг лишалась привилегированного положения, например источник водоснабжения вдруг переставал давать воду или железнодорожная компания, объявившая о строительстве в скором времени железнодорожной ветки, изменяла свое решение и уже заселенный участок оказывался отрезанным от города. В таких случаях многие теряли состояние. Подобные обстоятельства могли возникать как случайно, так и не случайно, поэтому своевременная и надежная информация о таких изме-

нениях приобрела первостепенное значение. Со случайными переменами нельзя было ничего поделаться, хотя попадались ослепленные жаждой наживы фанатики, которые пытались проникнуть в тайны природы, они становились легкой добычей предсказателей, гадалок и прочих мошенников, которые вытягивали из них все соки и приводили к разорению. Немало было и таких рецидивистов, которые заявляли, что у них-де есть друг или родственник, который служит в аюнтамьенто или в Провинциальном совете, они получали баснословные взятки за протекцию и исчезали. В сентябре 1897 года в эту темную игру вступил Онофре Боувилла.

На деньги, полученные от заклада земель, он смог купить лишь довольно скромный участок в зоне, которая особых перспектив развития не имела. И сразу пустил его в продажу.

— Не знаю, кто купит у тебя такой негодный участок, — сказал дон Умберт Фига-и-Морера, к которому он из вежливости обратился за советом. Тот охотно дал ему несколько советов, но Онофре ни одному из них не последовал. «Там видно будет», — сказал он. Прошло полтора месяца, прежде чем появился первый покупатель, предложивший ту же цену, за которую Онофре купил этот участок.

— Сеньор, — сказал Онофре с оскорбленным видом, — вы, я вижу, решили надо мной посмеяться. Участок теперь стоит вчетверо дороже, и цена его растет день ото дня. Если у вас нет более интересного предложения, пожалуйста, не отнимайте у меня время.

Потенциальный покупатель, пораженный такой самоуверенностью, немного набавил. Онофре пришел в ярость, позвал Эфрена Кастельса и велел выставить покупателя на улицу. Тот ушел, раздумывая, а не прав ли этот молодой человек, чем черт не шутит. Видно, этот участок действительно стоит гораздо дороже по какой-то неизвестной мне причине. Чтобы разрешить свои сомнения, стал осторожно наводить справки, и вскоре до него дошел слух, из-за которого он лишился сна: будто бы фирма «Наследники Рамона Морфемы» приобрела участок рядом с тем, который продавал Онофре; мало того, фирма якобы намеревалась перенести туда свое кондитерское заведение не позднее, чем через год. «Черт побери! — сказал себе покупатель. — Этот проходимец, должно быть, в курсе дела, потому и не соглашается продать участок за цену,

которую я предлагаю; но если этот слух соответствует действительности, участок скоро будет стоить не в четыре, а в двадцать раз дороже, чем сейчас. Может, сделать ему другое предложение? Но если слух не подтвердится, если фирма не переедет, что тогда будет стоить участок? Ничего, ерунду. Все-таки какая это азартная игра — спекуляция недвижимостью!» — говорил себе незадачливый покупатель. И действительно, тут было над чем призадуматься: если фирма «Наследники Рамона Морфемы» туда переедет, за ней потянется весь город, так как в конце прошлого столетия в Барселоне не было более уважаемого, солидного и престижного заведения, чем эта кондитерская, изготавливавшая самые замечательные сладости. Сделать у них заказ было не просто, а чтобы стать постоянным заказчиком, требовались годы, немалые деньги и протекция. Но даже этим избранным торт следовало заказывать за неделю, набор сладостей — за месяц, пирог — за три месяца, а последним сроком заказа халвы к Рождеству было 12 января. Как и во всякой фешенебельной кондитерской, у «Наследников» не было столов и стульев, не подавали ни прохладительных напитков, ни чаю или шоколаду, а был очень изысканный и очень просторный вестибюль, подобный тем, что были в Помпее. После утренней воскресной мессы здесь собирались сливки общества. Там они проводили некоторое время за беседой перед семейным обедом, который длился от четырех до шести часов. В помещении было жарко от близости печей, воздух был густой и приторный. Так что если фирма «Наследники Рамона Морфемы» покинет улицу Кармен, то улица эта и весь квартал останутся на мели, а площадь Бокерия уже не будет главным нервом Барселоны, каким является теперь. Но если этого не произойдет, все останется на своих местах... «Хуже всего то, — жаловался сам себе потенциальный покупатель, — что я ничего не могу предпринять, чтобы проверить справедливость этих слухов в открытую: тогда об этом узнают все, и прощай мои надежды на покупку. Какое мученье!» Наконец жажда наживы взяла верх над благоразумием, и он купил участок Онофре за ту цену, которую тот просил. Оформив сделку, бросился в кондитерскую на улице Кармен и попросил аудиенции у владельцев фирмы. Наследники легендарного Рамона Морфемы, дон Сесар и дон Помпейо, приняли его очень любезно. Оба наморщили обсыпанную мукой переносицу, когда незадачливый покупатель задал свой вопрос. «Что? Переехать

отсюда? Ну что вы, ни в коем случае. Дошедшие до вас слухи, сеньор, лишены какого бы то ни было основания. Никогда у нас не было намерения переезжать, тем более в тот район, о котором вы говорите: во всем Энсанче нет более неподходящего места для кондитерского заведения. Отец бы в гробу перевернулся». Вот что сказали наследники. Тогда покупатель помчался обратно к Онофре Боувиле, чтобы расторгнуть сделку. Волосы его были взъерошены, с нижней губы свисала ниточка слюны. «Вы распространяли ложные слухи и должны возместить мне убытки!» — кричал он. Онофре Боувиле дал ему выговориться, потом выставил на улицу. На том дело и закончилось, так как у потерпевшего не было никакой возможности доказать, что именно Онофре распространял эти слухи, хотя никто в этом не сомневался. Случай с «Наследниками Рамона Морфемы» стал знаменитым, некоторое время даже было в ходу выражение «подсунуть кому-либо „Наследников Рамона Морфемы“», которое применялось, когда речь шла о покупателе, который считал себя умней всех, но в результате платил высокую цену за то, что стоило гораздо меньше.

— Ты поосторожней, — сказал дон Умберт Фига-и-Морера. — Создашь себе дурную славу, и никто не захочет иметь с тобой дело.

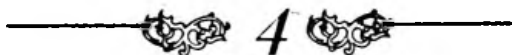
— Это мы еще посмотрим, — ответил Онофре.

На деньги, добытые в этой сомнительной операции, он купил несколько участков в другом месте. «Посмотрим, что он теперь предпримет», — говорили знатоки такого рода спекуляций. Но по прошествии нескольких недель, видя, что Онофре ничего не предпринимает, забыли о нем. «На этот раз он вроде действует честно», — говорили они друг другу. Участки находились в малоинтересном месте, далеко от центра, там, где теперь пересекаются улицы Росельон и Жерона. Кто захочет селиться там? — говорили себе люди. Но в один прекрасный день туда прибыли телеги, груженные какими-то металлическими полосами; солнце сияло на их гладкой поверхности, и это заметили каменщики, возводившие собор Святого Семейства неподалеку от того места. Полосы оказались трамвайными рельсами. Бригада рабочих начала рыть траншеи в каменистом грунте улицы Росельон. Другая бригада, поменьше, начала сооружать навес с каменным сводом — ясли, в которых будут задавать корм мулам — трамваи в то время ходили на живой тяге. «На этот раз дело верное, — го-

ворили между собой потенциальные покупатели.— Тут цены пойдут в гору». Не прошло и недели, как все участки Онофре расхватили по той цене, которую он назначил. «В этом случае,— сказал дон Умберт Фига-и-Морера,— судьба была к тебе более благосклонна, чем ты того заслуживаешь, мошенник этакий». Онофре ничего на это не ответил, но, оставшись наедине с самим собой, расхохотался: через два-три дня те же самые рабочие, которые начали прокладывать рельсы, собрали их, погрузили на телеги и увезли. В деловых и финансовых кругах Барселоны признали, что операция не была лишена остроумия. А над теми, кто купил участки, зло посмеялись. «Что ж вы не справились в Трамвайной компании, что это за работы?» — спрашивали у них. «Мы увидели рельсы и ясли и подумали...» — «Плохо вы думали,— ответили им.— Теперь за хорошие деньги вы получили никуда не годную землю да еще недостроенные ясли, которые вам придется разбирать за свой счет». За этой операцией, получившей название «трамвайные рельсы» в отличие от дела «Наследников Рамона Морфемы», последовало много других. Хотя все уже знали, с кем имеют дело, Онофре всегда удавалось быстро продавать участки и получать баснословную прибыль, каждый раз он придумывал новый способ одурачить покупателей, сеял в их душах большие надежды, которые никогда не сбывались, это были созданные им самим миражи. Через два года с небольшим он стал очень богатым человеком. Меж тем его деятельность нанесла городу непоправимый ущерб, ибо жертвы Онофре оказались владельцами плохих участков, которые обошлись им очень дорого. Обычно такие земли приобретались, чтобы строить на них доходные дома для бедняков, например для иммигрантов и их семей. Но здесь владельцы участков, заплатив за них большие суммы, начали строить роскошные дома. Правда, роскошь эта была *sui generis*¹: во многих домах не было воды или ее не хватало, так что текла она только из одного крана, другие дома располагались на неровной местности, состояли из коридоров, закутков и задних комнат, напоминали трущобы. Чтобы частично восполнить потерю капитала, владельцы участков экономили на строительстве: кирпич использовали самый дешевый, цемент был перемешан с песком, а то и с солью, так что немало домов обрушилось, про-

¹ В своем роде (лат.).

стояв лишь несколько месяцев. Пришлось строить жилые дома и на участках, предназначавшихся для садов и парков, каретных сараев, школ и больниц. Чтобы как-то возместить убытки, старались украсить фасады. Из штукатурки, гипса и мелкой керамической плитки лепили стрекоз и цветную капусту по всему фасаду от первого этажа до крыши. Под балконами появлялись уродливые кариакиды, над эркерами и на плоских крышах — сфинксы и драконы, город наводнила мифологическая фауна, которая по вечерам, при свете фонарей нагоняла на прохожих страх. Перед подъездами поставили стройных ангелов с женскими фигурами, прикрывавших лицо крылом и более уместных у гробницы, нежели у входа в жилой дом, а еще в моде были мужеподобные женщины в латах и шлемах — валькирии; фасады окрашивались в яркие или пастельные тона. И все ради того, чтобы вернуть деньги, украденные у владельцев Онофре Боувиллой. Город рос быстро, на чистом энтузиазме. Каждый день выбирались тысячи тонн грунта, бесконечные вереницы телег везли его за Монжуик или сбрасывали в море. С землей выбрасывались и обломки древних руин, финикийских или римских, и кости барселонцев, живших не в такие бурные времена.



Летом 1899 года Онофре стал на ноги. В двадцать шесть лет он обладал значительным состоянием, однако его первоначальное могущество дало трещины. Предвыборные махинации, которые он проводил через сеньора Браульо, не приносили желаемого результата или требовали невероятных усилий. Настроение жителей Барселоны и всех испанцев изменилось после поражения в 1898 году, политические деятели помоложе подняли знамя возрождения, зывали к энтузиазму народных масс, пытались омолодить ветхую общественную структуру. Онофре понял, что бороться против них бесполезно и даже вредно, предпочел отказаться от прошлого и притвориться, что присоединяется к новому течению, сочувствует новым идеалам. Пришлось отозвать сеньора Браульо, ставшего символом коррупции. Для сеньора Браульо это

означало разлуку с Одоном Мостасой, от которого он был без ума. Горестно зарыдал и стал искать способа покончить жизнь самоубийством, и как можно скорей. Отказался от этой мысли из боязни повредить человеку, которого любил. Одон Мостаса был не ахти как умен, к новой жизни приспособиться не мог. Был головорезом — таким и остался, из-за пустяка хватался за револьвер. Женщины по-прежнему сходили с ума по нему, и не раз приходилось подкупать высокопоставленных чиновников, чтобы замять скандальное дело; надо было убрать труп, чтоб не нашли, и подмазать правосудие. Онофре Боувилы не раз предупреждал его: «Так не может продолжаться, Одон, брось эти шутики, мы теперь деловые люди». Одон клялся, что исправится, но при случае снова пускался во все тяжкие. Напоялся, разряжался, как павлин, ел и пил, не зная меры, но не толстел. Случалось ему выигрывать в карты целое состояние, тогда он приглашал встречного и поперечного, попойки за его счет стали легендой; а порой спускал все, увязал в долгах, и тогда ему приходилось обращаться к сеньору Браульо. Тот осыпал его упреками, но не мог ни в чем отказать. И теперь Одон Мостаса боялся, что без покровительства сеньора Браульо весь гнев Онофре Боувилы падет на него.

На этот раз он ехал в летний дом в Будальере в закрытой карете, несмотря на жару. Заказал, и ему сшили костюм в мастерской самого модного портного на Гран-Виа между улицами Монтанер и Касанова. Все лето он готовился к этому дню. Теперь он впервые надел новый костюм и сунул в петлицу гардению. Сам себе казался смешным, но ведь он ехал просить руки дочери дона Умберта Фига-и-Мореры. Купил обручальное кольцо в ювелирном магазине на Рамблас. Невесту он видел считанные разы, только когда она приезжала на лето в Будальеру. Так как в дом он не был вхож, то повидать ее мог только где-нибудь на поляне во время пикника, всегда на людях и лишь на короткое время. Она рассказывала ему о пустяках из жизни интерната при монастыре. Ему, привыкшему к соленым шуточкам проституток, с которыми он встречался довольно часто, ее простодушные речи казались истинным языком чистой любви. А сам он не знал, о чем с ней говорить. Пробовал рассказать о своих операциях с недвижимостью, но очень скоро заметил,

что она его не понимает. Расставаясь, заверяли друг друга в верности, но оба испытывали облегчение. Все эти годы они продолжали писать друг другу. Теперь он стал человеком состоятельным, а она уже покинула интернат и этой осенью должна была появиться в обществе. Правда, возможность быть принятой в высоких кругах барселонского общества была иллюзорной из-за малопочтенного ремесла дона Умберта, однако, если какой-нибудь молодой человек из порядочной семьи, пленившись ее красотой, женится на ней, это узаконит ее принадлежность к обществу и даже улучшит положение ее родителей. Онофре Боувилла понимал, какая опасность грозит ему, потому и хотел попросить ее руки заблаговременно, не дожидаясь, пока она начнет выезжать в свет. Он не сомневался, что красота ее обеспечит ей успех в любом салоне.

— Стоит ей появиться в «Лисео», — делился он с Эфреном Кастельсом, — и я останусь без невесты.

За последние годы гигант из Калельи сильно изменился: уже не гонялся за первой попавшейся юбкой. Он женился на молоденькой швее, девушке очень мягкой в обращении, но с очень твердым характером, стал заботливым семьянином — у них родилось двое детей. Он и теперь был готов сделать что угодно по приказу Онофре, но предпочитал дела серьезные и законные. По примеру Онофре удачно вложил свои сбережения в куплю-продажу недвижимости и теперь был хорошо обеспечен.

— Потолкуй с доном Умбертом, — посоветовал он Онофре. — Он тебе многим обязан, и, если он человек порядочный, каким я его считаю, он отдаст руку дочери скорее тебе, чем кому-нибудь другому.

Его провели в небольшую гостиную. «Будьте добры немного подождать, — сказал дворецкий, который не знал, кто он такой, — у сеньора совещание». В гостиной было душно. Здесь такая же жарница, как в Барселоне, подумал Онофре, у меня в горле пересохло, хоть бы догадались подать чего-нибудь прохладительного! Почему в такой день со мной обращаются, точно с посторонним? Подождав, как ему показалось, довольно долго, он вышел из гостиной и пошел по коридору с белеными стенами. Проходя мимо какой-то двери, услышал голоса, в том числе голос дона Умберта, остановился и стал слушать.

Разговор его заинтересовал, и, почти забыв о цели своего визита, он толкнул дверь и вошел, как оказалось, в кабинет хозяина дома. Дон Умберт беседовал с двумя господами: один из них был американец из Соединенных Штатов по фамилии Гарнет, тучный потливый мужчина, предавший свою страну и служивший испанским интересам на Филиппинах во время последней войны, исход которой заставил его на время уехать из тех краев; второй — худой загорелый кастилец с черными с проседью усами, его называли просто Осорио. На обоих были костюмы в полоску, белые рубашки с целлулоидным воротничком, без галстука (в колониальном стиле), и альпаргаты из испанского дрока. Шляпы оба держали на коленях, это были панамы, и Онофре сразу же вспомнил об отце, ведь он до сих пор не удосужился снять ипотеку с родительских земель. Вторжение Онофре прервало разговор, который вели эти три человека. Все взоры обратились к нему. Черный костюм, цветок в петлице и пакетик из ювелирного магазина внесли диссонанс в общую атмосферу. Дон Умберт представил его своим собеседникам, и Гарнет продолжил рассказ о том, как накануне морского сражения у Филиппинских островов в прошлом году он встретился с командующим американской эскадрой адмиралом Дьюи и передал ему предложение испанского правительства: сто пятьдесят тысяч песет, если он даст испанским кораблям потопить американские. Встреча эта произошла в одном из баров Сингапура, тогдашней британской колонии. Адмирал Дьюи поначалу принял его за сумасшедшего. «Вам известно,— сказал он,— что испанские военные корабли настолько никудышные, что моя эскадра может их пустить ко дну, не завязывая боя». Гарнет кивнул: «Вы это знаете, и я это знаю, но Управление кораблестроения испанского военно-морского флота заверило правительство Его Величества в обратном. Если теперь испанская армада будет потоплена, представьте себе, каким это будет ударом для испанского правительства». «Предотвратить это я не в силах»,— ответил Дьюи.

— Вот так мы и лишились последних колоний,— заметил дон Умберт, когда американец закончил свой рассказ.— И теперь наши портовые города забиты вернувшимися на родину солдатами.

И действительно, каждый день пароходы доставляли в Испанию оставшихся в живых участников войны на Кубе и на Филиппинских островах. Год за годом сража-

лись они в заболоченных джунглях и выглядели стариками, хоть лет им было совсем немного. Почти все страдали перемежающейся лихорадкой. Семьи не хотели их принимать из боязни заразиться, они не могли найти работу и не имели никаких средств к существованию. Их было так много, что даже просить милостыню им приходилось по очереди. Им не подавали: «Вы позволили втоптать в грязь честь родины,— говорили солдатам,— а теперь у вас хватает наглости просить о сострадании!» Многие умирали от истощения прямо на улице, а остальные утратили всякую надежду. Теперь вложение капитала в бывшие колонии могло осуществляться только через посредников, таких, как Гарнет, гражданин Соединенных Штатов Америки. Тот, кого называли Осорио, оказался не кем иным, как генералом. Осорио-и-Кlemente, бывшим губернатором Лусона и одним из самых крупных землевладельцев на Филиппинском архипелаге. Дон Умберт Фига-и-Морера взял на себя труд согласовать интересы того и другого, обеспечить необходимые взаимные гарантии.

Когда оба клиента ушли и адвокат остался наедине с Онофре, этот последний с понятным волнением изложил цель своего визита. Дон Умберт тоже разволновался. У них уже был предварительный разговор на эту тему, и дон Умберт, ничего конкретно не обещая, все же дал понять в неясных выражениях, что считает его своим зятем. А теперь старался найти удобную форму, чтобы пересмотреть этот вопрос.

— Все дело в моей жене,— сказал он.— Нет никакой возможности убедить ее. Я спорил с ней до хрипоты, но у нее свои убеждения, а в этих делах, как ты сам поймешь, когда у тебя будут дети, решает мать. Не знаю, что тебе и сказать. Наверно, ничего не поделаешь, ищи другую невесту. Поверь, я об этом горько сожалею.

— А она,— спросил Онофре,— что говорит она?

— Кто? Маргарита? Ну, она поступит так, как скажет мать, я должен тебе это сказать, хоть ничего приятного для тебя в этом нет. Женщины много страдают из-за любви, но судьбу свою и свое будущее под удар из-за нее не ставят. Думаю, ты меня поймешь.

Ни слова не говоря, Онофре взял со стола пакетик из ювелирного магазина и пошел к выходу, хлопая всеми дверьми, которые ему попадались по пути. Они воображают, что кто-то влюбится в эту дурочку, говорил он себе, стиснув зубы, в нем бушевала злость. Ты еще

прибежишь ко мне просить на коленях прощения, но я тебя не прошу, последняя шлюха из квартала Карбонера стоит в тысячу раз больше, чем ты! Однако под стук колес экипажа по камням шоссе злость его мало-помалу улеглась, и в Барселону он приехал в глубокой грусти. Закрылся в своей комнате и никого не пускал к себе две недели. Еду приносила ему служанка, которую он нанял три года тому назад и которой платил непомерное вознаграждение, чтобы быть уверенным в ее преданности. Наконец соизволил принять Эфрена Кастельса. Тот был весьма озабочен состоянием духа своего патрона, никогда он еще не видел его в таком настроении, постарался тем временем разузнать, в чем тут дело, и теперь пришел доложить о результатах расследования.

Жена дона Умберта Фига-и-Мореры была неглупой женщиной, она прекрасно понимала, что ни один молодой человек из хорошей семьи не совершит такого безрассудного поступка, как женитьба на ее дочери Маргарите. Но она не собиралась и отдавать ее без борьбы такому простолыдину, как Онофре. Размышляя об этом денно и ночью, она нашла наконец достойного претендента на руку дочери. На первый взгляд, выбор ее казался невероятным. Она решила, что больше всех ей в зятя подходит не кто иной, как Николау Канальс-и-Ратаплан, сын того самого дона Алешандре Канальс-и-Формиги, которого сеньор Браульо заколол кинжалом в его собственном кабинете по приказу Онофре Боувилы восемь лет тому назад. С той поры Николау Канальс жил с матерью в Париже; отец его, как и многие другие каталонские обладатели капитала, вложил свои деньги во французские предприятия, чтобы они там «работали». Его акции, представлявшие собой недурное состояние, должны были перейти в руки Николау Канальса, как только он достигнет совершеннолетия. А пока что мать его распоряжалась состоянием благоразумно и даже увеличила его путем удачных операций. Мать и сын поселились в приличном особняке на улице Риволи, просторном и со всеми удобствами, хотя и скромном, где жили довольно уединенно. Сыну к тому времени исполнилось восемнадцать или девятнадцать лет, это был меланхоличный юноша, за все эти годы он так и не нашел утешения, после того как потерял отца, которого весьма почитал. А его отно-

шения с матерью никогда не были теплыми, причем ни один из них не был в этом виноват. Для нее неожиданная смерть двух старших сыновей явилась таким ударом, после которого она так и не смогла оправиться, без всяких на то оснований винила в несчастье мужа, к которому с той поры утратила какие бы то ни было нежные чувства; эта неприязнь распространялась и на единственного оставшегося в живых сына. Такое отношение к обоим было несправедливым, она это знала, но ничего не могла с собой поделать. В довершение всего у Николау был серьезный физический недостаток — искривление позвоночника, — который хоть и не прогрессировал, но и не проходил с годами, и мать из-за этого упрекала себя в недостатке внимания к ребенку. С его младенческих лет она старалась как можно реже видеть его, поручив уход за ним кормилицам, нянькам и гувернанткам. И теперь положение обязывало ее жить затворницей, общаться только с этим юношей, которого она никогда не любила и от которого, кроме всего прочего, и зависела юридически — оба они ели хлеб, который по закону принадлежал ему. Он, со своей стороны, остро ощущал, что он в тягость матери, не строил никаких иллюзий насчет материнской любви и старался общаться с ней как можно меньше. Физический недостаток не позволял ему сойтись со сверстниками, и он жил в почти полном одиночестве. Единственным, что он любил в жизни, был Париж. Когда они с матерью были вынуждены бежать из Барселоны, Париж показался ему враждебным городом, а его обитатели — жестокими и свирепыми чудовищами. Потом незаметно для себя он понемногу привык к парижской жизни и в конце концов полюбил этот город всем своим сердцем. Теперь Париж был его счастьем. Пройтись по его улицам, посидеть на скамье в сквере, пофланировать по бульварам и садам, посмотреть на людей, дома и на Сену — ничего больше ему было не надо. Иногда во время таких прогулок он вдруг останавливался на каком-нибудь углу, сам не зная почему, и озирался вокруг, словно в первый раз видел то, что знал как свои пять пальцев; в такие минуты его охватывало волнение, на глаза навертывались слезы. Если в это время шел дождь, он складывал зонтик, чтобы омыться парижским дождем. Промокший и сотрясаемый рыданиями молодой человек привлекал внимание прохожих, те жалели его, не понимая, что это

слезы счастья. Иногда к счастью примешивался страх: а что с ним будет, если придется расстаться с Парижем? Он знал, что Париж — не его родной город, и это доставляло ему почти физическое страдание: и мать его отталкивает, и город неродной, к которому он не может предъявить никаких претензий, он — ничей. Он и не подозревал, насколько обоснованны были эти страхи.

Супруга дона Умберта Фига-и-Мореры написала длинное и смелое письмо вдове дона Алешандре Канальс-и-Формиги, после необходимых околичностей перешла к делу: «Извините, любезная сеньора, мою смелость, которая побуждает меня в такой необычной форме обратиться к Вам, но я убеждена, что Ваше материнское сердце подскажет Вам, какие чувства руководят мною, и поможет Вам понять и простить мою смелость, когда Вы прочтете эти строки, вызванные исключительно добрыми намерениями». Затем без обиняков она излагала свой план: поженить Николау Канальс-и-Ратаплана со своей дочерью Маргаритой Фига-и-Кларенсой, присовокупив при этом, что оба — единственные дети и наследники, соответственно, родительского состояния. Оба — своего рода изгой барселонского общества, добавляла она. И какие перспективы ждут Николау Канальса в Париже, где он навсегда останется чужеземцем и нежелательной фигурой в обществе? «А в этом союзе, — продолжала она, — которому я заранее радуюсь в душе, воплотится извечное единство целей и интересов, всегда объединявшее наши два рода». И в заключение писала: «Хотя Маргарита и Николау никогда не встречались, я не сомневаюсь, что, будучи оба молоды, воспитанны, физически привлекательны и добры, они не замедлят обрести уважение и любовь друг к другу, на чем и зиждется прочное супружеское счастье». Каким-то неведомым путем супруга дона Умберта узнала адрес вдовы дона Алешандре Канальс-и-Формиги и отослала ей это письмо. Сообщила об этом мужу и показала ему почти точную копию письма. Дон Умберт не поверил своим глазам.

— Какой ужас! Как ты осмелилась? — проговорил он наконец. — Предлагать нашу дочь, точно какой-нибудь товар... не нахожу слов... какая нелепость! Да еще предлагать ее в жены сыну моего давнего соперника, в сопричастности к смерти которого меня многие обвиняют. Позор! И как у тебя рука не дрогнула написать, что этот юноша «физически привлекателен»? Разве ты не знаешь,

что он калека от рождения, что он урод? Я стыжусь твоего письма.

— Успокойся, Умберт,— невозмутимо сказала жена. Она не хуже его понимала эксцентричность своего поступка, но верила в свою счастливую звезду.

Тем временем вдова Канальса получила письмо и вдумчиво прочла его при мягком свете в своем доме на улице Риволи. Какая наглость! — думала она. Как ей не стыдно! При иных обстоятельствах она разорвала бы письмо на клочки. Ей еще не исполнилось сорока, она еще сохранила остатки былой красоты, которую, однако, могла окончательно потерять из-за переживаний; жизнь ее в этот критический период представлялась цепью обманутых надежд. «Une vie manquée»¹, — прошептала она, бросила письмо на ночной столик и принялась устало обмахиваться страусовым веером. На руке ее бренчали браслеты. С улицы доносился шум экипажей.

— *Anais, sois gentille: ferme les volets et apporte-moi mon châle en soie brodée*², — обратилась она к горничной, негритянке с Мартиники, которая всегда повязывала волосы ярко-желтым платком.

Год назад вдова донна Алешандре познакомилась с поэтом по имени Казимир, молодым человеком, происходившим неизвестно откуда. Ему было всего двадцать два года, он сразу же повел ее на Монпарнас, где собиралась богема: читали стихи и пили абсент. Вместе они ходили на похороны Стефана Малларме; она, однако, сознавала разницу в их возрасте и положении и не уступала его настойчивым домогательствам. Он присылал ей украденные с кладбища букеты цветов и зажигательные любовные сонеты. В глазах окружающих их отношения представлялись какой-то аномалией и давали повод для пересудов. А какое мне дело до сплетен? — думала она. Всю жизнь я была несчастна, а теперь, когда судьба посылает мне такой подарок, неужели я должна отказаться от него только из-за того, что кто-то что-то скажет? К тому же мы не в Барселоне, рассуждала она, борясь с собой. Здесь Париж, меня здесь никто не знает, стало быть, я могу поступить как мне заблагорассудится. Но то были лишь мысли, а на решительный поступок она отважиться

¹ Несостоявшаяся жизнь (франц.).

² Пожалуйста, Анаис, закрой ставни и принеси мне шелковую вышитую шаль (франц.).

не могла, мешало присутствие сына, который, таким образом, оказался на ее пути к счастью. Если бы она откровенно во всем ему призналась, он бы ее понял и поддержал, в этом она не сомневалась, он даже был бы рад тем самым выказать ей свою любовь и сочувствие взрослого человека, но их разделяли долгие годы взаимного отчуждения, и наладить искреннюю дружбу было уже не под силу. Терзаясь угрызениями совести, она думала, как бы избавиться от обременительного для нее присутствия сына. Вот почему она задумалась над содержанием письма. Идея показалась ей заманчивой, но было слишком много доводов против: она подозревала, что за внешне откровенным предложением скрыта тайная интрига. Собственно говоря, думала она, зачем ей нужен в зятя мой бедный Николау? Он не знатен, робок и к тому же имеет физический недостаток. Значит, ей нужны только его деньги, наверняка это так. Но в этом случае жизнь Николау окажется в опасности: если этот подлец, ее муж, подослал убийцу к моему мужу, да будет земля ему пухом, он преспокойно может так же поступить и с его наследником. Может, речь идет о варварской кровной мести, какая уже много веков существует в Турции? На одном из приемов она познакомилась с посланником Абдула Проклятого, ничтожного султана, ускорившего окончательный упадок знаменитой Оттоманской империи, которую уже не первое десятилетие называли «язвой Европы». Этот посланник, последователь Энвер-бея и, стало быть, сторонник движения младотурок, не пропускал случая хулить государство, которому служил, получая за это немалое вознаграждение; он сам и являлся живым примером морального вырождения, с которым он и его единомышленники якобы вели борьбу. Вдова дон Аляшандре вздрогнула от озноба и закуталась в наброшенный на плечи манильский платок. Потом позвонила и, когда Анаис явилась, спросила, дома ли сын. «Oui, madame»¹, — ответила та. «Alors, dis-lui que je veux lui parler, vas vite»². Она хотела быть доброй к нему, поговорить как с равным, но, когда он вошел в ее комнату, поморщилась.

— Как! — воскликнула она раздраженно. — Еще так рано, а ты уже в *robe de chambre*³?

¹ Да, мадам (франц.).

² Тогда скажи ему, что я хочу с ним поговорить, сейчас же (франц.).

³ Халате (франц.).

Николау стал неловко оправдываться: он, дескать, не собирался выходить, хотел почитать, но если она хочет предложить что-то другое... «Нет-нет, ничего,— сказала она,— у меня ужасно болит голова, пусть никто меня не беспокоит до утра, ступай». Закрывшись на ключ, она принялась писать, исправляя, переписывая заново, бросая в корзину испорченные листы. Наконец ей показалось, что она нашла нужный тон. «Ваше письмо, сударыня, вызвало у меня чувство благодарности и вместе с тем тревогу, которую Вы, как мать, несомненно, поймете. Я всегда держалась мнения, что в вопросах брака решающее слово за теми, кто в него намерен вступить, руководствуясь прежде всего своими чувствами, и мы, матери, не должны навязывать детям свою волю, какими бы добрыми ни были наши побуждения», и так далее. Супруга дона Умберта Фига-и-Мореры, прочтя это письмо, поняла, что успех обеспечен: хоть ответ и был уклончивым, но из него следовало, что найден общий язык для дальнейших переговоров. С чувством законной гордости она показала письмо мужу. Тот его прочел и ничего не понял.

— Тут о свадьбе ни слова не сказано,— резюмировал он свое впечатление.

— Умберт, не будь простачком,— ответила жена насмешливо.— Уже то, что она мне ответила, означает согласие, даже если в письме утверждается обратное. Это женская хитрость.

Своего сына вдова дона Алешандре поставила перед свершившимся фактом. Он, не подозревая о том, что затевается серьезная игра, сопротивлялся вяло и нерешительно.

— Ну-ну,— прервала она его возражения, нервно постукивая ногой по паркету,— что ты понимаешь в жизни? Доверься моему опыту, я много страдала, я твоя мать и знаю, что для тебя лучше.— И добавила нарочито убежденным тоном: — Тебе надо поехать в Барселону и жениться на этой девушке. Ничто не мешает вам быть счастливыми.

— Но вы же знаете, что это за люди,— пробормотал он.— Это они подослали к отцу убийцу.

— Пустые разговоры,— возразила она.— Как бы там ни было, девушка не имеет к этому никакого отношения, она была в то время грудным младенцем. К тому же, что прошло, то прошло, это страшное для нас событие

случилось много лет назад, не можем же мы до конца дней своих жить прошлым, не правда ли?

Николау Канальс-и-Ратаплан отправился бродить по городу, вернулся на улицу Риволи только под вечер. Прошел прямо в комнату матери и заявил:

— Мама, я не хочу жениться. Ни на этой девушке, в достоинствах которой я не сомневаюсь, ни на какой другой. И также не хочу жить в Барселоне. Единственное, чего мне хочется, это остаться здесь с вами. Ведь мы счастливы в Париже, правда?

У нее не хватило духу ответить отрицательно, сказать, что она несчастлива как раз из-за него, из-за его постоянного присутствия. «Это не имеет никакого отношения к тому, о чем мы говорили утром,— сказала она и, помолчав, добавила: — Ты уже вышел из возраста, когда держатся за материнскую юбку». Тут он понял наконец, в чем дело, и в знак согласия открыл ей свои объятия.

— Если вас обременяет лишь то, что мы живем вместе, я могу жить в мансарде на Монпарнасе,— предложил он.

После долгих споров они пришли к такому соглашению: Николау Канальс-и-Ратаплан поедет в Барселону, познакомится с Маргаритой Фига-и-Кларенсой и только тогда примет окончательное решение. Если захочет, пусть возвращается в Париж. Этой уступкой мать обрекала себя на некоторую половинчатость решения проблемы, но требовать от него большего была не в силах. И без того было жестоко отсылать его от себя, но ей это было необходимо, и теперь она поняла, что их связывают многие нити: как ни хотелось ей избавиться от сына, она загрустила из-за его предстоящего отъезда, ее даже стали одолевать дурные предчувствия. Обо всем этом поведал Онофре Боувила, когда после добровольного заточения начал вырабатывать стратегию борьбы за то, чтобы изменить в свою пользу неблагоприятное для него положение дел.



Прежде всего он велел своим людям узнать, где живут плантатор с Лусона Осорио и его филиппинский

агент Гарнет, с которыми случайно познакомился в день своего неудачного сватовства, и последить за ними. Оказалось, что американец занимает номер «люкс» в отеле «Колон», находившемся в те времена на Пласа-де-Каталунья неподалеку от Пасео-де-Грасиа, там же столуется и выезжает в закрытом наемном экипаже лишь два раза в неделю — по вторникам и четвергам, — чтобы посетить заведение для курильщиков опиума в Валькарке. Там проводит ночь, а утром тот же экипаж приезжает за ним и отвозит обратно в отель. Эту знаменитую курильню, последнюю из легально существовавших в Барселоне, посещали видные люди, в том числе дамы из высшего круга, но ходили туда и модистки, и молоденькие продавщицы. Тогда еще не было известно, что курение опиума или другого зелья, приготовленного на его основе, приводит к наркомании, поэтому курить его не запрещалось и занятие это не считалось предосудительным. Конечно, многие из ходивших туда девушек, не имея достаточно средств на такое дорогое удовольствие, вынуждены были заниматься проституцией. Обычно владельцы курилен тайно содержали и бордель, где можно было найти и несовершеннолетних проституток. Остальное время Гарнет проводил в отеле, читая о приключениях Шерлока Холмса, еще неизвестного в Испании, но уже ставшего очень популярным в Англии и Соединенных Штатах, откуда Гарнет и выписывал книги, пользуясь услугами «Америкен экспресс». Осорио-и-Клементе снимал квартиру на улице Эскудельерс, считавшейся в те времена фешенебельной. Из прислуги держал лишь слугу-филиппинца, а компанию ему составлял шпиц. Каждое утро слушал мессу в церкви Святого Юста. Вечерами посещал кружок знатоков тавромахии, членами которого состояли преимущественно отставные военные, каким был и он сам, высшие чиновники и жандармские офицеры. Там играли в мус. Онофре Боувилла решил обратиться к Гарнету.

Пришел к нему в отель и без околичностей рассказал о своих намерениях. «Осорио долго не протянет, — сказал он. — Лет ему порядочно, а тропический климат для стариков губителен. Если с ним произойдет что-нибудь серьезное, вы могли бы устроить так, что все владения Осорио перешли бы не к его наследникам, а, скажем, ко мне». Американец поднял брови. Он потягивал мелкими глотками смесь из лимонада, рома и сельтерской.

— С точки зрения юридической,— сказал он наконец,— дело намного сложнее, чем вам это кажется.

— Я знаю,— сказал Онофре и показал ему пачку написанных от руки бумаг.— Я раздобыл копии контрактов, которые вы с ним заключили при посредничестве адвоката Фига-и-Мореры.

— Так, ясно,— сказал Гарнет, бросив взгляд на копии.— Мне понадобится помощь дона Умберта.

— Об этом я позабочусь.

— А кто позаботится об Осорио?

— Тоже я.

Американец сказал, что предпочитает пока что больше не говорить об этом деле. «Зайдите ко мне дня через три-четыре, мне нужно кое-что восстановить в памяти». Через несколько дней они встретились снова. На этот раз американец высказал свои опасения: «Если с Осорио случится что-нибудь...— как вы тогда сказали? — что-нибудь серьезное, вот именно; так если с ним случится что-нибудь серьезное, нетрудно будет замешать и меня в это трагическое событие, не так ли?» Онофре Боувила улыбнулся:

— Если бы вы не высказали этого опасения, я бы отказался вступить с вами в союз. Но теперь я вижу, что вы человек осмотрительный и продумали дело до мелочей. Сейчас я изложу вам свой план.

Выслушав Онофре, американец счел себя удовлетворенным. «Хорошо,— сказал он.— Теперь поговорим о процентах». И по этому пункту они пришли к соглашению.

— О том, что мы здесь обсудили,— сказал Онофре, вставая, чтобы уйти,— конечно, не останется и не должно оставаться никаких записок.

— Мне случалось вести дела с такими людьми, как вы,— сообщил Гарнет,— и я знаю, что достаточно рукопожатия.

Они пожали друг другу руки.

— Что касается молчания...— сказал Онофре.

— Я знаю ему цену. Никому ни слова.

Тем временем Эфрен Кастельс, чтобы выполнить поручение Онофре Боувила, тайком от жены снова стал пользоваться своей мужской неотразимостью: ему удалось вступить в связь с горничной, служившей в доме дона

Умберта Фига-и-Мореры, от нее он узнавал обо всем, что творилось в доме, и таким образом Онофре следил за всеми поворотами извилистого пути, который должен был привести девушку к свадьбе с Николау Канальсом. Воля матери возобладала над чувствами девушки, как и предсказывал дон Умберт. Маргарита пробовала восстать, но против всевозможных уловок и хитрых ходов матери бороться не могла. Та, в отличие от матери Николау Канальса, своей будущей сватье, не поставила вопрос ребром, а постепенно добивалась от дочери мелких уступок. У нее было то несомненное преимущество, что она знала о любви Маргариты к Онофре, а дочь и не подозревала, что матери это известно, и не осмеливалась сослаться на эту причину своего сопротивления намерениям матери, боялась, что это принесло бы Онофре серьезные неприятности. Таким образом, увещевания матери, которая по-прежнему держала дочь в неведении относительно своей осведомленности о ее сердечных делах, Маргарита не могла противопоставить никаких серьезных возражений и понемногу уступала. Так случилось, что сначала ее родители завязали переписку с вдовой дона Алешандре, и та раз от разу все больше склонялась к тому, чтобы принять предложенный ей матримонийный план. Скоро Маргарита согласилась на помолвку. Позволила родителям окончательно вторгнуться в свою судьбу.

— Ну-ну, не капризничай,— говорила ей мать, когда она хотела от чего-нибудь отказаться,— нас это ни к чему не обязывает, просто долг вежливости.

— Ах, мама, то же самое вы говорили мне и в прошлый раз, и в позапрошлый, и в позапозапрошлый. И вот так, ничего особенного не делая, выполняя долг вежливости, я оказываюсь чуть ли не под венцом.

— Глупости, девочка,— отвечала на это мать.— Послушать тебя, так можно подумать, что мы живем в средние века. Последнее слово всегда за тобой, глупышка: никто не собирается заставлять тебя делать то, чего ты не хочешь. Но я не вижу никаких причин, чтобы ответить невежливым отказом на любезное внимание, которое оказывают нам эта очаровательная сеньора и ее сын, юноша воспитанный, порядочный и богатый.

— И горбатый.

— Не говори так, ведь ты же его не видела, а люди, сама знаешь, имеют обыкновение преувеличивать чужие

недостатки. А кроме того, подумай о том, что физическая красота рано или поздно приедается, даже утомляет. Зато красота души... ну, не знаю... думаю, что с каждым днем нравится все больше. И хватит об этом, у меня от этой болтовни голова идет кругом.— Мать выходила в коридор, звонила в колокольчик, вызывая служанку, требовала таз с водой и уксусом и льняные платки, которые прикладывала ко лбу и к вискам.— Вы с отцом меня в гроб вгоните! Боже мой, какая неблагодарность!

На это Маргарита уже не знала, что ответить. Через Эфрена эти разговоры доходили до Онофре.

— Прекрасно,— сказал наконец Онофре Боувила,— настал момент перейти от слов к делу.

В ту ночь они нашли калитку незапертой: горничная подкупила привратника, садовника и лесника, собаки были в намордниках. Эфрен Кастельс нес на плече пятиметровую приставную лестницу, через каждые три шага останавливался и затыкал рот платком, чтобы не расхохотаться. «Да что с тобой, черт побери?» — спросил Онофре Боувила. Гигант из Калельи ответил, что эта романтическая обстановка напомнила ему добрые старые времена: «Помнишь, как мы с тобой воровали часы и другие вещи со складов Всемирной выставки?» «Ну, что вспомнил! — отозвался Онофре.— С тех пор прошло пятнадцать лет, тогда мы занимались пустяками». Услышав голоса, собаки подняли лай. На террасе второго этажа показался дон Умберт в шелковом халате. «Что там такое?» — спросил он. Привратник вышел из своей будки и снял шапку: «Ничего, сеньор, собаки, видать, учуяли сову». Когда дон Умберт ушел, Онофре и Эфрен Кастельс продолжили путь. «Так вот, мне кажется, будто это было вчера», — сказал гигант. Горничная ждала их возле дома: на фоне плюща, увивавшего стену, четко выделялись белый передник и такая же накладка. Она указала на окно и, сложив ладони, прижалась к ним щекой — дескать, спит. Эфрен Кастельс приставил лестницу к окну, проверил ее устойчивость и прочность. «Ждите меня здесь,— приказал Онофре,— никуда не отлучайтесь, пока я не спущусь». Пока он поднимался, гигант из Калельи держал лестницу. С годами Онофре утратил ловкость; он не глядел вниз, опасаясь, как бы не закружилась голова. Черт побери, подумал он, мне тоже

кажется, что это было вчера. Что-то ударило его по бедру — это он зацепился за перекладину ручкой револьвера. Вытащил его из кармана и тихонько свистнул. Когда убедился, что Эфрен Кастельс поднял голову, бросил ему револьвер, который тот поймал на лету. Наконец Онофре добрался до окна, оно оказалось на задвижке; ни жара, ни гигиенические предписания, которыми пестрели тогда газеты, не заставили Маргариту спать с открытым окном. Пришлось несколько раз постучать, прежде чем появилось заспанное лицо девушки, на котором было написано изумление. «Онофре! — воскликнула она. — Это ты! Что значит твое неожиданное появление?» Онофре сделал жест, выражавший нетерпение: «Открой окно ипусти меня к себе, нам надо поговорить». Снизу зашептали гигант и девушка: «Эй, вы там! Говорите потише! Не то разбудите всех, кто есть в доме». Маргарита открыла окно и приблизила к щели лицо; рассыпанные по плечам медно-красные волосы подчеркивали белизну шеи, от жары несколько локонов прилипло во сне ко лбу — никогда он не видел ее такой красивой.

— Впусти меня, — снова попросил он глухим от волнения голосом. Она поморгала, брови ее выгнулись. «Не могу», — прошептала она. Несколько лет они не виделись, лишь писали друг другу, и теперь обоим трудно было перейти на устную форму общения. Онофре почувствовал, что кровь закипает, как в тот день, когда он разбил зеркало алебастровой статуэткой. «Это правда, что ты выходишь замуж за горбуна?» — спросил он таким свирепым голосом, что она испугалась. Впервые поняла серьезность всех маневров матери. «Господи боже мой! — прошептала она. — Что же я могу поделать? Как мне избежать этого?» Онофре улыбнулся: «Об этом позабочусь я. Только скажи: ты меня любишь?» Она сцепила руки и подняла их над головой, как бы взывая к небесам, потом закрыла глаза и откинула голову назад, точь-в-точь как тогда, когда он впервые держал ее в своих объятиях. «О да, да, — произнесла она глухим и низким голосом, исходившим из самых глубин ее груди, — да, любовь моя, жизнь моя, любимый мой!» Он снял руки с перекладки, за которую держался, просунул их в открытое окно и рванул на ней рубашку, обнажив белые плечи. От резкого движения едва не потерял равновесие. Она испугалась за него, схватила за руки, потянула к себе, от отчаянья силы ее утлоились, и она втащила

его в комнату, они слились в объятии и, сами не зная как, оказались на постели, она почувствовала его прерывистое дыхание на своих обнаженных плечах и в полуморочном состоянии отдалась ему, ничуть об этом не сожалея. Пока они до самого утра упивались так долго сдерживаемой любовью, поезд, на котором ехал Николау Канальс-и-Ратаплан, подходил к Порт-Бу. Там всех пассажиров пересадили в другой поезд, так как ширина колеи во Франции и в Испании была неодинакова. Николау спросил, сколько времени займет пересадка, и ему сказали, что не менее получаса; тогда он решил размяться и вышел на платформу. От Парижа до границы с ним в купе ехал мужчина, который сначала сказал, что он коммерсант, а потом — что консульский агент, и всю дорогу докучал ему сначала болтовней, потом храпом. «Так или иначе,— сказал себе Николау,— я бы все равно не мог заснуть». Пройдя здание вокзала, он вышел на площадку, откуда видно было Средиземное море, залитое ярким светом несмотря на ранний час. Впервые за долгие годы ступил он на каталонскую землю и удивился — из всех воспоминаний о Барселоне в памяти его жило только одно, а именно: он помнил, как отец, оставив дела, катал его на карусели, освещенной бумажными фонариками, которую крутил старый мул; маленькое и грязное сооружение казалось ему тогда самой прекрасной вещью на свете, вот и теперь он о ней вспоминает; созерцая ясное и чистое утро, он подумал вдруг, что близок конец его жизни, что никогда не вернется он в дождливый и туманный Париж, к которому привязался всей душой. Сначала он вздрогнул, потом пожал плечами: будучи от природы расположенным к ипохондрии, он свыкся с подобными черными мыслями, внезапными приливами грусти, научился не обращать на них внимания. Когда поезд тронулся, солнце поднялось уже довольно высоко над горизонтом; Эфрен Кастельс с тревогой поглядывал на окно; скоро начнут вставать ото сна обитатели дома, бродить повсюду и нас застанут в самом что ни на есть компрометирующем положении, что тогда делать? — думал он. Всю ночь он простоял на часах в саду, горничная была рядом, и он не смог сдержаться, обуздать влечение к ней. «Это все из-за того, что здесь пахнет жасмином, а у тебя такая нежная, гладкая кожа», — сказал он ей потом. Сейчас девушка лежала под кустом с задранными юбками и горько плакала, забыв даже привести себя

в порядок. И слезы она проливала не зря: в результате подобных встреч с Эфреном она забеременела, это стало заметно, и ее выгнали с работы. Несчастливая девушка пошла разыскивать Эфрена, нашла его и попросила о помощи, тот, боясь, как бы о его грехопадении не проведала законная жена, посоветовался с Онофре Боувиллой. «Заплати ей сколько надо и скажи, чтоб помалкивала», — посоветовал тот; Эфрен так и поступил. В положенный срок родился ребенок, мальчик, который унаследовал рост и силу отца и, после того как вырос, стал игроком Футбольного клуба Барселоны, основанного в тот самый год, когда он был зачат; играл вместе с такими знаменитыми игроками, как Самора, Самитьер и Алкантара. Эфрен хотел вернуть Онофре револьвер, который тот бросил ему с лестницы, но Онофре велел оставить его себе. «Отныне и впредь, — сказал он, — я не собираюсь носить при себе оружие, пусть за меня это делают другие».

Николау Канальс-и-Ратаплан поселился в просторном и светлом номере гостиницы «Гран отель де Арагон». Завтракая на балконе, глядел на деловое мельтешение Рамблас, вдыхал смешанные запахи цветов, слушал трели всяких пичужек — все это возвращало ему хорошее настроение. Проведу здесь несколько приятных дней и возвращусь в Париж, думал он. Перемена обстановки на короткое время действует всегда благотворно; по возвращении Париж покажется еще милей моему сердцу, а возможно, и мама после разлуки со мной примет меня ласковой. Зловещие предчувствия, охватившие его на станции Порт-Бу, теперь казались ему плодом проведенной без сна ночи. В одном из своих предположений он не ошибался: его мать теперь раскаивалась, что принудила его уехать. Через несколько дней после отъезда сына она заехала к Казимиру и увезла его к себе в дом на улице Риволи. «Со мной тебе будет хорошо, — сказала она, — я буду о тебе заботиться, и ты сможешь целиком посвятить себя поэзии». В полночь она внезапно проснулась и, не увидев рядом Казимира, испугалась. Накинув пеньюар, вышла из спальни и отправилась его искать, нашла в гостиной — он стоял у окна и, словно в оцепенении, глядел на звезды.

— Qu'avez-vous, mon cher ami? ¹ — спросила она. И так как Казимир не отвечал, подошла к нему и, взяв

¹ Что с вами, милый друг? (франц.)

его руку в свои, тотчас заметила, что рука у него горит, и поняла, что теряет и сына, и любовника. На другой день она написала сыну: «Возвращайся в Париж, то, что мы делаем,— ошибка и безумие. Еще хочу сообщить тебе, Николау, сын мой, что у меня есть возлюбленный по имени Казимир, я не говорила тебе о нем, боялась, не поймешь и осудишь, признаю, что и в этом была не права перед тобой. Я хотела принудить тебя к этому брачному союзу, который мне был так же противен, как и тебе, но я поступила так из эгоизма: мне нужна была свобода, которую дал мне твой отъезд. Теперь Казимир умирает от истощения у меня на руках, и я остаюсь совершенно одна. Мои годы дают о себе знать, и я хочу, чтоб ты был рядом...» и так далее. Письмо это при других обстоятельствах составило бы счастье Николау, но оно пришло слишком поздно.

Семейство дона Умберта Фига-и-Мореры уже вернулось в город из Будальеры, когда Николау написал им, что прибыл в Барселону. Записку адресовал супруге дона Умберта, изъявляя совершенное к ней почтение. Вместе с запиской послал букет цветов.

— Ничего не скажешь — воспитанный молодой человек, — заметила она.

На другой день Николау получил приглашение зайти вечером в их ложу в театре, где будет подана холодная закуска. Он не сразу сообразил, что речь идет о «Лисео», на премьере в котором он собирался обязательно побывать. Послал рассыльного купить билет в партере и сдал свой фрак соответствующей службе отеля, чтобы его срочно отутюжили. Из-за искривления его стана довести фрак до кондиции было нелегко: как бы его ни гладили, он сидел мешком.

Подъехав к подъезду «Лисео», он увидел у входа полицейский заслон. Подумал, что произошло еще одно покушение вроде того, которое было произведено пять лет тому назад в этом самом театре, совершил его Сантьяго Салвадор, об этом покушении говорили многие каталонцы, останавливавшиеся в отеле на улице Риволи проездом через Париж. Но на самом деле сейчас ожидали черногорского князя Николая, который соизволил почтить своим присутствием эту премьеру, завершавшую празднества в честь Благодатной Девы Марии. Он сел на свое место, когда газовые рожки уже начали тускнеть, роскошный зал погружался в полутьму. В тот вечер в

«Лисео» шла премьера оперы «Отелло» Джузеппе Верди. В Париже в последние годы все популярнее становилась музыка Клода Дебюсси, который считался самым великим композитором, исключая Бетховена. Николау с восторгом следил за всеми его премьерами, бывал на всех, за исключением «Пеллеаса и Мелисанды»¹, когда грипп уложил его в постель на несколько дней; в тот раз он не успокоился до тех пор, пока мать не пошла и не купила ему партитуру, несмотря на жуткий холод. Чтение партитуры способствовало его выздоровлению. Музыка Верди показалась ему слишком шумной и велеречивой. Не стоило и приходить, подумал он. Когда зажглись огни, он решил исполнить долг вежливости. Пребывая в полном неведении относительно жизни барселонского общества, стал спрашивать в коридорах, где находится ложа семейства Фига-и-Мореры. По мере того как он приближался к их ложе, им все больше овладевали злость и стыд. «За каким дьяволом я иду преломить хлеб с убийцей моего отца?» — спрашивал он себя. Он полагал, что в ложе будет полно народу и его присутствие почти никем не будет замечено. Но там оказались лишь дон Умберт с супругой, Маргарита и слуга, в камзоле и в панталонах до колен, который держал в руках поднос с печеньем и птифурами. Николау не знал, что дон Умберт разослал немало приглашений, но все ответили отказом. Они остались в кругу семьи. Николау не очень ловко произнес приличествующие случаю фразы.

— Жителю Парижа все наше неизбежно должно показаться провинциальным, — сказала ему супруга дона Умберта, беря поднос из рук лакея, чтобы самой предложить сладости гостю.

— Нет, сеньора, никоим образом, напротив, поверьте мне, — ответил Николау, благодарный хозяйке за удачную тему для разговора.

Слуга разлил шампанское, и все выпили за счастливое пребывание молодого человека в Барселоне. «Пребывание, которое было бы таким же счастливым, как и продолжительным», — добавила, с невинным видом округляя глаза, хозяйка. Он преуспевающий негодяй, подумал Николау, его половина — тщеславная баба, а их дочка — начинающая кокотка, которую родители пытаются продать подороже. Тут прозвучал гонг, возве-

¹ Опера Клода Дебюсси (1862—1918), написанная в 1902 году.

щавший начало второго акта, и под этим предлогом Николау начал прощаться. Дон Умберт удержал его за руку.

— Ни в коем случае,— сказал он,— оставайтесь в ложе. Как видите, мест хватает, а отсюда гораздо лучше видно и слышно, чем из партера. Нет-нет, отговорки ни к чему, вы остаетесь с нами, тут не о чем говорить.

Пришлось согласиться и занять кресло, стоявшее за спиной у Маргариты. Когда погасли люстры и канделябры и поднялся занавес, Николау разглядел при свете запасных светильников округлость ее плеч, обнаженных вечерним туалетом. Волосы ее были уложены в пышную прическу, перехваченную диадемой с небольшими, но очень ровными жемчужинами; затылок оставался открытым, как и вырез платья на спине. Он устремил взгляд на ее плечи и стал слушать музыку, бокал шампанского погрузил его в сладкий дурман. Позже он вытащил на балкон отеля столик и плетеное ивовое кресло, как обычно делал для завтрака, взял письменный прибор, поставил на столик зажженную масляную лампу и вдохнул теплый воздух ранней осени на Рамблас. Последние фиакры бесшумно катили по гладкой мостовой. «Нынче вечером,— писал он,— пока мы слушали оперу Верди в ложе Ваших почтенных родителей, я почувствовал непреодолимое желание наклониться и поцеловать Ваши плечи. Я знаю, это было бы верхом неприличия, потому я и удержался. Возможно также, это было бы единственным способом добиться того, чтобы Вы меня когда-нибудь полюбили, но для этого я должен быть не таким, каков я есть, то есть способен был бы на порыв, а не струсил и теперь не излагал бы свои чувства в письме. Теперь я могу открыть Вам всю правду о matrimonialном проекте, который был задуман, не сомневаюсь в этом, без Вашего на то согласия, да и я сам принял его скрепя сердце; но, поступая так, я не знал, что сегодня вечером, пока мы слушали «Отелло» Верди, я без памяти люблю Вас, хоть вовсе к этому не был расположен.— Он прикусил ручку пера, на мгновение задумался и дописал: — С сегодняшнего вечера все дело страшно усложнилось». Отложил перо, взял лампу, вернулся в номер, прошел наискосок в угол, поднял лампу на всю длину руки — зеркало отразило его образ, он все еще был во фраке. Впервые в жизни позавидовал тем, у кого нет заметных физических недостатков. Он не жалел

себя, он злился на себя: «Ты только погляди,— обратился он к своему отражению в зеркале,— у тебя такой вид, будто ты обмочил панталоны...» Вернулся на балкон и снова взялся за перо. «Теперь я знаю,— добавил он,— что никогда не вернусь в Париж».

Поскольку он излагал свои мысли и чувства довольно беспорядочно, письмо заняло несколько страниц. Рассветало, и ему пришлось надеть теплый халат, спасаясь от утренней прохлады и росы. По Рамблас уже шли пешеходы, было без четверти восемь, когда он закончил письмо, сложил, не перечитывая, и сунул в конверт. Вошла горничная, принесла на подносе завтрак.

— Сеньор будет завтракать, как всегда, на балконе? — спросила она.

— Не беспокойтесь,— ответил он,— оставьте поднос здесь. Я тут сам управлюсь. А вас попрошу отнести это письмо по указанному адресу и передать адресату в собственные руки.

— Вам тоже пришло письмо,— сказала горничная, ставя поднос на стол.

Он взял письмо, думая, что оно от матери. Но одного взгляда было достаточно, чтобы понять: письмо от Маргариты. «Вы можете идти»,— сказал он горничной. «А как же ваше письмо?» — спросила та. «Я сам попозже отнесу его портье». Ее письмо тоже оказалось длинным. Видно, и ей не спалось нынче ночью, подумал Николау. Маргарита заранее приносила извинения за то, что взяла на себя смелость написать ему, уверяла в своем уважении, в том, что она верит в серьезность его намерений, были у нее кое-какие подозрения, но вечером в театре он показался ей «человеком воспитанным, разумным и добрым», и по этой причине она осмеливается просить его о помощи. «Вот уже много лет я люблю одного человека, и он меня любит,— писала она.— У него скромное происхождение, но я тайно отдала ему свое сердце и то, о чем я не могу Вам сказать». Положение, в которое ее мать, «движимая, без сомнения, самыми лучшими побуждениями», поставила их обоих, является, без сомнения, двусмысленным и чреватым осложнениями. «Если Вы не можете мне в этот переломный для моей жизни момент, я погибну, ибо не могу в одиночку бороться против судьбы. Это выше моих сил, любезный друг,— заключала она,— так помогите же мне!» Он порвал письмо, которое писал всю ночь, и написал другое, покороче. В нем благо-

дарил за откровенность и просил всегда считать его «искренним и бескорыстным другом. Ни в коем случае не обращайтесь ко мне в таком просительном тоне, я никоим образом этого не заслуживаю. Это я умоляю Вас отказаться от смирения и самоотречения. У каждого из нас есть священное право быть счастливым, хотя при этом иногда приходится бороться с окружающей нас действительностью», — написал он в заключение. Перечел письмо и посчитал его претенциозным и неискренним. Другие попытки привели не к лучшему результату. Он принял душ, оделся для улицы и спустился в вестибюль. «Будьте любезны, — сказал он дежурному администратору, — присовокупить к этой записке коробку конфет и мою карточку». Поспешно нацарапал обычные формулы вежливости, благодарил семейство Фига-и-Мореры за уделенное ему вчера вечером внимание в ложе театра «Лисео». Затем взял наемный экипаж и велел отвезти себя на кладбище Сан-Жервазио. Оно находилось довольно далеко от города; утром, когда он туда приехал, там было душно и сыро. Ему пришлось справиться у зрителя, где похоронен его отец, ибо на похоронах они с матерью не были, дабы не подвергать себя опасности, не покидали Париж, где пробыли к этому времени всего несколько дней. Я даже не знаю, кто позаботился о похоронах, подумал Николау, уж не сами ли убийцы шли за гробом. Дал на чай могильщику, провожавшему его до могилы. Тот усердно жевал бутерброд с жирной колбасой. Николау не завтракал, и у него побежали слюнки, подумал, не предложить ли могильщику еще денег, чтобы он поделился с ним, но ему тут же стало стыдно, что у него возникло подобное желание в таком месте, у могилы отца, которую он пришел навестить в первый раз. «Прости, папа, это получилось помимо моей воли, — мысленно попросил он прощения, остановившись перед мавзолеем, бронзовые буквы на котором гласили: «СЕМЕЙСТВО КАНАЛЬС». — Оттого, что я без памяти влюблен», — добавил он. Могильщик стоял рядом с ним.

— Сколько человек здесь можно захоронить? — спросил Николау, указав на мавзолей.

— Всех, кого надо будет, — ответил тот.

Этот ответ почему-то успокоил молодого человека. Он вспомнил о дурных предчувствиях на станции Порт-Бу и подумал, что теперь уж скоро они сбудутся, хоть тогда он им и не поверил.

— Позаботьтесь, чтоб здесь всегда были цветы,— сказал он.— Я буду приходить сюда время от времени.

За воротами кладбища его дожидался экипаж. Несколько дней не было дождя, ботинки погружались в белую от солнца дорожную пыль. Когда Николау вернулся в отель, ему вручили еще одно письмо. На этот раз от матери. Это было то самое письмо, в котором мать сообщила о Казимире и его болезни и умоляла его вернуться в Париж. «Обстоятельства сложились так, что я вынужден отложить свое возвращение на неопределенное время,— написал он матери в тот же день. Далее он желал скорейшего полного выздоровления Казимиру, с которым не имел чести познакомиться.— Надеюсь в скором времени восполнить этот недостаток и считаю, так же, как и Вы, что надо принять все меры к его выздоровлению, не считаясь с расходами. Прошу Вас, мама, распоряжаться всеми моими средствами, которые также и Ваши,— написал он в заключение,— но не просите, чтобы я тотчас вернулся в Париж: мне скоро исполнится двадцать лет, и мне пора уже начинать самостоятельную жизнь». В тот же день его посетил дон Умберт Фига-и-Морера.

— Я пришел к вам, дорогой друг, как адвокат и как отец,— сказал он без обиняков.— Если у вас серьезные намерения относительно моей дочери — а я не сомневаюсь, что это так,— нам придется коснуться деликатных вопросов, касающихся вашего положения в обществе и состояния.

Николау Канальс-и-Ратаплан посмотрел на собеседника отсутствующим взглядом. Про себя подумал: эти бессовестные люди, несомненно, заметили, какое впечатление произвела на меня их дочь, и теперь набивают цену. Он с удовольствием высказал бы вслух свое презрение, но воздержался, ибо знал, что это значило бы потерять Маргариту навсегда. Только благодаря обществу этих подлых и жадных родителей могу я сохранить хоть какую-то надежду, подумал он. Но он этого не хотел. Слабость характера, не позволявшая ему отказаться от безнадежной любви и немедленно уехать в Париж, мешала ему и воспользоваться таким предосудительным средством, чтобы заполучить девушку. Если бы я любил ее, как она того заслуживает, я без колебаний продал бы душу дьяволу, подумал он. Это противоречие приводило его в замешательство, и он отвечал дону Умберту уклончиво, чтобы выиграть время. Без особого труда он разыгрывал

наивность, которая еще вчера была естественным состоянием его души.

— Я полагал, что моя мать и ваша супруга достигли взаимопонимания в этом вопросе,— сказал он.— Мне не хотелось бы говорить на эту тему, пока я не побеседую с барселонскими банкирами.

Дон Умберт поспешно дал задний ход: «Я, собственно, зашел навестить вас, так как дела привели меня в квартал, где находится ваш отель. Мне хотелось поблагодарить вас за чудесные конфеты, которые вы так любезно прислали, и еще справиться, не могу ли чем-нибудь быть вам полезен».

Пока они вели беседу, Онофре Боувила, следивший за всеми действиями соперника, осуществлял свой план действий. Два дня назад он получил от Гарнета зашифрованное послание. Американский агент бывшего военного губернатора Лусона сообщал: «Все в порядке, жду указаний». Онофре позвонил, вошел секретарь.

— Чем могу служить, сеньор?

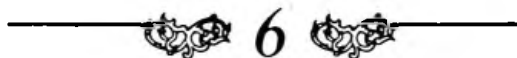
— Разыщите и пошлите ко мне Одона Мостасу.

Наутро Николау Канальса разбудил какой-то шум, он, ни у кого не спрашиваясь, понял, что это перестрелка. Затем послышались топот и крики, все это продолжалось считанные секунды. Николау встал, набросил на плечи халат и смело вышел на балкон. С соседнего балкона ему сообщили:

— Анархисты застрелили полицейского, вон его несут на носилках.

Николау сбежал вниз по лестнице и вышел на улицу, но увидел лишь толпу зевак вокруг лужи крови. Все говорили разом, но из обрывков разговоров ничего невозможно было понять. Это происшествие произвело на него большое впечатление, он впервые почувствовал, что участвует в жизни города. В тот же день Николау зашел в портновскую мастерскую на улице Анча, которую держал известный портной по прозвищу Хмурый, и заказал несколько костюмов; в магазине на улице Либрерия заказал несколько дюжин рубашек и другое белье — судя по всему, экипировался, чтобы провести зиму в Барселоне. Вернувшись в отель, получил приглашение: дон Умберт Фига-и-Морера с супругой приглашали его в субботу на ужин к себе в дом на улице Каспе. «Не пойду,— подумал он.— Это по-

следняя возможность ясно и недвусмысленно выказать мое отношение к этой брачной сделке». Но вспомнил ее плечи, и любовная тоска овладела всем его существом. Ответил, что не преминет быть. В подарок купил щегла в позолоченной клетке, его уверили, что птица редкой породы и очень ценная, ее вывезли из Японии и теперь она поет грустные песни, тоскуя по родине.



Примерно в то же время многогрешный Осорио, бывший губернатор Лусона, худший представитель военной касты, получил по почте пакет. В пакете была мертвая черепаха в панцире, выкрашенном красной краской. Слуга-филиппинец, увидев ее, побледнел. Осорио отреагировал на такой подарок высокомерным презрением, но в тот же вечер рассказал о полученной посылке одному из жандармских офицеров, завсегдатаю клуба знатоков тавромахии. «У филиппинских племен это знак мести», — сказал он.

— Возможно, кто-то не поминает добром ваше правление, — заметил полицейский чин.

— Ерунда, друг мой, ерунда! — воскликнул бывший губернатор. — Тут меня не в чем упрекнуть. Разумеется, исполняя служебные обязанности, мне приходилось вызывать недовольство, но уверяю вас, никто из тех, кого мне по долгу службы пришлось поприжать, не располагает средствами, чтобы совершить путешествие в Барселону.

— Как бы там ни было, — сказал инспектор, фамилия которого была Маркес, — мы не можем ничего предпринять на том лишь основании, что вам прислали по почте какую-то падаль.

Через несколько дней пришла вторая посылка. В ней была ошипанная курица с черной ленточкой на шее.

— Это знак пиньонга! — воскликнул слуга бывшего губернатора. — Мы уже все равно что мертвые, господин генерал, сопротивляться бесполезно.

— Я говорил с начальством о случае с черепахой, — доложил инспектор Маркес, — как я и предполагал, мне сказали, что ничего сделать нельзя. Вам они советуют

не тревожиться. Правда, если к этому добавить еще и курицу... не знаю.

— Друг мой,— перебил его бывший губернатор,— в прошлый раз я не придавал особого значения посылке, посчитал, что это глупая шутка, но после того, как получил курицу, не сомневаюсь, что дело пахнет жареным, поверьте моему слову. Хорошо было бы, если бы вы пробудили у вашего начальства интерес к моей персоне, которого я, как мне кажется, заслуживаю, даже если дело само по себе не такое уж серьезное.

Когда инспектор зашел передать ответ своего начальства, бывший губернатор был в полном расстройстве и дрожал от страха. «Можно подумать, что вас только что навестили души Чистилища»,— сказал инспектор.

— Оставьте ваши шутки, дело принимает совсем уж серьезный оборот,— ответил бывший губернатор.

В то утро он получил третью, последнюю посылку: забитую свинью, наряженную в саван баклажанного цвета. Посылка была такой тяжелой, что ее пришлось везти на телеге от почты к подъезду дома на улице Эскудельерс, где проживал бывший губернатор со своим слугой. За эту необычную услугу почтари потребовали с него дополнительную плату, он протестовал, говоря, что плата за пересылку включает в себя и расходы на транспортировку до места жительства адресата. «Да, это так,— ответили ему,— но сюда не входит наем ломовика». Когда он увидел, что в посылке свиная туша, перестал спорить и заплатил, а войдя в дом, велел запереть двери и закрыть ставни. Достал из баула армейский пистолет, зарядил и сунул наискосок за пояс по колониальному обычаю. Потом отхлестал по щекам слугу, который обмочился и попортил ливрею. «Нечего трусить»,— сказал он слуге. «Считайте, ваша милость, что вас уже съели»,— ответил тот. Бывший губернатор и сам был напуган, хоть всячески старался скрыть это. Он знал по опыту, что малайцы — народ добродушный, веселый и на редкость щедрый, но при определенных обстоятельствах они бывают свирепыми и жестокими. Когда он был губернатором, ему случалось бывать на церемониях, которые мадридское правительство разрешало в угоду вождям местных племен, и наблюдал акты каннибализма; он и сейчас помнил, как раскрашенные в боевые краски воины сыто рыгали после ужасающего пиршества. Теперь ему казалось, что такие же воины прячутся за платанами на Рамблас, в подъездах богатых домов

на улице Эскудельерс, за портьерами в его доме, держа в зубах малайский крис. Обо всем этом он поведал инспектору Маркесу, который обещал передать начальству все, что рассказал бывший губернатор, слово в слово. У него не хватило духу признаться, что начальство его не обращает на драгоценную особу бывшего губернатора ни малейшего внимания; в кружке знатоков тавромахии он явно выставлял себя более влиятельным человеком, чем это было в действительности.

Николау Канальс не ел, не спал и постоянно ощущал какое-то непонятное недомогание, которое не могли снять ни лекарства, ни развлечения. В субботу он подъехал к дому дон Умберта Фига-и-Мореры, чувствуя себя совершенно ослабевшим и обессиленным. Слуга в ливрее, нанятый по такому торжественному случаю, распахнул дверцу экипажа и помог ему сойти; но, ставя ногу на подножку, он зацепился за собственную трость и упал бы, если бы слуга, подхватив гостя под мышки, не перенес его на руках на тротуар. Потом подобрал цилиндр и вручил его вместе с тростью и перчатками горничной, поджидавшей их в вестибюле. Это была та самая девушка, которую соблазнил Эфрен Кастельс, у нее уже появились первые признаки беременности. «И все это случилось со мной из-за этого бабника», — подумала она, принимая цилиндр, трость и перчатки. «Все на меня смотрят как на ярмарочного уродца», — подумал Николау Канальс-и-Ратаплан, заметив внимательный взгляд служанки. Он пришел первым: его европейская пунктуальность не успела еще уступить место испанской безалаберности. А тут даже хозяйка дома не была готова к приему гостей, она была в своей спальне, и около нее вертелись портнихи, горничные и парикмахер, которым она давала противоречивые указания и ругала их на все корки. Дон Умберт встретил Николау в гостиной, которая была слишком велика для двоих. Извинился за жену: «Вы же знаете, как одеваются женщины». Николау с беспокойством спросил, а что же Маргарита, тоже задерживается? «О, — сказал дон Умберт, — сегодня ей что-то нездоровится, едва ли она выйдет к ужину, просила меня извиниться перед вами». Николау, вполне сознавая, что совершает непростительное нарушение этикета, закрыл лицо руками и горько заплакал. Дон Умберт, поняв состояние гостя, не знал, что ему делать, и

прикинулся, будто ничего не заметил. «Пойдемте со мной,— сказал он,— я покажу вам нечто, несомненно интересное для вас».

Он провел гостя в свой кабинет и показал ему механический телефон, который только что установили в его доме. Телефон был примитивным и годился только для связи с комнатой, расположенной по другую сторону патио, но не дальше, и состоял из обычной проволоки и двух рожков на обоих концах. В окнах комнат одно из стекол было заменено тонкой березовой фанерой, в середине которой проходила эта проволока. Она-то и передавала звук. Если проволока поворачивала под углом, надо было смотреть, чтобы она не прикасалась к твердым предметам, иначе звук терялся; в этих случаях требовался другой, направляющий провод. Когда они вернулись в гостиную, появилась хозяйка дома; на ней было длинное платье со шлейфом, на груди сверкали драгоценности, от нее исходил пронзительный запах левкоя. Округлившаяся фигура еще сохраняла соблазнительность — ее главное оружие в жизни. Она рассыпалась в любезностях перед Николау, держалась игриво и вольно, хотела завлечь его лестью, звала его сынком, играла как настоящая актриса. «Столько унижения,— думал он,— а я ее даже и не увижу сегодня». С трудом удавалось ему сдерживать слезы. Лишь прибытие других гостей вывело его из затруднительного положения. На этот раз дон Умберт Фига-и-Морера сумел добиться, чтобы хоть кое-кто приехал к ним в гости. «Он молод и всю жизнь прожил за границей,— сказал дон Умберт жене,— не разберет». Гостями были продажные сановники, его клиенты, для которых он делал единственное, что мог делать при своих ограниченных возможностях и при такой супруге: разорившийся сомнительный маркиз, карточные долги которого дон Умберто выкупил в минуту вдохновенья несколько лет тому назад и которым теперь пользовался, чтобы поднять престиж своих приемов; его жена донья Эулалия де Росалес; мосен Вальторта, старик с кустистыми бровями, любитель спиртного; профессор медицины, услугами которого дон Умберт пользовался для составления ложных свидетельств и заключений, с супругой — вот каким незавидным кругом гостей ограничивало дон Умберта барселонское общество. Николау Канальс, когда к нему кто-нибудь обращался, отвечал односложно; никого фактически не интересовало, что он скажет, и его лаконичность никто не принимал

за неучтивость. Скоро разговор стал общим, и его оставили в покое. Лишь хозяйка время от времени заботилась, чтобы он побольше ел. Но предложенные ему кушанья так и остались не тронутыми. После ужина все вернулись в гостиную. Там стоял рояль. Хозяйка, зная о его музыкальном даровании, настойчиво уговаривала сыграть что-нибудь, и он в конце концов согласился. Он знал, что на самом деле игра его никого не интересует. Нехотя сыграл два-три этюда Шопена, которые знал наизусть. Когда он кончил, присутствующие бурно зааплодировали, он обернулся, чтобы поблагодарить за аплодисменты, в неискренности которых не сомневался, и кровь застыла в его жилах — она была здесь! На ней было простое светлое платье из органди, стянутое в талии широким алым поясом. Из драгоценностей — лишь брошь чеканного серебра, которой к корсажу был приколот цветок. Золотистые волосы были стянуты в узел на затылке. Подойдя к роялю, она извинилась, что не смогла выйти к столу: вечером почувствовала легкое недомогание и до сих пор не могла оправиться. Он принял все за чистую монету.

— Я слышала, как вы играли, — сообщила она. — Не подозревала, что вы музыкант.

— Я всего лишь жалкий любитель, — покраснев, сказал он. — Если хотите, сыграю какую-нибудь пьесу по вашему выбору.

Она наклонилась к роялю, делая вид, что перебирает ноты. Спиной он почувствовал тепло ее тела, обнаженная рука едва не касалась его щеки, от желания поцеловать ее у него пересохло во рту. «Вы получили мое письмо? — прошептала она возле его уха. — Неужели вам его не передали в отеле?» Покосившись, он встретил ее умоляющий взгляд и опустил глаза. «Да», — сказал он наконец. «Так что же? Что вы мне ответите? Могу ли я рассчитывать на ваше великодушие?» Сделав нечеловеческое усилие, он проговорил: «Я не волен над собой: не сплю, не ем, мне все время плохо, когда вас не вижу, чувствую постоянную боль в груди, мне не хватает воздуха, я задыхаюсь, наверное, скоро умру». «Так что же? — повторила она свой вопрос. — Какой ответ вы мне дадите?» «Святой Боже, — подумал он, — она не слышала ни слова из того, что я говорил».

Выходя после мессы из церкви Святого Юста, отставной генерал Осорио-и-Клементе получил три револьверные пули в грудь; стреляли из окна закрытого экипажа. Он качнулся и рухнул на каменные плиты мостовой у лестницы, ведущей в храм. Потом кто-то выбросил из окна кареты букетик белых цветов, который упал на землю неподалеку от трупа. Очевидцы этого события рассказывали потом о самой экзотической его сцене: малаец, слуга погибшего, как только раздался первый выстрел, бросился бежать в дальний конец площади, где, к всеобщему изумлению, присел на корточки, вытащил из кармана кривую палку длиной около тридцати сантиметров, поддел ею крышку канализационного люка и исчез в нем. Полиция считала, что такое поведение филиппинца говорит о том, что он был сообщником убийцы; другие утверждали, что он начал готовить побег с того момента, как увидел крашеную черепаху,— запомнил расположение всех люков на обычном пути их следования и всегда носил при себе кривую палку, которую изготовил специально для того, чтобы поддеть ею крышку люка.

За несколько дней до этого события сеньор Браульо вдруг ощутил беспокойство, причина которого была неясна ему самому. «Видно, сердце отказывает»,— сказал он себе, смотрясь в зеркало. За последние годы он исполнил и, когда переодевался в женское платье, выглядел как почтенная матрона; кроме того, он отпустил короткие усы в тевтонском стиле, что придавало ему скорей смешной, нежели чувственный вид. Даже те, кто раньше смеялся над его чудачествами, теперь сурово осуждали их. Другие видели в его поведении признаки старческого дряхления, того, что теперь называют разжижением мозга. Некоторые считали причиной такого помрачения ума удары, которые он получал во время ночных оргий. Вспоминали датского боксера Андерсена, о гастролях которого в Барселоне недавно писали во всех газетах. Несколько лет подряд этот боксер посылал вызовы чемпионам Франции, Германии и Соединенного Королевства, всегда проигрывал, и в конце концов из него вышибли ум. Теперь его возили по городам и показывали как монстра; в Барселоне его выставили на обозрение публики в цирке-шапито возле арки Пуэрта-де-ла-Пас, реклама гласила, что его случай представляет научный интерес, на самом же

деле бессовестные дельцы извлекали из этого зрелища немалые барыши; бывший боксер вел себя как малый ребенок: сосал соску и тряс погремушку огромными ручищами; за реал можно было смотреть на него и задавать ему вопросы, за песету — побоксовать с ним не всерьез. Это был огромный мужчина с широкими плечами и могучими бицепсами, но все движения его были замедленными, он едва держался на ногах и уже почти полностью ослеп, хоть ему было всего двадцать четыре года. Конечно, с сеньором Браульо такого не случилось, здоровье его было отменным, лишь на его внешний вид повлияли возраст и вынужденное уединение, на которое обрек его Онофре Боувилла; одновременно он стал еще малодушнее, а смена настроений еще усилилась. Теперь он тревожился за Одона Мостасу. Ведь тот сидел без работы и без денег и вел все более беспорядочную жизнь. Когда сеньор Браульо начинал ему выговаривать, он отвечал: «Ты всю жизнь вертел задницей в Карбонере, а теперь читаешь мне проповеди». «Я из-за этого лишился жены и дочери, — отвечал бывший владелец пансиона, — за мои безумства расплатились эти две бедняжки». Но Одон Мостаса по-прежнему в грош его не ставил. Однажды ему сказали, что его хочет незамедлительно видеть Онофре Боувилла. Старые сообщники взволнованно обнялись, звучно похлопали друг друга по спинам. «Сто лет не видались! — сказал Одон Мостаса. — С тех пор как ты заделался настоящим добропорядочным дельцом. А славные были времена! Помнишь, как мы разделились с Жоаном Сикартом?» Онофре слушал его улыбаясь, пока тот не выговорился. Когда Одон Мостаса наконец замолчал, он сказал ему: «Придется взяться за старое, Одон, нельзя нам почивать на лаврах. Ты мне нужен». Головорез хищно осклабился. «Слава Богу! — сказал он. — А то все мои железки ржавеют. О чем идет речь?» Онофре Боувилла понизил голос, чтобы никто не подслушал. Телохранители обоих дежурили на улице. «Дело простое, я все обдумал, тебе придется по душе».

В назначенный день Одон Мостаса встал спозаранку, нанял экипаж и велел везти себя за город. В условленном месте, угрожая револьвером, велел кучеру спешиться. Из-за дерева вышел один из помощников Одона Мостасы, вместе они связали возницу по рукам и ногам, а в рот сунули кляп из пакли, завязали глаза платком и стукнули по затылку, чтобы оглушить. Помощник Одона Мос-

тасы надел кучерской балахон и сел на козлы. Одон снова сел в карету и задернул занавески, отцепил накладную бороду и снял темные очки — такая маскировка понадобилась для того, чтобы кучер в случае чего не смог его опознать. У него было железное алиби. На Рамблас купил букет белых лилий, как велел Онофре Боувिला. В закрытой карете цветы так сильно пахли, что у него кружилась голова. Выброшу, подумал он. Покрутил барабан револьвера — работает нормально. С первым ударом колокола, отбивавшего час, въехал на площадь перед церковью. Из церкви выходили немногочисленные верующие — день был рабочий. Одон чуть отодвинул занавеску, поднял револьвер к щели. Увидев выходившего из церкви в сопровождении слуги бывшего губернатора, спокойно расстрелял его. Дал спуститься с лестницы и выстрелил в него трижды. Но филиппинец отреагировал мгновенно. Карета тронулась. Тогда Одон вспомнил о цветах и постучал в крышу, чтобы мнимый кучер остановил лошадей, взял с сиденья букет лилий и вышвырнул в окно. Послышались крики и топот ног — все спасались бегством.

Через несколько дней уголовная полиция задержала Одона, когда он выходил из публичного дома, где провел ночь. Полагаясь на непробиваемое алиби, он не оказал сопротивления при задержании; обращался с агентами изысканно вежливо, те сразу смекнули, что он над ними насмехается. «Смейся, смейся, Мостаса, — сказал сержант, — на этот раз ты за все заплатишь». Тот скорчил умильную рожу и послал сержанту воздушный поцелуй, точно перед ним была гулящая девка. Сержант был вне себя от злости. Полицейские, зная его дурную славу, не спускали с него глаз, держали под дулами карабинов и готовы были в любой момент пустить в ход дубинки. Некоторые из них были еще очень молоды, еще до поступления на службу в полицию слышали рассказы о грозном бандите Одоне Мостасе, а теперь они его схватили и ведут к судье. Когда судья спрашивал Одона, где он был в такой-то час, тот отвечал уверенно, ибо сочиненную Онофре Боувилой легенду выучил назубок, а она предусматривала все подобные вопросы. Судья через некоторое время снова и снова повторял одни и те же вопросы, и писарь всякий раз записывал одни и те же ответы на них. Судья был удивлен: «Ты, я вижу, и надо мной решил посмеяться?» — сказал он наконец.

— Ваша милость, оставьте ваши уловки для карманни-

ков, социалистов, анархистов и педиков,— сказал головорез.— Я — Одон Мостаса, дело свое знаю, опыта мне не занимать, и ничего больше я вам не скажу.

Через некоторое время, видя, что допрос снова и снова возвращается к исходной точке, будто он говорит с глухим или полным идиотом, Одон добавил: «Хотите заработать известность за мой счет, ваша милость? Так я вам скажу, что и до вас многие пробовали сделать то же самое, всякий хотел стать таким судьей, который засадил за решетку Одона Мостасу, мечтал увидеть свою фамилию и свой портрет в газетах. И все остались в дураках». Судью звали Асискло Салгадо Фонсека Пинтохо-и-Гамуса, это был широкоплечий мужчина лет тридцати трех, с толстой шеей, густой бородой и бледным лицом. Говорил не спеша, всякий раз поднимая брови, словно чему-то удивлялся. «Скажите, где вы находились в такой-то час такого-то числа?» Одон Мостаса взорвался:

— Давайте кончим эту глупую комедию! — заорал он на весь зал, не считаясь с тем, что его могут услышать другие задержанные.— Что вам от меня надо? Денег, что ли? Так знайте, ваша милость, от меня вы не получите ни реала! Знаю я вас: дай вам сегодня сотню, вы завтра потребуете тысячу. Ничего вы со мной не сделаете, нет у вас ни доказательств, ни свидетелей, у меня безупречное алиби. К тому же всем известно, что бывшего губернатора Осорио прикончили филиппинцы.

Судья изумленно поднял брови. «Какого бывшего губернатора? — спросил он.— Какие филиппинцы?» Одон Мостаса с трудом уяснил себе, что его обвиняют в убийстве не бывшего губернатора Осорио, а молодого человека по имени Николау Канальс-и-Ратаплан, о котором он и слыхом не слыхал. Оказывается, утром в день События какой-то человек в плаще и широкополой шляпе прошел перед конторкой портье в «Гран отель де Арагон» так быстро, что тот не успел его остановить. Привратник направил вслед за ним несколько посыльных и двух жандармов, патрулировавших на этом участке Рамблас, весьма оживленной в этот час, но пришелец скрылся на каком-то из верхних этажей. Его так и не нашли. Некоторые считали, что он спустился по фасаду здания, что под плащом у него был спрятан крюк с длинной веревкой; другие, ссылаясь на то, что ни один прохожий не видел ничего подобного, утверждали, что он подкупил служащих отеля. От стремительного появления и исчезновения незнакомца

остался один след: труп Николау Канальса с тремя ножевыми ранами, каждая из которых была смертельна. На следующий день его похоронили в семейном склепе, где уже покоился его отец, убитый таким же способом. Мать на похороны не приехала. Николау был единственным отпрыском рода Канальсов. Судья показал Одону Мостасе плащ и шляпу. Пока он был в публичном доме, полиция произвела обыск в его доме; нашли эти предметы одежды и нож с четырьмя пружинами, на лезвии которого сохранились следы крови, хоть он и был вымыт. Ошарашенный Одон все отрицал. Упрямо повторял историю с черепахой, курицей и свиньей. «Обвиняемый городит чепуху», — резюмировал судья. Одона заставили надеть плащ и шляпу и в таком виде показали портю отеля, которого специально для этой цели вызвали в суд. Плащ и шляпа оказались Одону впору, а привратник заявил, что это тот самый человек, который так быстро прошел мимо конторки в день убийства. Пообещав вознаграждение одному из судейских служащих, Одон сумел послать весточку сеньору Браулю. «Не понимаю, что происходит, но дело пахнет неприятностями», — написал он. Сеньор Брауль побегал к Онофре Боувиле. «Мы пригласим лучшего адвоката Испании», — сказал Онофре. «А не лучше ли решить дело частным путем, — предложил сеньор Брауль, — пока вся эта дрянная история не приобрела официальный характер?» Приглашенного адвоката звали Эрмохенес Пальеха (или Пальеха), по его словам, он родом из Севильи и только что был принят в барселонскую коллегия адвокатов, намереваясь открыть в этом городе контору, чего, впрочем, впоследствии не произошло. Большинство добытых им свидетелей в суд не явилось, это были женщины легкого поведения, и, когда дошло до полиции, они дали тягу; документов у них не было, знали их лишь по кличкам, так что любой из них достаточно было переехать в другое место, сменить кличку — и поминай как звали. Те три, которые соизволили прийти в суд, произвели на судей самое неблагоприятное впечатление. Когда спросили об имени и роде, они сказали, что зовут их Свинка, Фуфу и Дрыга; в зале заседаний они не стеснялись показывать ножки, подмигивать мужчинам, говорили на грубом жаргоне, по любому поводу раздражались хохотом. Прокурору, например, отвечали так: «Да, миляга», «Нет, мой котенок» и тому подобное. Председатель суда не раз призывал их к порядку. Все три утверждали, что обвиняемый был

с ними утром в день События, но, отвечая на вопросы прокурора и даже защитника, сбивались и в конце концов признались, что, пожалуй, спутали день или час, а может, и клиента. Одон Мостаса, в жизни не видевший этих задрипанных шлюх, понял, что их свидетельства дали противоположный результат, и захотел поговорить с защитником, но тот, сославшись на неотложные дела, не пришел в каталажку Дворца Правосудия, куда препроводили Одона Мостасу на время судебного разбирательства. Дворец Правосудия, построенный в предыдущем десятилетии, помещался на бывшей территории Всемирной выставки, где Одон Мостаса так грубо свел знакомство с Онофре Боувиллой, на которого теперь возлагал все надежды на спасение. Но тот не проявлял никакого беспокойства: когда сеньор Браульо, не находивший себе места и ежедневно следивший за всеми перипетиями процесса из заполненного публикой зала заседаний, шел к нему за советом, он под каким-нибудь предлогом отказывался принять его, а если и принимал, то быстро переводил разговор на другую тему. Прокурор в предварительных выводах потребовал высшей меры наказания, то же требование содержалось и в его заключительной речи. И наконец суд вынес приговор: Одон Мостаса приговаривался к смертной казни. «Ничего,— сказал адвокат,— мы подадим кассационную жалобу». Так он и поступил, но то ли пропустил установленный срок, то ли неумело представил свои доводы, но так или иначе высшие инстанции кассацию отклонили как не соответствующую нормам судопроизводства. Сидя в одиночной камере, бандит пришел в отчаяние: перестал есть и почти не спал, стоило ему впасть в забытие, как его одолевали кошмары, и он с криком просыпался. Его перевезли обратно в тюрьму, и надзирателей его крики раздражали, они насмехались над его страхами и время от времени заходили в камеру, чтобы хорошенько отдубасить крикуна. В конце концов он переменился, стал совсем другим, понял, что приговор за преступление, которого он не совершал,— это расплата за многие совершенные ранее преступления, оставшиеся безнаказанными. В этом он узрел теперь руку Всевышнего и, если раньше был богохульником и хвастуном, теперь стал набожным и смиренным. Настоятельно просил встречи с тюремным священником, которому исповедался в своих бесчисленных грехах. Безутешно рыдал, вспоминая прошлую жизнь, ибо столько долгих лет был погру-

жен в мерзкую тряси́ну порока. Хоть священник и отпустил ему грехи, он страшился предстать перед Высшим Судией. «Милосердие Господне беспредельно», — говорил ему священник. Одон все время носил лиловый балахон и серую грубую веревку на шее.

Сеньор Браульо снова отправился к Онофре Боувиле. Придя к нему в кабинет, преклонил колени на ковер и молитвенно сложил руки. «Что это еще за цирк?» — спросил Онофре. «Не встану, пока ты меня не выслушаешь», — ответил он. Онофре Боувиле позвонил в колокольчик и приказал заглянувшему в дверь секретарю: «Никого сюда не впускать». Когда секретарь затворил за собой дверь, Онофре Боувиле закурил сигарету и откинулся на спинку кресла: «Так в чем дело, сеньор Браульо?»

— Ты знаешь, что привело меня сюда, — сказал тот. — Он, конечно, злодей, но он еще и твой друг; в трудные минуты он всегда был с тобой рядом. Другого такого верного человека у тебя не было. А у меня, — добавил он хриплым голосом, — такого красивого мужчины.

— Не пойму, к чему такое предисловие.

— Я понимаю, ты хотел его хорошенько проучить. Уверен, что этот урок он на всю жизнь запомнит. А в будущем я ручаюсь за него, — заявил сеньор Браульо.

— А чего еще вы хотите от меня? Я нанял лучших адвокатов Испании, обращался в самые верхи, собираюсь просить о помиловании Его Величество...

— Онофре, не надо мне сказки рассказывать, — прервал его сеньор Браульо. — Я тебя знаю не первый год. Сопливым мальчишкой заявился ты ко мне в пансион, и ни гроша за душой у тебя не было. И я знаю, что ты устроил эту комедию, потому что ты человек жестокий, чтобы достичь своего, ты готов принести в жертву что угодно и кого угодно, а Одону Мостасе ты в глубине души всегда завидовал. Но на этот раз ты зашел слишком далеко, и, хочешь ты этого или нет, тебе придется выправлять положение. Гляди — я на коленях умоляю тебя спасти этого несчастного, в сердце у меня, как у Божьей Матери Скорбящей, семь мечей. Сделай это ради него или ради меня.

Онофре не отвечал, тогда сеньор Браульо уронил руки и встал с колен. «Что ж, ладно, — сказал он, — ты сам этого хотел, так послушай. Я за последние дни навел кое-какие справки и теперь знаю, что Гарнет и ты с помощью дона Умберта Фига-и-Мореры занимались махи-

нациями с доверенностями, подписанными Осорио, и теперь все его владения на Филиппинах практически в твоих руках. И еще я знаю, что люди, которым ты заплатил, недавно купили черепаху, курицу и свинью и отослали по почте этому самому Осорио. Все эти сведения не избавят Одона от расплаты за преступление, которого он не совершал. Даже напротив — расследование убийства Осорио выявило бы его причастность к нему, но Одона два раза казнить нельзя, он считай что уже мертв. Зато он мог бы потащить за собой еще кое-кого. Ты понимаешь, о чем я говорю», — закончил речь сеньор Браульо.

Онофре снисходительно улыбнулся и выпустил из рта табачный дым.

— Не надо так, сеньор Браульо, — сказал он потом. — Я же вам сказал, что сделал для вашего друга Одона Мостасы все, что в моих силах. К сожалению, мои действия не принесли желаемого результата. Однако, добиваясь свободы одного узника, я случайно сумел исхлопотать свободу для другого. Здесь, в ящике, лежит подписанное кем надо распоряжение об освобождении вашей дочери Дельфины. Не подумайте, что мне не понадобились мои связи и немалые деньги, чтобы достичь этой цели, — власти отказывались удовлетворить мою просьбу, указывая на опасность такого рода заговорщиков для общественного порядка, сторонником которого я и сам являюсь. Но, к счастью, дело удалось уладить. Неужели вам будет не жаль, если бумага эта не получит дальнейшего хода?

Сеньор Браульо, поставленный перед таким выбором, сник и молча вышел из кабинета, по щекам его катились крупные слезы.

В часовенке, предназначенной для приговоренных к смерти, два монаха конгрегации Архибратство Крови Христовой поставили распятие с шестью горящими свечами. По уставу Архибратства на них были рясы с капюшонами, подпоясанные черными кожаными ремнями с подвешенными на них четками, а на груди — эмблема конгрегации. Это Архибратство, члены которого помогали осужденному на смерть в последние часы его жизни, а после казни предавали тело земле, если у казненного не было родственников, было основано в Барселоне в 1547 году в часовне Святого Причастия, известной в народе под названием Часовня на крови, при церкви Пресвятой

Девы на Пласа-дель-Пино, точнее, в доме номер один на этой площади, где до недавнего времени и находилась резиденция Архивратства. Одон Мостаса стоял на коленях в низком поклоне, касаясь лбом холодных и сырых каменных плит. Он молился. Его содержали теперь в специальной камере; отгороженной от остальной части тюрьмы и от всего мира, заходить к нему могли лишь тюремное начальство, врач, священники и монахи Архивратства, а также нотариус «в случае, если осужденный пожелает составить завешание или сделать устное распоряжение», как гласила соответствующая статья закона. «Каждая минута кажется вечностью,— думал Одон,— но и минуты, и века текут одинаково быстро». В тюрьме стояла тишина: были прекращены прогулки и другие тюремные процедуры, «которые могли бы нарушить духовное самоуглубление». Во внутреннем дворе уже собрались все, кому надлежало присутствовать при казни, то есть: «секретарь суда, представители административных и судебных органов, начальник и служитель тюрьмы по его назначению, священники и члены религиозного братства, помогающие осужденному, и трое граждан по выбору алькальда, если те изъявят согласие добровольно присутствовать при казни». Публичная казнь была отменена незадолго до того времени Королевским указом от 24 ноября 1894 года. Эта мера вызвала много нареканий. «Тем самым,— читаем мы в одной из газет,— смертная казнь в Испании потеряла назидательность, и это ничем не было компенсировано, ибо сообщения в газетах не только будят любопытство, но и окружают казненного ненужным ореолом». Теперь трое граждан смотрели во все глаза на палача, который проверял, хорошо ли работает гаррота. Устройство это включало в себя стул с высокой спинкой, от которой отходила длинная палка, заканчивающаяся железным воротником, похожим на собачий ошейник, который надевался на шею осужденному и сжимал ее, пока не наступит смерть от удушения. Его Величество король Фердинанд VII королевским декретом от 28 апреля 1828 года, «дабы оставить добрую память о дне рождения королевы», отменил казнь через повешение в Испании, и впредь предписывалось казнить «обыкновенной гарротой преступников из простонародья, позорной гарротой — за особо тяжкие преступления и благородной гарротой — дворян». Приговоренные к обыкновенной гарроте прибывали к эшафоту на лошади или на муле, одетые в рясу с капюшоном. То

есть, как это явствует из названия, получалось нечто вроде длинного плаща с капюшоном, и все это надевалось поверх прочей одежды и получалось нечто вроде траурного одеяния. Приговоренных к позорной гарроте подвозили к помосту на ослах или волочили, взяв под руки, если так было сказано в приговоре, и с откинутым капюшоном. Наконец, дворян, приговоренных к благородной гарроте, везли на лошади под седлом и черным чепраком. Эти различия потеряли всякий смысл, когда казнь перестала быть публичной. Когда открылась дверь камеры, Одон Мостаса не хотел вставать с колен. Двое тюремщиков подняли его, взяв под мышки. Послышался его голос: «Господи, спаси и помилуй мою душу!» Он машинально твердил и твердил эту фразу, лишь бы не думать. Выйдя из темницы, он открыл глаза. Перед ним шли монахи из Архибратства и несли распятие, стоявшее до той минуты в часовне. Увидел белесое безоблачное рассветное небо. Подумал: не все ли мне равно, взойдет сегодня солнце или нет. В глубине тюремного двора увидел гарроту, группу свидетелей и палача, стоявшего немного в стороне. Один из свидетелей швырнул на землю окурок сигареты и растер его ногой. У стены стоял гроб из темного дерева, крышка отдельно, прислоненная к стене. У Одона подогнулись ноги, но стражники, державшие его под руки, не дали ему упасть. Только этого и не хватало, подумал он. Распрямился и поднял голову. «Можете не поддерживать меня», — хотел он сказать, но из горла вырвался только хрип, исходивший из глубины груди. При таких обстоятельствах о большем и не попросишь, усмехнулся он в душе. Каждый шаг, сделанный без помощи стражников, казался ему великой победой. Подол длинной туники волочился по булыжникам тюремного двора. Предсмертный наряд на него надели в часовне. По закону эта накидка должна быть черной для всех, за исключением царевубийц и отцеубийц, на которых надевали желтую с алыми пятнами накидку и такого же цвета шапочку. Накидка была похожа на сутану, увидев ее впервые несколько часов тому назад, он почувствовал себя униженным. «До сих пор я всегда сам выбирал для себя одежду», — пошутил он с тюремщиками. Если бы казнь его отложили на несколько месяцев, ему не на что было бы пожаловаться, так как одежда для казнимых была отменена законом от 9 апреля 1900 года. Он сам сел на стул и позволил пристегнуть ремень. Монах из Архибратства поднес к его губам рас-

пятое, он приложился, закрыв глаза. Не видел, как кто-то легким движением руки подал знак. Потом все присутствующие подписали подробный акт об экзекуции. Братья из конгрегации положили тело в гроб, скрестили руки усопшего на груди, закрыли ему глаза и пригладили растрепанные ветром волосы. Посмотрев на него, прошептали: «Это был самый красивый мужчина в Барселоне».

В тот же самый час на другом конце города открылась боковая дверь женской тюрьмы, и из нее вышла Дельфина. В закрытом экипаже, остановившемся у мрачной стены, ее поджидал сеньор Браульо. Завидев дочь, не без труда выбрался из экипажа. Они молча обнялись и заплакали. «Как ты исхудала, дочка!» — сказал наконец сеньор Браульо. «А вы дрожите, отец, что с вами? Вы здоровы?» — спросила она. «Со мной ничего, дочка, — ответил бывший владелец пансиона, — это, наверно, от волнения. Пойдем, садись в карету, уедем поскорей отсюда домой. Господи, какая ты худенькая! Ну неважно, теперь-то я тебя откормлю. Я теперь совсем другой, ты даже удивишься».

Через месяц после казни Одона Мостасы Онофре Боувила снова просил у дона Умберта Фига-и-Мореры руки его дочери Маргариты, и на этот раз предложение было принято сразу и без всяких оговорок.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Девятнадцатый век, начало которому положил Наполеон Бонапарт 18 брюмера 1799 года, отходил в небытие вместе с королевой Викторией. За пределами королевской спальни, по улицам Европы в свое время процокали копыта коней Императорской гвардии, отгремели пушки Аустерлица, Бородина, Ватерлоо и других прославленных полей сражения. Теперь же слышались только шум ткацких станков и тарахтенье автомобильных моторов. Прошлый век был сравнительно беден войнами, зато был богат открытиями — настоящий век чудес. Теперь Человечество вступало на порог XX века с содроганием. Кардинальные перемены были еще впереди, но уже теперь люди устали оттого, что все кругом меняется и трудно сказать, что принесет завтрашний день; ко всяким преобразованиям относились с недоверием, а то и страхом. Было немало прорицателей, которые предсказывали, что ждет в будущем тех, кто доживет до новых времен. Электричество, радио, автомобили, аэропланы, успехи медицины и фармакологии коренным образом изменяют условия жизни, такие, как связь, транспорт и прочее; Природе укажут ее место, будут укрощены день и ночь, холод и жара; чело-

веческий разум будет управлять случайностью по своему усмотрению; нет такого барьера, которого не смогла бы преодолеть человеческая изобретательность, человек сможет изменять свой рост и даже пол, перемещаться по воздуху с неслыханной скоростью, делаться невидимым, если понадобится, сможет овладеть иностранным языком за два часа, жить по триста лет и более; нас посетят разумнейшие существа с Луны и других, более далеких небесных тел и планет, они впервые явят нам свой удивительный облик и противопоставят нашим машинам и аппаратам свои изобретения. Эти прорицатели представляли себе грядущий мир как Аркадию, населенную художниками и философами, где никому не нужно будет работать. Другие оракулы предсказывали бедствия, тиранию — и больше ничего. Католическая церковь неустанно напоминала всем, кто хотел ей внимать, о том, что прогресс не всегда шел по путям, предначертанным Всевышним и известным лишь его наместнику на земле папе римскому, непогрешимость которого была провозглашена 19 июля 1870 года¹. В своем неприятии прогресса церковь не была одинока: большинство королей и наследных принцев во всем мире разделяли ее точку зрения, в переменах они видели лишь брешь, через которую проникнет разрушительная сила, способная подорвать устои общества и положить конец их владычеству. Лишь германский кайзер придерживался другого мнения, он с упоением смотрел на пушки весом пятьдесят и более тонн, одна за другой изготовлявшиеся на заводах Круппа, и думал: да будет благословен прогресс, если он даст мне возможность бомбардировать Париж. В подобных рассуждениях шли год за годом. О быстротечности времени как раз и думал Онофре Боувилла, стоя на причале барселонского порта в августе 1913 года. Он приехал в порт, чтобы проследить за разгрузкой огромных ящиков, содержимое которых не соответствовало судовой ведомости. Таможенные власти были предупреждены, их попустительство было хорошо оплачено, но Онофре не любил пускать дело на самотек. Рассеянно глядел он, как судно швартуется, и вспоминал тот день, когда приходил на этот самый причал искать работу. В те времена почти все корабли ходили под парусами, а сам он был еще мальчишкой; теперь же в сумеречном свете угасающего августовского дня он видел лишь

¹ На Вселенском Соборе в Риме (1869—1870) папой Пием IX.

дымовые трубы да мачты, а ему вот-вот исполнится сорок лет. Он стоял в одиночестве и мрачно смотрел на суда у причалов. Служащий порта, одетый в строгий черный костюм, точно агент похоронного бюро, подошел к нему и сказал, что его ящики готовы к выгрузке. «Упаковка не повреждена?» — рассеянно спросил Онофре Боувилла. На основе добытых различными путями сведений он пришел к выводу, что скоро начнется война; если его предположения оправдаются, то создастся такая конъюнктура, что каждый, кто сможет поставлять воюющим сторонам оружие, за короткое время наживет огромное состояние. И он контрабандным путем ввозил в Испанию образцы винтовок, снарядов, ручных гранат, огнеметов и так далее. Агенты его повсю старались в канцеляриях европейских стран. Такая мысль пришла в голову не ему одному, так что придется налаживать новые связи, найдутся и соперники, с которыми предстоит жестокая борьба; надо остерегаться и чемпионов будущих воюющих сторон, которые уже начали просачиваться в Барселону, как и в другие города разных стран.

Для чего я все это делаю? — подумал Онофре. Его первый сын оказался слабоумным и теперь влачил растительное существование в Лериде на попечении религиозного общества, которое он щедро финансировал, но сам туда ни разу не наведлся. Второй сын родился мертвым. Потом родились одна за другой две девочки. Любовь к жене, которая прежде выдержала столько испытаний и вынудила его на крайние меры, не выдержала столько разочарований подряд. К этому времени Маргарита располнела: в скуке и одиночестве она утешалась конфетами и шоколадом, ела сладости в любое время дня; многие дарили ей самые изысканные лакомства, стараясь таким путем снискать расположение ее мужа. Постоянные заискивания и лесть свидетельствовали о его богатстве и влиянии, но в остальном он оставался за пределами высшего круга барселонского общества. Видные люди Барселоны восхищались им, но не из-за того, что он умел добывать деньги любыми способами, а потому, что он умел их тратить. Для них деньги были самоцелью и не становились средством обретения власти и могущества, им не приходило в голову использовать свои капиталы, чтобы забрать в свои руки управление страной, вертеть правительством как им заблагорассудится. Если они иногда и входили в мирок мадридских политиканов, то

без всякой охоты, возможно, по просьбе тех, кто занимал испанский трон; в таких случаях они становились ревностными служаками, но никаких высоких целей перед собой не ставили, поступали вопреки интересам Каталонии, которые раньше защищали, а зачастую и во вред своим собственным интересам. Возможно, потому, что всегда в душе считали себя обособленным миром, отгороженным от остальной части Испании, без которой, однако, не хотели или не умели обойтись, а может, им этого не позволяли. Пожалуй, виной всему быстрота смены событий: им просто не хватило времени устояться как сословию, созреть и консолидироваться в экономически единое целое. И теперь они были близки к тому, чтобы исчерпать себя, не пустив корни в Историю и не повлияв на ее ход. Он же бросал деньги щедрой рукой по собственному произволу; этот самый произвол и другие противоречия сеяли зерна разлада и неопределенности.

И вот сейчас он слышал скрип блоков, глухие удары деревянных ящиков о деревянный настил и плеск волн, разбивающихся о борт пароходов. Многие из этих пароходов перевозили его товары с Филиппин и из других мест и в обратном направлении, некоторые из них принадлежали ему. Но это не искупало его сомнительное происхождение в глазах общества. К нему обращались по надобности, но потом делали вид, будто не помнят об этом, в списках приглашенных он никогда не значился.

Год тому назад случилось вот что: к нему явилась группа видных граждан Барселоны, возглавляемая его старым знакомцем маркизом де Ут; вошли они церемонно, велел доложить о себе с перечислением всех титулов и должностей, и не без околичностей изложили ему причину этой ненужной процедуры; большинство из них совершало с ним сделки, чаще всего незаконные, пользовалось его услугами, а теперь они делали вид, будто он их не знает, дабы соблюсти необходимый декорум.

— Чему обязан честью видеть вас? — спросил он.

Те стали рассаживаться, уступая друг другу место и выполняя весь положенный ритуал. «Говорите вы». — «Нет, нет, ни в коем случае, у вас это лучше получится», — говорили они друг другу. Он терпеливо ждал, разглядывая посетителей: некоторые из них были некогда членами Руководящего совета по подготовке Всемирной выставки, стояли у власти еще тогда, когда он ранним утром пробирался на строительную площадку в Сьюдаделе, чтобы

распространять анархистские брошюры и торговать средством для ращения волос, что было первой придуманной им спекуляцией. Большинство устроителей выставки отошло в лучший мир: Руис-и-Тауле умер еще до закрытия Выставки в 1889 году; в 1905 году умер Мануэл Жирона-и-Аграфел, который, будучи представителем короны, оплатил из своего кармана обновление фасада собора и основал Барселонский банк, который недавно лопнул и разорил столько семейств, в результате чего ряды каталонских представителей среднего сословия сильно поредели; в 1907 году скончался Мануэл Дуран-и-Бас и так далее. Те, кто остался в живых, были уже стариками; никто из них и не подозревал, что этот человек, который сейчас смотрит на них насмешливо и презрительно, видел их мальчишкой, наблюдая из-за мешков с цементом, как они, точно боги, проходили по строительной площадке с многочисленной свитой.

— Мы пришли потому, — сказал наконец один из них, — что вы не раз доказали свою любовь к Барселоне, которой вы оказываете честь своим присутствием и своей деятельностью; к тому же нам хорошо известна ваша баснословная щедрость.

— Сколько? — с издевкой спросил он.

— Дело вот в чем, — нисколько не смутясь, продолжал оратор, ибо и сам был прожженным дельцом, как, впрочем, и все остальные члены делегации. — Министерство иностранных дел сообщило нам о том, что особа королевской крови, член семьи правящего монарха, в скором времени посетит нашу столицу. Визит это неофициальный, и, как вы сами понимаете, средств на прием не отпущено. Но, с другой стороны, мы не можем допустить — и министерство дало понять, что таково же мнение короля, да храни Бог Его Величество, — мы не можем допустить, повторяю, чтобы высокородной особе не был оказан подобающий прием. Короче говоря, нам дали понять, что содержание и увеселение этой особы нам следует взять на себя.

Он спросил прежде всего, о ком идет речь. После долгих колебаний ему сообщили под великим секретом, что приезжает в Барселону принцесса Алиса Гессенская, внучка королевы Виктории, ныне именуемая Александрой Федоровной, она — супруга Его Императорского Величества русского царя Николая II. Это сообщение не взволновало его, к династии Романовых он не питал никакого

доверия, считал их всех трутнями, зато с интересом следил за действиями конспираторов-максималистов Ленина и Троцкого с их единомышленниками, о которых ему сообщали его агенты в Лондоне и Париже, где теперь находились эти вожди; он даже помышлял, не финансировать ли их деятельность в надежде на возможные будущие деловые соглашения. Поэтому предстоящее мероприятие представлялось ему ненужным, лишенным всяческого смысла. Какой мне интерес в том, чтобы пойти навстречу просьбе этих людей? — спрашивал он себя. Какой прок в сотрудничестве с ними? Он знал, что они не дураки, напротив того, многие из них слыли удачливыми финансистами. Но все они, в отличие от него, не видели дальше собственного носа, понятия не имели о том, что происходит за стенами их кабинетов, ничего не знали о мире отверженных, невежественных и потому слепых, которые жили и плодились в лабиринте темных улочек. Он-то хорошо знал этот мир и чувствовал пульс революции, участвовавший в последнее время.

— Я беру это на себя, — сказал он, — позабочусь обо всем.

Делегаты, спускаясь по лестнице, рассыпались в благодарностях. У подъезда их дождалась вереница экипажей, которые должны были везти их в особняки на Пасео-де-Грасиа. От мелкого дождя блестели верхи экипажей и попоны на лошадях. Вокруг газовых фонарей и фонарей экипажей, внутри которых горели свечи, образовался световой круг. Стоя на ступеньках подъезда, он помахал рукой, отвечая на прощальные приветствия гостей. Все мое состояние и весь мой престиж унаследуют дочери и те молодцы, которые их покроют, думал он. Черт меня дернул жениться на дурочке.

И вот царица и ее свита прибывают инкогнито в Пуэрта-де-ла-Пас. Дождь, накрапывавший в час свидания с представителями города, кончился несколько часов тому назад. В лужах отражались пышные кроны платанов, которые трепал сырой и холодный ветер. «Не лучшая погода для приема Ее Императорского Величества», — пробормотал маркиз де Ут. Оба курили сигары, сидя в карете красного дерева, в которую была запряжена четверка английских рысаков. За ними тянулась вереница наемных экипажей и многоместных автомобилей, предназначенных для того, чтобы отвезти придворных императрицы в отель «Риц». Онофре не отвечал на реплику маркиза: два дня

назад он получил письмо за подписью «Жоан Боувила». Поначалу он подумал, что письмо от отца, но по прочтении понял, что оно от брата, о существовании которого он начисто забыл. В письме сообщалось, что отец при смерти. «Поспеши, если хочешь застать его в живых». Отца он не видел с 1907 года, когда ненадолго навестил родные края по случаю похорон матери. Среди совершавших ночное бдение у тела покойной он не увидел маленького Жоана. Отец сказал, что тот проходит военную службу в Африке, где без конца восстают мавры. После похорон соседи ушли, и он впервые остался наедине с отцом. «Не знаю, что со мной теперь будет»,— сказал Американец. Онофре промолчал. Отец ходил по дому, созерцая беспорядок, вызванный нашествием такого количества народа, он словно бы надеялся, что жена его вот-вот появится из-за какого-нибудь шкафа. «Я и не знал, что она больна,— сказал он после долгого молчания.— Она сутулилась, и в последнее время у нее пропал аппетит, а других симптомов я не заметил, если они и были. Как-то вечером прихожу домой, а она сидит мертвая на этой скамеечке перед очагом, где всегда сидела; вода в кастрюльке не успела закипеть, стало быть, умерла она недавно, но когда я взял ее руку, она была как ледяная». Пока Американец рассказывал, Онофре бродил по дому, открывая двери и заглядывая во все помещения. Как большинство деревенских женщин, мать никогда ничего не выбрасывала, и в доме накопилось множество бесполезных вещей: расплзшиеся одеяла, дырявые кастрюли и битые горшки, изъеденная термитами прялка. Все это напомнило ему, в какой нужде они жили, когда отец уехал на Кубу. «Мне пора,— сказал он вслух,— у меня в Барселоне неотложные дела». Когда он приехал в Бассору, то, не подумав, стал расспрашивать на привокзальной площади о дядюшке Тоне, так как нигде не увидел его двуколки. Наконец кто-то сказал ему, что старик умер много лет тому назад. Тогда он нанял легкий шарабан, который теперь стоял перед родительским домом, вокруг него бродили куры и цыплята. «Мне пора уезжать»,— повторил он. Американец как ни в чем не бывало продолжал говорить: «Знаешь, что я подумал?» Когда он на какое-то мгновение замолкал, деревенскую тишину нарушали только кудахтанье кур да жужжание навозных мух. «Я подумал,— продолжал старик, видя, что сын никак не реагирует на его слова,— что я теперь мог бы поехать с тобой в Барселону. Как ты

знаешь, деревенская жизнь никогда не была мне по душе, я скорей городской житель, к тому же теперь я остался один...» Онофре взглянул на часы, взял шляпу и трость и пошел к двери, Американец шел за ним по пятам. «Ты же знаешь, я не какой-нибудь пентюх, много чего повидал и уверен, что у тебя нашлась бы какая-нибудь работа и для меня, я по мере сил помогал бы тебе в делах — все какая-то польза». Онофре вышел из дома и направился к шарабану. Возница, дремавший в тени смоковницы под жужжанье мух, увидев его, вскочил и поспешил занять свое место на козлах. Лошадь не была разнуздана, можно было трогаться в обратный путь. «К вашим услугам, сеньор», — сказал он. Это был широкоплечий мужчина с круглой, коротко остриженной головой, он воевал на Кубе под началом генерала Вейлера. «Я понимаю, что у тебя много всяких дел, — продолжал Американец, — так я мог бы хоть целый день заниматься детьми». «Я уверен, — сказал Онофре, садясь в шарабан, — что Жоан скоро вернется из Африки, и все у вас тут наладится. У меня есть связи в Мадриде, и я похлопочу, чтобы его демобилизовали». Возница отвязал вожжи, отпустил тормоз и взялся за кнут. Американец ухватил сына за лодыжку. «Онофре, ради Бога не оставляй меня одного, я не могу жить в одиночестве, не привык сам о себе заботиться, мне не прожить, сидя целую зиму у огня, тут не с кем и словом перемолвиться. Очень тебя прошу». Онофре сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил все деньги, какие у него были с собой; не считая, протянул их Американцу. «Этого вам хватит, чтобы прожить, не испытывая нужды, пока не вернется Жоан», — сказал он. Американец не хотел брать деньги. «Берите, отец, берите же, — нетерпеливо сказал Онофре, — в Бассоре я возьму, сколько мне нужно». Американец повиновался и отпустил лодыжку сына, которую держал обеими руками, чтобы взять деньги. Онофре кивнул вознице, лошадь с места пошла рысью.

У окна кареты маркиза де Ут появилось чье-то лицо, казавшееся желтым при свете масляного фонаря.

— Дон Онофре, можно вас на минутку? Мы поймали какого-то типа, который тут околачивался.

— Что случилось? — поинтересовался маркиз. Подошедший, судя по всему один из людей Боувилы, не удостоил его ответом.

— Оставайся в карете, вдруг Ее Величество скоро

прибудет,— сказал Онофре, обращаясь к маркизу.— Пойду узнаю, в чем там дело, и вернусь сюда.

И он пошел за своим подручным, который поднял фонарь повыше, освещая путь. Обходя бухты канатов и перепрыгивая через лужи, они подошли к группе людей: пятеро тормозили шестого, тот вырывался, с него слетели очки. «Отпустите его,— приказал Онофре Боувила.— Кто он такой?» «Не знаем,— был ответ.— Мы его обыскали, оружия при нем нет, только перочинный ножик». Онофре спросил задержанного, как он ухитрился проникнуть на причал.

— Это было нетрудно,— ответил тот, одергивая помятый пиджак.— Слишком уж много стражников у входа.

Судя по речи, человек этот не был иностранцем, не был похож на меньшевика, нигилиста или еще кого-нибудь, кто мог бы желать нанести вред царице. Онофре Боувила спросил, кто он такой и что здесь делает; тот сказал, что он журналист и работает в такой-то газете.

— Шел по Рамблас и заметил, что готовятся кого-то встречать,— пояснил он.— Решил, что приезжает какое-то важное лицо, проскользнул под носом у охранников и спрятался за какими-то тюками. К сожалению, эти люди меня обнаружили и обошлись со мной очень грубо. Что вы теперь собираетесь со мной сделать? — спросил он вызывающим тоном.

— Ровным счетом ничего,— ответил Боувила.— В конце концов, вы всего лишь выполняли свою работу, добывали сведения. Однако на этот раз убедительно прошу вас никому не сообщать о том, что вы здесь видели. Разумеется, я готов возместить ущерб, нанесенный вам в этом прискорбном инциденте.— Онофре вытащил из внутреннего кармана пиджака несколько банковских билетов, отсчитал три и протянул газетчику, который их не взял.

— Я не беру взяток, сеньор! — воскликнул он.

— Это не взятка,— возразил Боувила,— а знак дружеского расположения. Я лично заинтересован в этом мероприятии, которое здесь проводится.

— Все равно я напишу об этом событии и о вас тоже,— угрожающим тоном сказал журналист.

Онофре Боувила лишь снисходительно улыбнулся.

— Вы вольны поступать, как сочтете нужным,— сказал он.— Но я предпочел бы достичь с вами взаимопо-

нимания. Мне всегда удавалось находить общий язык с журналистами: я — Онофре Боувила.

— О, простите, сеньор Боувила,— тотчас отозвался журналист.— Я не мог подумать, что это вы. Случайно обронил очки, не разглядел... Извините меня за все, что я здесь наговорил, и, безусловно, можете рассчитывать на меня, я буду нем как рыба.

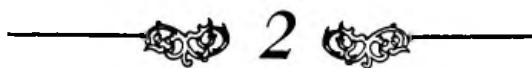
Говорить о своих делах с представителями прессы ему довелось в первый и последний раз в сентябре 1903 года; речь шла о каких-то темных делах в ходе одного из бесчисленных преобразований барселонского порта, которое так и не было доведено до конца, но некоторые лица извлекли из него необъяснимые прибыли. Прочтя статью об этом, Онофре Боувила послал ее автору такую записку: «Мне очень хотелось бы поделиться с Вами впечатлениями». Журналист на это ответил так же кратко: «Назначьте место и время, но только не в церкви Святого Севериана на рассвете». Он явно намекал на ловушку, в которую Онофре много лет тому назад заманил Жоана Сикарта, чтобы покончить с ним. Онофре Боувила несколько не обиделся и ответил: «Не такая Вы важная птица. Приходите ко мне в контору, уверен, мы сможем прийти к соглашению». Журналист пришел на следующий день. «Назначьте цену за свое молчание, и покончим с этим делом,— сказал Онофре Боувила, как только посетитель сел перед его письменным столом,— у меня мало времени». «А кто вам сказал, что я продаюсь?» — с легкой улыбкой спросил журналист. «Вы прекрасно знаете, кто я такой и чего можно от меня ожидать,— заметил Онофре,— и не пришли бы, если бы не знали». Журналист нацарапал на листке бумаги какие-то цифры и показал листок Боувиле. Сумма была неслыханная, со стороны журналиста это была провокация, он хотел привести собеседника в ярость. «Невысоко же вы себя цените,— улыбнулся на этот раз Онофре Боувила,— я приготовил для вас гораздо бóльшую сумму, вот, получите». Он достал из ящика стола толстый конверт с ассигнациями и вручил его журналисту. Тот извлек деньги из конверта, взглянул на них и, ничего не говоря, встал, надел шляпу и вышел. На первом же углу на него накинулись четверо, отобрали конверт, прихватили и его собственные деньги, которые он взял с собой на ежедневные расходы. Потом перебили ему обе ноги.

Когда люди Онофре пошли проводить репортера до

выхода из порта, сам он решил вернуться в карету маркиза де Ут, но тут кортеж тронулся. Прямо на него, дребезжа стеклами и урча моторами, покатились битком набитые автомобили, ему пришлось посторониться, чтобы его не задавили, и он пристроился между каких-то тюков. Тут же стояла деревянная клетка, из которой высывались козьи морды, в нос ударил тяжелый козлий дух. «На кой черт здесь эти козы?» — крикнул Онофре сопровождавшему животных русскому мужику. Тот что-то сказал, но он ни слова не понял. Тогда какой-то мужчина с одутловатым лицом, одетый в гусарский мундир, объяснил на плохом французском, что Его Высочество цесаревич, который едет вместе с матерью, не желает пить чай с молоком от чужеземных коз, даже корм для животных везут в тюках из далеких степей. Везут также любимую мебель царицы: кровать, зеркальные шкафы, диваны, пианино и бюро, сто шесть чемоданов с одеждой и столько же коробок с обувью или картонок со шляпками. Онофре пришлось переждать, пока не проедет весь кортеж, только тогда сумел он покинуть свое импровизированное убежище. Наконец он остался на причале один, в суете о нем забыли то ли нечаянно, то ли нарочно, однако никто не задержался, чтобы подождать его. Ботинки, гетры и брюки ниже колен были заляпаны грязью, летевшей из-под колес автомобилей и экипажей, несколько капель попало даже на сюртук. Цилиндр, который он выронил, отскакивая в сторону, лежал на куче навоза. Онофре не стал его поднимать. Вышел на Рамблас, взял извозчика и поехал домой, там быстро переоделся, пока запрягали самую резвую лошадку в его тильбюри. Однако же в «Риц» прибыл, когда банкет уже начался, тот самый банкет, который он организовал и оплатил из своего кармана. Онофре поспешил к главному столу, за которым сидели царица с цесаревичем, князь Юсупов и другие высокопоставленные гости и их каталонские амфитрионы. Но, подойдя к столу, увидел, что свободных мест нет, о нем и тут позабыли. Маркиз де Ут, заметив его замешательство, встал, подошел к нему и шепнул: «Ну что ты стоишь как ротозей? Твое место за третьим столом». Он вполголоса возразил: «Но я хочу сидеть здесь, где царица!» «Не говори глупостей,— испуганно зашептал маркиз,— ты же не дворянин, это было бы оскорблением Ее Императорскому Величеству».

Он вспоминал об этом, глядя, как лебедки сгружают

на причал грозные немецкие гаубицы и другие огромные орудия, которые не появлялись еще ни на одном поле битвы, в том числе зенитные пушки, которые удалось добыть во французском Главном штабе за очень большие деньги. И, глядя на огромные ящики, испытывал приятную дрожь, он был доволен. В последнее время подобные чувства возникали у него редко, большую часть года он скучал. Вечерами сидел в своей библиотеке, окруженный сотнями книг, которых не читал и никогда не собирался читать, курил гаванские сигары и с тоской вспоминал ночные попойки, когда он вместе с Одоном Мостасой, о смерти которого теперь сожалел, встречал рассвет в публичном доме: на столе стояли пустые бутылки и остатки еды, валялись колоды карт и игральные кости, притулившись кое-как у стены, спали на ковре полуголые женщины, а одежда их была разбросана по всей комнате — вот тогда Онофре чувствовал себя приятно опустошенным и удовлетворенным, это был беспечный разгул молодости.



В Мадриде Его Превосходительство Мохаммед Торрес истекал потом. Он привык к освежающему атлантическому бризу, веявшему в цветущем саду его дворца в Танжере, а теперь, оказавшись в Восточном дворце на пути домой из Парижа, где он встречался с Клемансо, он просто задыхался. От него исходил резкий запах мускуса, от которого тошнило дона Антонио Мауру¹. До сих пор султан Марокко сохранял шаткий нейтралитет, пользуясь соперничеством Франции и Англии, а теперь Германия стремилась заполучить военно-морские базы на марокканском побережье и найти в этой стране рынок сбыта для своих промышленных товаров; пред лицом этой угрозы соперничающие державы в апреле 1904 года пришли к соглашению, и теперь Франция

¹ Маура, Антонио (1853—1925) — политический деятель, глава Консервативной партии; несколько раз был главой испанского правительства.

намеревалась захватить Марокко, разделаться с султаном и великим визирем и присоединить Марокко к Алжиру. Его Величество дон Альфонс XIII, который с интересом выслушал сетования министра иностранных дел Марокканского султаната, счел, что проблема решается очень просто.

— А ты не поддавайся,— подумав, посоветовал он министру.

— Вы очень прозорливы, Ваше Величество,— сказал посланец султана,— но мы не можем отказаться от покровительства какой-либо из великих держав без серьезного риска для трона и даже для жизни моего повелителя, Его Величества султана Абд аль-Азиза.

— А как считаете вы, дон Антонио? — обратился король к главе своего кабинета министров.

Дон Антонио Маура стоял перед дилеммой: настаивать на военном присутствии Испании в Африке значило жить по соседству с осиным гнездом, для обедневшей и недавно утратившей колонии страны это было рискованно; однако отказаться от этого — потерять остатки престижа среди европейских стран. Так он и сказал королю. «Хлопот не оберешься», — ответил тот. Дон Антонио Маура отвел короля в сторону, а Мохаммед Торрес принялся разглядывать висевший на стене огромный диптих: Юдифь и Саломея словно соревновались, показывая друг другу кровавые трофеи; у Олоферна и у Иоанна Крестителя из посинелых губ торчал распухший язык. Мохаммед вспомнил, что Пророк запретил изображать на картинах человеческое тело. Король и глава кабинета министров закончили совещание.

— Его Величество готов был оставить Марокко на произвол судьбы,— сказал дон Антонио Маура,— но мне удалось его переубедить. Проницательность Его Величества поистине удивительна.— Тут министр иностранных дел марокканского султана отвесил три глубоких поклона.— Я также ознакомил Его Величество с остальными сторонами этой проблемы. Собственно говоря, после окончания войны на Кубе армии делать нечего, а праздный офицерский корпус — это всегда опасное сословие: они скучают, подолгу остаются в том же чине, не продвигаются по службе. Рассказал я и о концессиях на разведку полезных ископаемых, и об испанских капиталовложениях в Марокко.— Министр иностранных дел поднес руку к сердцу. Его Величество

Альфонс XIII, которому в ту пору было восемнадцать лет, похлопал его по плечу.

— Мы научим Райсули, как надо жить,— сказал он.

Прошло уже пять лет, но матери рекрутов, которых отправляли в Африку, опять, как и во время войны с Кубой, выражали свой протест все тем же способом: усаживались на шпалы и не давали поезду тронуться. Дамы из католической благотворительной ассоциации, прибывшие на вокзал, чтобы раздавать крестики солдатам, требовали у машиниста и кочегара, чтобы они переехали этих женщин. «Не знаю, как понравится рекрутам, если мы разрежем на куски их матерей»,— отвечал машинист. В толпе кричали: «Да здравствует Маура!» или «Долой Мауру!» Это был один из понедельников июля месяца 1909 года, стояла жара. Видя, что дело принимает скверный оборот, маркиз де Ут явился к Онофре Боувиле домой.

— Все пропало! — воскликнул он; волосы его были взлохмачены и не напомажены, галстук болтался на шее, завязанный кое-как.— Губернатор отказался объявить осадное положение, чернь завладела улицами, поджигает церкви, а Мадрид, как всегда, предоставляет нас самим себе.

Онофре Боувиле открыл перед ним портсигар тисненой кожи, полный гаванских сигар. Маркиз вежливо отказался.

— Да не беспокойтесь вы, все пройдет,— сказал Онофре.— На худой конец, сожгут ваш особняк. Семья на отдыхе?

— Да,— сказал маркиз,— они в Сиджесе.

— А особняк застрахован?

— Ну конечно.

— Так о чем беспокоиться? Знаете, что? Поезжайте к семье на недельку,— посоветовал он.

— Да я об этом уже думал, но не могу: завтра Административный совет,— сказал маркиз и добавил: — Пожалуй, я свалил дурака, что остался в городе.

Онофре Боувиле налил в бокалы амонтильядо. «Отлично успокаивает нервы,— сказал он,— твое здоровье!» В это время дрогнули стекла, где-то ударила пушка. Может, началась революция? — подумал Онофре. Вспомнил, как много лет назад предвещал это событие, распространяя листовки среди рабочих, строивших Всемирную выставку. Тогда он был молод и гол как сокол,

но не желал, чтобы сбылись пророчества анархистов; теперь же он был богат и чувствовал себя старым, но мысль о революции зажгла в его душе огонек надежды. Наконец-то! — подумал он. Но посмотрим, как это будет на самом деле.

— За тебя! — провозгласил маркиз, поднимая бокал. Залпом выпил вино, рыгнул и отер рот тыльной стороной руки. Онофре восхищала бесцеремонность такого аристократа. «Этот никого из себя не корчит».

— А что ты об этом думаешь? — спросил маркиз.

— А ты? — ответил Онофре, закуривая гаванскую сигару и с наслаждением вдыхая дым. — Я не заседаю в Совете, и тем не менее я остался здесь. И не собираюсь выезжать из Барселоны. А что, как ты думаешь, может произойти? — добавил он, видя, как поползли вверх брови маркиза. — Их жалкая кучка, нет у них ни оружия, ни руководителей. Пусть себе позабавятся; их единственный козырь — наш страх. — В эту минуту он вспомнил ту манифестацию, в которой участвовал двадцать лет тому назад, вспомнил жандармерию, лошадей и сабли, вспомнил заряженные картечью пушки. Но об этих воспоминаниях он ни слова не сказал маркизу. — Представь себе на минуту, что они победили, — продолжал он, глядя в окно: он видел темно-синее небо летнего дня и столб черного дыма. Он решил, что горит в Равале: то ли церковь Святого Петра, то ли церковь Святого Павла (которая на самом деле и горела). — А знаешь, что произойдет? Они придут умолять нас о помощи; пройдет несколько часов, и настанет абсолютный хаос, мы им будем нужны еще больше, чем сегодня. Вспомни о Наполеоне. — Маркиз невольно рассмеялся, а Онофре на всякий случай отошел от окна, он видел, как по улице шла рота солдат с карабинами на ремне; у некоторых из них была лопата, у других — кирка, это были саперы. Онофре спросил себя, куда это они направляются, но тут же понял, что рабочие строят баррикады. — Не пришло еще время, — сказал он, снова садясь в кресло. — Но оно придет, Амброси, и раньше, чем мы с тобой думаем. Произойдет всемирная революция, и нынешний строй, основанный на частной собственности, эксплуатации, угнетении и на принципе всевластия буржуазии, будет отменен; от него не останется камня на камне, сначала в Европе, а потом во всем мире. Под лозунгом «Мир трудящимся, свобода угнетенным, смерть правителям,

эксплуататорам и их пособникам!» они разрушат государства и церкви со всеми их установлениями и законами, религиозными, экономическими, политическими, социальными и общеобразовательными, чтобы миллионы людей, которые ныне живут безгласными, поработанными, подавленными и эксплуатируемыми, обрели свободу от своих официальных и официозных благодетелей и наконец вдохнули бы воздух истинной свободы, свободы объединений и каждого в отдельности.

Маркиз глядел на него, выпучив глаза. «Что ты несешь?» — спросил он. Онофре рассмеялся.

— Не обращай внимания, — сказал он. — Я пересказываю тебе содержание брошюры, которая попала мне в руки бог знает сколько лет тому назад. Такая уж у меня память: если я что-то прочел, запоминаю слово в слово. Жена и дочери в Будальере, у тестя и тещи. Оставайся ужинать, все равно в клуб тебе сегодня не попасть.

Когда они ужинали, с улицы донесся грохот, который все усиливался, весь дом дрожал, качались люстры, звеня хрустальными подвесками, подпрыгивала ваза на столе. Велели мажордому пойти посмотреть, что там делается, тот, вернувшись, сказал, что по улице проходит полк кирасир; белые кирасы, черные султаны на касках, сабли наголо.

— В ход пошла тяжелая кавалерия, — задумчиво сказал мажордом. — Вроде бы дело обернулось серьезней, чем вам казалось, сеньор.

— Придется тебе ночевать у меня, — сказал Онофре маркизу. Тот согласно кивнул. — Могу одолжить тебе одну из моих пижам, надеюсь, она тебе будет впору.

— Не беспокойся, — сказал маркиз, косясь на горничную, которая подавала на стол, — я как-нибудь устроюсь.

Всю ночь издалека доносилась канонада, слышались одиночные выстрелы и пулеметная дробь. Наутро, когда они встретились за завтраком, Онофре Боувилла заметил, что у маркиза опухли веки, а под глазами синева. Утренняя почта не пришла. Мажордом сказал, что все магазины закрыты, почта не работает, город замер.

— Это ненадолго, — сказал Онофре. — Как у нас с продуктами?

— Есть все, что нужно, сеньор, — ответил мажордом.

— Какое безобразие! — воскликнул маркиз де Ут. — Чернь держит нас в осаде, а я при моем-то положении... —

Тут он устался на горничную, которая подавала кофе, та покраснела и отвела взгляд.— Не одолжишь ли мне денег? — спросил он у Боувилы.

— Пожалуйста, сколько угодно,— ответил тот.— Но зачем они тебе?

— Чтобы отблагодарить это прелестное создание.— Маркиз указал на горничную.— Кстати, я бы на твоём месте рассчитал её сегодня же.

— Почему?

— Уж больно она вялая в постели.

Онофре Боувиле взглянул на девушку и увидел в её глазах испуг. На вид ей было не больше пятнадцати лет, она недавно приехала в Барселону из деревни, но черты лица у неё были тонкие и держалась она неплохо, почему и попала в горничные, а не в судомойки. Онофре знал, что, если он последует совету маркиза, ей придется выбирать между публичным домом и нищетой. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Одилия, сеньор».— «Нравится тебе служить в этом доме, Одилия?» «Да, сеньор,— ответила девушка,— очень нравится».

— Ну, раз так, мы сделаем вот что,— сказал Онофре, обращаясь к маркизу.— Не нужно ей платить, ведь она тебе не угодила; Одилия останется в доме, и я удвою ей жалованье. Что ты на это скажешь?

Он поступил так не из великодушия и не по расчету, в человеческую благодарность он не верил, просто ему хотелось показать гостю, что в своём доме он волен делать все что вздумается. Какое-то время они молча смотрели друг другу в глаза. Наконец маркиз расхохотался. Они провели вместе целую неделю, ту самую неделю, которая впоследствии была названа «трагической». Играли в карты и без конца болтали, маркиз оказался приятным собеседником, а для Онофре Боувилы ещё и бесценным источником информации: не было знатной семьи, с которой маркиз де Ут не состоял бы в родстве и не знал бы о ней всю подноготную. Вытянуть из него подобные сведения не представляло труда — больше всего на свете он любил рассказывать житейские истории со всеми пикантными подробностями. В этой болтовне Онофре видел щелочку, через которую мог заглянуть в тот замкнутый в себе, пронафталиненный и немного печальный мир, двери которого навсегда останутся закрытыми для него. По вечерам после ужина они посылали мажордома на плоскую крышу; если он докладывал,

что опасности нет, поднимались туда выкурить по сигаре и, облокотившись на перила и потягивая коньяк, глядели на зарево пожаров. Наконец, устав от безделья, послали гражданскому губернатору шутиливую записку: «Положи конец этому безобразию, у нас кончаются сигары». Эта неделя была приятной для Онофре, он тогда подумал, что обрел истинную мужскую дружбу. А теперь, глядя на маркиза, сидящего за главным столом рядом с царицей, понимал, что то был лишь сон.

Над главным столом был сооружен балдахин алого шелка с гербом дома Романовых, стены зала также были украшены шелковыми драпировками, в каждом углу на передвижных консолях были установлены гипсовые скульптурные группы, изваянные специально для этого приема, с потолка свисали люстры со свечами в три ряда, всего в люстрах и бра горело четыре тысячи свечей из пчелиного воска. Приборы на главном столе были золотые, на остальных — серебряные, в центре главного стола стояла ваза севрского фарфора. Глядя на эту роскошь, цена которой была ему хорошо известна, Онофре вспоминал трагическую неделю. Из задумчивости его вдруг вывел густой бас, принадлежавший соседу по столу: «Вы думаете о революции, кабальеро». Онофре впервые внимательно посмотрел на человека, произнесшего эти слова: высокий и худой мужчина лет сорока, с грубыми, крестьянскими, но не лишенными приятности чертами лица; на грудь спускалась длинная, спутанная борода; одет он был в рясу, от которой пахло уксусом, ладаном и овчиной, в ней он казался еще более высоким и худым. Весь его облик и в особенности пронзительный и немного безумный взгляд навели Боувилу на мысль, что перед ним один из невежественных, грубых, хитрых, суеверных и фанатичных, до отвращения услужливых монахов, которым часто удается втереться в свиту сильных мира сего. Потом Онофре узнал, что это был Григорий Ефимович Распутин, который пользовался тогда особым покровительством царицы, так как помог больному гемофилией цесаревичу, после того как врачи признали свое бессилие. О нем чего только не рассказывали: он-де обладал даром гипноза, предсказывал будущее, читал мысли и творил всевозможные чудеса. Влияние его в то время все росло и впоследствии пре-

вратилось в настоящую тиранию для царедворцев, он распределял чины и награды, по его милости одни наживались, другие разорялись, пока наконец в 1916 году участники заговора, возглавляемые тем самым князем Юсуповым, который сейчас смаковал олью, не убили его. А вскоре после этого, как он и предсказывал, разразилась революция, положившая конец династии Романовых, встретивших смерть в Екатеринбургской крепости. Но в то время, когда он сопровождал царицу в ее поездке в Барселону, влияние его лишь набирало силу. Он рассказал Онофре Боувиле, как несколько лет тому назад был свидетелем печального события, которое назвали Кровавым воскресеньем. Он стоял на балконе третьего этажа Зимнего дворца, держа на руках Великую княжну Анастасию, тогда еще совсем крошечную, а рядом с ним стоял цесаревич; с соседнего балкона Великий князь Сергей сказал, глядя на детей: «Распутин, глядите, чтобы дети не простудились, сегодня сильный мороз». В те времена Великий князь Сергей был самым влиятельным лицом во дворце, так как пользовался полным доверием царя Николая. В феврале того же года анархист по фамилии Каляев бросил бомбу в карету, в которой он ехал. От кареты, лошадей и Великого князя осталась лишь груда дымящихся обломков. На балконе второго этажа стоял Великий князь Владимир, который, советуясь с Главным штабом, решал, когда что делать. «Мы будем действовать тонко»,— сказал он. Когда процессия вышла на площадь, он дал демонстрантам подойти поближе. «Чего они хотят?»— спросил царь. «Конституции, Ваше Величество»,— ответили ему. «А-а»,— сказал царь. Великий князь Владимир приказал открыть огонь по демонстрантам. Через несколько минут демонстрация была рассеяна. «Думаю, в тот раз мы поступили правильно»,— сказал Распутин.— На площади осталось более тысячи убитых». Теперь этот безумный монах сожалел, что не мог тогда повлиять на ход событий. «Я знаю, как предотвратить революцию»,— заявил он. Ел Распутин жадно, как людоед. Онофре Боувилу он заинтересовал. По мере того как они разговаривали, Онофре утверждался в своем первоначальном мнении о собеседнике, но личность этого безумца чем-то его притягивала.

— Вы — Онофре Боувила?

Онофре поглядел на человека, обратившегося к нему с этим вопросом на перроне вокзала: лицо деревенского жителя, сухое и усеянное преждевременными морщинками, глубоко сидящие глаза, редкие волосы. «Я — Жоан Боувила», — представился незнакомец. Братья холодно пожали друг другу руки. Когда Жоан Боувила увидел брата второй раз в жизни, ему уже исполнилось двадцать шесть лет, а встретились они по случаю похорон отца, который скончался накануне. «Жаль, что ты не застал его в живых», — сказал Жоан, — он до последней минуты все звал тебя». Онофре ничего на это не ответил. Его ждал на площади тот самый ветеран войны на Кубе, который возил его несколько лет тому назад, когда умерла мать, он запомнил Онофре и решил первым предложить ему свои услуги. «Мы пойдем пешком», — сказал Жоан, — это в двух шагах». Онофре дал вознице денег. «Это за то, что у вас такая хорошая память», — сказал он. Жоан посмотрел на это неодобрительно. Часовня с горящими свечами была устроена в молельне монашенков, которые ухаживали за стариками в бассорском приюте для престарелых. Приют размещался в приземистом здании с каменными стенами и шиферной крышей, на всех окнах были решетки, сад был обнесен высокой глинобитной стеной. По обе стороны приюта стояли жилые дома. Когда Онофре и Жоан шли по садовой дорожке, из окон на них смотрели призреваемые старики и старухи.

— Неизвестно как, но они узнали о вашем приезде, — сказала старшая монахиня, которая вышла встретить их к решетчатой калитке, — в наших краях секретов не бывает. Не удивляйтесь, что вас так ждали, — добавила она доверительным тоном, — ваш бедный отец в редкие минуты просветления сознания только о вас и говорил. Это вам подтвердит сестра Сокорро, которая ухаживала за ним со времени его поступления в наш центр, не правда ли, сестра? — обратилась она к молодой монашке с круглым лицом и белой, почти прозрачной кожей. Та, увидев в мрачной прихожей Онофре и его брата Жоана, потупилась, открыла рот, но ничего не сказала. — В этих случаях он всегда повторял одно и то же, — продолжала рассказывать старшая монахиня, — а именно что вы за ним приедете, он твердо верил, что вы вот-вот появитесь. И тогда, дескать, он уедет с вами в Барселону, будет

жить в роскоши и довольстве. Некоторые старички, поверив ему, начали даже ему завидовать и хуже к нему относиться. Им казалось, что он держится с ними свысока, но минуты просветления, как я уже сказала, бывали у него не часто. У вашего отца было очень живое воображение. Я бы даже сказала — пылкое.

Разговаривая, они шли по длинным коридорам и не встречали ни души. Все двери по обе стороны коридора были закрыты. Выложенный каменной плиткой пол сверкал чистотой, в нем можно было видеть свое отражение, как в пруду с чистой водой. Завернув за угол, они увидели крепкого сложения монашенку, которая стояла на коленях и терла пол тряпкой. Поверх монашеского одеяния на ней был серый передник. От только что натертого пола пахло чем-то острым. Придя в часовню, Онофре мрачно посмотрел на лежащего в гробу отца, на его худое лицо, освещаемое колеблющимся светом свечей, это лишенное всякого выражения, словно пергаментное лицо осталось в его памяти, стерев все прежние образы. «Можно закрывать», — сказал он.

— Пока ваш отец жил у нас, — сказала старшая монахиня, — он, несмотря на то, о чем я рассказывала, приобрел друзей среди наших старичков, и они хотели бы присутствовать на отпевании, если вы не возражаете.

Две монашенки привели нескольких стариков, с трудом волочивших ноги. Не все они знали Американца при жизни и схитрили, лишь бы не пропустить хоть такое развлечение. Одеты они были в лохмотья. «Мы зависим от благотворительного общества, и наше финансовое положение оставляет желать лучшего», — сказала старшая монахиня. Когда молебен закончился и все приготовились отправиться на кладбище, сестра Сокорро потянула Онофре за рукав. «Пойдемте, — сказала она, — я вам кое-что покажу». Он пошел с ней к двери, окрашенной в голубой цвет. Монашенка открыла ее огромным ключом, который висел у нее на поясе. Дверь вела в стенной шкаф. Монашенка нырнула в темное нутро шкафа и извлекла оттуда нечто сплетенное из ивовых прутьев.

— Мы учим больных плести корзины, — сказала она. — Это работа вашего отца, особой ловкостью он не отличался, сплел вот только это. Правда, когда ваш брат привез его к нам почти год тому назад, он уже был очень слаб. Ваш брат заплатил за прутья, стало быть, они принадлежат вам.

Возвращаясь с кладбища, Онофре повел брата обедать в ресторан, в тот самый, где много лет тому назад он и отец случайно встретили Балдрича, Вилаграна и Таперу. Суп съели молча. Пока дожидались второго блюда, Онофре сказал: «Я хотел сразу же приехать, но не смог. Ужинал с царицей, ни больше, ни меньше».

— Я не знаю, что такое царица,— отозвался Жоан.— И я тебя ни в чем не упрекаю, так что можешь передо мной не извиняться.

— Кстати,— сказал Онофре,— все расходы, которые тебе пришлось понести, я тебе возмещу.

— Я надумал продать земли,— сказал Жоан, будто не слышал того, что сказал брат.— Для этого понадобится твое письменное согласие.— Он пристально посмотрел на Онофре. Тот молчал, видимо ожидая продолжения.— Потом уеду в Барселону. Не говори ничего,— поспешно добавил он, видя, что брат собирается что-то сказать; Онофре заметил на его лице выражение, какое было характерным для их матери. Вдвоем они выпили кувшин вина, впрочем, Онофре сделал всего два глотка.

— Не кричи,— сказал он.— Нас тут знают и все на нас смотрят.

— А мне начхаты! — крикнул Жоан.

— Вот видишь,— улыбнулся Онофре.— Ты не так ловок, как тебе кажется. Успокойся и выслушай, какой план я хочу тебе предложить.— Он похлопал в ладоши и попросил официанта снова наполнить кувшин.— Я знаю, что у тебя на уме; хоть мы с тобой почти не знакомы, но не можем быть совсем уж разными. Волей-неволей мы должны понимать друг друга. Тебе надоело обрабатывать землю, верно? Надоела деревня. Как я могу с тобой не согласиться? — Он передал брату кувшин, заметил, что тот пьет машинально, и по мере того, как он пьет, тускнеет блеск его глубоко сидящих глаз.— Земля не дает дохода, это я прекрасно понимаю. А вот лес — это богатство. Отныне мы с тобой и займемся лесом. Лес не требует большого труда, растет сам по себе. Надо только держать ухо востро, чтобы кто-нибудь другой не увел древесину у тебя из-под носа. За древесину в городах платят огромные деньги, но кто-то должен находиться здесь, чтобы охранять наше богатство.

— Не знаю, кого ты хочешь провести этими сказками,— сказал Жоан.— Леса принадлежат всем, никто не может их присвоить.— Он сказал это, понизив голос, не

в силах противостоять влиянию Онофре; теперь, когда они встретились лицом к лицу, ненависть, копившаяся долгие годы, как будто отошла на второй план, и Жоан помимо своей воли загорелся любопытством, немалую роль сыграла и жажда наживы.

— Пока что они принадлежат всем,— продолжал Онофре,— или никому, что то же самое. Но что, если вся долина станет единым административным целым, если приход превратится в аюнтамьенто? Тогда все земли, не являющиеся частной собственностью, все ничьи земли станут общественными и поступят в распоряжение аюнтамьенто, то есть сеньора алькальда... Хочешь стать алькальдом, Жоан?

— Нет,— ответил тот.

— Ну, ты еще сможешь изменить свое мнение,— сказал Онофре.

Этот разговор и необъяснимое желание привлечь брата на свою сторону, хоть он его почти не знал, стоили Онофре кучу денег и много хлопот. Внезапно он вздрогнул: по причалу шагали двое карабинеров. Заметив, какое они произвели на него впечатление, карабинеры взяли под козырек: «Извините, дон Онофре, мы не хотели вас пугать. Ищем контрабандный груз табака». Со дня похорон он с Жоаном не встречался, не присутствовал на торжественной церемонии его вступления в должность алькальда и ничего не знал о его правлении; но в его магазины в Пуэбло-Нуэво регулярно поступали древесины и кора пробкового дуба. Как бы там ни было, думал он теперь, у меня всего-то кровных родственников Жоан, сын-дурачок и две заурядные дочери. Только последний дурак подрубает свои собственные корни.



Они с братом расстались сразу же после обеда. Холодность в их отношениях осталась, но они пришли к соглашению. Онофре один шел по улицам Бассоры. Жоан отправился в обратный путь в половине третьего, чтобы добраться засветло, а поезд, которым уезжал Онофре, отходил лишь в восемь вечера. Город, который в детстве ошеломил его, казался теперь захолустным и безобразным,

воздух — смрадным, прохожие, которые попадались на его пути, — грубыми и неотесанными. Копоть забила им мозги, подумал он. Шел он как будто без определенной цели, однако ноги сами принесли его на улицу, по обе стороны которой стояли дома с колоннадой у входа, там он вошел в один из домов, поднялся на второй этаж и позвонил. Открыла ему женщина, по виду набожная и скромная, и он спросил у нее, не здесь ли проживал когда-то чучельник.

Она пригласила его в прихожую и там пояснила, что чучельник, о котором он говорит, ее отец, и он еще жив, но уже в весьма преклонном возрасте и уже несколько лет не занимается своим ремеслом. Они жили вдвоем — отец и дочь — на его сбережения, жили скромно, но не в нужде. Она провела его к отцу и представила, а он спросил, не помнит ли чучельник, как он много лет тому назад препарировал обезьяну, и тот сразу же ответил утвердительно, ибо другого случая с обезьяной в его практике не было; он помнил, что работа была трудная, так как он не знал анатомию обезьяны, да и та была очень уж маленькая, с очень хрупкими косточками, он усердно трудился над ней много часов, но в конце концов чучело получилось отличное. Но шли месяцы, а заказчик так и не появлялся, того он тоже хорошо помнит, хоть с тех пор прошел не один десяток лет: это был господин в белом костюме, соломенной шляпе и с тростью, а с ним был мальчик. «Теперь вы можете убедиться в том, какая у меня память несмотря на мои годы», — с гордостью заключил старый чучельник. «Отец, вам нельзя переутомляться», — сказала женщина. А Боувиле она шепнула, что отец легко возбуждается, а потом долго не может уснуть. «А что же случилось с обезьяной?» — спросил все же Онофре, несмотря на просьбу женщины. Старик явно напрягся, стараясь вспомнить. Какое-то время он хранил чучело в шкафу, чтобы оно не запылилось. Потом, поняв, что никто за ним уже не придет, поставил его на консоли в мастерской как образец. «А потом?» Что было потом, старик не помнил. На помощь пришла дочь: «Как же, отец, его ведь взял сеньор Катасус, разве не помните?» «Да-да», — сказал отставной чучельник. Сеньор Катасус и его зять не раз приносили ему свои охотничьи трофеи, это были его лучшие клиенты. Всегда что-нибудь крупное, не меньше косули, а то и вепря. Вот они-то, увидев обезьяну, и возымели желание заполучить ее, та уже мно-

го лет простояла на консоли. И он счел возможным подарить чучело таким хорошим заказчикам.

Семейство Катасус жило за городом, на отшибе, и ветеран войны на Кубе, которого Онофре нашел на привокзальной площади, знал их дом. Онофре вручил служанке визитную карточку. Пока ждал в прихожей, подумал, что делает глупость. Неразумные решения всегда влекут за собой печальные последствия, подумал он. Не лучше ли отказаться от этой глупой сентиментальной затеи, пока не поздно? К нему вышел глава семейства. Это был полный мужчина лет шестидесяти, жизнерадостный, с провинциальными манерами. «Сеньор Боувила,— сказал он,— какая честь! Я так много слышал о вас!» У них оказались общие знакомые, слышал он и о банкете в честь русской царицы. «Такие события получают в провинции большой резонанс!» — весело смеясь, сообщил он. Но чему он обязан честью? Онофре сказал, что дело у него сугубо личное, и изложил его в немногих словах. «Вам, наверное, покажется нелепым, что я проявляю такой интерес к этой обезьянке»,— сказал он в заключение. «Нет-нет, никоим образом,— сочувственно отозвался Катасус,— но вот только я очень сожалею, что не могу удовлетворить вашу просьбу, как мне это хотелось бы». И он рассказал, что его зять, некий Эскласанс, владелец винокуренного завода, увидев однажды обезьянку в мастерской чучельника, возымел идею назвать один из сортов своей продукции «Обезьяньей водкой», потому они и уговорили чучельника подарить им эту обезьянку, с тем чтобы использовать ее как рекламу, но адвокат, который вел дела зятя в Барселоне, написал, что такое название уже кем-то зарегистрировано, по чистой случайности в продаже уже имелась анисовая водка с тем же названием. Обезьянку отдали детям, и они с ней играли, потом дети подросли, ее бросили на чердак, а при его чистке потрепанное и запыленное чучело выбросили на помойку.

— И все же примечательно,— сказал сеньор Катасус в заключение,— что через столько лет вам удалось полностью восстановить путь этой самой обезьянки.— Тут он посмотрел на часы, словно хотел отделаться от гостя, но не знал как. Онофре и сам искал повода откланяться.— Но я вижу, что до отхода вашего поезда еще больше двух часов, а станция совсем рядом. Хочу просить вас оказать мне честь разделить с нами нашу скромную трапезу, у нас, видите ли, маленький семейный сбор.

Онофре дал увести себя в просторную столовую с лепным потолком и дубовой мебелью, где собрались двенадцать или тринадцать человек. Катасус представил ему присутствующих, которые его мало заинтересовали. Это были прежде всего сыновья супругов Катарус с женами, затем шли более или менее близкие родственники. Наконец был представлен весьма живописный субъект по имени Сантьяго Бельталь.

— Сантьяго у нас изобретатель, — только и сказал про него Катарус.

По насмешливому тону хозяина и по улыбкам гостей Онофре пришел к выводу, что речь идет о бедном или неудачливом родственнике, эксцентричном и немного тронутым, из таких, что обыкновенно становятся шутами, сами того не замечая. Сантьяго Бельталь, чье имя будет навечно связано с его именем, был в то время молодым человеком лет двадцати шести, но казался вдвое старше, у него был вид изголодавшегося и усталого человека, который перестал есть и спать, будучи одержим какой-то идеей; прямые и засаленные светлые волосы, глаза навывкате, длинный нос и большой рот, тонкие губы и крупные зубы — все это усиливало комичность его облика; не вызывали уважения также старый подштопанный шерстяной пиджак, растрепанный кричащий галстук, слишком короткие брюки и альпартаты. Хоть и видно было, что жил он за счет чужого сострадания, он едва попробовал булочки и сладости, стоявшие перед ним на столе. Он и Онофре долго смотрели друг на друга. На какое-то мгновение Онофре показалось, что перед ним другой чокнутый молодой человек, которого он по-настоящему никогда не знал и который когда-то отплыл на Кубу, полный всяческих иллюзий, а вернулся с Кубы с разбитым сердцем и несбывшимися мечтами. Теперь этот образ налагался на жалкие останки того, кого он только что предал земле. В голове его промелькнула дикая мысль: я искал обезьяну, которой давно уже нет, сам не зная зачем, а теперь судьба посылает мне взамен этого безумца. Как только Онофре обменялся с присутствующими обычными формулами вежливости, Катарус начал рассказывать про обезьянку, его прервал один из гостей, который принялся утверждать, что обезьяны — необыкновенно умные животные. В какой-то книге путешествий он читал, что древние египтяне, не верившие в Бога, почитали обезьян. Другой гость сказал, что знает из достоверных источников, что в отличие от

того, что говорил его предшественник о Древнем Египте, в Китае и Японии обезьян едят и считают их мясо деликатесом, причем самым изысканным. Третий сказал, что ничего особенного в этом нет, а вот где-то в Южной Америке едят кайманов и змей. Кто-то заметил, что, наверное, в Чили. Его тетка, мол, вышла замуж за торговца шерстью, и оба эмигрировали в Чили. Жена поправила его, сказав, что эти родственники эмигрировали не в Чили, а в Венесуэлу. И как печально, что помнит об этом она, кому они вовсе не родственники, а свойственники. Тот, кто начал разговор о змеях, сообщил, как их готовить: убив змею, ее разрезают на куски примерно в пядь длиной, потом сворачивают, пришивая нитками один конец к другому, и жарят в оливковом масле, как колбасы, едят с кашей, и это основная пища обитателей этой части Южной Америки. Какая-то женщина пожаловалась, что у нее на теле выступают белые пятна. Другая посоветовала ей поехать на воды в Кальдас-де-Бои. Один из молодых людей сказал, что в Париже улицы запружены автомобилями, которые нередко давят кошек, собак и даже ослов своими колесами. «Эта мода на автомобили,— высказался пожилой мужчина, который до тех пор в разговор не вступал,— доведет до беды не одну семью». С ним согласилось большинство из присутствующих. Но Катасус сказал, что, даже если это так, бессмысленно бороться с прогрессом, особенно в области науки. Такие шли беседы за столом. Онофре Боувила ничего не говорил. Поглядывал искоса на Сантьяго Бельталя, который тоже молчал, но в отличие от него не проявлял показного интереса к тому, что говорилось, а думал о своем; время от времени глаза его оживали, загорались, и тогда он казался опасным, но никто этого не замечал, так как на него не обращали внимания; а иногда он морщил лоб, и глаза его становились грустными — и этого никто не замечал. В интервалах между сменой настроений на лице его в течение нескольких секунд можно было прочесть лишь усталость. Не замечал он и пристального внимания вновь прибывшего. Это положение вещей было внезапно нарушено вбежавшим в столовую мальчиком. Это был совсем еще ребенок, не более трех-четырёх лет от роду, носил рубашечку с фес-тончиками; он подбежал к матери, сунул голову ей в колени и заплакал, громко и безутешно. Мать его успокоила, и он, плача и икая, поведал о том, что довело его до слез:

— Мария меня ударила!

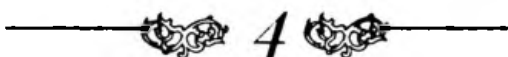
И полной ручкой указал на дверь, которую не затворил за собой. Дверь вела в круглый холл, лишенный какой бы то ни было мебели и освещаемый лишь светом, падавшим из слухового окна. В центре холла сидела в кресле худая некрасивая девочка. На ней была короткая поношенная рубашка, из-под которой виднелись тощие ноги в грязных штопаных чулках. Онофре сразу же сообразил, кто она такая. Заметив, как пристально он на нее смотрит, девочка ответила дерзким взглядом. Несмотря на расстояние, он заметил, что у нее круглые глаза цвета жженого сахара. Сантьяго Бельталь встал и крупными шагами пошел к дочери. Нарушая приличия, Онофре тоже поднялся с места и стал в дверях. Ему хотелось услышать, о чем будет говорить изобретатель с дочерью. За его спиной стал Катасус.

— Не беспокойтесь, Боувила,— сказал он.— Это случается всякий раз, как они к нам приходят. Не она одна виновата. Марии семь лет, она многое начинает понимать. В тех обстоятельствах, в которых она живет, это трудный возраст.

— А мать? — спросил Онофре Боувила.

Катасус пожал плечами и закатил глаза, дескать, об этом лучше не спрашивать. Оба обернулись на резкий звук. Бельталь влепил дочери пощечину. А он человек порывистый, подумал Онофре. Девочка едва удержалась, чтобы не упасть и в особенности чтобы не заплакать. Порывистость — его слабость, подумал Боувила. Изобретатель вернулся в столовую. Он был очень бледен, принялся бормотать какое-то извинение и никак не мог свести концы с концами, чем немало потешал остальных гостей. Онофре Боувила, стоявший рядом с ним, положил ему руку на плечо и почувствовал под рукой кости ключицы. «Уходите и уведите девочку»,— сказал он ему на ухо. Изобретатель бросил на него свирепый взгляд, на который он ответил безмятежной улыбкой, словно говоря: «Спокойствие, ты мне не смешон, но и не страшен, я запросто мог бы велеть тебя прикончить, но мне хочется тебя защитить». Сунул ему в карман визитную карточку. Сантьяго Бельталь не заметил этого движения, резко освободился от его руки, взял дочь за руку и поволок к выходу, в сторону, противоположную той, где находился круглый холл. Онофре воспользовался этим инцидентом, чтобы также откланяться. Поблагодарил за оказанное ему гостеприимство. По дороге на станцию нагнал на извозчике

изобретателя с дочерью. Они о чем-то оживленно разговаривали. Зная, что никто из них этого не заметит, обернулся и смотрел на них, пока коляска не завернула за угол. Миллионы людей готовились убивать друг друга под Верденом и на Марне, а он заботился о том, чтобы им было чем воевать. После этой встречи прошел год, и он позабыл о Сантьяго Бельтале и его дочери. Лебедки погрузили ящики на ломовые телеги, рабочие закрыли их брезентом. Каждую телегу тащили восемь мулов, все они двигались в Багатель. Впереди шли люди с горящими факелами, другие — вели головных мулов под уздцы, третьи — охраняли груз, шли с пистолетами наготове.



Теперь уже улицы Парижа не были забиты автомобилями, как об этом рассказывал племянник Катасуса, они были темны и безмолвны. Четыре года в Европе шла война, все мужчины были мобилизованы, фабрики и заводы замерли, некому было возделывать поля, а последний скот пошел на убой, чтобы прокормить армию. Если бы не колонии и нейтральные государства, воюющим сторонам пришлось бы сложить оружие из-за истощения, всем по очереди, и тогда тот, у кого хватило бы провизии и боеприпасов, стал бы владыкой мира. Такому печальному положению радовались многие в Барселоне. Всякий, кто мог хоть что-нибудь продать, за одни сутки наживал состояние, а то и становился миллионером. Город кипел как растревоженный муравейник: от рассвета до заката в Лонже и Борне, в посольствах и консульствах, торговых конторах и банках, клубах и ресторанах, в салонах, ложах и фойе, игорных домах, кабаре и борделях, отелях и гостиницах, темных улочках и пустых галереях церквей, в алькове надушенной разомлевшей куртизанки — всюду предлагались сделки, назначались наобум цены, предлагались взятки, звучали угрозы, каждый готов был совершить все семь смертных грехов, лишь бы заключить контракт, деньги текли из рук в руки так быстро и в таком количестве, что скоро золото сменилось бумажными деньгами, бумажные деньги — словом, а слово — чистым воображением, многие полагали, что нажили баснословные суммы,

другие — что их потратили, хотя на самом деле ничего этого не было; за карточными столами, где играли в покер, баккара и шмен-де-фер, подлинные или воображаемые состояния переходили из одних рук в другие за несколько часов; самые что ни на есть изысканные блюда поглощались без всяких церемоний (чего до той поры в Испании не наблюдалось), некоторые даже на корриду брали с собой бутерброды с икрой, и не было рецидивиста, шулера и шикарной проститутки, которые не побывали в Барселоне в эти благословенные годы. Лишь Онофре Боувила оставался безучастным среди всеобщего ажиотажа. Почти нигде не появлялся. О нем ходили самые нелепые слухи: одни говорили, будто он спятил, оттого что заработал столько денег, другие — что он серьезно болен. Были измышления и поинтересней: некоторые утверждали, что Онофре Боувила, внимательно наблюдая за ходом боевых действий, предложил русскому императору свои услуги в приобретении трона Габсбургов, если Австрия проиграет войну, а сам он в этом не сомневался. Еще говорили, что якобы это он финансировал восстание, приведшее к падению самодержавия в России, и за это Германия поместила на его имя сто килограммов золота в слитках в один из швейцарских банков и пожаловала ему титул эрцгерцога. Все это были враки. Целая армия агентов и осведомителей держала Онофре Боувила в курсе всего, что происходило на полях сражений и в главных штабах, в окопах и в тылу, он знал достаточно и потерял интерес к войне. Зато ощущал тревогу, видя, как на горизонте сгущаются черные тучи. Он говорил, что худшее еще впереди, имея в виду революцию и анархию. Воображение рисовало ему, как из дымящихся руин Европы выходит голодная и жаждущая мести толпа, готовая перестроить мир и учредить новый общественный порядок, основанный на честности и справедливости в распределении материальных благ. А он западную цивилизацию считал как бы составной частью своих богатств и приходил в отчаяние, представляя себе ее разрушение. И он пришел к мысли, что его призвание — помешать этому процессу. Верил, что ему судьбой предназначена такая историческая миссия. «Не может быть, чтобы моя жизнь, содержащая в себе столько необычного, кончилась ничем», — говорил он себе. Ведь начинал он свою карьеру в самых неблагоприятных условиях и ценой собственных усилий стал самым богатым человеком в Испании и, возможно, одним из самых бога-

тых людей в мире. Теперь же верил, что призван выполнить более высокую миссию, считал себя новым Мессией. Только в этом смысле и можно было говорить, что он тронулся умом. Теперь дела его шли по инерции, процветали и без его участия, а он денно и ночью разрабатывал план спасения человечества от хаоса. При этом он рассчитывал на свои деньги, свою неукротимую энергию, на способность действовать без зазрения совести и на опыт, накопленный за всю жизнь. Не хватало только общей цели, которая соединила бы воедино все эти факторы. Такая идея все не приходила ему в голову, и от этого он пребывал постоянно в угрюмом настроении, даже поколачивал тростью своих помощников из-за каких-нибудь пустяков, жена и дочери почти его не видели. Наконец 7 ноября 1918 года, за два дня до провозглашения Веймарской республики, эта идея, которую он так долго не мог ухватить, выкристаллизовалась в его мозгу совершенно неожиданным образом.

Несчастный сеньор Браульо так и не оправился от потрясения, которое вызвала у него смерть любимого человека. Он полностью отошел от дел и жил уединенно со своей дочерью Дельфиной в скромном двухэтажном доме с садом на тихой улице на месте бывшего селения Грасиа, которое вошло в план барселонского Энсанче и тем самым оказалось в черте города. Отец и дочь выходили из дома очень редко. Дельфина каждое утро ходила на рынок Либертад, где покупала продукты, почти не разговаривая с торговками: указывала пальцем, что ей нужно, и платила, сколько запрашивали, не торгуясь. Торговки, не ведавшие о том, как Дельфина когда-то терроризировала их товаров на другом рынке, считали ее образцовой покупательницей. Под вечер отец и дочь появлялись на Пласа-дель-Соль и рука об руку медленно прохаживались под акациями, затем возвращались домой, не перемолвившись ни с кем, даже не разговаривая друг с другом. Делали вид, что не замечают приветствий и вежливых фраз, с которыми к ним обращались соседи, кто просто по доброте сердечной, а кто из желания завязать пустой разговор в надежде хоть немного приоткрыть завесу таинственности, скрывавшую от них жизнь отца и дочери. Вернувшись с прогулки, они запирали калитку на цепь и на замок. В течение нескольких часов еще можно было с улицы увидеть свет в окнах их дома. Около десяти свет гас. Они не принимали гостей, не получали писем, не выписывали ни журналов, ни газет.

Никто ни разу не видел их в приходской церкви. То, что они так упорно сторонились людей, не могло не вызвать толков и пересудов. Все были единодушны в том, что сеньор Браульо располагал приличной рентой, и после его смерти (а в том, что она наступит скоро, никто не сомневался) рента перейдет Дельфине, что делало ее завидной партией, желанной добычей для охотников за приданым. Но те, кто пытался подойти к ней, натыкались на глухую стену безразличия и безмолвия, и скоро подобные попытки прекратились. Теперь для нее годы шли медленно и неумолимо, как сползающий с гор ледник; поговаривали, будто она дожидается смерти отца, чтобы затем поступить в монастырь, а рента будет ее взносом. «А уж когда за ней закроются монастырские двери, мы потеряем всякую возможность узнать, кто она такая и что за трагедия погубила ее жизнь», — говорили соседи.

В конце октября 1918 года отец и дочь, в чью тайну так страстно хотели проникнуть любопытные, перестали появляться на Пласа-дель-Соль. Через несколько дней оживились слухи, загложшие много лет тому назад. «Бедняга заболел», — решили все. Считали, что долго он не протянет: перед тем как прекратить прогулки, он очень плохо выглядел. «Смерть уже поставила на нем свою печать», — говорили соседи. Ставились различные диагнозы. А кто-то предположил, что заболела дочь. Такая возможность еще больше подхлестнула любопытство окружающих. Приехал в кабриолете врач. Дельфина вышла отпереть ему калитку. «Ага, значит, болен все-таки он», — говорили любопытные, — как мы и предполагали». Потом появились еще два врача. Соседи поняли, что созван консилиум. С того дня началось настоящее паломничество врачей, сестер милосердия и сиделок. Каждое утро Дельфина по-прежнему ходила на рынок Либертад. Торговки спрашивались, как здоровье ее отца, говорили, что молятся о его скором выздоровлении, а Дельфина показывала пальцем на товар, платила и шла прочь, не сказав ни слова. Октябрь и первая неделя ноября прошли, не прояснив положения. Новый, беспокойный образ жизни сменил покойное прежнее жите обитателей этого дома. Наконец любопытные были вознаграждены за долгие месяцы ожидания: у ворот дома остановился невиданно роскошный автомобиль. Из него вышел человек, которого сразу же узнали, так как не раз видели его фотографию в газетах. И теперь они спрашивали друг друга, какие

отношения могут быть у всесильного магната с этими робкими, замкнутыми людьми. «Это она его позвала», — сказал кто-то, но остальные не обратили внимания на эти слова, все сбежались поглазеть на автомобиль: сиденья обтянуты красной кожей, дорожные пледы с опушкой из соболиного меха, гудок и фары — сплошь из золота, шофер в сером плаще с воротником из астраханского каракуля, лакей — в зеленом камзоле с золочеными пуговицами.

От калитки увидеть дом было невозможно: деревья никто не подстригал, пышно разрослись сорняки. В саду росли пальма, лавр, несколько кипарисов и столетнее миндальное дерево, почти окаменевшее. Справа находился заболоченный пруд, а над прудом — потрескавшийся и почерневший дельфин, весь поросший мхом, из пасти его не вытекало ни капли воды. Носились стрекозы всех цветов и оттенков. В отличие от сада дом казался чистым и опрятным, как снаружи, так и внутри; не было ни лепных украшений, ни картин, ни занавесей на окнах, прикрытых жалюзи. Все сияло, но это была одна лишь видимость чистоты; в порядке содержалось лишь то, что полумрак позволял разглядеть, а за пределами этого малого пространства, освещенного скудным светом, проникавшим через слуховое окно и жалюзи, — лишь пыль да гниль, все углы затянуты паутиной, тучами носилась моль, пожиравшая грязную ветхую одежду, тараканы отъедались остатками пищи в шкафу для провизии, размножались со сказочной быстротой. Этот ужасающий контраст отражал сущность самой Дельфины, служил материальным воплощением ее душевного распада.

— Это не я тебя позвала, а отец. Он хотел видеть тебя в последний раз, — сказала она из темноты. Открыть калитку она вышла, закрыв лицо густой вуалью. Не хотела, чтобы он видел ее лицо до того, как она откроет ему правду. Здесь, внутри дома, она казалась призраком. Онофре Боувила пожалел, что пришел без оружия и оставил лакея в автомобиле — тот носил оружие вместо него. С первых же слов он узнал голос служанки, который не спутаешь ни с каким другим. — Но ты вовсе не был обязан приезжать. Тебе видней, почему ты все же согласился. — Он не знал, что на это ответить. — Поднимись к нему, не бойся, с ним сиделка. А я подожду тебя здесь.

Он поднялся по лестнице наверх; на многих ступеньках мрамор кусками отваливался, виднелись проржавевшие железные балки. Кое-как ориентируясь в полутьме, Онофре дошел до единственной открытой двери на лестничной площадке. Войдя, увидел кровать с балдахином, на которой покоился сеньор Браульо. На ночном столике горела электрическая лампа под газовым абажуром, отбрасывавшая чуть фиолетовый свет; при этом свете лицо лежавшего казалось белым, как цветочные лепестки. В глубоком кресле храпела сиделка. Боувиле не понадобилось подходить к кровати, чтобы убедиться в том, что больной умер несколько часов тому назад. Онофре прошелся по комнате: в углу, противоположном тому, где стояла кровать, стоял лакированный туалетный столик, инкрустированный слоновой костью. На столике он увидел баночки с кремом, притирания, румяна, щипчики для завивки ресниц, набор гребешков и щеточек. На раме овального зеркала висела черная кружевная мантилья. В ближнем ящике лежал черепаховый гребень. В последние годы жизни сеньор Браульо не раз хвастался, что служил натурщицей Исидро Нонелю¹, когда тот рисовал свои знаменитые портреты цыганок. Нонель уже умер и не мог подтвердить истинность этого экстравагантного заявления. Рядом с гребнем лежал остро отточенный нож — так и жизнь усопшего прошла между фантазиями и насилием. На плечо Онофре легла чья-то рука, и он чуть не вскрикнул. «Я не слышал, как ты вошла, — сказал он, переводя дух. Дельфина не отвечала. — Он уже был мертв, когда ты послала за мной, верно? — И снова он не получил ответа. — А что ты дала этой сиделке?»

Дельфина пожала плечами.

— Когда мы виделись в последний раз, — заговорила она, — я сказала тебе, что когда-нибудь открою тебе один секрет. Так вот, теперь я могу это сделать, потому что больше мы не встретимся, отец умер, другого повода не будет.

— Не знаю, о каком секрете ты говоришь, — сухо сказал он.

Последовало долгое молчание. Это был тот самый секрет, который владел мыслями Дельфины все долгие годы заточения и все серые годы ее добровольного за-

¹ Нонель, Исидро (1873—1911) — каталонский художник; был тесно связан с молодым Пикассо «голубого периода».

творничества, она только им и жила. А теперь она убедилась, что он не помнит, о каком секрете идет речь, и не имеет ни малейшего желания узнать его. Из всех возможных вариантов, которые она строила в своем воображении, представляя себе, как он будет реагировать на ее откровение, этот она не приняла во внимание. Значит, все эти годы прошли напрасно. В наступившей тишине она вновь увидела ту картину, которую пронесла через всю свою жизнь, точно врезавшийся в память эстамп; она физически ощущала, как он рвет на ней ветхую рубашку, которую она именно на этот случай стирала и гладила ежедневно, видела на матрасе свое обнаженное потное тело, видела, как зло блестят его глаза в блеклых рассветленных лучах того весеннего утра 1888 года, едва пробивавшихся сквозь грязные стекла мансарды в пансионе. Она ждала встречи с ним уже не первый месяц, а оказалось, что секрет ее для него не стоит выведенного яйца. Она любила его с той минуты, когда он впервые вошел в вестибюль пансиона. В те первые месяцы она слышала его осторожные шаги на лестничной площадке этажом ниже, каждую ночь вставала и выходила из спальни, ибо не могла уснуть, не могла вынести бесконечного ожидания; ей приходилось прятаться всякий раз, как отец уходил в ночной разгул. Она и теперь чувствовала руки Онофре на своей талии, его сухие и жесткие губы на своих губах, а потом, уже в тюрьме, видела, как постепенно исчезают на ее груди синие звезды, а на бедрах синяки от его пальцев, она тогда умирала от желания, тоски и отчаяния. И секрет заключался как раз в том, что все его хитроумные уловки, на которые он пустился, чтобы овладеть ею, были попросту не нужны: она отдалась бы ему безоглядно, стоило ему только этого пожелать. Она сама выбросила из окна мансарды злополучного Вельзевула, ибо этот трудный для нее жестокий поступок устранял последнее препятствие на пути Онофре к ней. Теперь она выбрала момент, чтобы открыть ему секрет, пусть она еще хоть раз будет принадлежать ему, пусть и на короткое мгновение. Потом она собиралась покончить с собой, в кармане держала сильнодействующий яд. Так я и положу конец моей никудышной жизни, думала она. Раз уж в жизни у меня не было ни минуты счастья, окончу свои дни, хоть еще раз взяв свое. А теперь он разрушил этот план одной фразой. В первый раз, когда она хотела отдаться человеку, которого любила, он грубо

изнасиловал ее и тем самым украл у нее возможность уступить ему добровольно, во второй — задушил ее чувства безразличием, не дал увидеть хоть проблеск света в серой мгле. Прежде чем сказать что-нибудь еще, он обеими руками снял с нее вуаль.

— Ты не изменилась, — сказал он и решил, что больше ничего ей не должен.

Ему теперь было не до нее, его заботили дела поважней. Германия была на грани поражения, страна, которой в глубине души он симпатизировал, лежала в руинах. Более двух миллионов немцев погибло на войне, четыре миллиона раненых, ни на что уже не годных людей. Теперь там царил мятежный дух. Несколько дней тому назад восстали моряки в Киле, социалисты объявили Баварию автономной республикой, Роза Люксембург и спартаковцы сеяли беспорядки, создавали советы, а умеренные за спиной кайзера, укрывшегося в Голландии, вели переговоры о перемирии. Священная империя лежала бездыханной, как сеньор Браульо на смертном одре. Только он, Онофре Боувила, сохранил мужество и средства, чтобы оживить этот моральный труп, жертву своей собственной истории и ложного героизма своих правителей. Перед лицом таких событий терзания Дельфины докучали ему, в ее театральном молчании он не находил никакого смысла, воспоминание об их близости в ту благословенную ночь на рассвете, которое для нее обратилось в пепел, для него было смутным, неясным следом заурядного события. Это он и хотел сказать ей, когда заметил в ее глазах сумасшедший блеск и прочел в них все, что так долго копилось: таившийся столько лет порыв чувственности и ее тягу к нему; он и сам вспомнил, как тосковал по ночам в те далекие годы, как сердце его разрывалось от страсти к ней. И вот в это мгновение и обрела четкие очертания его идея. Он бросил на пол вуаль, которая падала, медленно планируя. При мертвенном электрическом свете вгляделся в ее лицо. Она начала дрожащими руками расстегивать крючки на платье. Оставшись в нижнем белье, подняла глаза и увидела, что он погружен в размышления. Ее тело не пробуждало в нем теперь никакого вожделения. «Что ты сделаешь со мной?» — спросила она. Он ответил на это неопределенной улыбкой.

Несколько лет назад к нему в дом явился маркиз де Ут и задал необычный вопрос: «Хочешь посмотреть, как на тебя писает собака?» Был холодный и сырой зимний вечер,

сыпал мелкий дождь, и порывы ветра бросали капли воды в оконное стекло. Онофре укрылся в библиотеке, как обычно. В камине ярко пылали поленья, пламя отбрасывало на стену гигантскую тень маркиза, который подошел погреться у огня и расправлял окоченевшие от непогоды члены. На нем были фрак и рубашка с коралловыми пуговицами.

— Хорошо,— сказал Онофре,— через десять минут я буду к твоим услугам.

На улице ждал экипаж маркиза. Под непрекращающимся дождем они проехали город из конца в конец и выехали на небольшую площадь треугольной формы, где встречались две улицы. Это была площадь Сан-Кайетано, по ней никто не ездил, окна домов были закрыты по случаю дождя и холода, и сами дома казались нежилыми. Форейтор, всегда ехавший впереди кареты маркиза на белой лошади, соскочил на землю, угодив обеими ногами в лужу. Ведя лошадь в поводу, подошел к деревянным дверям и постучал в них ручкой кнута. Через несколько мгновений открылся глазок, мелькнул лучик света: Форейтор что-то сказал, выслушал ответ и призывно махнул оставшимся в карете. Маркиз де Ут и Онофре вышли из кареты и побежали к двери, перепрыгивая через лужи и стараясь не попасть под мощные струи, низвергаемые водостоками. Дверь перед ними открылась, а когда они прошли, снова закрылась перед носом форейтора. Оба посетителя закрыли лицо плащами, дабы не показывать его раньше времени. В прихожей горели факелы, на стенах заметны были пятна от сырости, висели какие-то бесформенные и бесцветные тряпки, которые, видимо, когда-то были флажками. Над дверью, которая вела в темный коридор, висела голова могучего быка, шерсть на ней блестела от сырости, но один стеклянный глаз отсутствовал, а вместо девиза болтались какие-то лохмотья. Дверь им открыл мужчина лет пятидесяти, он прихрамывал, как будто одна нога у него была короче другой, но на самом деле хромотой своей он был обязан несчастному случаю на работе: станок изорвал ему бедро двадцать с чем-то лет тому назад. Теперь он, будучи неспособен к работе по специальности, зарабатывал на жизнь чем мог. «Вовремя приехали,— сказал он торжественно и на полном серьезе,— мы как раз начинаем». Они прошли за ним по темному коридору и вышли в квадратный зал, освещенный лишь пламенем газовых рожков, которые были расположены на полу. Они охватывали полукруг, нечто вроде

сцены, которой они служили рампой. В зале сидело несколько мужчин, все закрывали лицо; некоторые украдкой делали масонские знаки, на которые маркиз отвечал такими же тайными знаками. Инвалид перепрыгнул через пламя рожков и стал посередине сцены; из-за хромоты он чуть не поджег себе обшлага брюк. Этот инцидент вызвал нервический смех присутствующих. Инвалид потребовал внимания и, когда восстановилась тишина, сказал: «Уважаемые господа, если вы не возражаете, мы начнем. По окончании демонстрации мои дочери поднесут вам закуску»,— добавил он, а потом выскочил из круга огней и исчез за занавесками. Через несколько секунд свет погас, зал погрузился в темноту. Эту темноту немного погодя пронзил пучок света, который шел из конца в конец зала и падал на беленую стену. На этой стене, составлявшей задник импровизированной сцены, начали отражаться какие-то неясные фигуры; они походили на изображения сырых пятен на стенах прихожей. Затем пятна начали двигаться, и послышался шепот аудитории. Пятна в конце концов приняли узнаваемую форму: зрители увидели перед собой фокстерьера во всю стену, который, казалось, смотрел на них с таким же любопытством, с каким они смотрели на него. Это было похоже на фотографию, которая начала двигаться и превратилась в живую собаку: высовывала язык, двигала ушами и хвостом. Через несколько секунд собака повернулась к залу боком, подняла заднюю ногу и начала писать. Присутствующие побежали к входной двери, чтобы она их не обмочила. В темноте, снова наступившей в зале, они сталкивались друг с другом, скользили и падали. Наконец зажегся свет, и все вернулись на свои места. Теперь на сцене появились три дочери инвалида, это были довольно молодые и привлекательные девушки. Их одежды оставляли на показ голые руки и ноги, хотя и ниже колен. Появление девушек не встретило особого энтузиазма, поскольку само зрелище сначала заинтриговало, а потом разочаровало присутствующих. Ни привлекательность трех девушек, ни смелость их одежд не спасали положения: заказы были скудные, и прибыль от мероприятия оставляла желать лучшего.

У кинематографа, как и у многих других современных достижений, немало отцов. Ряд стран претендуют на приоритет его изобретения. Но первые шаги этого столь популярного сегодня вида искусства были нелегкими, хотя и многообещающими. Но очень скоро наступило разоча-

рование. В основе его лежало недоразумение: первые зрители вовсе не смешивали то, что видели на экране, с действительностью (как это утверждает легенда, сложившаяся *a posteriori*¹), а полагали, что перед ними ожившие фотографии. А стало быть, они думали, что с помощью проектора можно сообщить движение любой картине. В одном из научных журналов 1899 года мы читаем: «Скоро перед нашими изумленными взорами оживут Венера Милосская и Сикстинская мадонна». Одна из чикагских газет в том же году сообщает следующее: «Тогда инженер Симпсон сделал нечто невероятное: с помощью кинетоскопа, о котором мы уже упоминали не один раз, он смог оживить свой семейный альбом. Каково же было изумление друзей и родственников, когда они увидели, как по обеденному столу прохаживается дядя Джасперс, которого похоронили на приходском кладбище много лет тому назад, в своем пальто и высоченном цилиндре, или кузен Джереми, героически погибший в битве при Геттисберге». В августе 1902 года, то есть три года спустя после этих сногшибательных новостей, одна мадридская газета передала слух о том, что некий импресарио из этой самой столицы пришел к соглашению с музеем Прадо о том, чтобы представить в спектакле театра варьете «Менины» Веласкеса и «Обнаженную маху» Гойи; опровержение, помещенное на другой день в той же газете, не остановило поток писем, авторы которых выступали за это предложение или против него, полемика продолжалась до мая 1903 года. К тому времени, однако, кинематограф стал для широкой публики тем, чем был на самом деле, — порождением электрической энергии, пригодным лишь для развлечения. Несколько лет кинематограф влачил жалкое существование в маленьких заведениях, таких, как то, что находилось на площади Сан-Кайетано и в которое маркиз де Ут привел Онофре Боувилу; там он служил лишь для приманки посетителей, заинтересованных главным образом в другом времяпрепровождении. Из-за этого обстоятельства кинематограф на какое-то время почти полностью дискредитировал себя. Четверо предприимчивых импресарио открыли в Барселоне несколько кинозалов, но через несколько месяцев их пришлось закрыть, так как их посещали только бродяги, да и то затем, чтобы воспользовавшись темнотой, подремать часок под крышей.

¹ Здесь: впоследствии (лат.).

Инвалид стоял в портале, хоронясь от дождя, который за последние часы набрал силу. В правой руке он держал масляный фонарь, время от времени поднимая его над головой и покачивая. Вспышка молнии осветила площадь Сан-Кайетано, где располагалось его заведение, и он увидел гнущиеся от ветра деревья и мутные потоки воды на мостовой. А еще он увидел посреди площади пару черных лошадей, которые беспокойно фыркали, видимо напуганные раскатами грома. Из-за бури инвалид не заметил, как подъехал экипаж. Из него вышли двое мужчин, инвалид распахнул перед ними двери. Светя фонарем, провел гостей через прихожую и коридор в тот самый зал, где несколько лет назад демонстрировал фильм о невоспитанном фокстерьере. Теперь проекционный аппарат, на который он когда-то возлагал столько надежд, валялся в подвале, хозяин лишь время от времени стирал с него пыль, чтобы демонстрировать какие-нибудь дрянные фильмы, добытые неизвестно где; эти фильмы нравились маркизу и некоторым другим оригиналам, они называли эти фильмы «весьма поучительными». В действительности же в них не было ничего, кроме пошлостей и непристойностей.

Кинозалу был возвращен его первоначальный вид: обтянутая малиновым бархатом софа, люстра с подвесками из цветного стекла, кожаные кресла, мраморные столики и пианино с бронзовыми канделябрами. Старшая дочь инвалида, превратившаяся за эти годы в пышнотелую смуглую красотку, играла на пианино, перебирая клавиши мягкими толстыми пальцами; средняя проявляла свои способности по кондитерской части; младшая ничего делать не умела, зато сохранила юную свежесть лица.

— Ну и погода, — сказал инвалид, — не удивлюсь, если будет наводнение, как в прошлом году. Я велел затопить печь-саламандру, и через десять минут в комнатах будет тепло. Могу предложить вам сладкое: моя средняя дочь только что вынула из плиты сдобные булочки.

Онофре Боувилла отказался. Но сопровождавший его мужчина огромного роста не последовал его примеру, а издал глухое ворчанье, напугавшее инвалида и означавшее, что этот гость готов отведать лакомства. Пока он насыщал свою утробу, раздался яростный стук в дверь. «Проходите, ваша милость, — услышали они голос хозяина заведения, — эти сеньоры уже здесь». И в зал вошел тре-

тий кабальеро, которого Онофре Боувила тотчас узнал по осанке и походке, хоть он и был закутан в плащ.

— Сеньоры,— начал Онофре Боувила,— поскольку мы никого больше не ждем, полагаю, нам можно открыть лица, я отвечаю за всех присутствующих.— Он расстегнул пелерину, снял плащ и бросил его на диван. Двое остальных последовали его примеру, это были маркиз де Ут и Эфрен Кастельс, гигант из Калельи. Некоторое время они обменивались приветствиями и положенными по этикету фразами. Затем Онофре Боувила сказал: «Я позволил себе пригласить вас сюда в такую адскую погоду, ибо то, что я собираюсь вам поведать, имеет некоторое сходство с такой погодой. Но также включает в себе и нечто совершенно противоположное...» Тут его перебил Эфрен Кастельс и попросил не дурить им головы предисловиями, а перейти сразу к делу, не то он съест еще кучу булочек и пойдет ужинать. Онофре успокоил его дружеской улыбкой: «То, что я собираюсь предложить вам, имеет чисто практический характер,— продолжал он,— но требует некоторого вступления, я постараюсь быть кратким. Вам известно, в каком прискорбном положении оказалась Европа».

И он яркими красками обрисовал печальную картину, вызывавшую его озабоченность в последнее время. Маркиз на это возразил, что его нимало не заботит, что будет с остальной частью Европы; если бы Франция и Англия вовсе исчезли с лица земли со всеми своими обитателями, для него это было бы радостным событием. Онофре Боувила попытался убедить маркиза, что время непримиримой национальной вражды давно миновало. Маркиз пришел в ярость: «Ты что же, проповедуешь нам идею социалистического интернационализма?» Заметив, что разговор пошел на повышенных тонах, Эфрен Кастельс счел за благо вмешаться. Так как говорил он с набитым ртом, разобрать слова было невозможно, но сам внушительный вид его подействовал на собеседников успокаивающе.

— В подтверждение того, что я говорю,— продолжал Онофре Боувила, когда получил возможность снова взять слово,— укажу лишь на такой факт: война подходит к концу. А что будет с нами? Мы создали военную промышленность, спрос на продукцию которой в один прекрасный день начисто прекратится. Что это означает? Это означает свертывание предприятий, закрытие заводов и массовые увольнения рабочих; я уж не говорю о неиз-

бежных последствиях, таких, как уличные беспорядки, покушения и прочее. Вы мне скажете, что с подобными проблемами мы уже сталкивались и сумели решить их. А я вам отвечу, что на этот раз события примут невиданный ранее размах. Их не удержат никакие границы, дело пойдет во всемирном масштабе. Это будет та самая революция, о которой мы так много слышали.

Старшая дочь инвалида села за пианино, маркиз стал отбивать ногой такт баркаролы. Младшая откинулась на подушки софы, закинув ноги на ночной столик, так что юбка задралась почти до колен, выставив напоказ туфельки и ноги, обтянутые шелковыми чулками. Увидев девушку в такой позе, Эфрен Кастельс разинул рот.

— Послушай, и для того, чтобы высказать нам свои мрачные предсказания, ты собрал нас как раз в таком заведении? — обратился он к Онофре.

Тот молча улыбнулся. Он знал, что маркиз де Ут не пожелал бы, чтобы его увидели в такой компании где-нибудь в другом месте, а не в тайном веселом доме, он бы просто не явился.

— Можешь отлучиться, если хочешь, — сказал он гиганту, — времени у нас хватит.

Эфрен Кастельс подал знак девушке, и они вдвоем исчезли за пологом из деревянных пластин, скрывавшим дверь в спальню. От стука пластин дремавший маркиз встрепенулся и спросил, куда подевался Кастельс. Онофре Боувилла указал взглядом на полог и подмигнул. Маркиз потянулся и сказал: «А что будем делать мы с тобой, пока он не вернется?»

— Мы можем поговорить, — ответил Онофре. — Когда он вернется, я изложу вам план, который я разработал. Важно, чтобы Эфрен Кастельс согласился со всеми его пунктами, потому что он возьмет на себя весь риск этого предприятия, не догадываясь об этом. Так что перед ним мы должны показывать, будто между нами разногласий нет. Пусть он уверует, что мы, все трое, — равноправные партнеры, и не заподозрит, что он-то — лишь орудие в наших руках. Если же мы с тобой и разойдемся во мнениях по какому-нибудь вопросу, мы всегда сможем договориться с глазу на глаз, как мы поступали до сих пор.

— Понятно, — сказал маркиз, питавший наследственную слабость ко всякого рода заговорам.

— Значит, я вам его изложу, — сказал Онофре.

В эту минуту вернулся гигант из Калельи вместе с

девушкой. Маркиз тотчас поднялся. «Я сейчас вернусь», — шепнул он Боувиле. Взял девушку под руку и повел за полог. Эфрен Кастельс плюхнулся в кресло и закурил сигарету.

— Зачем ты позвал этого щеголя и бабника? — спросил он, указывая подбородком на пустое кресло, в котором раньше сидел маркиз.

— Сотрудничество с ним важно для выполнения нашего плана, — ответил Боувиле. — Ты делай вид, что согласен со всем, что я предложу. Если он увидит, что мы единомышленны, не посмеет перечить. Всякое разногласие между собой мы сможем обговорить один на один, как мы это всегда делали.

— На этот счет не беспокойся, — заверил его гигант, — а этот знаменитый план, в чем он состоит?

— Тсс, — шепнул Боувиле, указывая взглядом на скрытую пологом дверь спальни. — Он возвращается.

Его Святейшество папа Лев XIII решил в свое время снова овладеть положением, пойдя навстречу определенным течениям и веяниям в мировом общественном мнении, а также учитывая некие этические воззрения, возникшие в последние годы при попустительстве его предшественника Пия X. С этой целью *in mente*¹ он уединился в своих покоях. «Пусть никто меня не беспокоит», — приказал он капитану швейцарской стражи, несшему дежурство в ту ночь. Писал до рассвета и даровал миру энциклику «*Immortale dei*»². Произошло это в 1885 году; теперь, через тридцать с лишним лет, Онофре Боувиле вспоминал воскресное утро, когда он, совсем еще мальчик, слушал, как читали эту энциклику в приходской церкви Сан-Клементе. Как и подобало такому важному документу, его сначала прочли по-латыни. Верующие, жители окрестных деревень, мужчины и женщины, дети и взрослые, здоровые и больные, слушали стоя, склонив головы и молитвенно сложив руки. Потом перекрестились и сели на деревянные скамьи. Это всегда сопровождалось громким шумом, так как скамьи не были привинчены к полу, а их ножки были разной длины. Когда шум стих, приходский священник, падре Серафи Далмау, в свое время

¹ В уме (лат.).

² Бессмертному богу (лат.).

крестивший Онофре, снова прочел текст энциклики по-кастильски (каталонский тогда не был еще принят в богослужении, и в Каталонии многие считали, что кастильский и латинский — разновидности одного и того же языка и оба имеют божественное происхождение), после чего старательно, но безуспешно пытался разъяснить смысл энциклики. Онофре сидел рядом с матерью. В церковь она надела праздничное черное платье из набивной ткани в мелкий цветочек; эта сцена теперь накладывалась в его памяти на донесения о войне на Западном фронте, в которых сообщалось о судах, потопленных немецкими субмаринами в Атлантическом океане, о вступлении в европейскую войну Соединенных Штатов Америки. А тогда он тронул руку матери и спросил, что это читают. «То, что должен нам папа римский», — ответила мать, — и мы все должны это выполнять». «Так это письмо? — спросил он и, после того как мать утвердительно кивнула, задал следующий вопрос: — Его привез дядюшка Тоне?» «Конечно, кто же еще», — ответила мать. «И он послал его прямо нам?» — снова спросил он немного погодя, когда этот вопрос у него созрел. «Не будь глупышкой», — сказала мать. — Он послал его всем на свете. А нас он не знает, не знает даже, что мы живем на свете», — пояснила мать. «Но все равно любит нас, как и всех остальных», — показал Онофре свою мудрость, вбитую в него затрещинами священника. «Кто знает», — сказала на это мать. Вот уж девять лет, как ее муж уехал на Кубу; но не это тогда (а тем более сейчас, в воспоминаниях) занимало Онофре Боувилу, он знал, что папа римский живет в Риме, а дальше дополнял свои географические познания воображением, он думал, что Рим — очень далекий и недоступный замок или дворец, построенный на горе, которая в тысячу раз выше знакомых ему гор, и туда можно проехать только через пустыню на каком-либо из трех животных: на лошади, верблюде или слоне. Сведения эти он почерпнул из иллюстраций к «Священной истории», которые священник показывал своим ученикам. Он теперь оттого так удивлялся, что не мог взять в толк, как это Святейший Отец сумел так быстро переправить свое письмо из такого далекого места в бедную деревню Сан-Клементе, о существовании которой и не подозревал, — тут было отчего стать в тупик. «Вот это могущество!» — воскликнул он вполголоса, сидя теперь в одиночестве у себя в кабинете. Только это вездесущее могущество могло

воздвигнуть дамбу, чтобы задержать подмывающий основы общественного порядка бурный поток, угрожающий всему миру. Однако это могущество целиком было сосредоточено в руках Церкви, а Церковь почивала на лаврах, ее раздирали внутренние разногласия, инакомыслие, и она не могла держать кормило твердой рукой. И все же Церковь могла проникать в самые глухие места; в любом доме на отшибе, в самой захудалой на всей земле хибаре висели в углу литографии религиозного содержания, призывающие к покорности и повиновению. «И все это,— восхищенно говорил он себе,— сделал двадцать веков тому назад Иисус Христос с бедными галилейскими рыбаками». При том, что теперь он располагал обширной информацией, он до сих пор не знал, где эта самая Галилея, не сумел бы указать ее на карте мира, даже если бы от этого зависело все его богатство. Это его беспокоило. После Христа другие пробовали действовать по той же схеме: Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт, Филипп II... Все они потерпели самое что ни на есть полное и унижительное поражение; верили только в силу оружия и недооценивали духовные силы, способные создать невидимые оковы, спланировать воедино мириады частичек, которые сами по себе стремятся разойтись в противоположные стороны, рассеяться в бесконечном пространстве или же сталкиваться одна с другой. Но вот теперь он, Онофре Боувилла, сделает все как следует: из духовного семени взрастит могучее дерево с бесчисленными ветвями и бесчисленными корнями.

Младшая дочь инвалида плакала на кухне. За ночь ей пришлось четыре раза удовлетворять изощренные вожделения маркиза и девять раз выдерживать грубые приступы Эфрена Кастельса. Она чувствовала себя истерзанной, изломанной, у нее даже началось легкое кровотечение; пришлось старшей сестре встать из-за пианино и подменить ее в спальне. И она теперь помогала средней сестре печь сдобные булочки, которых гигант пожрал уже четырнадцать килограммов, несмотря на то, что жаловался, будто от кедровых орешков у него бывают острые приступы болезненной эрекции. В окно уже пробивался дневной свет, видно было свинцовое небо, набрякшее дождем, и черные круги под глазами маркиза. Несмотря на перерывы, Онофре Боувилла успел изложить им свой план.

Ни маркиз, ни гигант из Калельи так и не поняли, в чем он заключается и какую роль должен играть каждый из них в его выполнении. Оба серьезно опасались за умственные способности своего друга Боувилы. Но ни один из них не посмел высказать какое-нибудь сомнение или возражение, боялись, что любой комментарий вызовет новый поток высокопарных благоглупостей, которых они наслушались за столько нескончаемых часов. Онофре Боувилы улыбался, ночное бдение как будто никак не повлияло на его самочувствие. Дело начато, и он знал, что сумеет добиться своего. Так было положено начало осуществлению самого честолюбивого замысла в его жизни, а вместе с тем и самому крупному провалу. В итоге его друзья и компаньоны отвернулись от него, и он вновь остался один.



Вдоль улочки выстроилась вереница автомобилей. На радиаторах сверкало зимнее солнце, по бамперам, отражавшим голубое небо, то и дело проплывало какое-нибудь одинокое облачко. Проехав несколько метров, автомобили останавливались, какое-то время стояли, потом снова трогались и проезжали еще десяток метров. Доехав до конца улицы, поворачивали направо. Въезжали в еще более узкую улочку, такую темную, что, казалось, солнце никогда в нее не заглядывало. Почти сразу же за поворотом останавливались у места назначения — перед железной дверью, над которой висел небольшой газовый фонарь, который сейчас не горел, так как был полдень. Привратник в скюртуке с позолоченными пуговицами и в цилиндре открывал дверцу автомобиля, а когда седок вылезал, снимал цилиндр и отвешивал глубокий поклон, потом закрывал дверцу, надевал цилиндр и, поднеся к губам свисток, свистел. По этому сигналу шофер отъезжал, а перед дверью занимал место следующий автомобиль. Процедура повторялась. Доехав до конца этой второй улочки, каждый автомобиль еще раз поворачивал направо, вслед за предыдущим, и ехал по третьей улочке, которая была покороче и выходила на площадь. Там автомобили, уже высадившие своих пассажиров у железной

двери, ждали в тени акаций, пока их снова не вызовут свистком. Погребок, расположенный на углу одной из выходивших на площадь улиц, выставил на тротуар столики, стулья и солнечные зонты в синюю, желтую и красную полоску. Бриз шевелил бахрому зонтов. Подавали пиво и вино с газированной водой, а по желанию и спелые оливки, анчоусы в уксусе, отварной картофель с красным перцем, маринованные сардины и тому подобное. По мере того как увеличивалось число автомобилей на площади, увеличивалось и число шоферов, желающих перекусить у погребка. В половине первого площадь была уже битком набита автомобилями, больше не помещалось. К счастью, прибыли все, кто должен был прибыть, и пассажиры, спешившись с помощью церемонного привратника, шли на свои места вслед за сеньоритами, внешность которых не могла не обратить на себя внимание. И не потому, что они были молоды и грациозны. На них были прямые платья на бретельках, которые падали вниз колоколом, не обрисовывая ни бюста, ни талии; эти платья, усыпанные белыми блестками, кончались на один-два сантиметра выше колен, так что оставляли на виду не только руки от плеча до ногтей, но и ноги, длинные, мускулистые и жилистые, приличествующие скорее велосипедисту, нежели даме в полном смысле этого слова. К экстравагантности наряда присоединялся и макияж, нанесенный грубыми мазками, похожими на кляксы, и короткие гладкие волосы, перехваченные лентой шириной сантиметра в два. Мужчины крестились. «Видали, какие страшилища? — говорили они друг другу. — Увидишь такую рожу — хоть стой, хоть падай. Господи помилуй! Если так пойдет и дальше, скоро не отличишь женщину от мужчины. Не знаю, что и сказать». — «Чего вы хотите, друг мой? Такова тирания моды. Только я вам вот что скажу: если хоть раз увижу свою дочь в таком тряпье, первой же пощечиной разукрашу ей физиономию». — «Эта мода найдет много сторонниц, не сейчас, так со временем». — «Это только начало» — был общий приговор. Маркиз де Ут сетовал, что такому человеку, как он, тоже пришлось выдержать подобное зрелище, что он позволил уговорить себя упрямому Боувиле и теперь сожалеет об этом. Ни того, ни другого в зале не было видно. Официальные приглашения присутствующим разослал Эфрен Кастельс, он их и принимал. Гигант из Калельи пользовался доброй славой среди зажиточных барселонцев: в своих делах он

был крайне серьезен, не рисковал без нужды, в платежах был строг и пунктуален. Ни разу не был замешан ни в одном финансовом или еще каком-нибудь скандале. Считался образцовым отцом семейства; правда, все знали о его похождениях, его слабость к юбкам вошла в поговорку, но это объясняли избытком жизненных сил, а не порочными наклонностями. Он был щедр, но без излишеств, и это всем импонировало; занимался благотворительностью, не афишируя ее, заделался коллекционером картин и слыл человеком понимающим среди художников, критиков и торговцев картинами. Теперь этот свой престиж он поставил на службу людям, которые его поддерживали. «Не хотел бы я быть в его шкуре», — прошептал маркиз. Онофре Боувила не стал возражать, оба наблюдали за тем, что происходило в зале, из-за занавесок в ложе. Партер был заполнен чуть ли не до отказа. Многие из присутствующих уже поняли, что они в театре, куда вошли через служебный вход, предназначенный для актеров. «Что мы тут делаем? — спрашивали они друг друга. — Приватный спектакль? В полдень? Какого черта!» На сцене скрестились два прожектора. Перед занавесом стоял Эфрен Кастельс — на возвышении, одетый во фрак, он казался еще выше, чем был на самом деле. Какой-то шутник запел: «El gegant del Pi ara balla, ara balla»¹, зал с хохотом подпевал. «Теперь шуткам не будет конца, — вполголоса сказал маркиз, глядя в зал. — Будь я на его месте, я бы умер со стыда». Онофре Боувила улыбнулся: «У него шкура потолще, чем ты думаешь». Он вспомнил, как Эфрен Кастельс зычным голосом потребовал средство для рращения волос, которым он, Онофре, торговал. А потом он давал ему по песете в день за помощь. Сейчас происходит то же самое, подумал он. И действительно, благодаря зычному голосу Эфрен Кастельс без труда добился тишины, когда публике надоело петь, они не могли придумать, как продолжить веселье, и были готовы выслушать его.

«Дорогие друзья! — начал Эфрен Кастельс. — Позвольте мне говорить с вами запросто, так как и сам я человек простой, вы меня знаете: здесь нет такого, кто не сказал бы, что во всех делах я ставил дружбу выше, чем барыш. Я созвал вас не затем, чтобы просить у вас денег». Тут все с опаской переглянулись. Онофре Боувила подмигнул

¹ Теперь нам спляшет великан, великан, великан (каталонск.).

маркизу: «Говорил я тебе, что он управится с этим быком». «Важно, чтобы он убил его с первого удара», — заметил маркиз. «Я также не хочу занимать ваше время пустой болтовней. В красноречии я не силен и всегда предпочитал говорить с вами простым и всем понятным языком правды. Прошу у вас лишь немного внимания. Сейчас я покажу вам кое-что, чего вы до нынешнего дня не видавали. Кое-что, чего вы никогда не видели! — повторил он, заглушая ропот, вызванный двусмысленностью его последних слов. — Но то, что вы сейчас увидите впервые, вы потом увидите тысячи, сотни и десятки раз». «Куда он полез?» — спросил маркиз. «В цифрах он никогда не был силен, — ответил Онофре Боувилла, — пусть себе говорит». «Сегодня вы получите исключительную привилегию, вы знаете, что это значит в мире коммерции, и не надо меня благодарить. И пока что я больше ничего вам не скажу. Не бойтесь, ничего не случится, оставайтесь на своих местах. А потом я снова выйду и объясню вам, о чем идет речь. Благодарю за внимание».

Он ушел со сцены, и занавес, приводимый в движение электрическим мотором, раздвинулся. Задник был закрыт огромным экраном без видимых швов; как видно, он был изготовлен не из ткани и не из металла, а из сочетания того и другого, из чего-то вроде асбеста. Потом свет погас, как и объявил Эфрен Кастельс, и послышался стрекот проекционного аппарата, сопровождаемый звуками пианино, на котором кто-то играл за экраном.

— Проклятье! — послышался голос из зала. — Нам хотят показать фильм!

Это восклицание посеяло панику. «Если про писающую собаку, я ухожу», — выкрикнул кто-то. Из-за гомона не слышно было звуков пианино. На экране начали вырисовываться какие-то картины. Заснятая сцена, очевидно, показывала бедное жилище, жалкую лачугу, тускло освещенную свечой. У дальней стены виднелась узкая незастеленная кровать, в центре — стол с четырьмя стульями, на столе — корзинка с шитьем, клубки, катушки, ножницы и лоскуты ткани. Обстановка создавала у зрителя впечатление бедности и нужды. Но у публики эта картина вызвала почему-то взрыв смеха. За столом сидела спиной к зрителям женщина в черном. Судя по всему, это была женщина средних лет, слегка располневшая. Плечи ее содрогались, голова, увенчанная растрепанными волосами, качалась из стороны в сторону, что должно было изображать страдание. Кто-то крикнул: «Дайте ей выпить липо-

вого настоя!» Все захохотали. «Храни нас Господы!» — произнес маркиз. «Спокойно», — сухо сказал Онофре Боувила. Женщина на экране поднимала руки к потолку лацуги, пыталась встать и бессильно падала обратно на стул, будто ей отказывали ноги или не хватало духу, а может, и то, и другое вместе. Партер хохотал все громче, любое движение женщины на экране вызывало новый взрыв смеха. В ложу ворвался Эфрен Кастельс, даже в полутьме можно было заметить его выпученные глаза.

— Онофре, ради всего святого, — простонал он, — скажи, чтобы остановили аппарат!

— Кто это сделает, того я прикажу застрелить, — процедил сквозь зубы Онофре Боувила.

— Да эти сволочи смеются! — прорыдал гигант из Калельи. И плечи его затряслись, как у той женщины на экране. Онофре схватил его за лацканы и потряс, насколько позволяли силы. «С каких пор ты стал бабой? — прокричал он ему в лицо. — Молчи и жди!»

Тут они все обратили внимание на то, что смех утихает. Приникли к щелям в занавесках и посмотрели на экран: страдающая женщина встала наконец со стула и обернулась, лицо ее заняло весь экран. Публика в самом деле стихла: как и объявил Эфрен Кастельс, она впервые увидела то, что весь мир будет скоро готов смотреть в любой час и в любом месте: лицо Онесты Лабру.

Более невыигрышной ее внешность быть не могла. В ту эпоху, когда выходил из моды образ пышнотелой красавицы и входили в моду узкобедрые существа неизвестного пола, она оставалась округлой, грузной и немного мужеподобной; у нее были вульгарные черты лица, деланные жесты, и выражалась она пошло, словно медоточивая старая дева. И одежды ее были безвкусны. Она была воплощением пошлости и дурного вкуса. Тем не менее с 1919 по 1923 год, когда она ушла из кино, редкий день в газетах не появлялась ее фотография и чего-нибудь не говорилось о ней; иллюстрированные журналы помещали репортажи (которые она не санкционировала) и интервью (которых она не давала), для того чтобы набить ей цену. Ежедневно она получала до двадцати килограммов корреспонденции, где содержались объяснения в любви и предложения руки и сердца, душераздирающие мольбы, мрачные угрозы, мерзкие непристойности, клятвы

покончить с собой, если она не выполнит ту или иную просьбу, проклятия, оскорбления, шантаж и тому подобное. Чтобы избежать осады почитателей и психопатов, она часто меняла квартиры, никогда не появлялась в общественных местах, по существу дела, ни один человек, не входивший в круг ее друзей, не мог похвастаться тем, что видел ее где-нибудь кроме экрана. Даже ходил слух, что ее держали взаперти под строгим надзором двадцать четыре часа в сутки и выпускали на улицу только для того, чтобы проехать в студию рано утром, причем везли ее со связанными руками и кляпом во рту и надев ей на голову мешок, чтобы она и сама не знала, где живет и куда едет. «Это расплата за славу», — говорили люди. Этот ореол тайны, окружавший ее, скрывавший ее личность и ее прошлое, способствовал тому, что она за свою короткую блестящую карьеру снялась в качестве главной героини в двадцати двух полнометражных фильмах. До нас дошли только отдельные кадры из этих фильмов, и то в плохом состоянии. Судя по всему, все ее фильмы походили на первый и это не только не отталкивало публику, но, наоборот, нравилось ей, любое отклонение от шаблона зал встречал недовольным ропотом, а иногда и буйством. Если и было какое-то развитие ее образа в кино, то только в уклоне в сторону сентиментальности. Будучи плохой актрисой, она открывала рот, качала головой и жестикулировала весьма примитивно, в то время как Марк Антоний по ее вине проигрывал битву при мысе Акциум и змея, похожая на набитый опилками чулок, спешила впрыснуть яд в ее пышную грудь; в то время как ее любовник умирал от туберкулеза, а коварные китайцы бросали снотворное в ее бокал, чтобы потом продать ее в гарем женолюбивого и легкомысленного султана; в то время как муж, пьяница и картежник, стегал ее ремнем, после того как объявил ей, что оставил на зеленом сукне ее честь; в то время как гаучо, перед тем как быть повешенным, объявлял ей, что она его мать, а не та злая женщина, из-за которой ей пришлось уйти из монастыря. В этих фильмах все мужчины были жестокими, все женщины — бесчувственными, все священники — фанатиками, все врачи — садистами и все судьи безжалостными. В бесконечной и мелодраматичной агонии она всех их прощала.

— Ну кого могут заинтересовать эти глупости? — сказал маркиз де Ут, когда прочел сценарий того первого

полнометражного фильма, который потом его студии размножили в невероятном количестве.

Онофре Боувила закрылся в своем кабинете и работал в одиночестве дни и ночи. Продумал все на свете: ситуации, сцены, декорации, костюмы, не упустив ни одной детали. Через несколько дней его жена захотела узнать, чем он занят, подошла к кабинету, но нашла дверь запертой. Встревожившись, постучала в дверь: «Онофре, это я. Ты здоров? Почему ты не отвечаешь?» Так как ответом ей была тишина, она начала колотить в дверь кулаками, сбегались слуги, слышав шум. Увидев себя окруженной слугами, она крикнула: «Онофре, открой, или я велю выломать двери!» После этой угрозы послышался его спокойный голос: «У меня в руке револьвер, и я застрелю первого, кто посмеет помешать мне». «Но, Онофре,— настаивала она, понимая, что он способен выполнить свою угрозу,— ты два дня ничего не ел и не пил». «У меня есть все, что мне нужно»,— сказал он. Одна из горничных попросила разрешения обратиться к сеньоре, та разрешила, и горничная призналась, что по приказу хозяина принесла в кабинет продуктов и воды на две недели. Принесла также несколько смен белья и все ночные горшки, которые были в местной лавке. Хозяин велел никому об этом не рассказывать, потому что не хотел, чтобы его беспокоили по какому бы то ни было поводу. Хозяйка прикусила губу и сказала только: «Ты должна была сказать мне об этом раньше». В голосе горничной она вроде бы услышала насмешку, а в глазах как будто увидела вызов. Ей, должно быть, лет пятнадцать или шестнадцать, подумала она, а уже разговаривает со мной, будто я служанка, а она хозяйка. Она сжилась с мыслью, что все смеются над ней, как за ее спиной, так и в лицо. Он, конечно, наставляет мне рога с ней, подумала она, от нее, разумеется, пахнет чесноком и творогом, а ему как раз это и нравится, такие запахи он предпочитает аромату французских духов и шампуня, которыми я пользуюсь ежедневно. Наверняка, когда они ложатся в постель, они закрываются с головой простыней, чтобы насладиться запахами, которые источают их тела, после того как они попытели словно два паровоза. Они проделывают это не раз, как это было в ту ночь, когда он влез в мою спальню через окно, взобравшись по лестнице в дом моего отца. И об этом, конечно, он ей рассказал, не пощадив тайны той первой ночи, и рассказывал о ней всем, с которыми

спал потом. Должно быть, по этому поводу они потешались надо мной до утра. Надо было бы выгнать ее на улицу, подумала она, но выполнить это намерение не посмела. Она примет это как оскорбление, думала хозяйка, поймет истинную причину увольнения и оскорбит меня в присутствии остальных слуг, всячески изругает меня, назовет свиньей, расскажет обо всем слугам и выставит меня на посмешище. А потом расскажет и ему, он моего решения не отменит, а только посмеется и будет по вечерам навещать ее, под каким-нибудь предлогом будет проводить с ней всю ночь, а потом скажет, что ему пришлось работать, как он говорил уже не один раз. Думая так, она не отдавала себе отчета в том, что именно из-за этой трудности она потеряла его любовь. Через две недели та самая горничная пришла сообщить ей, что хозяин вышел из своей комнаты. Она болтала со старшей дочерью и с модисткой, когда горничная сообщила эту новость. Тут она забыла о своей ревности и неприязни и подумала: эта девушка верно служит мне, надо будет как-нибудь отблагодарить ее. Такими непоследовательными действиями она хотела показать всем, что она великодушна и не разменивается по мелочам. Ее дочь и модистка также были упитанными особами. И вот три бегемотихи бросились бежать по коридорам. Когда подбежали к двери кабинета, увидели только что вышедшего Онофре. За эти две недели он ни разу не мылся и не брился, спал совсем мало и почти не притрагивался к еде. А также не менял белье. Сильно похудел и двигался неуверенно, словно только что проснулся после долгого сна, полного волнующих сновидений, или вышел из транса. Из кабинета тянуло невыносимой вонью, которая растекалась по коридорам, пугая служанок, точно дух преисподней.

— Агусти, приготовь мне ванну,— сказал Онофре мажордому. Жену, дочь и модистку он как будто не замечал. В руке держал кипу исписанных листков с множеством перечеркнутых и исправленных строк. Служанкам, явившимся с ведрами и тряпками, чтобы произвести уборку кабинета, он повелительным жестом велел уйти и сказал: — Не надо прибираться, мы переезжаем.

Теперь Онеста Лабру с ее удивительным выражением лица воплощала на экране придуманный им сюжет со всеми фантазиями, вызвавшими сомнения маркиза де Ут. Онофре Боувила пришел в ярость, когда тот сказал, что не знает, кого могут интересовать подобные глупости.

— Весь мир, — отрезал он.

И в самом деле, теперь зрители плакали. Эти прожженные дельцы не смогли сдержать слез. Потом говорили, что единственной причиной такой реакции зала было волшебство Онесты Лабру. Мы никогда не узнаем, в чем заключалась ее колдовская сила. Пабло Пикассо в одном из писем, написанном значительно позже, утверждает, что влияние этой женщины на окружающих имело своим источником гипнотическую силу ее взгляда. Такое мнение могло послужить основанием для слухов, о которых упоминают некоторые биографы великого художника: Пикассо якобы знал ее лично и, будучи очарован ею, выкрал и увез в фургоне, развозившем белье из прачечной (при соучастии и помощи Жауме Сабартеса¹), в селение Гос-сол, неподалеку от Бергеды, а через два-три дня привез обратно в студию живой и невредимой; за эти два-три дня он будто бы сделал несколько набросков и начал писать маслом картину; из этих набросков потом будут созданы наиболее высоко котирующиеся картины так называемого голубого периода. Ей приписывается и еще более невероятный роман с Викторiano Уэртой, который якобы имел место несколько лет спустя. Этот коварный генерал, узурпировавший власть в Мексике через убийство Франсиско Мадеро и Пино Суареса, после восстания, во главе которого стояли Венустиано Карранса, Эмилиано Сапата и Панчо Вилья, бежал в Барселону и прожил там некоторое время². Шатался по притонам Китайского квартала, пьянствовал и затевал драки. Немецкие агенты задумали подрывную акцию, чтобы отвлечь Соединенные Штаты от войны в Европе, и в качестве приманки хотели использовать Уэрту. Они подсказали ему план действий, и он на деньги, награбленные за несколько месяцев пребывания на посту президента и хранившиеся в сейфах швейцарского банка, закупил оружие и боеприпасы у Онофре Боу-

¹ Испанский поэт; его портрет кисти Пикассо хранится в Москве, в ГМИИ имени Пушкина.

² После свержения диктатуры П. Диаса (1884—1911) к власти в стране пришли либеральная буржуазия и помещики, и президентом стал Ф. Мадеро. В феврале 1913 года был осуществлен контрреволюционный переворот, Мадеро был убит, и власть захватил генерал В. Уэрта. В стране развернулось крестьянское движение под руководством Э. Сапаты и Ф. Вильи. В 1914 году режим Уэрты пал, и началась борьба между либерально-помещичьими лидерами во главе с В. Каррансой и крестьянскими лидерами, закончившаяся поражением последних.

вилы. Поскольку Онофре обеспечивал ввоз и вывоз, он сообщил правительству США, что товар отправлен. В порту Веракрус груз перехватили, но для этого пришлось высадить морскую пехоту, и не обошлось без жертв среди мирного населения. Оружие вернули в распоряжение Боувилы, и он продал его еще раз, но уже Каррансе, который теперь вел войну со своими бывшими союзниками Вильей и Сапатай. Если верить журналу тех времен, Онеста Лабру до того, как стала кинозвездой, но уже работала на Онофре Боувилу, однажды танцевала для Уэрты; тот воспылил к ней страстью и предлагал ей баснословные суммы, обещал по возвращении в Мексику восстановить монархию и сделать ее императрицей, как несчастную Шарлоту¹, но все было напрасно. Согласно статье в журнале, встреча эта произошла в роскошном номере отеля «Интернасьональ», где остановился предатель. Этот отель был построен в рекордный срок — шестьдесят шесть дней — для посетителей Международной выставки 1888 года. В стенах и потолке номера было несколько отверстий от пуль, за что Уэрте пришлось заплатить немалый штраф, к тому же он оскорблял служащих отеля словом и действием и не платил. В ту ночь любви он якобы ходил босой, с расстегнутым воротом, так что видна была пожелтевшая от стирки и дырявая нижняя рубашка, — при таких обстоятельствах трудно было поверить его обещаниям. Скорей всего, эта история, как и история с Пабло Пикассо, была досужей выдумкой. Пикассо действительно провел несколько месяцев в Госсоле, но это было в 1906 году, а Викторiano Уэрта скончался от отравления алкоголем в 1916 году в тюрьме города Эль-Пасо, штат Техас. В то время Онеста Лабру еще не обрела славы благодаря Онофре Боувиле, и не существовало ее псевдонима, он был придуман позже, а в то время она жила в скромном особняке на улице Грасиа со своим отцом, сеньором Браульо, и дожидалась его смерти, чтобы во второй и последний раз отдать человека, которого любила всю жизнь, а потом покончить с собой.

От этого мелодраматического поступка ее отговорил тот, из-за кого она собиралась его совершить, кто вошел

¹ Имеется в виду Шарлота Амалия, дочь короля Бельгии Леопольда I и жена императора Мексики Максимилиана (1832—1867), лишившаяся рассудка вскоре после расстрела Максимилиана.

— Весь мир, — отрезал он.

И в самом деле, теперь зрители плакали. Эти прожженные дельцы не смогли сдержать слез. Потом говорили, что единственной причиной такой реакции зала было волшебство Онесты Лабру. Мы никогда не узнаем, в чем заключалась ее колдовская сила. Пабло Пикассо в одном из писем, написанном значительно позже, утверждает, что влияние этой женщины на окружающих имело своим источником гипнотическую силу ее взгляда. Такое мнение могло послужить основанием для слухов, о которых упоминают некоторые биографы великого художника: Пикассо якобы знал ее лично и, будучи очарован ею, выкрал и увез в фургоне, развозившем белье из прачечной (при соучастии и помощи Жауме Сабартеса¹), в селение Госсол, неподалеку от Бергеды, а через два-три дня привез обратно в студию живой и невредимой; за эти два-три дня он будто бы сделал несколько набросков и начал писать маслом картину; из этих набросков потом будут созданы наиболее высоко котирующиеся картины так называемого голубого периода. Ей приписывается и еще более невероятный роман с Викторiano Уэртой, который якобы имел место несколько лет спустя. Этот коварный генерал, узурпировавший власть в Мексике через убийство Франсиско Мадеро и Пино Суареса, после восстания, во главе которого стояли Венустиано Карранса, Эмилиано Сапата и Панчо Вилья, бежал в Барселону и прожил там некоторое время². Шатался по притонам Китайского квартала, пьянствовал и затевал драки. Немецкие агенты задумали подрывную акцию, чтобы отвлечь Соединенные Штаты от войны в Европе, и в качестве приманки хотели использовать Уэрту. Они подсказали ему план действий, и он на деньги, награбленные за несколько месяцев пребывания на посту президента и хранившиеся в сейфах швейцарского банка, закупил оружие и боеприпасы у Онофре Боу-

¹ Испанский поэт; его портрет кисти Пикассо хранится в Москве, в ГМИИ имени Пушкина.

² После свержения диктатуры П. Диаса (1884—1911) к власти в стране пришли либеральная буржуазия и помещики, и президентом стал Ф. Мадеро. В феврале 1913 года был осуществлен контрреволюционный переворот, Мадеро был убит, и власть захватил генерал В. Уэрта. В стране развернулось крестьянское движение под руководством Э. Сапаты и Ф. Вильи. В 1914 году режим Уэрты пал, и началась борьба между либерально-помещичьими лидерами во главе с В. Каррансой и крестьянскими лидерами, закончившаяся поражением последних.

вилы. Поскольку Онофре обеспечивал ввоз и вывоз, он сообщил правительству США, что товар отправлен. В порту Веракрус груз перехватили, но для этого пришлось высадить морскую пехоту, и не обошлось без жертв среди мирного населения. Оружие вернули в распоряжение Боувилы, и он продал его еще раз, но уже Каррансе, который теперь вел войну со своими бывшими союзниками Вильей и Сапатай. Если верить журналу тех времен, Онеста Лабру до того, как стала кинозвездой, но уже работала на Онофре Боувилу, однажды танцевала для Уэрты; тот воспылал к ней страстью и предлагал ей баснословные суммы, обещал по возвращении в Мексику восстановить монархию и сделать ее императрицей, как несчастную Шарлоту¹, но все было напрасно. Согласно статье в журнале, встреча эта произошла в роскошном номере отеля «Интернасьональ», где остановился предатель. Этот отель был построен в рекордный срок — шестьдесят шесть дней — для посетителей Международной выставки 1888 года. В стенах и потолке номера было несколько отверстий от пуль, за что Уэрте пришлось заплатить немалый штраф, к тому же он оскорблял служащих отеля словом и действием и не платил. В ту ночь любви он якобы ходил босой, с расстегнутым воротом, так что видна была пожелтевшая от стирки и дырявая нижняя рубашка, — при таких обстоятельствах трудно было поверить его обещаниям. Скорей всего, эта история, как и история с Пабло Пикассо, была досужей выдумкой. Пикассо действительно провел несколько месяцев в Госсоле, но это было в 1906 году, а Викториано Уэрта скончался от отравления алкоголем в 1916 году в тюрьме города Эль-Пасо, штат Техас. В то время Онеста Лабру еще не обрела славы благодаря Онофре Боувиле, и не существовало ее псевдонима, он был придуман позже, а в то время она жила в скромном особняке на улице Грасиа со своим отцом, сеньором Браульо, и дожидалась его смерти, чтобы во второй и последний раз отдать человека, которого любила всю жизнь, а потом покончить с собой.

От этого мелодраматического поступка ее отговорил тот, из-за кого она собиралась его совершить, кто вошел

¹ Имеется в виду Шарлота Амалия, дочь короля Бельгии Леопольда I и жена императора Мексики Максимилиана (1832—1867), лишившаяся рассудка вскоре после расстрела Максимилиана.

в ее жизнь много лет тому назад и довел до таких крайностей, причем разубедил он ее не словами, а тем самым злым и ледяным взглядом, каким покори́л ее в мансарде отцовского пансиона, заставил потерять голову и совершить самое мерзкое из преступлений. В ту же ночь умерла ее мать; также по его вине она предала анархистскую ячейку, в которую входила, большинство членов которой сгнили заживо в подземельях Монжуика, одним словом, она залила свою совесть кровью. Отсюда боль и беспредельное страдание в ее желтых глазах, что сразу понял Онофре Боувилла.

Он также учитывал, что начиная с середины XIX века промышленная революция радикально изменила представление о времени. Раньше время, отведенное человеку на всю жизнь, не регламентировалось: когда того требовали обстоятельства, каждый мог работать дни и ночи напролет, а потом столько же времени отдыхать. Из-за этого и развлечения могли длиться непомерно долго по нынешним понятиям, скажем, праздник сбора винограда или жатвы продолжался неделю, а то и две. Точно так же спектакль в театре, спортивные состязания или коррида, религиозная церемония или процессия или же военный парад продолжались пять, восемь, десять и более часов, участники действия могли не отлучаться либо уходить и возвращаться. А потом все изменилось: каждый день надо было начинать работу в один и тот же час и заканчивать ее точно по часам.

Уже не требовалось быть провидцем, чтобы предсказать, как будет проводить дни и часы своей жизни тот или иной человек с детства до старости, достаточно было знать, где он работает и какая у него должность. Это сделало жизнь проще, уменьшило число неожиданностей, помогло в борьбе с неизвестностью; теперь философы могли воскликнуть: «Судьба — это распорядок дня». Но такая перемена потребовала и изменения привычек: все подлежало упорядочению, уже нельзя стало делать что-либо наобум или по настроению. А упорядочение в свою очередь требовало пунктуальности. Если раньше пунктуальность была ничем, теперь она стала всем. Теперь требовалось нахлестывать усталую лошадь или сдерживать слишком горячую, чтобы повозка прибыла к месту назначения в нужное время, но раньше и ни позже. Пунктуальности придавалось такое большое значение, что некоторые политики пользовались этим понятием в предвыборной

кампании: «Голосуйте за меня, я человек пунктуальный». Говоря о зарубежных странах, уже хвалили не пейзажи, не произведения искусств или доброжелательность жителей, а их пунктуальность; в странах, которые прежде никто не посещал, теперь отбою не было от путешественников из-за рубежа, которые жаждали самолично убедиться в традиционной пунктуальности обитателей этой страны и ознакомиться с их общественными учреждениями и городским транспортом. Перемены не могли бы обрести такого размаха, если бы на помощь не пришла электрическая энергия: непрерывность и неизменность электрического тока обеспечивали регулярность и пунктуальность во всем. Движимый электричеством трамвай уже не зависел от выносливости и даже от настроения мулов, чтобы ходить точно по расписанию, пассажиры радовались: зная точное время, можно было рассчитывать, как долго придется дожидаться трамвая. Однако подобные перемены не могли свершиться в мгновение ока, они происходили постепенно, затрагивали сначала важные вещи, потом второстепенные. Поэтому забавы и развлечения остались напоследок: коррида по-прежнему продолжалась много часов подряд; если попадался хитрый и свирепый бык, который поднимал на рога лошадей, как только они выходили на арену, воскресная коррида могла закончиться в понедельник днем.

В 1916 году в Кадисе состоялась знаменитая коррида, которая началась в воскресенье, а закончилась в среду, причем публика не уходила. В результате рабочие верфей были уволены с работы, пошли забастовки и демонстрации, запыхали монастыри, и в конце концов рабочих приняли обратно на верфи, но всем стало ясно, что дальше так продолжаться не может. И Онофре Боувила прекрасно это понимал.

Еще до встречи с Дельфиной, когда она в одном белье бросилась в его объятия и взгляд ее желтых, цвета серы глаз изменил ход его мыслей, еще до этого он не раз думал о том, что кинематограф как раз и есть новое развлечение, которое так нужно Человечеству. Кинематограф, на его взгляд, обладал тремя необходимыми качествами: работал на электрической энергии, исключал вмешательство публики и обеспечивал неизменность содержания. «Показывать много раз один и тот же спектакль, который начинается и кончается всегда точно в назначенное время! Дать возможность публике сидеть в темноте и тишине,

будто каждый зритель дремлет и видит сон, но сны будут у всех одинаковые — вот в чем соль!» — думал Онофре Боувилла. Таков был его идеал. «Но нет, это было бы слишком здорово, вряд ли получится», сомневался он. Посмотрев фильм о собаке и еще два-три подобных, согласился с пессимистами. Фактически никто не приходил смотреть фильм, если за ним не следовали другие увеселения, например танцы или бег в мешках или же приготовление котлет из мяса забитого на глазах у почтеннейшей публики теленка. «Таким путем мы не придем никуда», — говорил себе Онофре. Разумеется, одновременно с ним о кинематографе думали и другие. В 1913 году в Италии демонстрировался фильм, задуманный как большой спектакль. Фильм назывался «Quo vadis?»¹ и состоял из пятидесяти двух роликов, его демонстрация занимала два с четвертью часа, но в Испании он не был показан по такой редкостной причине, что стоит отвлечься и рассказать, как это произошло.

В 1906 году в одном из парижских театров-варьете дебютировала танцовщица, которой суждено было обрести впоследствии всемирную известность. Она была голландка, и настоящее ее имя — Маргарита Гертруда Зелле, но она выдавала себя за индийскую жрицу и взяла себе псевдоним Мата Хари. Как и всякая танцовщица варьете, она получала много лестных предложений, и самым необычным из них было то, которое ей сделали летом 1907 года. «То, о чем я хочу просить вас, весьма необычно, — сказал некий господин с нафабренными усами, — возможно, с такой просьбой еще никто к вам не обращался». Мата Хари выглянула из-за ширмы, за которой снимала тунику из органди и серебряный пояс, а также аметистовые и бирюзовые украшения, входившие в ее наряд. «Не знаю, милый, достаточно ли я экзотична для тебя», — сказала она на французском, сдобренным голландским акцентом. Когда она вышла из-за ширмы, господин вставил монокль в левый глаз. Визиту его предшествовали букет роз (шесть дюжин) и бриллиантовое ожерелье. Теперь она надела ожерелье в знак того, что принимает подарок, и накинула кимоно, на спине которого был изображен черно-золотой дракон. Она села перед туалетным столиком с круглым зеркалом, в котором князьям, банкирам и маршалам случилось видеть ее глаза, которые при виде драгоценностей

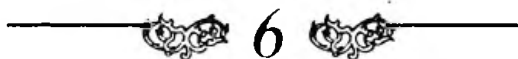
¹ Куда идешь? (лат.)

горели как угли. Ленивыми движениями стаскивала она кольца, которые выдавала за священные и которые составляли необходимую принадлежность облачения жрицы, и складывала их в шкатулку сандалового дерева, на некоторых из колец камни были выполнены в виде черепов. «А можно узнать, чего ты от меня хочешь?» — продолжала она кокетничать. «Я скажу на ушко», — отвечал господин. И он наклонился к ней, так что кончик усов процарапал ее щеку; но в глазах его светилась не страсть, а холодный огонь расчета. «Я представляю правительство Германии, — шепнул он ей, — и хочу, чтобы вы стали нашей шпионкой». Этот разговор тотчас же дошел до ушей разведывательных служб Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки. И скоро слава шпионки Мата Хари превзошла ее славу балерины, из всех стран на нее сыпались контракты, она стала популярней, чем Сара Бернар, о чем два-три года тому назад она и помыслить не могла. Соперничество между ними стало притчей во языцех среди парижан. Так, например, когда в 1915 году Саре Бернар пришлось ампутировать ногу, та будто бы воскликнула: «Наконец-то я смогу танцевать не хуже Мата Хари». Один раз выступила она и в Барселоне, в Лирическом театре, причем имела гораздо больший успех у публики, чем у критики. Наконец тайные службы союзных держав решили отделаться от нее и заготовили для нее ловушку. Некий молодой офицер из Главного штаба притворился, будто угодил в ее сети, как многие и многие до него. Осыпал ее подарками, повсюду их видели вместе: на конной прогулке в Булонском лесу, в роскошных ресторанах, в ложе Оперы, на ипподроме в Лоншане и так далее. Она ни разу не спросила его, как он может вести такую жизнь на скромное офицерское жалованье, считала, наверное, что у него неплохая рента и значительное состояние, а может, на его притворную любовь она отвечала любовью искренней, иначе как объяснить, что такая опытная шпионка попалась на такую банальную приманку. Как-то ночью, когда они отдыхали от бурной страсти на той самой кровати, в тех самых простынях, между которыми велись разговоры, влиявшие на перипетии войны, он вдруг сказал, что должен отлучиться на неделю, а то и на две. «Я не могу прожить так долго без тебя, — сказала она, — не уезжай никуда, что бы там ни было». «Родина требует», — сказал он. «Твоя родина здесь, — возразила она, — в моих объятьях». И ему пришлось рассказать ей о зада-

нии, которое вырывало его из любовного гнездышка. Он должен ехать в Эндайю. Там он сумеет перехватить пленку, которую болгары пытаются переправить немецким агентам, находящимся в Сан-Себастьяне. Он должен их опередить, и тогда пленки окажутся в его руках, а их расстреляют прямо на перроне вокзала. Не успел он закончить свой рассказ, как она ударила его по голове статуэткой Шивы, жестокого бога, символизирующего силы разрушения, и молодой офицер рухнул на пол, по лицу его струилась кровь. Решив, что она убила своего возлюбленного, Мата Хари накинула поверх ночной рубашки шубку из черно-бурой лисицы, надела каскетку и сапоги и села в черный двадцатичетырехсильный «роллс-ройс», который был ее собственностью (наряду с тремя другими автомобилями и двухцилиндровым мотоциклом). Все эти машины были подарены ей высокопоставленными государственными деятелями Франции и других стран, то есть были оплачены заказчиками. Едва она вышла за дверь, расторопный офицер вскочил и подбежал к окну, откуда подал знак агентам, дежурившим на другой стороне улицы. Он вовсе не был убит и даже не ранен: предвидя возможность таких действий со стороны Маты Хари, французская секретная служба подменила все тяжелые предметы в ее номере гипсовыми имитациями, оклеенными каучуком, чтобы не рассыпались, и снабдила brave офицера ампулами с краской, имитирующей кровь. «Роллс-ройс» мчался по заснеженным полям Нормандии. Шоссе проходило рядом с железной дорогой. И вот вдали показалась горизонтальная полоска дыма, это был поезд, который на всех парах спешил в Эндайю. За этой гонкой преследования наблюдали с аэроплана brave офицер и три его агента. Разогнав автомобиль до самоубийственной скорости, Мата Хари сумела нагнать поезд и поравняться с последним вагоном. Знаменитая шпионка стояла на ступеньке «роллс-ройса», ибо перед тем разорвала рубашку на полосы и закрепила руль, чтобы он резко не вильнул, а также положила тяжелый булыжник на акселератор. Губной помадой написала на ветровом стекле: «Adieu, Armand!»¹ Так звали офицера, которым, как ей думалось, она пожертвовала ради долга. Прыгнула и вцепилась в поручни тормозной площадки последнего вагона. Оттуда она видела, как «роллс-ройс» продолжал свой стремитель-

¹ Прощай, Арман! (франц.)

ный бег и в конце концов съехал на поле. Как ни странно, машина не получила никаких повреждений, ее и поныне можно видеть в маленьком военном музее в Руане. Забравшись в вагон, Мата Хари попыталась при скудном свете слепого фонаря найти фотографические пленки, о которых говорил ее любовник. Искала маленькие целлулоидные катушки, а нашла лишь здоровенные круглые банки с ролликами фильма «*Quo vadis?*», их было пятьдесят две. Когда агенты ворвались в товарный вагон, они застали ее в изнеможении, с ободранными в кровь руками; в открытую дверь вагона врывался ветер, который сорвал с нее шапочку, и кудри ее разметались по плечам. Она успела выбросить на полотно двадцать из пятидесяти двух банок, которые теперь заносил снег. Вот почему фильм так и не вышел на экраны Испании. А потом война парализовала производство во всей Европе, и таких фильмов больше никто ни создавал; и теперь Онофре Боувила взял на себя задачу создания полнометражных фильмов, но не знал, как подступить к этому делу, пока Дельфина снова не появилась на его пути.



Громоухая издали, приближалась гроза, и вот дождь ударил в оконные стекла, забарабанил по стеклянной крыше патио, где размещалась кухня. В кухне все три дочери инвалида спали, сидя рядышком и прислонившись к теплой стене. В зале меж тем трое мужчин продолжали разговор.

— Ты сумасшедший,— сказал Эфрен Кастельс. Он был единственным, кто осмеливался говорить с Онофре в таких выражениях, тот на него не обижался.

Онофре Боувила осторожно погладил подушечками пальцев фотографии, которые он вынул из кармана и разложил на столике перед собеседниками.

— Предупреждаю, что на фотографии она получается хуже, чем в натуре,— сказал он.— Я сразу это заметил. Она поправилась на двадцать кило, по моему приказу ее специально откормили — мне хотелось посмотреть, не станет ли она лучше, не выиграет... как это... в физическом отношении.

Он поместил Дельфину в загородном доме в Алелье, который снял специально для осуществления своего замысла; при доме был сад, окруженный высокой и плотной живой изгородью из подстриженных кипарисов, что соответствовало поставленной цели. Дельфина сказала ему, что много страдала. «Теперь ты больше всего нуждаешься в отдыхе,— решил Онофре,— столько лет ты заботилась об отце, вечная ему память, а теперь настало время, когда и о тебе кто-то должен позаботиться». На это Дельфине нечего было возразить: она много лет провела в тюрьме, потом в добровольном заточении, действительно ухаживая за больным и впадшим в детство отцом. Привыкла не распоряжаться собой, подчиняясь чужой воле или собственному чувству долга, и не представляла себе никакого выхода из этой зависимости, кроме смерти. Когда Онофре привез ее в этот дом, там уже находились шофер, кухарка и горничная. Дельфина не удивилась ни тому, что шофер есть, а автомобиля нет, ни тому, что прислуга занимает бельэтаж, а ее поместили на втором, открытом всем ветрам. «Это люди, которым я полностью доверяю,— сказал Онофре,— я дал им подробные указания, и они знают, что нужно делать, и тебе ни о чем не надо заботиться, только выполняй все, что они тебе скажут». Она поблагодарила его и ничего больше не сказала. Но про себя подумала: наверно, это все равно как если бы он на мне женился, у таких людей, как он, скорей всего, так и делается.

В последующие месяцы она также лишь благодарила тех, кто к ней обращался. Горничная будила ее утром и подавала в постель сытный завтрак: омлет с ветчиной, колбасу с картофельным пюре, кукурузу, обжаренную в оливковом масле, и литр горячего молока. Потом помогала ей одеться и выводила в сад, где она садилась в плетеное кресло под кустом мимозы. Горничная накидывала ей на плечи ярко-желтую шаль из ангорской шерсти, на которую слетались бабочки и пчелы, привлеченные ярким цветом шали. Потом она обедала и ложилась в постель для послеобеденного отдыха. Просыпалась, когда солнце уже начинало клониться к закату, ей подавали чай или лимонад с печеньем. Потом гуляла по саду в сопровождении шофера, который следовал за ней на почтительном расстоянии. В первые дни она пробовала завязать с ним разговор. «Онофре не говорил вам, когда он навестит меня?» — спросила она. Шофер посмотрел на нее свысока, прежде чем ответить. «Если вы говорите о хозяине,— сказал он с

насмешкой в голосе,— то он не сообщает мне о своих планах и не просит подсказывать ему, что надо делать». Он поставил меня на место, подумала она, поблагодарила шофера и продолжала прогулку. Как-то в другой раз она попробовала раздвинуть ветки кипарисов и выглянуть на улицу, шофер тут же оттащил ее от живой изгороди. Подобное обращение с ней не так ее огорчало, как то, что ей было неизвестно, приедет Онофре к ней или нет. На самом-то деле он не навещал ее потому, что сидел, закрывшись в своем кабинете, и писал сценарий фильма, в котором ей предстояло сыграть. А его подручные тем временем откармливали Дельфину. На ночь давали снотворное, чтобы она подольше спала, не просыпаясь. Дельфина не задумывалась о том, что она слишком много ест; в тюрьме она столько лет голодала, что потеряла всякое представление о мере в еде, и, если бы ей и здесь давали кусок хлеба, прогорклый сыр, селедку или кусок соленой трески, она восприняла бы это как должное; точно так же и Пантагрюзевы порции, которые ей подавали, она считала за благо. Дельфине и в голову не приходило, что человек в жизни волен иногда выбирать то или другое, ибо собственной воли давно не имела. Может быть, именно поэтому она и продолжала любить Онофре. Наконец она решила написать ему письмо и поведать обо всем, чего она не могла рассказать возле тела отца. Написав, отдала письмо горничной и попросила как можно скорей опустить его в почтовый ящик. В тот вечер слуги, собравшись в кухне, принялись читать это письмо и ничего в нем не поняли. Все трое были людьми бессовестными и распушенными, свои обязанности выполняли спустя рукава. Всегда кто-нибудь из этой троицы был пьян, а случалось, и все сразу. Друг друга они ненавидели, но держались всегда вместе, ибо не могли обойтись без компании. Шофер спал то с горничной, то с кухаркой, а то и сразу с обеими, когда все трое напивались. В этом случае женщины дрались между собой, таскали одна другую за волосы, царапались и кусались. Шум и крики, сопровождавшие эти дикие оргии, будили Дельфину, но, так как снотворное продолжало действовать, она не могла до конца осознать, что же происходит, ей казалось, будто она все еще в тюрьме, где она нередко просыпалась от диких криков. Но года за два она и к этим крикам привыкла, воспринимала их как атрибут снов. Теперь она это понимала. В письме, которое Онофре так и не получил, она писала: «В ту ночь я тоже

хотела крикнуть, но сдержалась. Крик этот остался у меня в груди, и с той поры я слышу его каждую ночь. Я говорю это не в упрек тебе, это не только крик боли, но и крик безмерного счастья. Во всяком случае, он лишает меня покоя, который сон мог бы мне принести, и покой теперь может принести мне только смерть. Но нет, не хочу показывать стойкость, у меня ее нет, тебе я лгать не могу: в жизни моей бывали трудные минуты, и мне иногда хотелось отказаться от великой радости, которую дала мне судьба,— от любви к тебе. И это я тоже говорю не в упрек тебе. Я всегда думаю, что если б ты не был таким, каков ты есть, и поступал не так, как ты поступаешь, то и моя жизнь была бы не такой, какой была до сих пор, а ничто не вызывает у меня такого ужаса, как эта мысль, мысль о том, что хотя бы одна минута моей жизни могла бы быть не такой, какой была, то есть в эту минуту я не любила бы тебя. Никому не завидую и ни с кем не поменялась бы судьбой, потому что никто не может любить так, как я тебя любила все эти годы». Слуги, пока читали письмо, закапали его красным вином. «Эх, черт побери, какая незадача,— испугался шофер,— что скажет сеньор Онофре, если увидит эти пятна?» И они дружно порешили бросить письмо в плиту, что тут же и было сделано.

— Мне пора идти,— сказал маркиз де Ут. С трудом поднялся с кресла, разминая затекшие от долгого сидения суставы, к тому же вчера он промочил ноги. «Тебе больше нечего сказать?» — спросил Онофре Боувила. Маркиз поглядел на часы и наморщил лоб: да, действительно, его не ждут никакие срочные дела. «Ну, раз уж мы продвинулись так далеко, давай уж доведем дело до конца», — со вздохом сказал он. Онофре Боувила ответил ему признательной улыбкой. «Садись и скажи, что тебя заботит», — предложил он. Маркиз погладил щеку и обнаружил, что она изрядно заросла.

— Я не понимаю одной вещи,— сказал наконец маркиз, растягивая слова; иногда мысль ускользала от него, к тому же усталость мешала сосредоточиться, что, впрочем, не всегда ему удавалось и в самых благоприятных условиях. Теперь он тупо уставился на фотографию Дельфины: нарядная дородная женщина стоит на фоне живой изгороди, опираясь на сложенный зонтик, и смотрит перед собой отсутствующим взглядом. Отложив фотографию, щелкнул языком и пальцами одновременно.

— Давай разберемся,— терпеливо предложил Онофре.

— А какова моя роль в этом деле? — спросил он.

Если бы все деловые люди всегда помнили о том, что рано или поздно им придется умереть, наверное, в мире прекратилась бы всякая экономическая деятельность. К счастью, маркиз де Ут был не таков. Франкмасон, интриган и развратник, он по внутренним убеждениям был неисправимым консерватором; мнений своих никогда не высказывал и потому имел большой вес в самых реакционных кругах Испании. Эти круги, вернее сказать, кружки, состояли из аристократов, крупных землевладельцев, представителей армии и духовенства и оказывали на жизнь испанского общества сильное отрицательное влияние: ни во что не вмешивались, кроме тех случаев, когда надо было воспрепятствовать каким-нибудь переменам; ограничивались тем, что утверждали незыблемость своего существования и предупреждали общественность о том, что могло бы случиться (нечто трагическое), если бы их крайняя инертность была нарушена. Они были вроде львов, мирно дремлющих в овечьем загоне. Фактически они не придерживались никакой идеологии, всякую попытку рационализировать их действия они встречали в штыки; по их мнению, это было бы все равно что подвергнуть суду разума правильность, справедливость и необходимость их позиции, а это пробило бы брешь в естественном порядке вещей. «Пусть другие оправдываются, — говорили они, — а нам это ни к чему, потому что мы правы». Любое новшество, даже если оно шло им на пользу, вызывало у них ужас, согласиться с ним было бы равносильно самоубийству. Всякая попытка договориться с кем-нибудь из них в этом вопросе была заранее обречена на провал. Онофре Боувилла познал это на собственном опыте, он иногда намекал маркизу де Ут на целесообразность малых реформ в той или иной области с единственной целью избежать больших бед. Услышав такое мнение, маркиз взвизгивал к потолку. «За каким чертом ты собираешься изменить мир? — вопрошал он. — Кто ты такой, по-твоему? Всемогуший Бог? Ну и ну! Чем тебе сейчас плохо? Ты богат, а старости никому не миновать; бери свое, а те, кто отстают, пускай лошадей своих и подстегивают!» Доводы его были малоубедительны, но не было в мире силы, способной заставить его изменить точку зрения на этот вопрос. То, что подобные предложения исходили от Онофре Боувиллы, лишь укрепляло его твердость в своих принципах. «В конце-то концов, — говорил он, — ты вышел из грязи, ты

пахарь, которому дозволили нахапать кучу денег, а теперь моча бросилась тебе в голову, и ты думаешь, что имеешь право подавать голос, хочешь влезть, куда тебя никто не просит». Для Онофре подобный разговор служил лишь предупреждением: в следующий раз надо действовать тоньше, осторожнее. То, что маркиз мог так дерзко говорить со своим другом, от чьего щедрого гостеприимства никогда не отказывался, которому был обязан важными услугами и был должен немалую сумму денег, вызывало восхищение и зависть Онофре Боувила. На маркиза он тоже не обижался. «Почему вы такие задубелые? — мягко возражал он. — С вашей несгибаемостью вы сами выроете себе могилу». Маркиз выходил из себя и кричал, как бесноватый, что терпению его приходит конец и, если Онофре Боувила еще раз заведет разговор на эту тему, он, маркиз, будет обязан прислать к нему секундантов. В такую минуту маркиз без колебаний и угрызений совести убил бы своего друга. Поскольку для маркиза и его единомышленников существующий порядок был чем-то естественным, всякое его нарушение, разумеется, представлялось чем-то чуждым, и его надо было не допустить, чего бы это ни стоило. В таких случаях они обычно проводили аналогию с больным организмом: миазмы и ампутация; эту замысловатую метафору не понимали ни социологи, ни хирурги.

— То же самое говорил Людовик XVI, когда его предупреждали о том, что творится на улицах Парижа, — заявил Онофре Боувила, желая обескуражить собеседника, скорее чтобы поддразнить его, чем по какой-нибудь другой причине. Но маркиз невозмутимо отвечал, что все французы — сукины дети и на то, что может случиться с тем или другим французом, ему наплевать.

— Даже с королем? — снова съехидничал Онофре Боувила.

— О нет, к нему это не относится, — заявил маркиз, вставая. — Если кто-нибудь при мне начнет дурно говорить об Орлеанском доме, я пришлю ему своих секундантов. Так что думай, что ты говоришь.

Однако теперь дела приняли другой оборот: никто уже не мог сбросить со счетов события в России, Австро-Венгрии и в Германии. Для того чтобы все оставалось, как было до сих пор, требовались глубокие и решительные перемены.

— Так ты видишь в этом глубокую и решительную

перемену? — спросил маркиз. — В том, чтобы выпускать фильмы с этой морской короной?

Онофре примирительно улыбнулся: пока что он не собирался рассказывать маркизу об истинном размахе своих планов.

— Доверься в этом деле мне, — сказал Онофре. — Я тебя прошу только об одном: не выводите на улицу войска, убедите своих, что я не сумасшедший и не злоумышленник. Дайте мне фору, и я покажу вам, на что я способен. Надо только, чтобы какое-то время в ваших кругах было спокойствие. Если и поднимется небольшая буча, дайте народу порезвиться, сделайте вид, будто ничего не замечаете, — я это учел в своем плане.

— Так много обещать я не могу, — сказал маркиз. Должно быть, от усталости он занял оборонительную позицию, что с ним бывало редко.

— Я и не требую, чтоб ты обещал, — заверил его Онофре Боувилла. — Ты только скажи об этом своим. Сделай это ради нашей дружбы.

— Мне надо подумать, — почти уступил маркиз. Пока что требовать от него большего было бесполезно, и Онофре не настаивал.

И вот теперь собратья маркиза де Ут заполняли зал театра, а сам маркиз с Боувиллой и Эфреном Кастьелсом подглядывали из закрытой ложи, как они себя ведут.

— Кажется, дело пошло, — сказал гигант из Калельи.

Онофре Боувилла кивнул, а про себя подумал: «Да иначе и быть не могло». И на этот раз сработала его интуиция. Когда Дельфину в первый раз привезли на киностудию, она не противилась и любопытства не проявляла, с таким же успехом можно было свезти ее в любое другое место. Киностудия была построена на пустыре между улицами Сан-Кугат и Сабадель. Строительство обошлось очень дорого, потому что инженеров и техников пришлось набирать в разных странах. В предприятии участвовали два пионера каталонской кинематографии: Фруктуозо Желлабер и Сегундо де Чомон, однако ни один из них не согласился ставить фильм по сценарию Онофре Боувиллы, ибо сюжет показался им бестолковым. Наконец удалось найти старого фотографа, который в то время болтался без работы, это был некий Фаустино Цуккерман, циничный оборванец родом откуда-то из Центральной Европы. Выбор оказался удачным: этот человек без всякого труда

сразу ухватил замысел Онофре Боувилы. Дельфину он тиранил, не раз доводил до слез по тому или другому поводу. Он зверски пил и в минуты ярости был неуправляем. Тогда лучше было держаться от него подальше, оставить его одного, так как он мог нанести и увечье. Однажды сломал три пальца модистке, в другой раз проломил голову стулом посыльному. Нервная атмосфера, которую создавал в студии этот тип и ему подобные, нравилась Онофре Боувиле, он знал, что на этой почве взойдут нежные и душистые цветы. Однако успех заставил себя ждать, первые попытки кончились крахом. Слишком велико было в те времена отставание Барселоны в технике и технологии. Первый отснятый фильм три месяца не выходил из лаборатории. Когда пленку наконец проявили, оказалось, что она непригодна для использования: одни эпизоды были слишком темными, а другие — такими яркими, что изображение сохранялось на сетчатке глаз в течение нескольких часов; в некоторых пленка давала на экране бесформенные охряные пятна, а были и такие, в которых все шло наоборот, герои наполняли бокалы истекающей из их ртов жидкостью, пешеходы пятились и так далее, были и такие эпизоды, где одни ходили по полу, другие — по потолку. Неудача не сломила дух Онофре Боувилы. Он приказал сжечь бесполезные целлулоидные ролики и немедленно начать съемку сначала. Ему ответили, что Фаустино Цуккерман не в состоянии работать, так как не стоит на ногах. «Посадите его на стул, пусть руководит сидя», — ответил Онофре. Впоследствии этому примеру следовали многие знаменитые продюсеры. Для вторичной съемки пришлось делать все заново: декорации и костюмы тоже были сожжены. Онофре Боувиле сам распорядился об этом, чтобы не выносить сор из избы. Для него главное было сохранить предприятие в тайне. Все сотрудники студии давали клятву хранить ее под страхом смерти, зато они и получали невиданное вознаграждение. Наконец Онофре Боувиле было доложено, что фильм во втором варианте готов и он может с ним ознакомиться в просмотровом зале. Он тотчас бросил все дела и направился в студию в автомобиле с дымчатыми стеклами. Это и был тот самый фильм, который вызвал слезы на глазах олигархов, собравшихся в театральном зале благодаря уговору маркиза де Ут. Когда этот неофициальный просмотр закончился, Онофре Боувиле вызвал к себе Фаустино Цуккермана. Старый фотограф дышал тошнотворным перега-

ром, а еще от него пахло красным вином и сырым луком, словом, от него исходил дух преисподней.

— Поздравляю,— сказал ему Онофре Боувила.— Ты сделал именно то, что я хотел, все дело в ее взгляде, в нем мечты и страхи всего человечества.— Пьяные глаза Фаустино Цуккермана, устремленные на него, подтвердили, что он попал в точку. Они именно такие, подумал он, в них та же жажда и то же отчаяние. Пройдет время, и огонь, горящий в глубине ее глаз, потухнет, останутся сначала тлеющие угли, а потом и холодный пепел, и все это должно быть увековечено на целлулоидной пленке.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Его встретил человек такого возраста, в котором уже заметны внешние признаки прожитых лет. На голове у него не было ни единого волоска, и она представляла собой полусферу цвета темной глины; довольно мелкие черты лица и небесно-голубые глаза. Одет он был в полосатые штаны, подпоясанные веревкой, куртку из вытертой фланели и альпарты. На ходу опирался на узловатую палку, привязанную шнурком к веревке, служившей ему поясом, за которую был заткнут огромный нож, никак не соответствовавший его безобидной внешности. К ногам его жался головастый щенок с коротким хвостом и короткими ногами. Пес не сводил глаз со своего хозяина, и тот время от времени на него поглядывал, словно ожидал одобрения своим словам. Человек снял шляпу и повернулся спиной к Онофре Боувиле.

— Будьте добры следовать за мной, сеньор,— сказал он.— Дорога здесь не очень хороша, думаю, вы это и сами заметили.

Онофре Боувиле пошел за человеком и собакой. Шофер, который довез его до лесной поляны, пошел было за ними, но Онофре жестом остановил его.

— Оставайся здесь, — сказал он, — и не беспокойся, если я задержусь.

Шофер сел на подножку автомобиля, положил рядом с собой кепи и принялся вертеть самокрутку, в то время как два человека и собака пошли по лесной тропинке и скрылись из глаз в густой растительности. Несмотря на свой возраст, человек этот шел легко меж корней деревьев, камней и зарослей. А Онофре Боувила, наоборот, часто останавливался, из-за того что ветка ежевики вцеплялась в его пиджак. В таких случаях провожатый останавливался и обрубал ветку ножом, после чего извинялся перед Онофре Боувилей, который уже считал свой костюм загубленным.

Кинопромышленность, которую он создал в 1918 году, через два года, то есть к концу 1920, достигла апогея, это был ее расцвет; потом дела пошли хуже. Среди всеобщего застоя в 1923 году он передал Эфрену Кастельсу, своему компаньону в этом деле с самого начала, соответствующую часть прибылей и объявил, что выходит из дела, равно как из всех прочих предприятий. Те, кто хорошо его знали, или, за неимением тех, кто мог бы о себе это сказать, те, кто поддерживал с ним постоянное общение, не очень удивились такому его решению, о котором можно было догадаться заранее по неожиданному заявлению Онофре Боувилы, что он намерен переехать. Теперь все вспоминали это обстоятельство, считали, что не случайно переезд совпадает с отходом от самого честолюбивого его плана, в этом они видели внутренние убеждения, хотя и не знали наверное, что его грандиозные планы грозили закончиться провалом.

— Здесь раньше был вход для слуг, — сказал встречавший Онофре человек. — Вы уж извините, что я веду вас этой дорогой, но последнее время только ею и пользуются, в других местах нам пришлось бы перелезть через стену.

В своих упорных поисках Онофре Боувила перебрал сотни домов, но такое он видел впервые. Эта усадьба, расположенная в верхней части Бонановы, некогда принадлежала семье по фамилии Розель, а может, и Розелли. Усадьба была построена в конце XVIII века, но от первоначальной постройки осталось очень мало после реконструкции в 1815 году. Тогда же был заложен и сад. Сад этот, романтический по замыслу и нелепый по исполнению, занимал примерно 11 гектаров. В южной стороне

сада, налево от дома, имелось искусственное озеро, питаемое акведуком в римском стиле, который подводил воду непосредственно из Любрегата; озеро в свою очередь имело сток через канал, окружавший сад и проходивший перед домом, по нему можно было плавать на плоскодонных лодках или баркасах, а по берегам его росли плакучие ивы, вишни и лимонные деревья. Канал пересекали несколько мостов, в том числе главный мост, трехпролетный, каменный, который вел к главному подъезду дома. Еще был мост, называемый Мостом кувшинок, немного поменьше, облицованный розовым мрамором, были и другие мосты: мост Дианы, названный так из-за статуи этой богини, вывезенной из Ампуриас, стоявшей у его истока; крытый мост, построенный из тиса; японский мостик, который, сливаясь со своим отражением в воде, образовывал идеальный круг, и другие. В озере и канале жило множество разных красивых рыбок, в саду порхали редкой красоты бабочки, вывезенные из Центральной Америки и с Амазонки — потребовалось немало усилий, чтобы они прижились, в те времена в Каталонии никто и понятия не имел, как обращаться с заморской фауной. Владельцы поместья время от времени ездили в Италию, откуда были родом или, может быть, осели там во времена каталонского господства в Сицилии, а возможно, жили в Неаполитанском королевстве (где их родовое имя и подверглось изменению, о котором говорилось выше); отпрыски этой семьи, обосновавшейся в Барселоне, ездили в Италию всякий раз, когда приходило время вступить в брак, и делалось это не по прихоти или сердечной склонности, а по заранее обдуманному намерению, по стратегическому замыслу, который заключался в том, чтобы не устанавливать родственных связей с другими каталонскими семьями, так как это, по их мнению, привело бы рано или поздно к дроблению наследственного имущества; после одной из таких поездок, в 1832 году, возле озера был выстроен искусственный грот (соответственно тогдашней итальянской моде), который долго вызывал всеобщее восхищение; он состоял из двух частей или залов: первый зал, побольше, имел высоту десять метров и был украшен сталактитами и сталагмитами, искусно изготовленными из керамики и гипса, а второй зал выходил к озеру и был расположен ниже уровня воды, в нем не было никаких украшений, но часть гранитной стены была заменена стеклом толщиной 50 сантиметров, через которое

можно было видеть в солнечную погоду кораллы и водоросли, стайки рыб и двух гигантских черепах, вывезенных из Новой Гвинеи, которые также хорошо перенесли смену среды обитания и прожили, как им и положено, очень долго, до начала XX века, хотя и не дали потомства.

— Отец мой,— рассказывал сторож,— служил здесь егерем, а когда оглох, его перевели на должность лесника. Я родился, можно сказать, на службе у семейства Розель.

Кроме упомянутых выше чудес в саду были бесчисленные живописные уголки, павильоны, беседки, часовенки и оранжереи, тенистые аллеи, образовывавшие затейливый лабиринт, в котором можно было и заблудиться, но не надолго, в нем гость натывался то на конную статую императора Августа, то на бюст Сенеки или Квинтилиана; повсюду были живые изгороди, из-за которых можно было подслушать беседу заговорщиков, любовные излияния и звуки поцелуев во время тайного свидания при свете луны. На склоне горы в виде семи террас располагались луга, по которым разгуливали парочки королевских павлинов и египетских журавлей.

— А я начал служить господам, когда мне было шесть лет,— продолжал свой рассказ старик,— я был пажом сеньориты Кларабельи. Ей в то время было лет тринадцать-четырнадцать, если память мне не изменяет. Сеньорита Кларабелья, хоть знала несколько языков, к прислуге обращалась только по-итальянски, и мы ее приказаний не понимали. Но в остальном моя работа была нетрудная: я выводил гулять ее комнатных собачек, их было семь, все разной породы и чистых кровей, на них стоило посмотреть.

Дом был четырехэтажный, и каждый из этажей занимал площадь в тысячу двести квадратных метров; главный фасад обращен был к Барселоне, на юго-восток, имел по одиннадцать балконов на каждом из верхних этажей, а на первом этаже — десять окон и входная дверь. Всего балконов, окон, слуховых окон, застекленных дверей, эркеров и прочих застекленных проемов в доме было две тысячи шесть, и для их мытья и протирки держали работника, который трудился ежедневно. Теперь стекла были побиты, внутренние помещения пусты, а сад превратился в дикий лес. Мосты обрушились, озеро высохло, грот развалился, всю экзотическую фауну пожрали мелкие хищники и крысы, которые стали полновластными хо-

зьявами усадьбы; в груды обломков превратились лодки и экипажи, хранившиеся в сараях без дверей, а родовой герб семейства Розель представлял собой бесформенный выступ, растрескавшийся от непогоды и покрытый мохом, над парадной дверью.

— Расскажите, что случилось с хозяевами,— попросил Онофре Боувила.

Не без риска прошли они по мосту и подошли к главному подъезду. Сторож присел на хвост безголового деревянного льва. Пес растянулся у его ног. Старик оперся подбородком на руки, сжимавшие набалдашник посоха, и глубоко вздохнул. Онофре Боувила догадывался, что сейчас услышит долгую и необычную историю.

— У членов семейства Розель, сеньор, как известно, был такой обычай — не жениться и не выходить замуж в Каталонии,— начал старик свой рассказ,— не хотели они родниться с земляками, и за это их многие осуждали, хотя, если разобраться, будь ты хоть трижды земляк, рожденный на той же земле и под тем же солнцем, это еще не дает тебе права вмешиваться в чужую жизнь, тем более в сердечные дела, если другая сторона не выказывает никакого высокомерия, а скорей наоборот, как я уже говорил, сеньор. Господа мои не сторонились людей, и редкий день проходил без того, чтобы я не увидел какого-нибудь гостя, когда под вечер, погуляв часа два с собачками, как было велено, возвращался в дом по лугу, который здесь был, там росли тополя, и в жаркую погоду можно было гулять в их тени, теперь-то они гораздо выше, чем были тогда, ясное дело, столько лет прошло, сеньор, что даже некоторые деревья, под которыми я гулял босоножим мальчишкой и мечтал бог знает о чем, засохли от старости.— Старик говорил длинными фразами, будто ему было трудно вспоминать и рассказывать постороннему человеку о том, что было раньше, время от времени он замолкал, задумывался, краснел как школьник, и тогда его красноватая кожа темнела, становилась цвета индиго. Потом он тряс головой и, сняв правую руку с набалдашника посоха, поводил ею, указывая на одичавшие поля, словно силой воспоминаний хотел превратить их в ухоженные луга прежних времен. Он как будто видел воочию, как по этим лугам проходят люди и проезжают экипажи.— Если проезжал экипаж, ох и трудненько мне приходилось,

надо было удерживать собак, которые приходили в возбуждение и рвались, натягивая поводки, хоть они были и маленькие, но я и сам-то был невелик, и случалось, собачки валили меня на траву и волокли, они при этом радостно лаяли, а я хныкал, и это очень веселило гостя, если он замечал и наблюдал эту сцену до тех пор, пока экипаж не переезжал через мост и не останавливался перед двусторчатыми воротами, которые тотчас распахивались, чтобы принять гостя.

Онофре Боувила оставил старика с его разглагольствованиями и вошел в вестибюль. Свет мощным потоком влиялся сквозь окна без переплетов и занавесок. Пол был усыпан сухими листьями. Кое-какие отдельные предметы случайно уцелели от разгрома: разноцветный мяч, ветхий стул и так далее. Отсутствие остальных вещей производило гнетущее впечатление. Онофре подумал о том, сколько вещей понадобилось для того, чтобы дом стал домом, их надо было добыть, привезти, собрать воедино. Если весь этот труд перевести на рабочие часы, из них получилась бы не одна человеческая жизнь; разрушение дома сделало эти жизни бесполезным вложением капитала, чистым убытком — Онофре Боувила мыслил как финансист. Его вывел из задумчивости голос старика, который неслышно подошел к нему и без всякого предупреждения продолжил свой рассказ.

— А какие были праздники, сеньор! Какие балы и танцевальные вечера! — Концом посоха старик раздвинул покрывавшие пол листья — показался мозаичный пол, в этом месте была изображена женская ножка в туфельке. Если расчищать дальше, то наверняка открылась бы огромная картина на мифологический сюжет во всю площадь обширного вестибюля, но для этого потребовалось бы несколько часов работы. Страж поместья не стал разгребать дальше и продолжал не спеша описывать балы и вечера с танцами, переходя вслед за Онофре Боувилей из одного зала в другой. Он рассказывал, что его, конечно, на эти праздники не пускали, тем более что начинались они поздно вечером, но он все же выходил из своей камнатушки и босой, в одной рубашке забирался, невзирая на ночную прохладу, в какое-нибудь укромное местечко, откуда мог смотреть на празднество, оставаясь незамеченным. Задача облегчалась всеобщей суетой, во время праздника у всей прислуги дел было по горло, где уж тут следить за сопливым мальчишкой. В лепных украшениях

на потолке зеркального зала свили гнезда стрижи, по карнизам бегали мыши. Это зрелище усугубило грусть старика. Минуту-другую он молчал, а потом заговорил торпливо, словно хотел быстрее закончить обход дома, производивший на него тягостное впечатление, тем более что совершал он его в обществе постороннего человека впервые за долгие годы.

— Однажды в летний день — это был ужасный день, сеньор,— вернувшись с вечерней прогулки с собачками, я увидел, что в доме переполох, все растерянно метались, и я сразу подумал, что затевается новый праздник, но это было невозможно, совсем недавно у нас было два больших праздника: гулянье в ночь на Иоанна Крестителя и приезд из Неаполя труппы театра Сан-Карло, которую, пользуясь тем, что театр закрыт на летний сезон, пригласил сеньор Розель, с тем чтобы артисты представили для членов его семьи и немногих близких друзей оперу «Свадьба Фигаро» господина Моцарта, уж тут суматохи было много, ведь нужно было разместить и обслужить солистов, хор и оркестр, а также прочих работников театра, в общем человек четыреста, к тому же они привезли с собой инструменты, костюмы и прочие принадлежности, и после такого события не верилось, что нам снова предстоит готовиться к большому празднику, но ничего другого мне в голову не приходило, хоть я и не поверил глазам своим, когда увидел целое войско каменщиков, плотников, лепщиков и маляров, одним словом, всех, кто требуется при подготовке к большому празднику. Взволнованный тем, что увидел, я побрел по дому вместе с собачками в надежде повстречать кого-нибудь, кто рассказал бы, что у нас творится и к чему идет подготовка, и наткнулся на одну из ключниц, которая, как мне кажется, была мне сродни, потому что слуги и служанки этого дома нередко вступали в брак между собой, что, кстати сказать, приводило к забавным вещам, вот, например, моя двоюродная тетка была одновременно моей двоюродной сестрой по крови, а брат моей матери доводился мне племянником, и так далее, а в довершение всего, хоть это к делу не относится, та самая ключница, которая была мне сродни, как теперь подумаю, вполне могла быть и моей матерью, так как отец мой в те редкие дни, когда приходил из леса, спал с ней, что, конечно, ничего не доказывает; так вот эта ключница ошиповала фазана, которому только что отрубила голову топориком

и теперь держала между коленями, и она рассказала мне, что днем прискакал всадник в плаще и фетровой треуголке, каких в то время уже не носили, прыгнул с коня на ходу, не дождавшись, когда тот остановится после бешеной скачки, а конюх, выбежавший на стук копыт по мосту, примет от него поводья, и конь, пользуясь свободой, скакнул в канал, а всадник шепнул на ухо мажордому какие-то слова, наверно пароль, и тот сразу же распахнул перед ним двери, он направился к сеньору Розелю, которого срочно разбудили (он спал после обеда), видно, очень уж важное было дело, раз решились нарушить его покой, после краткой беседы с гонцом сеньор приказал приготовить все необходимое к большому балу, который состоится вечером того же дня — подумать только! — в честь высокого гостя, имя которого он, однако, челяди не открыл. Посланец тотчас ускакал обратно, а по пятам за ним помчались гонцы, чтобы устно передать приглашения кому надо, так рассказала эта ключница, а может, моя мать. «Но кто же этот гость?» — спросил я, сгорая от любопытства, вполне понятного для ребенка такого нежного возраста, на что мать ответила, что не может мне этого сказать, это большой секрет, и даже если бы сказала, это не развеет мои сомнения, так как это имя, которое она слышала из-за двери и не очень отчетливо разобрала каждый слог, мне совершенно незнакомо, вот как она сказала, но я так просил и умолял, надеясь на ее материнские чувства и полагая, что при таком нашем родстве можно и поделиться секретом, так просил, что она в конце концов уступила и сказала, что особа, в честь которой делаются все эти приготовления, не кто иной, как герцог Арчибальдо Мария, который претендует на испанский трон, а семейство Розель давно его поддерживает.

На второй этаж залетело меньше листьев, зато грязь была погуще, казалось, она исходит от самих предметов. Сколько грязи может скопиться, подумал Онофре Боувила, неизвестно, что было бы, если бы все люди, или, может быть, почти все, не прибирали бы каждый день тот кусочек планеты, на котором им суждено проживать. Как знать, может, в этом и состоит истинное назначение человечества, и Господь поселил людей на земле именно для того, чтобы они прибирали и прихорашивали ее, а если это так, то все остальное — прах и суета.

— Поддерживать того или иного кандидата на пре-

стол в те времена не было делом вкуса, простым предпочтением, какое сегодня отдают, скажем, тому или другому тореро, это было участие в опасной политической игре, и если исход междоусобных войн оказывался неблагоприятным для сторонника какого-то кандидата, того ждали непоправимые бедствия,— продолжал свой рассказ storeroj.— Так вот,— добавил он, помолчав,— тот кандидат, о котором я веду речь и к прибытию которого мы так усердно готовились, заявил в каком-то непонятном документе — то ли это была идейная платформа, то ли торжественная речь, то ли программа, но назвали его почему-то эдиктом и издали в Монпелье,— он заявил, что готов предоставить Каталонии ограниченную независимость или что-то вроде этого, в общем, такой режим, который связал и поныне связывает Индию с Британской короной. Вот из-за этого туманного обещания семейство Розель и поставило на карту и все свое состояние, и свою жизнь. А теперь этот кандидат объявил неожиданно о своем посещении поместья, и это известие поставило перед сеньором Розелем неразрешимую проблему: с одной стороны, гостя надо было принять, как того требовало его нынешнее и, возможно, будущее положение, а с другой — необходимо было соблюсти тайну его прибытия, как того требовала обстановка, ведь законные власти и соперничающие группировки, сговорившись между собой, назначили награду за голову герцога, и, чтобы разрешить эту проблему, требовалось, чтобы глава семьи проявил тонкость ума, воображения и *savoir faire* ¹.

На полу валялись осколки фарфора, которые хрустели под ногами обоих. Онофре подобрал один из обломков и, взглядевшись в него, понял, что это осколок столового прибора севрского или лиможского фарфора, состоявшего по крайней мере из двухсот предметов, не считая супниц, соусников, мисок и ваз для фруктов. «Как сюда попала эта посуда? — спросил он. — Ведь столовая находится на первом этаже». Он также спросил бы, кто ее разбил, если было бы кому ответить. Старик молчал, погрузившись в воспоминания.

— Как только мы его увидели, мы поняли, что этот человек не принесет в наш дом ничего, кроме несчастья,— сказал он наконец.— Герцогу Арчибальдо Марии было в ту пору сорок или сорок пять лет, и он постоянно жил в из-

¹ Умелость, ловкость (франц.).

гнании. Эта кочевая жизнь украдкой губительно сказалась на его морали, он стал беспутным развратником. Проезжая по мосту, свалился с коня, так как был сильно пьян. Думаю, он даже не заметил лодок на канале, в которых стояли слуги, державшие над головой канделябры с горящими свечами, так, чтобы мост был заключен в движущийся световой круг. Адъютант герцога, которого звали Флитан, на вид цыган, с ловкостью циркового акробата соскочил с коня и помог герцогу подняться, подвел к перилам моста, и Его Высочество начал блевать, а тем временем сеньорита Кларабелья, выполняя указания отца, грациозно, как было отрепетировано с учителем танцев, присела в поклоне и преподнесла ему на обтянутой шелком подушке дубликат ключа от дома, сделанный из золота или другого металла, но позолоченный, и белую лилию... Не помню, сеньор, говорил ли я вам, что это был вечер жаркого летнего дня, ужасного дня. Герцог несколько дней не брился, а не мылся, наверно, не первый месяц, источал невыносимый запах, из носу у него торчала всякая гадость, а когда он смеялся скорей свирепым, чем веселым смехом, выставлял почерневшие гнилые зубы — это был, конечно, наихудший представитель королевской крови. Взвесив на ладони золотой ключ, передал его адъютанту, лилию бросил в воду, а разбурмачившуюся сеньориту Кларабелью потрепал по щеке, та покраснела, повернулась и бросилась к матери, чтобы спрятаться за ее юбкой.

Поднялись на третий этаж по лестнице, у которой давно уже не было перил, а торчали лишь деревянные балясины, да и те потрескались и облупились. Когда они оказались наверху, страж поместья, который до тех пор передвигался медленно, волочил ноги и старался помедлить в каждом зале, вдруг подался вперед и стал перед Онофре Боувиллой, будто хотел преградить ему путь.

— На этом этаже были спальни, — пояснил он, не дожидаясь вопросов. — Я до сих пор не рассказал вам о распределении комнат, то есть, я хочу сказать, кто из господ где спал, — поспешно добавил он, будто совершил какую-то непоправимую ошибку. — Слуги, конечно, спали на самом верху, в мансардах, летом там было жарко, а зимой холодно, что правда, то правда, но зато оттуда видно было все поместье. И я там спал. У меня даже была отдельная комнатуха... Я говорю это не из хвастовства, на самом-то деле я почти каждую ночь спал с семьей

собачками сеньориты Кларабельи, но все равно я имел свою собственную комнату, которую не делил ни с кем из слуг, как это было принято, и это освобождало меня от постоянных насмешек, колотушек и содомических притязаний, не совсем освобождало, конечно, но на большую часть дней недели; в общем, могу даже сказать, что за все время жизни в этом доме я подвергался насмешкам, колотушкам и содомическим притязаниям лишь раз в неделю, как правило, а с другими это случалось гораздо чаще. В остальные дни меня оставляли в покое. Тогда я садился на подоконник, свешивал ноги наружу и глядел на звезды, а иногда смотрел и вниз, туда, где была Барселона, в надежде увидеть какой-нибудь пожар, а иначе город оставался в темноте, и с моего наблюдательного пункта невозможно было даже угадать, где же этот многолюдный город. Ну, потом появилось электричество, и все стало по-другому, но к тому времени в этом доме уже никто не жил. Пойдемте, сеньор,— и он потянул Онофре за рукав,— поднимемся в мансарды, и я покажу вам, где эта самая моя комнатка. А эти спальни — какой в них интерес? Вы уж мне поверьте.

Над мансардами крыша прохудилась во многих местах, сквозь прорехи виднелось небо. В щели свободно влетали и вылетали летучие мыши, основные жители этого этажа. Те, которые не летали, мирно спали, висая вниз головой на стропилах и перекладинах. По полу шныряли огромные крысы, взъерошенные как дикобразы, такие не испугаются кота и даже могут растерзать его. На всякий случай сторож взял свою собачку на руки.

— В ту ночь я не мог уснуть,— продолжал старик, будто ничто не прерывало его рассказ,— из своей комнатки я слышал музыку, бал был в разгаре. Я смотрел в окно по обычаю, о котором я вам уже говорил. Внизу, по ту сторону моста, на эспланаде, которая тогда была, я видел при свете мириадов звезд, выпавших на небо в эту летнюю ночь, в эту ужасную ночь, сеньор, экипажи, в которых прибыли избранные люди, сторонники этого самого герцога, о них рассказывать нечего, но подальше, в отрогах гор, я увидел бесчисленное множество огней, которые медленно двигались, точно стая безмятежных светлячков, но это были не светляки, господи боже мой, а фонари, которыми освещали себе путь солдаты генерала Эспартеро: будучи предупрежден каким-то предателем, он отдал приказ окружить поместье. Таково уж было веление судьбы,

что никто не заметил этой опасности, кроме меня, бедного глупыша шести лет от роду, а что мог я знать тогда о законах войны и предательстве? Позвольте мне отдышаться, сеньор, и я расскажу вам, что было дальше.— И старик сделал то, о чем просил, потом вытащил из кармана носовой платок и отер глаза и зачем-то отер глаза и псу, который пытался уклониться от этой процедуры, отворачивая морду. После этого спрятал платок в карман и продолжал: — Я слушал музыку, пока меня не сморил сон. Не знаю, который был час, когда я, вздрогнув, проснулся. Собачки, спавшие вместе со мной, проснулись еще раньше и беспокойно бегали по комнате, царапали дверь, грызли лежавшую на полу циновку и скулили, словно почуяли какую-то опасность. Была глухая ночь. Я выглянул в окно и заметил, что экипажи уехали, а огней, которые я наблюдал перед сном, уже не было видно. Взяв огарок свечи, зажег его и в одной рубашке и босиком вышел в коридор, закрыв за собой дверь, чтобы собачки не разбежались по дому и не перебудили всех, мне казалось, что все спят. Вот по этой самой лестнице, которую вы видите, я спустился на третий этаж. Не знаю, почему меня туда потянуло. И вдруг кто-то схватил меня за руку, а другой рукой зажал мне рот, так что я не мог ни убежать, ни позвать на помощь. Я выронил огарок свечи, который кто-то поймал на лету, и при его свете я увидел, что держит меня не кто иной, как герцог Арчибальдо Мария, а свеча в руках у страшного Флитана, и в зубах он держит кинжал, и я, конечно, страшно перепугался. «Не бойся,— прошептал герцог мне на ухо и дохнул на меня таким зловонным перегаром, что я чуть не лишился чувств.— Ты знаешь, кто я?» — спросил он, и я утвердительно кивнул. Он как будто удовлетворился таким ответом и сказал: «А если ты знаешь, кто я, ты, наверно, понимаешь, что должен повиноваться мне, что бы я ни приказал». Я опять закивал в знак согласия, и он спросил, знаю ли я, где спальня сеньориты Кларабельи. Увидев, что я снова ответил утвердительно, оба обменялись взглядами и злорадными улыбками, о смысле которых я тогда не догадывался. «Так води меня туда поскорей,— сказал герцог,— потому что сеньорита Кларабелья ждет меня. Я должен сделать ей маленький подарочек»,— добавил он и расхохотался, этому сатанинскому смеху вторил его адъютант. Я, конечно, повиновался. Перед дверью спальни сеньориты Кларабельи они возвратили мне огарок свечи и велели немедленно возвра-

щаться в свою комнату. «Сейчас же ложись спать и никому не рассказывай о том, что было,— предупредил меня герцог,— не то я велю Флитану отрезать тебе язык». Я поспешил обратно в свою комнатушку, не смея даже оглянуться. Но перед дверью остановился: эта встреча заронила в мою душу какое-то непонятное беспокойство. В конце коридора на верхнем этаже, как я помнил, спала ключница, которая, возможно, была моей матерью. На цыпочках я вошел в ее комнату, которую она делила, как я уже говорил, с другими служанками, подошел к ее кровати и потряс ключницу за плечо. Она открыла глаза и посмотрела на меня сердито. «Какого черта ты шляешься по ночам, обормот проклятый?» — прошипела она сквозь зубы, и я подумал, что, наверно, в конце-то концов, она мне не мать и, кроме взбучки, ждать от нее нечего. Но все-таки сказал: «Мне страшно, мама». «Ну ладно,— сказала она, меняя гнев на милость,— оставайся, если хочешь, но только не лезь в мою постель. Не видишь, что ли, я не одна». И, приложив палец к губам, она указала на мужчину, который храпел рядом с ней, но, кстати сказать, это был не мой отец, лесник, что, конечно, также ни о чем не говорит, и я растянулся на циновке возле ее кровати и начал считать ночные горшки, которые оттуда были хорошо видны. И еще раз проснулся, чего-то испугавшись, оказалось, это мать меня тормозит. Все служанки и мужчины, которые почему-то тоже оказались в этой комнате, поспешно хватали свою одежду при слабом свете, проникавшем в комнату сквозь слуховое окно. Я спросил, что случилось, и мать вместо ответа дала мне подзатыльник. «Не болтай, пошли скорей»,— сказала она и, накинув на ночную рубашку шаль, вышла из комнаты, ведя меня за руку. Лестницы гремели и прогибались под ногами прислуги, поспешно спускавшейся вниз, все направлялись в подвал. Там мы увидели сеньора и сеньору Розель. Он еще не снял свой фрак, а может, снова его надел. В правой руке он держал обнаженную саблю, а левой обнял за плечи горько рыдавшую на его груди сеньору Розель. На ней была широкая юбка из синего бархата. Проходя мимо них, я слышал, как госпожа прошептала мужу: «*Provega Catalogna!*»¹ Я огляделся по сторонам, пытаясь отыскать в толпе сеньориту Кларабелью, но из-за маленького роста мне было трудно это сделать. Я слышал,

¹ Бедная Каталония (итал.).

как окружающие говорили о том, что генерал Эспартеро со своим войском уже перешел мост и сейчас подойдет к главному входу. И словно в подтверждение этих слов слышались страшные удары дверного молотка над нашей головой, на первом этаже. Я спрятал голову в чьи-то колени. А сеньор Розель сказал спокойным голосом: «Быстрее, быстрее, не мешкайте, промедление может стоить всем нам жизни». И мы стали один за другим входить в стенной шкаф, где, как мне было известно, хранились фасоль, чечевица и бобы в кадках из светлого дерева, стянутых железными обручами. Я был очень удивлен: как это в шкафу умещается столько народу? Но, подойдя поближе, понял, в чем дело: в полу шкафа был люк, обычно скрытый кадками, а теперь он был открыт, и в него спускались все, кто входил в шкаф. Ход этот вел в тайную подземную галерею, о существовании которой знали лишь владельцы поместья, и по ней можно было выбраться в случае, если дом окажется в осаде, как оно и было на этот раз. Мать поманила меня рукой, дескать, не стой столбом, беги. Я бы последовал за ней, сеньор, если бы вдруг не вспомнил, что оставил собачек запертыми в комнате, когда в первый раз вышел и повстречал герцога. «Надо сбегать за ними,— сказал я себе,— не то сеньорита Кларабелья рассердится». И, не долго думая, повернулся и бегом бросился по лестнице на четвертый этаж.

Онофре Боувила высунулся в окно и посмотрел вниз. Кусты и заросли сорняков скрыли границы имения, сплошная зелень тянулась от дома до самой Барселоны. Отчетливо видны были окрестные селения, которые город постепенно поглощал, затем шел район Эсанче с его аллеями и роскошными особняками, а ниже — старый город, где он прожил столько лет, что считал его своим. На окраинах дымились заводские трубы на фоне темного вечернего неба. На улицах понемногу загорались фонари — фонарщики выполняли свою работу не спеша.

— Окончание этой истории меня не интересует, — сухо сказал Онофре Боувила, бросив через плечо властный взгляд на старика. — Я покупаю дом.

По чистой случайности или по заранее намеченному плану крушение кинематографической империи Онофре Боувилы совпало с окончанием работ по реконструкции нового дома, одно как бы компенсировало другое. С невиданным упрямством, не жалея ни времени, ни усилий, ни денег, он поставил перед строителями задачу расчислить интерьер и восстановить все, как было или должно было быть. Однако у него не было ни первоначального плана, ни чего-либо другого, чем он мог бы руководствоваться, кроме собственной логики и ненадежной памяти человека с собачкой. С неиссякаемым терпением выслушивал он мнения архитекторов, историков, декораторов, краснодеревщиков, художников, дилетантов и шарлатанов, которые брались решать бесконечно возникавшие проблемы, их заключения часто противоречили одно другому. Выслушав различные мнения, он умело сортировал их и принимал решение, которое считал оптимальным, не позволяя себе руководствоваться лишь собственным вкусом. Так постепенно возродились дом и сад, конюшни и сарай, озеро и канал, мосты и павильоны, цветочные клумбы и огород. Внутри дома потолки и полы, там, где это было возможно, реставрировались, а в том случае, если время стерло всякие следы человеческого труда, создавались заново по выбранному им проекту. Он раздал своим агентам осколки фарфора и хрусталя и послал их во все уголки земного шара, чтобы они отыскиали аналогичные предметы; те самые агенты, которые несколько лет тому назад предлагали возможным покупателям снаряды и мортиры, теперь звонили в колокольчик над входом в сырые подвалы, где держали свои заведения ювелиры и торговцы антиквариатом. Он вызвал в Барселону скульпторов из различных мастерских и просто из мансард, реставраторов из картинных галерей и музеев всего мира. Осколок кувшина размером не больше пяди дважды путешествовал до Шанхая и обратно. Онофре Боувилы выписал лошадей из Андалусии и Девоншира, чтобы запрягать их в кареты, точные копии прежних, специально построенные в Германии. Все думали, что он свихнулся, потерял рассудок, никто не понимал, что заставило его пуститься в такое бессмысленное предприятие, решать подобные

головоломки. Но он никого не слушал, ни целесообразность, ни возможность осуществления, ни финансовые соображения не были для него аргументами, которые следовало принять во внимание: все в доме должно было стать точно таким же, как было во времена процветания семейства Розель, дальнейшей судьбой которого он, впрочем, нисколько не интересовался. Когда кто-нибудь спрашивал, как это он, еще совсем недавно пытавшийся заменить многовековую религию кинематографом, взялся восстанавливать то, что противоречило всеобщему прогрессу, что безвозвратно кануло в вечность, он только улыбался и отвечал: «Именно этим я и занимаюсь». И переубедить его было невозможно. Это колоссальное предприятие осуществлялось несколько лет.

Однажды, навестив усадьбу, он поговорил с одним из декораторов. Тот рассказал ему, что тщетно разыскивал дешевую фигурку из майолики и кто-то сказал ему, что видел такую именно вещь в Париже, в какой-то лавчонке, и мог бы ее приобрести, но не захотел, так как это требовало затраты сил и средств, а сама вещь того не стоила. Онофре Боувила попросил дать ему адрес этой лавчонки в Париже, декоратора уволил, сел в автомобиль, поджидавший его на мосту, и приказал шоферу: «В Париж». Никогда до того времени он не выезжал из Каталонии. Не ездил даже в Мадрид, где за него вели дела его агенты. В пути дремал, откинувшись на спинку сиденья. Когда пересекли границу, стало свежо, и он захотел купить теплый плед, чтобы укрыть ноги, но не смог, так как в магазине принимали только французские деньги, а у него их не оказалось. Пришлось мерзнуть до Перпиньяна, там банк выдал ему необходимую сумму и чековую книжку, по которой он мог взять, сколько ему требовалось, в любом другом банке на пути следования. После захода солнца переночевали в каком-то местечке, а утром продолжили путь. Приехав в Париж, первым делом направились по указанному адресу, который дал незадачливый декоратор, нашли искомую майоликовую фигурку, и Онофре Боувила купил ее, заплатив ничтожную сумму. После этого велел шоферу ехать в ближайший роскошный отель и снял *suite royale*¹. Когда забрался в ванну, пришел директор отеля во фраке с гарденией в петлице. Он хотел осведомиться, нет ли у месье Боувилы особых распоряжений.

¹ Королевский номер (франц.).

Онофре распорядился, чтобы ужин подали в номер, а его шоферу, который занимал отдельный номер на другом этаже, обеспечить на ночь женское общество. «Завтра ему предстоит серьезная работа», — сказал он. Директор отеля понимающе кивнул. «А для вас, месье?» — спросил он. «Сдержанную и услужливую», — ответил Онофре и представил себе, что бы на его месте вытворял маркиз де Ут. Директор вскинул руки. «C'est la spécialité de la maison! — воскликнул он. — Elle s'appelle Ninette»¹. Когда Нинетта пришла некоторое время спустя в номер, Онофре Боувилла лежал одетый на кровати и крепко спал. Она сняла с него ботинки, расстегнула жилет и ворот рубашки и накрыла одеялом. Потом пошла погасить свет и увидела на ночном столике конверт с надписью «Pour vous»². Конверт содержал пачку купюр. Нинетта положила конверт с деньгами обратно на столик, погасила свет и тихонько вышла.

Путешествие — скучное дело, и напрасно говорят, будто в пути многое узнаешь, подумал Онофре на следующий день. Директор отеля посоветовал ему сэкономить время и лететь в Барселону на аэроплане, регулярного воздушного сообщения между Парижем и Барселоной пока что нет, но, если расходы не смущают, в нашем мире и это дело можно уладить, как любое другое, — так считал директор отеля. Онофре велел отвезти себя на аэродром и там нанял биплан, которым управлял бельгийский летчик. Шофер поехал в Барселону по шоссе, а Онофре и бельгиец сели в самолет. Из-за встречного ветра пришлось сделать посадку в Гренобле. Оттуда удалось долететь до Лиона, где самолет заправили горючим, а Онофре и пилот тем временем выпили коньяку в буфете аэродрома. При перелете через Пиренеи едва не потерпели катастрофу, но в конце концов благополучно приземлились на аэродроме в Сабаделе. Онофре с великим удивлением увидел, что у взлетной полосы его ожидают Эфрен Кастельс и маркиз де Ут.

— Черт побери, как я рад, что вы меня встретили, — сказал Онофре. Те что-то прокричали, но он не расслышал, так как за время полета, продолжавшегося не один час, на какое-то время оглох. Когда ступил на землю, его

¹ Мы других не держим! Ее зовут Нинетта (франц.).

² Для вас (франц.).

качало, гигант из Калельи скорей отнес, нежели отвел его в автомобиль.— Не пойму только, как вы узнали, что я прилетаю сегодня,— добавил Онофре.

Оказалось, они разыскивали его повсюду. Справляясь по телеграфу в банках, проследили его путь до Парижа, откуда директор отеля прислал такую телеграмму: «Bibelot acheté monsieur baigné Ninette deçue monsieur envolé»¹. На автомобиле Эфрена Кастельса они поехали в Барселону. Откинувшись на спинку сиденья, Эфрен торопил шофера. Онофре Боувила спросил, из-за чего такая спешка, что случилось. «Кое-что серьезное,— ответил Эфрен Кастельс.— Из-за твоей дурацкой поездки мы потеряли немало драгоценного времени». Он говорил с несвойственной ему по характеру серьезностью.

— Наденем капюшоны,— сказал маркиз.

Он вытащил из-под сиденья прямоугольную деревянную шкатулку с инкрустацией и извлек из нее три черных капюшона с мальтийским крестом. Все трое надели их, но им пришлось теперь ехать пригнувшись, чтобы не смять острые концы капюшонов. Наконец автомобиль остановился у подножья Тибидабо перед зданием из красного кирпича, украшенным башенками, зубцами и фигурными водосточными желобами. Двое охранников с винтовками за плечами открыли ворота и снова закрыли, как только автомобиль въехал во двор. У главного подъезда трое прибывших вышли из автомобиля и поднялись, шагая через две ступеньки, в круглый вестибюль с высоким потолком, в котором гулко раздавались их поспешные шаги. Прошли несколько дверей; слуги в панталонах до колен кланялись и указывали, куда пройти. Наконец они пришли в зал, в середине которого стоял длинный узкий стол, а за столом сидели люди в таких же, как у них, капюшонах. Онофре Боувила, маркиз де Ут и Эфрен Кастельс уселись на три свободных стула монастырского стиля. Сидевший во главе стола спросил надтреснутым голосом: «Все собрались?» Все согласно забормотали. «Так начнем»,— сказал председательствующий и осенил себя крестом. Остальные последовали его примеру, после чего председатель сказал:

— На это чрезвычайное собрание прибыли представители наших братьев из Мадрида и Бильбао, позвольте мне от вашего имени сказать им «Добро пожаловать!» —

¹ Игрушка куплена месье принял ванну Нинетта разочарована месье улетел (франц.).

Послышался одобрительный рокот голосов. Затем председатель постучал по столу небольшим деревянным молотком и продолжал: — Сейчас я обрисую вам сложившееся положение.

В 1923 году социальная обстановка в Испании ухудшилась и дошла до такой точки, как говорили некоторые, «от которой назад хода нет». Один лишь Онофре Боувила не разделял этой пессимистической точки зрения. «Мы всегда жили в критической социальной обстановке, — говорил он, — такая уж наша страна, и незачем ее шевелить». Он полагал, что, несмотря ни на что, ничего страшного не происходит. «Пусть все идет своим чередом, как-нибудь уладится само собой, без лишнего насилия». Неясная и запутанная обстановка вполне его устраивала, пользуясь неразберихой, он значительно укрепил свое положение. А маркиз де Ут и его собратья придерживались противоположного мнения: они свое положение получили по наследству и жили в постоянном страхе, как бы его не лишиться, поэтому любые крайние меры казались им оправданными, лишь бы они гарантировали незыблемость их положения. Призрак большевизма лишал их сна и покоя. О, если бы у нас случилось такое, думал Онофре Боувила, когда в разгар дискуссии упоминалась и такая возможность, если бы у нас, как в России, восторжествовал большевизм, то я стал бы Лениным. Он безгранично верил в свою способность преодолеть любые препятствия и даже извлечь из этих самых препятствий выгоду. Этого, однако, он не мог сказать маркизу де Ут и его собратьям, с которыми теперь заседал. Ограничился лишь тем, что сказал:

— Надо быть последним дураком, чтобы допустить такое положение, когда события станут необратимыми.

— Нынешнее положение — как в басне про стрекозу и муравья, — повысив голос, сказал маркиз де Ут. — Низшие классы общества просят о какой-то одной вещи, и мы им даем ее, на другой день они приходят и просят о другой вещи — и опять получают, чего хотят. И так в конце концов чернь подумает: «А ну их совсем!» В этот день народ возьмется за оружие, нас прирежут, насадят наши головы на копья, и пойдет у них шабаш.

Такая оценка ситуации была встречена одобрительным гомоном. Человек в капюшоне, сидевший справа от

Эфрена Кагельса, добавил, что, раз уж рабочие вышли из своих хибар, они не ограничатся смиренными просьбами. «Теперь они хотят рубить нам головы,— так он сказал.— Рубить нам головы, насиловать наших дочерей, поджигать церкви и курить наши сигары»,— уточнил он. Люди в капюшонах застучали кулаками по столу. Некоторое время слышался только этот грохот, а когда он затих, слово взял Онофре Боувилла.

— Я знаю, чего хотят рабочие,— спокойно сказал он.— Они хотят превратиться в людей с достатком. Но что в этом плохого? Люди с достатком, буржуа — это наши постоянные клиенты.— Собравшиеся неодобрительно загудели. Судьба рабочего класса была безразлична Боувилле, ему просто хотелось поспорить, позлить этих людей, дать им бой, хотя он прекрасно знал, что решение давно уже принято заранее.— Судите сами,— продолжал он,— вы думаете, что рабочий — это тигр, жаждущий вашей крови, затаившийся, перед тем как перегрызть вам глотку, зверь, которого надо любыми способами держать на безопасном расстоянии. А я вам скажу, что в действительности это не так: он по натуре своей такой же человек, как и мы. Если бы у рабочих было чуть побольше денег, они бросились бы покупать то, что они сами производят, и промышленное производство пошло бы вверх по крутой спирали.— Тут его прервал один из участников заседания и сказал, что он слышал об этой экономической теории в другом месте: «Я ее не понял до конца, но она показалась мне отвратительной, потом я узнал, что она пришла к нам из Англии — и этим все сказано». Кто-то сказал, что сейчас не время затевать теоретические споры. Пусть-де каждый придерживается тех экономических воззрений, которые ему нравятся, но дело есть дело, и его надо делать. Маркиз де Ут опять сказал, что положение — как в басне о стрекозе и муравье. «А может быть,— добавил он, когда уже никто его не слышал,— как в басне „Осел-флейтист“». Снова заговорил Онофре Боувилла: «Мы полностью владеем положением,— сказал он,— и если мы удовлетворим требования рабочих в разумных пределах, мы их приручим; если же проявим непреклонность, где гарантии, что они не пойдут на крайние меры и не возьмутся за оружие?»

— Гарантией является армия,— сказал из-под капюшона один из участников, который до той минуты в

обсуждении не участвовал. Говорил он глухим голосом, который Онофре Боувиле показался знакомым.— Армия как раз для того и существует, чтобы в нужный момент вмешаться. Например, когда родина в опасности.— Онофре уронил карандаш, который вертел в пальцах, нагнулся, чтобы поднять его, и, воспользовавшись случаем, глянул на говорившего из-под стола. И увидел, что на нем сапоги с высокими голенищами. Плохо дело, подумал он, теперь я знаю, кто это такой. «Когда воцаряется хаос, именно армия должна навести порядок и дисциплину, ибо хаос — страшная опасность для родины, и священная обязанность армии — прийти на помощь родине, когда она в этом нуждается,— продолжал звучать голос из-под капюшона, и в нем была известная убежденность, но вместе с тем и тупое упорство, которое делало его доводы неотбиваемыми.— Наш лозунг — дисциплина против хаоса, порядок против беспорядка, порядок и дисциплина против безвластия». На этом он и закончил свое выступление, после которого наступило почтительное молчание.

— Я полагаю,— сказал Онофре Боувиле,— нам придется раскошелиться.

Со ступеньки вагона генерал еще раз помахал одетым в капюшоны людям, которые пришли на вокзал проводить его. Увидев, что капюшоны заполонили всю платформу, в изумлении протер глаза. Не может быть, чтобы *delirium tremens*¹, подумал он, нет, до этого дело еще не дошло. Тогда вспомнил, зачем он здесь и что здесь делают люди в капюшонах. Выпрямился, и в это время паровоз дал свисток.

— Господа, либо меня изрубят на куски, либо завтра я буду править Испанией,— торжественно возгласил он. Люди под капюшонами улыбались: они послали нужные телеграммы мадридским банкам и знали наверняка, что государственный переворот не провалится. На перроне не было ни пассажиров, ни носильщиков, вокзал был оцеплен пехотинцами, по улицам города разъезжали конные патрули. В рабочих кварталах и опасных местах стояли пулеметы и легкие пушки. Барселона замерла. Выходя из вокзала, Онофре Боувиле попросил Эфрена Кастельса подвезти его домой, так как своего автомобиля

¹ Белая горячка (лат.).

у него не было. Гигант из Калельи поколебался, прежде чем ответить.

— Конечно,— сказал он наконец,— еще чего не хватало, садись!

Онофре Боувила облегченно вздохнул: ему не хотелось, чтобы его убили на ступеньках вокзала одним метким выстрелом. А в автомобиле он почувствовал себя в относительной безопасности. «Я уж в какое-то мгновение подумал, что ты бросишь меня на произвол судьбы»,— признался он гиганту. «Мы же друзья»,— сказал на это Эфрен Кастельс. Теперь они сняли капюшоны и поглядели друг другу в глаза. У Онофре Боувила кольнуло в груди, он вспомнил бородача на Всемирной выставке, а теперь он видел перед собой обрюзгшее лицо и лысину преждевременно состарившегося финансиста. Надо бы глянуть и на самого себя в зеркало, подумал он, проводя рукой по волосам. Эфрен Кастельс, не подозревая об этих воспоминаниях Онофре Боувила, сказал, что тому надо скрыться на несколько дней. «Ты также считаешь, что я в опасности?»— спросил он. Эфрен Кастельс утвердительно кивнул: «Он не показался мне таким уж проворным, но, судя по его убеждениям, такая возможность не исключена».

— Примо¹ не кровожаден,— добавил он.— Зря кровь проливать ему не по вкусу. Может, все обернется хорошо, никто и не заметит перемены. Но может случиться и так,— сказал гигант, и лицо его потемнело не столько от озабоченности, сколько от усилий, которых ему стоило такое длинное объяснение,— может случиться и так, что в Мадриде он встретит сопротивление, не со стороны гражданских властей, конечно, а со стороны других военных, которые, как и он, рвутся к власти. Возможно даже, начнется гражданская война. Ты — человек очень могущественный, а Примо знает, что на твою безоговорочную поддержку рассчитывать не может. Ты сегодня проявил неосторожность,— упрекнул он друга,— не понимаю, за каким чертом тебе понадобилось нести такую чепуху.

— Я сказал, что думал,— ответил Онофре Боувила, глядя на Эфрена Кастельса с нежностью.— И сделал

¹ Речь идет о государственном перевороте, совершенном 13 сентября 1923 года генералом Мигелем Примо де Риверой (1870—1930), тогда командующим военным округом Каталонии; после переворота он стал, с согласия короля Альфонса XIII, главой правительства и фактическим диктатором Испании.

это потому, что стар я, чтобы притворяться. Но, как бы там ни было, на этот раз ты прав: я уеду во Францию. Я только что познакомился с Парижем, он мне показался ужасным городом, но, если надо, я к нему привыкну.

— Тебе не дадут переехать границу,— сказал Эфрен Кастельс.

— Самолет, на котором я прилетел,— сказал Онофре,— до утра не улетит обратно. Мы заедем ко мне, а потом ты свезешь меня в Сабадель и никому об этом не скажешь, тем самым ты окажешь мне огромную услугу.

— Ладно,— сказал гигант,— только лучше я отвезу тебя в Сабадель сразу, не надо терять время. Примо или кто другой, должно быть, уже разыскивают тебя.

— Может быть и так,— ответил он,— но сначала побываем в моем кабинете, нам с тобой надо уладить кое-какие дела.— А когда Эфрен Кастельс сказал, что для дел момент неподходящий, добавил: — Другого не будет.— У двери своего дома он сошел с автомобиля и удержал рукой Эфрена Кастельса, который тоже собрался выйти.— Поезжай за моим тестем, вытащи его из постели и притащи волоком, если потребуется. Ему, может, такого не выдержать, но нам нужен адвокат.

В дом вошел очень осторожно, не хотел будить ни жену, ни дочерей, терпеть не мог слез и хныканья, а если они проснутся, этого не избежать. А то еще пожелают последовать за мной в изгнание, это и того хуже, подумал он, нащупывая шнурок колокольчика. Явился мажордом в ночной рубашке и колпаке. «Не надо одеваться,— сказал он ему.— Затопи камин в кабинете». Мажордом почесал в затылке. «Камин, сеньор? Но ведь сейчас начало сентября!» Пока мажордом разводил огонь в камине, Онофре Боувилла сбросил пиджак, засучил рукава рубашки, из ящика письменного стола достал револьвер, проверил, заряжен ли. Потом положил его на стол перед собой и отпустил мажордома. «Приготовь мне кофе, но гляди, чтоб никого не разбудил. Да, постой,— добавил он, когда мажордом направился к двери,— скоро приедут дон Эфрен Кастельс и дон Умберт Фига-и-Морера. Проведи их прямо ко мне в кабинет». Оставшись один, он тут же принялся открывать ящики письменного стола и выдвигать ящики картотеки. Вытаскивал бумаги, листал их и большинство бросал в огонь. Время от времени шевелил пепел кочергой. Напольные часы в гостиной

пробили двенадцать. Вошел мажордом и объявил, что прибыли Эфрен Кастельс и дон Умберт Фига-и-Морера.

— Пусть войдут,— сказал он.

Тестя его заливался слезами. Он был в темном пальто, из-под которого виднелась полосатая пижама. После смерти жены у него произошло размягчение мозга, и он уже плохо соображал, что происходит вокруг. То, что пытался довести до его сознания Эфрен Кастельс, он не воспринял, понял лишь, что зять вынужден покинуть страну, и оплакивал горькую судьбу дочери и внушек.

— Онофре, неужели правда то, что мне рассказал этот скот? В самом деле падет правительство Гарсии Прието¹ и ты уезжаешь во Францию, чтобы тебя не пристрелили? — спросил он, как только вошел в кабинет. — О, Господи Боже, Господи Боже мой! А что же будет с моей дочерью и с внуками? Говорил я жене, упокой Господь ее душу, что зря отдали мы за тебя нашу девочку, уж лучше было выдать ее за того горбуна, ты знаешь, о ком я говорю, Онофре? Такой воспитанный и такой робкий молодой человек, и жил-то он в Париже, как бишь его звали?

Онофре успокоил тестя: «Ничего страшного. Капитан-генерал Каталонии² часа три тому назад отправился в Мадрид. Его поддерживают гарнизоны Каталонии и Арагона; посмотрим, как обернется дело в Мадриде,— рассказывал он.— Если Примо встретит сопротивление, может начаться война, но мне-то кажется, дело сделано: ни Главный штаб, ни король не посмеют ему воспротивиться. Его поддерживают сливки испанского общества,— добавил Онофре с иронией в голосе.— Я-то с ними, и им надо было бы это знать, но они не доверяют мне,— с грустью заметил он.— Собственно говоря, меня они боятся больше, чем рабочего класса, так как я олицетворяю то, что они больше всего ненавидят.— В задумчивости Онофре Боувилла раскурил сигару: — То, что происходит сейчас, можно было предвидеть заранее. 30 октября 1922 года итальянские чернорубашечники торжественно промаршировали по Риму. Теперь, спустя год, 13 сентября 1923 года дон Мигель Примо де Ривера-и-Орбанеха намерен пойти по стопам Муссолини. Для

¹ Гарсиа Прието, Мануэль (1861—1938) — государственный и политический деятель.

² То есть Примо де Ривера.

этого у него нет миллионов приверженцев в стране, и он вынужден рассчитывать только на армию. Вот в чем его отличие от Муссолини,— заключил Онофре.— Примо — деятель неплохой, но глуповат и, как все глупые люди, недоверчив и подозрителен. Долго он не продержится. Но пока он будет у власти, мне надо укрыться в безопасном месте. Садитесь за стол, дон Умберт, берите бумагу и перо и составьте акт передачи имущества: я хочу передать свои дела присутствующему здесь Эфрену Кастельсу».

— Что за ерунду ты городишь? — вскричал дон Умберт Фига-и-Морера.

В дверь осторожно постучали — мажордом принес кофе для Онофре и по своей инициативе еще две чашечки — для Эфрена и дона Умберта, которые тоже любили этот напиток. Похоже, они просидят всю ночь напролет, подумал он. До него доходили кое-какие слухи. Атмосфера сгущалась, туманом окутывала улицы города, небо чертили почтовые голуби, лидеры подрывных групп искали укрытия в канализационной сети: на пересечениях зловонных коллекторов встречались анархисты, социалисты и каталонские националисты, узнавали друг друга в зеленоватом свете фонарей, которые несли с собой, коротко здоровались и каждый продолжал свой путь.

— Это единственный способ избежать возможной конфискации имущества,— ответил Онофре тестю.

— Но ты требуешь от меня невозможного: как мы сможем оценить твое имущество? — протестовал дон Умберт Фига-и-Морера.

— Возьмите цифру с потолка, это будет чисто символическая сумма, какая разница,— сказал Онофре.— Лишь бы все осталось в хороших руках.

Произведя необходимые расчеты и обсудив детали, сошлись на некоей сумме в фунтах стерлингов, которую Эфрен Кастельс обязывался в тот же день перевести на один из счетов Онофре в швейцарских банках. Дон Умберт Фига-и-Морера рыдал, оформляя бумаги, необходимые для придания сделке юридической силы. Не раз останавливался и заявлял, что ему кажется, будто он присутствует при крушении Оттоманской империи, недавнего события тех лет, которое произвело на него гнетущее впечатление. Он-де всегда глубоко симпатизировал этой империи — чувство совершенно необъяснимое, ибо он не знал о ней ровным счетом ничего, даже

не представлял себе, где эта самая империя находилась, но само название поражало его своей пышностью и великолепием,— так он говорил. Онофре велел ему не разглаживать, а продолжать работу. «Вот-вот расцветет»,— сказал он. А с рассветом ему нужно было быть как можно дальше от этих мест. «Вы сами отнесете контракт к нотариусу и оформите в законном порядке»,— сказал он тестю.— Вам двоим я поручаю заботу о моей семье»,— холодно добавил Онофре, что не помешало дону Умберту снова разразиться рыданиями. Наконец документы о передаче имущества были подписаны обеими сторонами, дон Умберт и мажордом расписались как свидетели. Потом Эфрен Кастельс отвез Онофре в Сабадель. Дона Умберта оставили в доме Онофре: когда проснется его дочь, он должен объяснить ей причину отсутствия Онофре и, как может, успокоить ее. Автомобиль бежал по пустым в этот час улицам, уже рассветало, но фонарики не отваживались приступить к работе, и фонари продолжали гореть, как в глухую ночь. На пути им повстречался лишь мальчишка-газетчик, ему было велено выполнять свою работу, будто все идет обычным порядком; таким образом страна узнает о том, что произойдет в Мадриде через несколько часов. Военные поддержат Примо де Риверу, правительство подаст в отставку, и король поручит Примо де Ривере сформировать новый кабинет министров. Газета поместит на первой полосе список генералов, которые войдут в правительство, и заявление о том, что конституционные гарантии временно отменяются. Остальные страницы газеты будут подвергнуты строгой цензуре.

На аэродроме пришлось подождать пилота, который был изрядно смущен: по пути от гостиницы, где он ночевал, его восемь раз останавливали патрули, и в конце концов жандармы проводили его до самого самолета. «Parbleu, on n'aime pas les belges icil»¹ — с досадой воскликнул он, увидев Онофре Боувилу. Тот сказал, что хочет лететь с ним обратно в Париж, чему пилот очень обрадовался, так как уже не чаял найти пассажира и собирался лететь в одиночестве. Эфрен Кастельс и Онофре Боувилы обнялись, последний забрался в самолет, и летчик без промедления поднял машину в воздух. Они

¹ Черт возьми, да здесь не любят бельгийцев! (франц.)

летели уже с полчаса, когда Онофре попросил пилота взять левее. Тот сказал, что Париж не в той стороне.

— Я знаю,— ответил Онофре,— мы в Париж не полетим, делайте, как я говорю, получите вдвое больше.

Пилот счел такой аргумент убедительным, и самолет, огибая горы, полетел, куда указывал Онофре. В утренней дымке внизу показалась долина. По мере того как самолет снижался, Онофре подсказывал пилоту: «Осторожно, на этом склоне много высоких дубов, лучше лететь вдоль реки» и тому подобное. Наконец они увидели гумно, на котором недавно закончилась молотьба. Самолет сел, распугав черных птиц, клевавших остатки зерна. Птиц было столько, что они на мгновение закрыли солнце. Онофре дал пилоту чек, по которому тот мог получить деньги в любом французском банке, спрыгнул на землю и объяснил пилоту, как лететь дальше, чтобы не сбиться с пути. Самолет развернулся и взлетел, подняв тучу пыли и соломенного крошева. Через час Онофре подошел к дому, где он родился; теперь там жил какой-то крестьянин с женой и восьмерыми детьми. Ему сказали, что сеньор алькальд живет в новом доме рядом с церковью. Онофре показалось, что он узнал крестьянина и его жену, но они его не узнали.



Дверь открыла женщина лет тридцати с умным, несколько грубоватым, но не лишенным приятности лицом. Голова у нее была повязана платком, видимо, чтобы не запылились волосы, так как в левой руке она держала меховую метелочку для смахивания пыли. Онофре подумал, уж не женился ли его брат, не поставив его в известность об этом событии. Женщина смотрела на него скорее удивленно, нежели настороженно. «Стало быть, он обо мне никогда ей не говорил»,— подумал Онофре, а вслух сказал: «Я — Онофре Боувिला». Женщина заморгала глазами. «Брат Жоана»,— добавил он. Тогда выражение ее лица изменилось. «Сеньор Жоан спит,— сказала она,— но сейчас я сообщу ему о вашем приезде». По тону, каким она произнесла эти слова, Онофре понял, что она не жена Жоана. Наверное, воз-

любленная, сожительница, подумал он, хотя на девицу не похожа, скорей всего, молодая вдова, которой не обойтись без мужчины, она нуждалась в поддержке и защите и во всем остальном, вот и сошлась с ним. Так как она оставила его в дверях, он сам вошел в прихожую. Над дверью, ведущей в коридор, была изразцовая плита с надписью «Ave Maria». Пахло пылью, видимо, здесь женщина только что орудовала метелочкой. Лампа, железная стойка для зонтов и четыре стула с прямыми спинками — вот и вся меблировка прихожей. В коридоре видны были четыре двери, по две с каждой стороны. В одну из них женщина постучала и сказала: «Сеньор Жоан, здесь ваш брат». Говорила она негромко, но не старалась, чтобы Онофре ее не услышал. Вскоре из комнаты послышался глухой голос. Женщина прислушалась, приложив ухо к двери, затем обернулась к гостю: «Он говорит, что сейчас встанет,— сказала она,— просил подождать». Рукой, в которой держала метелочку, указала на столовую, которая видна была в другом конце коридора, и посторонилась, когда Онофре пошел, куда она показала. В столовой стоял квадратный стол, над ним — лампа с матовым стеклянным абажуром. Стулья стояли у стены. Еще там были: буфет темного дерева, столик с белой мраморной столешницей и печь-«саламандра»; печь была железная, но отделанная эмалированной керамической плиткой, что создавало в столовой атмосферу экономического благополучия. Над мраморным столиком висела гравюра на дереве, изображающая Тайную Вечерю. Напротив входа была двойная остекленная дверь, которая вела в квадратный патио, где у дальней стены стояла крошечная уборная. В патио росли магнолия и азалия. Справа от столовой располагалась кухня. Всюду были чистота, порядок и прохлада. Когда Онофре разглядывал обстановку, где-то совсем близко ударил церковный колокол, так что он вздрогнул. Женщина, глядевшая на него из коридора, тихонько засмеялась.

— К этому надо привыкнуть,— сказал он. Женщина пожала плечами.— Ты здесь живешь? — спросил он. Она указала на одну из дверей. Это была не та дверь, в которую она только что стучалась, но это ровным счетом ничего не означало. Так подумал Онофре.

В это время в коридор вышел его брат. Одет он был в потертые вельветовые брюки и ультрамариновую длинную блузу, застегнутую не на все пуговицы. Он обеими

руками почесал голову, прошел по коридору, не сказав ни слова, будто не видел ни брата, ни женщину, вышел в патио и закрылся в уборной. Женщина ушла на кухню, и скоро послышался шум воды, струей бившей из водопроводного крана в жестяное ведро. Хотя прошлой ночью Онофре спал в одном из самых элегантных парижских отелей, то обстоятельство, что в его родной деревне появился водопровод, вызвало в душе его радостное чувство благоденствия. Когда ведро наполнилось, женщина взяла его за дужку, подняла и вынесла в коридор, после чего вернулась в кухню и начала растапливать плиту, пользуясь щепками, углем и соломенным опахалом. Как тут все делается медленно, продолжал размышлять Онофре. За половину того времени, что я нахожусь в этом доме, мне иногда случалось заключать важнейшие сделки. А тут время не ставится ни во что. Брат вышел из уборной, застегивая штаны. Сполоснул в ведре руки и лицо, потом взял ведро, пошел в патио и вылил воду в уборную. Бросил там же ведро и вошел в столовую, а женщина вышла из кухни и пошла забрать ведро.

— Ты приехал на автомобиле? — спросил Жоан.

— Я прилетел на аэроплане, — с улыбкой ответил Онофре.

Жоан посмотрел на него, оттопырив губы.

— Ну, раз ты говоришь, наверно, так оно и есть, — вздохнул он. — Ты завтракал? — Онофре покачал головой из стороны в сторону. — И я не завтракал. Как видишь, я только что встал, вчера лег очень поздно. — Он открыл рот, будто собирался объяснить, почему так поздно лег, но не сказал ничего. Из кухни запахло жареным хлебом. Женщина принесла и поставила на стол деревянную доску, на которой лежали разного сорта колбасы, а в середине доски был воткнут охотничий нож. При виде колбас Онофре почувствовал тоскливое сосание под ложечкой и сообразил, что он уже много часов ничего не ел. — Ешь смело, — сказал Жоан, правильно истолковавший выражение, появившееся на лице брата, — ты у себя дома. — Онофре спросил себя, действительно ли это так. Сейчас ему этого хотелось больше всего на свете — почувствовать себя дома. Как будто после стольких лет борьбы он вернулся к месту отправления; он сказал об этом брату. Женщина принесла из кухни полную миску поджаристых ломтиков хлеба. На глиняном блюде поставила на стол масленку с оливковым маслом, солонку

и несколько очищенных долек чеснока как приправу к жареному хлебу. Наконец выставила на стол бутылку красного вина и два стакана. Оказалось, вино это обладает свойством воодушевлять Жоана, он стал таким разговорчивым, каким Онофре его еще не видал. Когда они кончили завтракать, было уже близко к полудню. Онофре Боувилу тянуло в сон. Брат сказал, что он может занять одну из комнат; хоть речи об этом не шло, брат и женщина понимали, что он приехал к ним на неопределенное время. Жоан отвел ему ту самую комнату, на которую указала женщина, когда он спросил, живет ли она здесь; это совпадение заставило его призадуматься, и он размышлял по этому поводу, прежде чем уснуть. В комнате стоял простой деревенский комод, он его сразу же узнал, в нем мать хранила белье. Онофре захотелось выдвинуть какой-нибудь ящик, но он побоялся, что скрип услышат из столовой. От простынь пахло мылом.

В последующие дни Онофре жил привольно: ел и спал, когда ему вздумается, долго бродил по полям, беседовал с людьми или уединялся, никто к нему не приставал. О том, что он приехал, вся деревня давно уже знала. Все слышали о нем, знали, что много лет назад он уехал жить в Барселону; говорили, что он там заделался богачом, но это обстоятельство не возбуждало особого любопытства; одни больше, другие меньше, но слышали и о Жоане Боувиле-старшем, отце обоих братьев, старики его помнили, он в свое время уехал на Кубу, а когда вернулся, делал вид, будто нажил там состояние, а на самом деле у него ни сентимо за душой не было; это наводило на мысль, что и со старшим сыном произошло то же самое. Такая версия пришлась по душе Онофре, и он старался ее поддержать. Впрочем, он не был уверен, что такое предположение вовсе лишено каких бы то ни было оснований: в душе он опасался, как бы Эфрен Кастельс и дон Умберт не воспользовались его отсутствием, чтобы прибрать к рукам все его имущество, сумел же дон Умберт Фига-и-Морера в свое время провести махинации с документами Осорио, бывшего губернатора Лусона. «Тогда был его черед, теперь наступил мой», — философски замечал Онофре. Слыша подобные речи, брат глядел на него с издевкой. «И ради этого ты целую жизнь трудился», — говорил Жоан. «Ну и что, — возражал он, —

будь я подметальщиком или нищим, трудился бы не меньше». Лишь в это время начал он постигать истинную сущность того жестокого общества, в котором он обрел такую власть и кажущуюся свободу действий. Наивный цинизм молодых лет сменился мрачным пессимизмом зрелого возраста.

— Ты всегда был дураком,— говорил ему брат во время таких приступов уныния,— теперь я могу наконец сказать тебе это в лицо.

Подобные запоздалые выпады против него обычно оставляли Онофре равнодушным, внимание его тогда привлекали явные мелочи и пустяки: потухшая печь в углу комнаты, сумрак в патио, наступающий из-за того, что по клочку неба, видимому из него, проходила тучка, чьи-то шаги на улице, запах горящих дров, далекий лай собаки и тому подобное. В иных случаях философское безразличие ко всему, которым он так гордился, уступало место внезапной вспышке злости, и тогда он оскорблял брата каким-нибудь резким словом. Но такие оскорбления Жоан замечал лишь наполовину, так как без конца пьянствовал, не более двух-трех часов в день он оставался относительно трезвым и за это время исполнял обязанности алькальда, причем хитрил и был нечист на руку. Жители деревни давно смирились с таким положением дел, полагали, что это все от прогресса, и старались, чтобы этот самый прогресс затрагивал их как можно меньше. Жоан Боувила всегда использовал должность алькальда лишь как средство для того, чтобы жить не работая, но даже в таком маленьком селении политическая реальность вынудила его выйти за пределы его скромных желаний: ему пришлось возглавить местную общественность. Представители этой общественности оказались не такими уж малочисленными, как Онофре подумал сначала,— приходский священник, учитель, хозяин харчевни и кабатчик. Со времени отъезда Онофре селение значительно выросло. Представители общественности прекрасно знали, кто он такой, и каждый из них старался снискать его расположение; лестили и заискивали самым постыдным образом, позволяли ему открыто высказывать свое презрение к ним. Каждый вечер кто-нибудь из этих птиц невысокого полета заходил к нему с визитом. Священник при этом испытывал невыносимые страдания, но все равно приходил; это был молодой слуга божий, туповатый, жадный и лицемерный, не раз поносил

он с кафедры женщину, которая жила с Жоаном. Теперь благодаря присутствию Онофре в том же доме вынужден был приходить туда, как все остальные, и даже как-то проявлять вежливость к этой самой женщине. Онофре и его брат немало потешались над несчастным пастырем.

— Послушайте, мосен,— говорил Онофре,— я несколько раз внимательно читал Евангелие, и там нигде не сказано, что Иисус Христос должен был работать, чтобы жить,— что же это за учение?

Слыша подобные богохульства, попик кусал губы, опускал глаза и думал, какую бы придумать беспощадную месть. Онофре, без труда читавший его мысли, едва сдерживал смех. Другие были половчей. Аптекарь и ветеринар были заядлыми охотниками: держали на двоих гончую и несколько других охотничьих собак и с полдюжины ружей. Иногда приглашали на охоту Онофре и Жоана. Так как Жоан был всегда пьян, забава оказывалась весьма опасной. Владелец харчевни еженедельно получал газеты, которые привозил ему грузовичок, теперь курсировавший между деревней и Бассорой. Таким путем Онофре мог следить за ходом событий, приведших к его изгнанию; газеты эти черпали сведения из других газет, все новости сообщали с опозданием и часто давали ложные сведения. Но местных читателей это нисколько не смущало, да и к тому же политические события занимали в этих газетах второстепенное место, они отдавали предпочтение бассорским делам, сообщали о всяких пустяках. Такая переоценка ценностей поначалу раздражала Онофре, однако со временем он пришел к мысли, что подобная расстановка акцентов — не такая уж глупая вещь. Он и сам теперь считал пустячным то, чему прежде придавал первостепенное значение. Он предавался подобным размышлениям, когда ему удавалось ускользнуть от назойливых и угодливых местных паразитов, спасаясь от которых он принялся отыскивать заветные укромные места, где он прятался в детстве. Многих из этих тайников уже не существовало, другие он не сумел отыскать, а те, что нашел, оказались непригодными для взрослого человека. В детстве это были для него волшебные места, полные опасностей и чудес, а теперь они оказались крошечными и жалкими, то есть такими, какими были на самом деле, и это угнетало Онофре, приводило его в отчаяние. Лишь речушка сохранила в его глазах прежнее очарование. Он ходил к ней почти каждый день с отцом,

когда тот вернулся с Кубы, и теперь каждый день туда наведывался: садился на камень и смотрел, как бегут струи и выпрыгивают из воды форели, слушал чистые звуки, которые всегда казались ему чуть ли не словами. На другом берегу росли кусты, и по утрам на них часто развешивались простыни для просушки и отбеливания на солнце, их белизна так ярко выделялась на фоне темных кустов, что слепила глаза. Его опьяняли запахи полей. В городе все запахи, как и люди, агрессивны и каждый сам по себе, самый пронзительный из них заглушает все остальные: дым из фабричной трубы, крепкий аромат духов и так далее. А в поле — наоборот, все запахи смешиваются, образуя единый густой аромат, которым насыщен воздух, здесь дышать и обонять — одно и то же. Дорожка, ведущая к речке, уже была усыпана сухими листьями, а под деревьями росли разные грибы — наступила осень. Онофре отдавался во власть своих ощущений, они влекли за собой далекие неясные воспоминания, быстро проносившиеся в его сознании, точно тени пролетающих птиц. Но когда он хотел проследить путь какого-нибудь воспоминания, оно исчезало в густом тумане; к нему постоянно возвращалось одно и то же видение: рука не то матери, не то отца пыталась поймать его руку, чтобы вывести его к свету, в какое-то надежное место. Но этой руке никогда не удавалось дотянуться до его руки. В ящике комода, который стоял в отведенной ему комнате, Онофре нашел кусок грубой шерстяной ткани, принадлежавшей некогда его матери. Она пользовалась этим куском ткани как шалью, особенно в предательскую осеннюю погоду. Теперь шерсть слежалась, стала жесткой, пахла сыростью и пылью. Если Онофре одолевали воспоминания и видения, он вынимал из комода эту шаль и закрывал ею ноги, когда сидел в кресле. Так он сидел часами, ласково поглаживая материнскую шаль. В такие моменты он думал, что если бы он не избрал в один прекрасный день жизнь, полную афер и опасных приключений, какую и жил до сих пор, то мог бы наслаждаться другой жизнью, исполненной любви и нежности. Зло, которое он не раз творил, не вызывало у него угрызений совести, он сожалел лишь о том, что подчинил иным целям порывы души, ставшие теперь смутными воспоминаниями. Сожаление это было не только запоздалым, но и весьма эгоистичным.

Как-то под вечер, возвращаясь с речки, Онофре увидел человека, сидевшего под деревом, прислонившись к стволу, в стороне от тропинки, по которой он шел; голова этого человека свесилась на грудь, он как будто спал, но в его позе было что-то неестественное, и это побудило Онофре сойти с тропинки и приблизиться к этому человеку. Еще не подойдя вплотную, понял, что человек этот мертв; увидев сутану, понял, что это приходский священник, тот самый молодой попик, которого он донимал нечестивыми речами; осмотрев тело, убедился, что умер он насильственной смертью: кто-то влил ему в грудь пулю из оружия крупного калибра, скорей всего из охотничьего ружья, вокруг раны сутана задубела от спекшейся крови. Кровь была также на правой руке, на лбу и на щеке, хотя там ран не было; вероятно, он поднес руку к груди, потом к лицу и в это мгновение скончался. Хотя кровавое насилие было для Онофре делом не новым, но это преступление сильно взволновало его, и то обстоятельство, что именно он первым обнаружил труп, показалось ему предостережением судьбы или результатом дьявольского замысла, по которому он оказался зловещим образом связан с убитым священником. Ему до этого казалось, что в деревне он обрел внутренний покой, а теперь этот покой оказался безвозвратно утраченным. Онофре поспешил прочь от места преступления и не останавливался, пока не дошел до порога дома своего брата. Тот сидел в столовой и тянул вино, пока женщина в кухне готовила ужин. Отдышавшись, Онофре стал рассказывать брату о случившемся и тут заметил, что женщина оставила стряпню, прислонилась к косяку кухонной двери и внимательно слушает его рассказ. Жоан и женщина обменялись быстрыми взглядами, что также не осталось незамеченным Онофре Боувиллой. Со времени приезда он не раз беседовал с женщиной и с удивлением обнаружил, что на самом деле это она управляет домом. Почти каждый вечер, после того как она укладывала Жоана, которому пьянство редко позволяло сохранить рассудок до полуночи, Онофре еще долго не мог уснуть, так как на него вино действовало иначе, то есть пробуждало в нем беспокойство, при котором о сне не могло быть и речи. Тогда он и женщина, которая как будто не нуждалась в отдыхе, какой нужен всем людям, особенно мужчинам любого возраста, сидели в столовой, а если ночь была теплая и не такая сырая, как обычно,— в патио, где в этот час стоял густой запах

азалий, и не спеша вели беседу, иногда допоздна. Не будучи образованной, эта женщина обладала чисто женским свойством неизвестно откуда знать то, чего мужчины никогда не знают, как бы они ни старались на этот счет; невзирая на обманчивые внешние признаки, она умела видеть голую правду, которой и делилась с Онофре. Так, например, в беседах с ней он убедился, что под мнимым согласием и миром среди жителей деревни скрываются бурные низменные страсти и веками скопившиеся ненависть, зависть и всякие пороки, в том числе и предательство; крестьяне этой долины, по ее мнению, выродились из-за наследственных болезней, это холодные, бездушные люди, которые морят голодом стариков, убивают младенцев и истязают домашних животных. Сначала он отказывался этому верить, думал, что такие мысли — проявление досады и неудовлетворенности жизнью, естественных для этой женщины; не исключал он и такой возможности, что женщина рассказывает ему все это с каким-то определенным намерением. Но, как бы то ни было, ее рассказы опустошали его душу, и без того охваченную беспокойством. Иногда, следуя примеру брата, он пытался залить свое беспокойство вином и обрести покой, которого его душа не давала телу. После одной из таких попыток он проснулся в своей кровати с петухами и, к своему ужасу, увидел, что женщина, совершенно голая, преспокойно спит у него под боком, а он никак не мог вспомнить, что же было вчера. Он разбудил ее и спросил, как было дело, но она лишь скривилась и ничего не ответила. Он сначала согнал ее с кровати, а потом и выставил из комнаты, но сам задумался о том, какие же последствия может иметь такой неожиданный поворот событий: то ли он был неосторожен, то ли пал жертвой обмана, но ясно было, что дела его получили совсем неожиданный перекося. При всем том он не мог не восхищаться храбростью женщины, к которой начал испытывать более опасное влечение, чем то, которое проистекало из глупостей, вызванных опьянением. Разумеется, он не считал, что поведение этой женщины вызвано искренними чувствами, откуда у нее могло появиться безрассудство? Она прекрасно понимала, какое у нее положение в этом доме и какие разговоры шли о ней в селении; но, с другой стороны, она непохожа была на расчетливую интриганку, ей хватало тех скудных благ, которыми она пользовалась; она выкладывала свои козыри с хладнокро-

вием профессионального игрока, который знает, что дальнейшая жизнь его зависит как от случая, так и от собственной ловкости. За все это время, несмотря на установившееся между ними доверие, Онофре так и не сумел вывести, какие же у нее на самом деле отношения с его братом. Теперь он знал, что она действительно вдова, как он предположил с самого начала, и что поступить в услужение к Жоану ее заставила нужда, но все остальное оставалось покрыто тайной. Беспробудное пьянство брата вроде бы исключало из их отношений плотскую любовь, но тогда зачем же поддерживать в жителях деревни представление о том, чего не было и что шло во вред ее репутации? Значит, она это мнение считала обоснованным? А может быть, она терпеливо ждала, когда же его брат пойдет ко дну? Ведь она понимает, что рано или поздно он полетит вверх тормашками, возможно, рассчитывает, что она сама станет алькальдессой и уж тогда получит компенсацию за все годы унижения и горя. Когда Онофре думал об этом, его охватывала черная меланхолия. «У нас, бедняков, один выбор: либо честность и унижение, либо злодейство и угрызения совести», — говорил он себе. Так думал самый богатый человек в Испании. Позже он узнал, что муж этой женщины тоже умер не своей смертью, но, как бы он ни настаивал, она отказалась рассказать ему подробности. Это открытие породило в его воображении всякого рода фантазии: может, она сама была причастна к насильственной смерти мужа, хоть ясно было, что никакой материальной выгоды из этого события она не извлекла; а может, его брат был замешан в этом деле, а теперь женщина его шантажировала и он не мог от нее отделаться. Онофре, живя в доме брата, чувствовал себя все более неудобно. Но вот произошел случай, о котором мы уже рассказали, и тогда Онофре стало совсем не по себе: он думал, что она, вступив с ним в связь, заведомо бесперспективную и непрочную, лишь пыталась заставить Жоана покончить с двусмысленностью их совместного проживания, но при этом у Онофре еще оставалось подозрение, что оба они в заговоре против него. И вот теперь то, что они обменялись взглядами, пока он рассказывал о трагическом происшествии, утвердило его в этом мнении. Когда он сказал брату, что священник убит из огнестрельного оружия и это ограничивает круг подозреваемых аптекарем и ветеринаром, ибо только у них есть разрешение на

хранение охотничьих ружей, брат расхохотался и сказал, что в каждом деревенском доме имеется нелегальный склад огнестрельного оружия. Это неожиданное расширение круга подозреваемых обеспокоило Онофре: начнутся пересуды, пойдут догадки, и как знать, не падет ли подозрение и на него. Все знали о его перепалках со священником, правда, до серьезного столкновения дело не доходило, он просто развлекался, но злые языки вполне могут извратить смысл их споров, объявят их проявлением непримиримой вражды. Такие подозрения укрепят и то обстоятельство, что священник открыто нападал на женщину, живущую в доме его брата, а это наведет и на мысль, что он, Онофре, вступил с этой женщиной в связь. Сложное положение. Его, собственно, мало беспокоило, что преступление припишут ему, у него был богатый опыт, как уходить от наказания за преступления, которые он на самом деле совершил, так что смерть сельского священника — не такое уж великое событие, которое унесло бы его сон и покой. Его тревожило вот что: он почему-то думал, что без него этого преступления не было бы, это он дал повод убийце сочинить себе алиби, из-за него возник мотив к преступлению. Искал он мира и покоя, а принес в долину раздор и насилие, отравил здоровую атмосферу. Нет, видно, от судьбы не уйдешь: раз уж ты ступил на этот путь, не остается ничего другого, как пройти его до конца. На следующий день он уехал на грузовичке в Бассору. Бездыханное тело приходского священника было во второй раз обнаружено утром, но никому не пришло в голову задержать отъезд Онофре или оспорить его право уехать восвояси; по его мнению, это доказывало, что в его виновности никто не сомневается. Брат простился с ним так же бесстрастно, как встретил его приезд, и в этом бесстрастии Онофре также усмотрел полное пренебрежение к себе. Женщина тоже никак не выразила никаких чувств, узнав о его отъезде, но глаза ее были такими сухими, какими бывают только после обильных слез, которые проливают люди, охваченные крайним отчаянием. Неужели она руководствовалась в своих поступках едва зародившейся безнадежной любовью, а все остальное — плод моего болезненного воображения? — думал Онофре, трясаясь в кузове грузовичка.

Возвратившись домой, он застал жену и дочерей в страшном волнении. Уже несколько дней они лихорадочно пытались его разыскать; полагая, что он в Париже, звонили по телефону в испанское консульство и посольство, а также во все более или менее крупные отели, даже связались с французскими властями. Смятение, в котором пребывали домашние Онофре Боувилы, принимавшие такие энергичные меры, помешало им даже удивиться его неожиданному возвращению, его как будто и не заметили. Наконец ему объяснили причину такого необычного переполоха: некий молодой человек приятной наружности из вполне порядочной семьи неожиданно, без каких-либо предварительных намеков, попросил руки младшей дочери Боувилы, которой недавно исполнилось восемнадцать лет. Начинается борьба за мои бренныи останки, подумал Онофре. Дочерей своих он ценил невысоко, считал, что они достанутся каким-нибудь охотникам за приданым, и давно смирился с подобной перспективой. Однако отнестись к предложению молодого человека легко он не мог и потому распорядился в тот же день пригласить претендента к нему в кабинет. Отдав такое распоряжение, ушел в спальню отдохнуть. Его разбудил мажордом, доложивший, что пришел Эфрен Кастельс. Гигант ввалился в кабинет с толстым, набитым бумагами портфелем, он спешил поговорить о делах. Такая перспектива привела Онофре в уныние.

— Ты правильно сделал, что исчез,— начал Эфрен Кастельс,— они действительно хотели тебя прикончить.— Гигант из Калельи махнул рукой и вздохнул.— Но, к счастью, горячка первых дней утихла, как пришла, так и ушла,— продолжал Эфрен Кастельс. Несколько дней он и сам не чувствовал себя в безопасности. В глухие часы ночи по улицам разъезжали какие-то загадочные автомобили; а иногда и днем, в самый разгар уличной суеты, город вдруг затихал, улицы пустели, люди разговаривали друг с другом вполголоса. Но потом жизнь вернулась в нормальное русло. Гигант вытащил из портфеля кипу бумаг.— Я хочу перед тобой отчитаться...— начал было он, но Онофре Боувилла сразу прервал его: «Хватит еще времени». Эфрен Кастельс все же настоял на том, чтобы рассказать

хотя бы о специфике финансового положения, в котором они оба находились в тот период.— Сначала они хотели все у тебя отобрать,— сказал гигант,— но я им показал договоры, которые мы с тобой подписали, и они стали в тупик, по их лицам видать было, как они ошарашены и раздосадованы.— Те самые люди, которые не поколебались бы отправить Онофре Боувилу на тот свет, почувствовали себя бессильными перед юридически оформленными документами; его такое противоречие нисколько не удивило.— Они созвали на совет всех своих адвокатов и обсуждали этот вопрос несколько дней подряд, но не нашли способа прижать тебя к ногтю. Уж как только не пытались привлечь меня на свою сторону. Но я держал твердую линию. Наконец мы пришли к соглашению: я обещал им, что буду, как и прежде, вести твои дела, а они со своей стороны обещали уважать мою самостоятельность, и еще я обещал им добиться твоего согласия на такие условия, вот от этого все теперь и зависит,— закончил свою речь гигант. Затем почтительно умолк.

— Меня, значит, в отставку, да? — подвел итог Онофре Боувилы.

— Это ненадолго,— заметил Эфрен Кастельс.

В восемь вечера в кабинете Онофре появился трепещущий претендент на руку его дочери. На вид он был щедущ и не производил впечатления ни умом, ни манерами, с трудом выдавливал из себя не очень связные фразы; на проходимца он не был похож, но и порядочности в нем не чувствовалось. Онофре встретил его сердечно, чего молодой человек никак не ожидал и потому еще более смешался; отец сказал ему: «Что бы там ни было, не теряй присутствия духа, если он начнет тебя оскорблять или дурно отзываться о нашей семье, сделай вид, что не понял». И теперь, когда его приняли так любезно, бедняга не знал, что ему делать и что говорить. Онофре тоже еще не принял определенного решения. Вскоре после ухода Эфрена Кастельса к нему зашел тесть. Дон Умберт Фигари-Морера повторил те же соображения, которые уже высказал гигант из Калельи. Посоветовал вооружиться терпением. «Считай, что у тебя каникулы, отдых тебе не помешает, займись семейными делами, наслаждайся домашним очагом и хорошим столом». Онофре Боувилы обещал воспользоваться советами тестя. Потом зашли

дочь и жена. «Отец объяснил мне обстановку,— сказала жена,— и я рада, что ты проявил спокойствие и хладнокровие». В ее голосе Онофре заметил нотку удовлетворения. «Если эти неприятности вернут тебя семье, то мы их готовы благословить»,— прочел он на ее лице. А дочь перешла прямо к делу: «Будь добр к нему, папа,— попросила она,— я люблю его всей душой, сейчас от тебя зависит мое счастье». Теперь, глядя на претендента, Онофре вспомнил эти слова дочери. Пожалуй, моя дочь будет вертеть им, как захочет, подумал он, может быть, ей и нужно что-то вроде комнатной собачки, в ее возрасте в таких вещах уже хорошо разбираются; что ж, я дам свое согласие и тем заслужу признательность всей семьи, в скором времени дом заполонят внуки; может, прав мой тесть и для меня наступила пора насладиться семейным очагом. Однако вслух он сказал: «Я не только категорически возражаю против этого нелепого брака, но запрещаю вам видеться с моей дочерью; если же вы каким-нибудь способом попытаетесь установить контакт с ней или еще с кем-нибудь из членов моей семьи или с прислугой, мои люди поймут вас в темном переулке и переломают вам все кости». Судьба послала ему козла отпущения, на которого он мог излить всю скопившуюся за день злость, подобную возможность он никогда не упускал. Ох уж мне эта семья! — подумал Онофре. Затем, обращаясь к претенденту, который не верил своим ушам, продолжал: «Это мое решение окончательное, не надейтесь, что со временем я его изменю, я никогда так не поступал и не поступлю. Если, несмотря на мое предупреждение, вы будете упорствовать в своем желании встретиться с моей дочерью или послать ей записку, мне придется выполнить тягостную для меня обязанность и распорядиться, чтобы вам вlepили пулю в затылок. Кажется, я сказал ясно. Мажордом проводит вас до двери». Этот разговор отчасти улучшил испортившееся было настроение Онофре Боувилы, он даже снизошел до того, чтобы немного погодя поговорить с женой. «Не беспокойся,— сказал он,— если они любят друг друга по-настоящему и он действительно стоит ее, он явится невзирая на мои угрозы, и я в этом случае не приведу их в исполнение, напротив: сделаем пышную свадьбу, и я позабочусь о том, чтобы молодые ни в чем не нуждались; однако я думаю, что об этом молодом человеке мы говорим в последний раз, поверь мне, это трутень, с ним наша дочь не была бы счастлива. Будут

еще у нсе и другие женихи. Ну, не плачь, иди и постарайся утешить девочку, вот увидишь, горевать она будет недолго». Если не считать этого случайного развлечения, семейная жизнь не содержала в себе ничего привлекательного для Онофре Боувилы.

Теперь все свое время он посвящал реконструкции усадьбы, ибо с его отъездом работы были приостановлены. Случилось так, что восстановление дома и сада, занявшее несколько лет, было завершено в середине декабря 1924 года, через несколько дней после того, как Онофре Боувилла отпраздновал свое пятидесятилетие. Сад утратил дикий вид и обрел первоначальную гармонию линий и красок, по каналу плавали покрытые лаком прогулочные лодки, несколько пар лебедей изящно выгибали шеи, отражаясь в прозрачной воде озера; внутри дома двери открывались и закрывались бесшумно, свет люстр отражался в зеркалах, на потолках меж лепных украшений резвились амуры или нимфы, ковры заглушали шум шагов, мебель сверкала свежим лаком в рассеянном свете, проникавшем сквозь занавески, закрывавшие нижнюю часть окна. Наступило время переезжать. Дочери пытались воспротивиться, им не хотелось покидать город. «Кто к нам станет приезжать в эти забытые богом места?» — говорили они. «Пока я богат, нас будут навещать хоть в преисподней, если это понадобится», — отвечал Онофре. Жене и дочерям, конечно, было страшно вато оказаться вдаль от всех в обществе этого человека, который их тиранил и которому как будто доставляло удовольствие мучить их. Усадьба им не нравилась и тоже внушала страх. Хотя реконструкция была произведена безупречно, было что-то беспокоящее в этой верной копии старинной усадьбы, была какая-то излишняя помпезность в обилии украшений и было что-то безумное в самом стремлении точно воспроизвести все стародавние атрибуты чужой жизни, что-то вульгарное было в картинах, посуде, часах и различных фигурках — это были имитации, вещи, которые не были ни чьими-то подарками, ни имуществом, доставшимся по наследству, они не пробуждали воспоминаний о находках, или причудах, или о прочих обстоятельствах, при которых эти вещи были приобретены и водружены на свое место в доме, — ничего этого не было, они появились здесь волей и настойчивостью одного человека, почему остались безликими и производили гнетущее впечатление. Когда стих шум работ, ушли каменщики с подручными, лепщики и художники,

тогда во всем доме навели чистоту и порядок, и он принял какой-то торжественно-погребальный вид. Даже лебеди на озере напоминали об идиотских аляповатых картинках. С самого восхода солнца дом заливался совершенно особым, зловещим светом. Онофре Боувиле дом нравился. В нем он мог проводить время, как ему заблагорассудится, неделями не видя ни жену, ни дочерей. По саду он не гулял и днем вообще редко выходил из той части дома, где размещались его личные апартаменты. Гостей не приглашал, а по собственной инициативе, вопреки его предсказаниям, никто их не навещал. Через несколько месяцев после переезда обе его дочери покинули дом навсегда. Первой уехала младшая. С помощью деда, дона Умберта Фига-и-Мореры, который любил внучку настолько, что, рискуя навлечь на себя гнев зятя и несмотря на свой преклонный возраст и болезни, обосновался в Париже; там младшая дочь Боувилы через некоторое время вышла замуж за венгерского пианиста, не стяжавшего себе громкого имени, который к тому же был вдвое старше ее, и вместе они стали кочевать из города в город, преследуемые кредиторами. Старшая дочь не замедлила последовать примеру сестры. Она вступила в конгрегацию мирских миссионерок, которые занимались тем, что учили детей грамоте или лечили больных в отдаленных глухих уголках земного шара; правда, дочь Боувилы сама открыто говорила, что особого призвания к такой деятельности не чувствует. Она провела несколько лет на Амазонке, недалеко от Икитоса, пытаясь худо-бедно сочетать акушерскую практику с неумеренным употреблением виски, но перуанские власти в конце концов отпустили ее обратно на родину, для чего пришлось потратиться на подкуп должностных лиц и на денежные компенсации жертвам ее небрежности, порока и невежества. Затем она мирно жила в номере «люкс» отеля «Риц» в Мадриде до самой смерти в 1981 году, все эти годы витая в парах алкоголя. Онофре Боувиле равнодушно взирал на то, как распадается его семья, и равнодушие это появилось у него давно, после того, как второй сын родился мертвым — это событие фактически разрушило семью, от нее остались лишь обломки и разочарования. Жена его проводила дни, а иногда и часть ночи в часовенке на втором этаже, там она поглощала форель и конфеты с ликером, которые ей туда подавали, и пыталась разобраться в лабиринте молитв, которые надо читать три или девять дней подряд, поклонений Христу и

прочих церковных служб, жила, окруженная свечами. Дом теперь по-настоящему опустел. Если прежде предметы мебелировки были лишены эмоциональной жизни, теперь они обрели жизнь фантасмагорическую: по ночам в пустых залах слышался шум, а наутро шкафы оказывались сдвинутыми с мест, а ковры скатанными, как будто эти тяжелые предметы бродили по залам под покровом темноты. На самом деле ничего сверхъестественного в этом не было: это слуги таким способом выражали свое недовольство мертвенной скукой, царившей в доме. «Давайте-ка задурим голову хозяйке», — сговаривались они между собой; кроме того, они еще колотили в дно кастрюль, грохотали стульями, гремели цепями. Онофре ничего этого не замечал: не выдерживая мрачной атмосферы дома, он обрел привычку выезжать поздно вечером и проводить ночь где-нибудь в другом месте. Сопровождаемый шофером и телохранителем, он посещал самые мерзкие притоны, избегая идеальной чистоты и элегантности обстановки, искал общения с мошенниками, ворами и проститутками; видимо, он хотел вернуться в ту Барселону, из которой когда-то всеми силами старался выбраться и подняться повыше, но теперь ему казалось, что в этом мире он счастлив. Но на самом-то деле он хотел вернуться в свою навсегда утраченную молодость. Именно с этой целью он старался убедить себя, что в этой обстановке, где царили подлость и нищета, он чувствовал себя дома; в глубине души сознавал, что ему противны грязные и душные каморки, эти пропитанные чужим потом и грязью постели, в которых он просыпался утром. Дешевое вино, мнимое шампанское и кокаин, которые он употреблял, чтобы всю ночь взбадривать себя, плохо воспринимались его организмом, его нередко рвало на улице или в машине, когда он на рассвете возвращался домой. Он знал также, что эти мошенники, контрабандисты и женщины легкого поведения гонялись за его деньгами. Когда шофер чуть ли не на руках выносил его из какого-нибудь борделя, где его принимали с напускным восторгом, настроение у проституток в мгновение ока менялось, их сутенеры вышибали из них деньги, которые он раздавал не считая, эйфория и роскошь испарялись, наступало царство алчности, насилия и злобы. Он все это знал, но позволял себя обманывать; он считал, что не деньгами, раздаваемыми щедрой рукой, а этим взаимным обманом платил он за право снова вдохнуть воздух порта, запах селитры и нефти

и спелых плодов, начинающих гнить в трюмах пароходов, потому что ему казалось, что он снова принадлежит этому миру, который утратил навсегда много лет тому назад.

Как-то ночью он проснулся в маленькой каморке, стены которой были оклеены грязной бумагой, первоначально имевшей оранжевый цвет; с потолка свисала электрическая лампочка. Он чувствовал, что руки и ноги у него оледенели, а по левому боку словно бегают холодные мурашки. Он понял, что умирает, и его удивило, как это он еще может замечать мелкие подробности. Услышал крик лежавшей рядом с ним женщины, которую он как будто раньше никогда не видел. Сделав невероятное усилие, схватил ее за руку, так как знал, что она может обернуть его и убежать, никому ничего не сказав. Оставит его умирать здесь. Я пообещаю ей золотые горы, если она мне поможет, подумал он, но слова не вылетали из его уст, он задыхался. Хорошенькое место, чтобы умереть, подумал он, будет грандиозный скандал. Но что это я говорю? Я не хочу умирать ни здесь, ни в каком-нибудь другом месте. Проститутка вырвала свою руку, похватила одежду, разбросанную на полу, и выскочила в коридор. Оставшись один, он усилием воли заставил себя не поддаваться панике. Это конец, подумал он. Прежде чем потерять сознание, услышал крики и топот ног в коридоре.

Все было сделано как надо. Проститутка побежала разыскивать шофера, как только оделась, а тот, опасаясь ответственности в случае, если дело кончится плохо, помчался отыскивать Эфрена Кастельса. Когда вдвоем они заявили в дом терпимости, девкам и сутенерам удалось кое-как надеть на Онофре одежду, но они не сумели влить ему в горло глоток коньяку, как ни пытались они это сделать с помощью столовой ложки. Эфрен Кастельс всем раздал вознаграждение, не забыл даже ночного сторожа и полицейского, которые явились к месту происшествия, все остались довольны и поклялись хранить молчание. Било четыре, когда они привезли его домой, уложили в постель и велели разбудить жену. Та показала себя светской дамой, молча выслушала невероятные объяснения, на ходу придуманные Эфреном Кастельсом, и подняла на ноги слуг. Через несколько часов дом превратился в муравейник: появились врачи, сестры милосердия и сиделки, а также, на случай летального исхода, адвокаты, нотариусы со своими помощниками, банковские и биржевые агенты, регистраторы и прочие чиновники министерства финансов,

консулы и атташе, политические деятели и головорезы (последние старались, чтобы их не заметили), журналисты и газетчики и множество священников, вооруженных всем необходимым для исполнения святых обрядов: исповеди, причастия и соборования. Вся эта толпа бродила в саду и по дому, заходила во все помещения, забиралась в шкафы, выдвигала ящики, щупала картины и другие произведения искусства, повреждала их нечаянно или намеренно; фотографы устанавливали треножки и камеры посередине залов, ослепляли всех вспышками магния и изводили фотопластины на то, чтобы сфотографировать людей, которые никого не интересовали, что выяснялось, когда эти пластины проявлялись. Слуги охотно шли на подкуп и продавали настоящие или вымышленные секреты тому, кто больше заплатит. Просочились в дом и мошенники, выдававшие себя за друзей семьи или доверенных лиц больного; представители печати и неискушенные дельцы платили им за искаженные или вовсе ложные сведения. В результате всего этого на многих биржах упали курсы акций. Онофре ничего этого не видел или видел смутно, его напичкали лекарствами, и поэтому он чувствовал себя как бы подвешенным в воздухе, у него ничего не болело, и он ощущал все свое тело, вот разве что ледяными оставались руки и ноги. Если б не это ощущение холода, я бы чувствовал себя лучше, чем когда бы то ни было, думал он. В таком блаженном состоянии он нередко обращался к воспоминаниям детства, более ранним, чем до сих пор. Времени он не осознавал: несмотря на полную неподвижность, все текло своим чередом, и полная пассивность его не удручала.

В его комнату входили разные люди: врачи, без конца прослушивавшие его и выписывавшие лекарства, сестры милосердия, делавшие уколы, кормившие его и пичкавшие таблетками, сиделки, которые следили за его естественными отправлениями, жена, плакавшая над ним, как только они оставались одни, и другие люди, хитростью проныкавшие к нему, чтобы попросить о последнем одолжении, примирить его с Богом, получить сведения о каком-либо предприятии или торговой операции или же просто узнать, как он добился успеха, чтобы последовать его примеру, — все они казались ему нереальными, персонажами с детского рисунка, которые теперь двигались в окружающем пространстве, растворяясь в нем. Беспокоили его также шепот, тихий говор и шум шагов в коридорах,

доносившиеся из-за стен, звуки эти усиливались, когда открывалась дверь, и утихали, когда дверь закрывалась, он не очень ясно различал разные звуки, запахи, формы и другие образы, сообщаемые ему органами чувств, все они могли толковаться по-разному и не всегда однозначно и убедительно. Прикосновение руки врача или сестры милосердия, запах лекарства, белизна халата, пытливый взгляд, устремленный на него,— все это образовывало единое целое, смысл которого ему никак не удавалось уловить. Что все это означает? — спрашивал он себя. Зачем столько разнородных вещей вокруг меня? Что они здесь делают? А его возбужденное воображение под влиянием этих внешних стимулов уносило его далеко-далеко, и он видел какой-нибудь забытый эпизод из прошлого, и эпизод этот оживал так ярко и отчетливо, что видение смущало его и даже причиняло ему боль. Потом картина медленно таяла, как дым в подогретом воздухе салона, и тогда в его сознании оставался только страх, который внушала ему неизбежность смерти. В таких случаях он все бы отдал за то, чтобы пожить еще немного, хоть как-нибудь, он знал, что из-за порога смерти возврата нет, и это приводило его в отчаяние. Ну как это может быть, чтобы никак нельзя было избежать такой ужасной вещи? — спрашивал он себя. Убеденный в том, что жизнь его вот-вот кончится, угаснет, как гаснет свет, когда нажмешь на выключатель, и что он исчезнет из этого мира навсегда и безвозвратно, он принимался плакать, точно младенец, но никто на это не обращал внимания и даже не замечал, потому что лицо его не менялось, оставалось спокойным и невозмутимым.

Бывали и случаи, когда эти завихренные воспоминания и страхи уступали место нереальным, но приятным видениям. В одном из них ему казалось, что он в каком-то незнакомом месте, залитом ровным светом, как это бывает в пасмурный полдень. И вот, оказавшись в этом месте неизвестно зачем, он видит, как к нему приближается человек, которого он как будто узнает. Он рад его приближению, рад встрече. «Отец,— говорит он,— сколько лет мы не виделись». Американец улыбается, он мало изменился с тех пор, как вернулся с Кубы, на нем белый костюм, панاما, в руках — клетка с обезьянкой, только теперь у него длинная ухоженная борода. «Зачем ты отпустил бороду, отец?» — спрашивает он. Американец пожимает плечами, словно бы говоря: «Сам не знаю». Затем открывает рот, шевелит губами, будто хочет что-то сказать, но

так и не произносит ни слова. Онофре задерживает дыхание, ждет, что сейчас отец скажет что-то чрезвычайно важное. Но отец безгласен, наконец он закрывает рот и снова улыбается грустной улыбкой. Может, так и бывает, когда ты мертв, содрогается Онофре, когда ты мертв, ты уже никуда не идешь, а остаешься на месте, ничто не меняется, нет ни горя, ни радости, вот уж что смерть несет с собой, так это полное отсутствие радости, все это я читаю на лице моего отца. Он-то на самом деле умер, на этот счет нет никаких сомнений, продолжал думать Онофре, вот почему его общество, которое сначала показалось мне таким приятным, теперь лишь добавляет мне грусти, но это говорит о том, что я еще не умер, раз я это понимаю, иначе я ни о чем бы вообще не думал. Но я, должно быть, уже и не жив, не то я бы его не увидел. Наверно, я на самой грани, одна нога по эту сторону невидимой границы, другая — по ту, и долго здесь не простою. Что бы я только не отдал, чтобы вернуться в число живых, я говорю не о том, чтобы начать все сначала, это невозможно, но, с другой стороны, если я вернусь, я буду продолжать жить, как жил раньше. Да, мне бы только вернуться к жизни, я на все согласен. Я бы тогда на все смотрел другими глазами.



— Не знаю, стоит ли вам повидать ее, — сказала монахиня, — вернее, хорошо ли будет, если она вас увидит.

— Стало быть, вы знаете, кто я? — спросил он.

Монахиня, поджав губы, холодно и внимательно изучала собеседника. В этой холодности не было враждебности, а были лишь любопытство и настороженность, пожалуй, в равной пропорции.

— Все знают, кто вы, сеньор Боувила, — сказала она очень тихо и чуть ли не кокетливо. Каждая черточка ее лица что-нибудь выражала: великодушие, доброту, терпение, твердость духа и так далее; таким образом, лицо ее представляло собой своего рода эмблему. — Бедняжка много страдала, — продолжала монахиня уже другим тоном. — Теперь она большую часть времени спокойна, на нее находит лишь изредка и ненадолго, на каких-нибудь три-четыре дня. Тогда она снова считает себя королевой и

святой.— Онофре Боувила понимающе кивнул. «Я в курсе дела»,— сказал он. Но в действительности он узнал об этом совсем недавно. На протяжении многих долгих месяцев выздоровления, в тот период, когда жизнь его, отвоёванная *in extremis*¹ у смерти, висела на волоске, от него скрывали правду: «Любое потрясение может оказаться для него роковым»,— говорили врачи. Но он все-таки узнал об этом печальном событии косвенным образом. Как-то осенним вечером он, укутав ноги пледом из шерсти альпака, от скуки листал журналы, сидя в гостиной у закрытого окна; на глаза ему попала заметка о предстоящей свадьбе. Сначала он оставил ее без внимания, как с некоторых пор оставлял без внимания и многое другое. Горничная подобрала журналы, которые он, полистав, ронял на пол, и задернула занавески, чтобы послеполуденное солнце, заглянувшее в окно, не попало ему на лицо. Когда горничная ушла, Онофре откинулся в кресле, прижался щекой к свежeproглаженному чехлу, сохранявшему запах базилика, и отдался дреме. В этот период он впервые в жизни спал подолгу, так как очень быстро уставал от любого занятия; к счастью, сны видел всегда приятные. Но на этот раз он проснулся в испуге. Он не мог определить, сколько времени спал, но, судя по месту солнечной полоски на мраморных плитах камина, недолго. Несколько минут пытался установить, что же его обеспокоило. Наверно, что-нибудь из того, о чем я прочел в журналах, подумал он. Позвонил в колокольчик, который всегда был у него под рукой,— горничная и сестра милосердия вбежали в гостиную, вытаращив глаза. «Да ничего со мной не случилось, черт побери,— раздраженно сказал он, видя проявление показного участия,— принесите мне журналы, которые я недавно читал». Пока горничная ходила за журналами, сестра милосердия проверила его пульс; это была худая женщина с кислым выражением лица.

«Жена подбирает таких уродин мне в наказание»,— пожаловался он как-то Эфрену Кастельсу, зашедшему навестить его. «А чего ж ты хочешь? — сурово сказал гигант.— Тебе нужна красотка, чтоб снова кондрашка хватила? — Он оглянулся по сторонам, желая удостовериться, что никто не услышит, и добавил: — Если бы ты знал, какой у тебя был видик, когда я пришел за тобой в бордель, ты бы так не говорил».

¹ В последний час (лат.).

«Ладно, хватит проверять, живой я или мертвый,— сказал он сестре милосердия, высвобождая руку.— Лучше протрите-ка мне очки вон той марлей, что торчит у вас из кармана». Какое-то мгновение он и сестра смотрели друг на друга с вызовом во взгляде. Вот до чего я дожил, подумал он, воюю со старыми девами. Потом он велел отдернуть занавески и оставить его в покое. Лихорадочно принялся искать заметку в свадебной хронике. «Я очень счастлива,— сказала кинозвезда нашему корреспонденту.— Мы с Джеймсом большую часть года будем жить в Шотландии, у Джеймса там замок». Джеймс — английский аристократ приятной внешности и весьма состоятельный. Познакомились они на борту трансатлантического лайнера. «Да, это была любовь с первого взгляда»,— говорили впоследствии оба. В течение нескольких месяцев они предпочитали держать помолвку в тайне, чтобы пресса не подняла шум, все эти месяцы он каждый день присылал ей орхидею, и цветок этот был первым, что она видела, когда открывала глаза. Свадьба состоится до начала зимы; о месте они не хотят сообщать. «Потом мы отправимся в долгое свадебное путешествие по экзотическим странам. Я очень счастлива»,— сказала она в заключение. Такова причина ее ухода из кино.

— Где она? — в упор спросил он Эфрена Кастельса вечером того же дня.

Гигант растерялся.

— Она в таких условиях, что лучше не пожелаешь, можешь мне поверить,— заверил он.— Очень красивое место, даже не похоже на санаторий.— Затем, усмотрев в угрюмом молчании своего друга немой упрек в свой адрес, рассердился и закричал:— Да не гляди на меня такими глазами, ради всего святого, ты сделал бы то же самое. А что нам еще оставалось? Ты не хуже меня знал с самого начала, что эта авантюра именно так и кончится, это у нее давно.

И Эфрен Кастельс рассказал, что со времени передачи киностудий ему дела шли все хуже и хуже. Все очень скоро поняли, что Онеста Лабру слушается только его, Онофре, и больше никого, а он уехал и уже никогда не возвратится на киностудию. Теперь фильм, который раньше снимался за пять-шесть дней, требовал нескольких недель работы, причем возникали все новые и новые проблемы. В конце концов она попыталась убить Цуккермана. Однажды, когда он был с ней особенно груб, она вытащила

из кармана пистолет и выстрелила в него. Пистолет был старинный, бог знает, где она его раскопала, и он разорвался у нее в руке, каким-то чудом голову ей не зацепило. После этого все сошлись на том, что надо ее упрятать куда следует.

Онофре мрачно кивнул. С исчезновением Оносты Лабру созданная им кинематографическая промышленность начала приходить в упадок. Пробовали других актрис, но каждый раз дело кончалось провалом, фильм едва себя оправдывал, тогда как раньше они приносили огромную прибыль. Стало ясно, что публика предпочитает американские фильмы, Эфрен Кастельс и сам восторгался Мэри Пикфорд и Чарли Чаплином. Было решено закрыть киностудии, ликвидировать акционерное общество и заняться ввозом иностранных фильмов. «Ну и пускай они ломают голову и рискуют деньгами», — сказал Эфрен Кастельс. Онофре Боувила подтянул плед из альпака до груди и пожал плечами — ему было все равно.

— Пойдемте, — вдруг сказала монахиня. Поразмыслив, она решила все же удовлетворить просьбу Боувилы. В ее манере говорить чувствовалась привычка говорить с людьми, от которых нельзя требовать, чтобы они все понимали как надо.

Идя вслед за монахиней, Онофре пришел в средних размеров зал; обставлен он был простой мебелью, но выглядел чистым и уютным, только пахло здесь болезнью и старостью. В окно лился неяркий свет зимнего полдня. В зале было довольно прохладно. За столом с жаровней сидели трое мужчин неопределенного возраста и играли в карты; на двоих были береты, и у всех троих шея была повязана шарфом. На другом столе, у стены, покрытом голубой скатертью, стоял вертеп — изображение рождества Иисуса Христа, — горы из коры пробкового дуба, река из серебряной фольги, растительность из клочьев мха; глиняные фигурки не сохраняли пропорции между собой. Рядом с этим столом стояло у стены пианино, покрытое брезентовым чехлом.

— Этот вертеп сделали сами больные, — сказала монахиня. Трое мужчин, услышав эти слова, подняли головы от карт и улыбнулись Онофре Боувиле. — В сочельник после полуночной мессы будет общий ужин, то есть на нем могут присутствовать родные и близкие наших пациентов, если пожелают. Вас это, разумеется, не интересует, я сказала на всякий случай.

Онофре заметил, что все окна забраны железной решеткой. Они вышли из зала через другую дверь, за которой начинался другой коридор. В конце этого коридора монахиня остановилась.

— Здесь вам придется подождать, — сказала монахиня. — Мужчинам не разрешается заходить на женскую половину, а женщинам — на мужскую, трудно предвидеть, в каком состоянии тот или иной пациент.

Монахиня ушла, и он остался один. Машинально начал шарить по карманам, хоть и знал, что это бесполезно: врачи запретили ему курить, и он сигарет с собой не носил. Подумал, не вернуться ли в зал попросить сигарету у играющих в карты. У кого-нибудь найдется, сказал он себе, кажется, они не буйные. Да, в конце-то концов, что они могут со мной сделать? Рассуждая так, он критически разглядывал свое отражение в оконном стекле. Перед ним стоял невысокий, сутулый и бледный старик в черном пальто с воротником из каракуля, опиравшийся на трость с набалдашником слоновой кости. В свободной руке он держал мягкую шляпу и перчатки. Все это придавало его образу до смешного филигранную четкость. Эти невеселые мысли прервало появление монахини.

— Пойдемте, — сказала она.

Дельфина тоже сильно постарела, к тому же еще и страшно похудела, обрела, так сказать, свою первоначальную комплекцию; теперь никто не узнал бы в ней знаменитую киноактрису, трогавшую сердца миллионов зрителей, зато Онофре узнал в этой женщине угловатую служанку пансиона. На ней был халат из грубой шерсти поверх длинной фланелевой рубашки, шерстяные носки и мягкие туфли на кроличьем меху. «Посмотрите, кто пришел навестить вас, сеньора Дельфина», — сказала монахиня. Дельфина никак не реагировала ни на эти слова, ни на присутствие Онофре, взгляд ее был устремлен в какую-то далекую точку за стенами дома. Наступило неловкое для Онофре молчание. Монахиня предложила им прогуляться вдвоем по саду. «День сегодня прохладный, но на солнце будет хорошо, — сказала она, — идите в сад, прогулка на свежем воздухе будет полезна вам обоим». В глазах монахини киноактриса — та же проститутка или, во всяком случае, нечто весьма похожее, но она отпустила их вдвоем в сад, потому что старость и дряхлость вернули обоим детскую невинность, — так думал Онофре, ведя Дельфину по коридору. Это оказалось долгой и трудной

процедурой, так как Дельфина шла словно застывшая и двигалась очень медленно, каждое ее движение казалось результатом сложнейших расчетов и серьезного раздумья над тем, стоит ли рисковать. Ну вот, полшага я сделала, как будто говорила она каждый раз, ладно, шагну до конца. Благодаря такой медлительности Дельфины небольшой сад показался Онофре огромным. Пожалуй, она права, подумал он. Раз уж ей не суждено выйти за эти стены никогда, к чему торопиться? Он устал и изнемог от этой медлительности и в конце концов сказал:

— Давай сядем вот на эту скамью, тут нам будет хорошо.— И они сели рядом на каменную скамью; теперь возникла настоятельная необходимость вести беседу. Деревья стояли уже голые, но у стены санатория росла мускусная трава. Онофре спросил Дельфину, как она себя чувствует, не болит ли что-нибудь, хорошо ли с ней обращаются в санатории, не прислать ли ей чего-нибудь. Она не отвечала и продолжала смотреть перед собой все с тем же застывшим выражением лица, не отдавая себе отчета, где она и с кем. Ее молчание угнетало Онофре больше, чем он мог предполагать, и он начал говорить вполголоса сам:

— Сколько событий произошло, а меж тем ничего не изменилось, мы с тобой остались такими, какими были, правда? Вот только жизнь загубила то немного, что у нас было.— На гравиевую дорожку сада села какая-то черная птица, повертелась, снова улетела, и лишь тогда Онофре продолжал речь.— Ты помнишь, когда мы познакомились, Дельфина? Я имею в виду не конкретный день и час, а само то время. Это было в прошлом веке, шел 1887 год, Барселона была небольшим провинциальным городом, не было ни электричества, ни трамвая, ни телефона, шла подготовка к Всемирной выставке. Ты знаешь, уже поговаривают о второй выставке. Может, это будет удобный случай взяться за старое, что ты на это скажешь? Я тогда чувствовал себя очень одиноким, дрожал от страха; сейчас, видишь ли, я так же одинок, все как прежде. Но тогда у меня была ты, мы не очень-то ладили, но я знал, что ты есть, и это было немало, только тогда я этого не понимал.— Так как Дельфина сидела не двигаясь, Онофре забеспокоился, не озябла ли она, хотя воздух был теплый и солнце подсушило землю. Она точно ледяная статуя, подумал Онофре, и всегда была такой, за исключением той ночи, когда я держал ее в объятиях. Он взял

ее за руку — та была не ледяная, но все же холодная. «Ты озябнешь», — сказал он, — на, возьми мои перчатки». Он снял перчатки и надел их на руки Дельфины, она не сопротивлялась, но и не помогала ему. К своему удивлению, Онофре увидел, что его перчатки ей впору, и тогда вспомнил, что действительно руки у нее и раньше были большие. Этими руками она отчаянно цеплялась за мои плечи, подумал он, а вслух сказал: «Оставь их себе, видишь, они тебе в самый раз». Подняв голову, Онофре заметил, что трое мужчин, игравших в карты в гостиной, подошли к окну и, нисколько не таясь, глядят на них внимательно и серьезно. До окна было довольно далеко, и Онофре знал, что это больные люди, но все же выпустил руку Дельфины, которую грел в своих руках. Она соединила эту руку с другой и обе положила на колени. «Однако теперь уж бесполезно говорить об этом, — продолжал он. — Я сказал тебе об этом потому, что чуть было не умер, и теперь мне страшно. А еще могу тебе сказать вот что: я всегда знал, что только ты одна меня понимала. Ты всегда знала, почему я делаю то или другое. Остальные и сейчас меня не понимают, даже те, кто меня ненавидит. У них своя идеология и свои прерогативы, им этого достаточно, чтобы объяснить все на свете; благодаря этим двум понятиям они всему находят оправдание, как успеху, так и провалу; а я выпадаю из их системы, я — случайное и редкостное сочетание многих тонкостей политики. Они ставят мне в вину не мои дела, не мое честолюбие и не способы, какими я его удовлетворял, когда лез вверх и обогащался, этим все занимаются, они сами делали бы то же самое, если б их заставляла нужда и не мешал бы страх. А на самом-то деле я не выиграл, а проиграл. Я думал, что, если буду злым и беспощадным, мир будет у меня в руках, но тут я ошибся: мир злее и беспощаднее меня».

В разгар весны он получил письмо, которое написала какая-то монахиня, возможно, та самая, которая принимала его в санатории. В письме она сообщала, что Дельфина скончалась, «смерть настигла ее во сне». Теперь она сообщает ему об этом печальном событии, хоть ей известно, что он в родстве с нею не состоит, и она пишет, «зная об особых сердечных чувствах, которые связывали вас с усопшей». Хотя с того дня, когда он посетил Дель-

фину, к ней ни разу не возвращалась речь и ясность ума, можно утверждать, что «она умерла, так сказать, с вашим именем на устах». В комнате усопшей нашли исписанные листки, возможно письма, предназначавшиеся ему, а также «другие записи интимного и неприличного содержания, которые мы сочли нужным уничтожить». Письмо Дельфины гласило: «Действительность, которая нас окружает,— это всего лишь разрисованная занавеска, и по другую сторону этой занавески — не другая жизнь, а та же самая, на той стороне — тоже только занавеска, но с изнанки, и, как бы мы ни смотрели со своей стороны, мы эту изнанку не увидим, иначе говоря, когда мы поймем, что окружающая нас действительность — всего-навсего оптическое явление, мы сможем пройти сквозь эту разрисованную занавеску, а пройдя ее, окажемся в другом мире, который точно такой же, как этот, в том мире — и те, кто умерли, и те, кто еще не родились, но мы их не видим, потому что нас отделяет от них разрисованная занавеска, которую мы принимаем за действительность, стоит один раз пройти сквозь занавеску, можно без труда снова пройти через нее в том же или обратном направлении, можно жить одновременно с этой стороны и с той стороны, самое подходящее время пройти сквозь занавеску в ту сторону — вечерние сумерки, в эту сторону — рассвет, другое время не подходит, ни мольбы, ни деньги не помогут, по ту сторону занавески нет глупого распределения материи по трем измерениям, да и с этой стороны каждое измерение нам самим кажется немного смешным, те, кто живут по ту сторону, знают об этом и смеются, те, кто еще не родились, думают, что те, кто уже умерли,— это их папы». Далее почерк становился неразборчивым.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Хотя бриллиант «Регент» не был таким огромным, как «Куллинам» или «Эксельсиор», и таким знаменитым, как «Кохинор» (о котором упоминается в «Махабхарате»), или как «Великий Могол» (собственность персидского шаха), или «Орлов» (украшавший скипетр русских царей), он считался самым совершенным. Найденный в легендарных копиях Голконды, «Регент» принадлежал герцогу Орлеанскому, который во время Французской революции вынужден был заложить его ростовщику в Берлине. Выкупленный из рук ростовщика, бриллиант был водружен на эфес шпаги Наполеона Бонапарта. В тот вечер, когда к Онофре Боувиле пришел Сантьяго Бельталь, Онофре держал этот камень на ладони: любовался через лупу игрой и чистотой бриллианта. При диктатуре Онофре Боувилы был вынужден отойти от дел, он решил вложить свое состояние — тот капитал, который Эфрен Кастельс перевел в Швейцарию, — в бриллианты и выбросить их на международный рынок; теперь его агенты пробирались в горы Декана и в джунгли Борнео, мародерствовали по тавернам и публичным домам Минас-Жерайс и Кимберли. Онофре снова превращался в одного из самых богатых

людей в мире, хотя вовсе к этому не стремился. Теперь ему ничего не стоило низвергнуть Примо де Риверу, отомстить за нанесенные ему убыток и оскорбление, но у него не было ни малейшего желания посчитаться: Онофре всегда относился к политике с презрением, как к пачке пактов, подписывать которые, по его мнению, было бесполезно. На самом-то деле просто ему все опротивело. Ничего радостного не приносит мне бег времени, думал он, разглядывая бриллиант. В 1925 году умерла Дельфина, вслед за нею, в самом начале 1927 года,— его тесть, дон Умберт Фига-и-Морера, а в конце того же года, при загадочных обстоятельствах, умер и его брат Жоан. Онофре воспринимал каждую смерть как зловещее предзнаменование. Он не испытывал необходимости бороться с диктатурой, которая и так шла ко дну. Примо де Ривера, следуя примеру Муссолини, создал Патриотический союз¹; учреждая свою партию, он считал, что ее ряды пополнятся людьми разных устремлений, что в партии найдут общий язык лучшие люди страны. Однако привлечь удалось лишь пиявок, высосавших все что могли из старого режима и присосавшихся к новому, да горстку карабкающихся вверх молодых людей; армия отмежевалась от диктатора, которого еще совсем недавно бурно приветствовала, и сам король безуспешно искал способа от него избавиться. Заговоры против диктатора — и в Испании, и за ее пределами — следовали один за другим; диктатор отвечал арестами и высылкой недовольных, но он не был кровожаден и не хотел никого убивать. Только неумелость оппозиции, введение непреклонной цензуры, коррупция администрации и страх широких слоев населения перед любыми переменами позволяли ему удержаться у власти, за которую он цеплялся как одержимый; Примо де Ривера не понимал, что его приход к власти обусловлен случайным совпадением особенностей его характера со сложившейся в этот момент исторической ситуацией. Правление диктатора было не плохим, а эксцентричным: на недолгое время он стал покровительствовать общественным работам и временно решил проблему массовой безработицы. Он делал добро для народа, и тем более непостижимым было для него одиночество, в котором он теперь оказался. Когда он увидел, что потерял опору и в лице короля, то захотел опереться на Онофре Боувилу:

¹ Партия создана в 1924 году.

при посредничестве маркиза де Ут, еще остававшегося ему верным, он, путем ряда ухищрений, хотел сблизиться с Онофре Боувилой, но время было упущено.

Сантьяго Бельталью, когда он пришел к Онофре Боувиле — их имена пребудут навеки неотделимы, — было сорок три года. В тот день он привел в порядок свой дешевый костюм, помылся и побрился и кто-то подстриг его, очень старательно, но не очень удачно. Наведенный лоск только подчеркивал принятую им на себя роль просителя; лишь возбужденно горящие на изможденном лице глаза спасали его, не позволяли выглядеть смешным. Когда мажордом сообщил, что хозяин принимает только тех, кому сам посылает приглашения, он вынул из кармана пожелтевшую, измятую визитную карточку и показал ее. «Сеньор Боувила лично дал мне ее, — сказал он, — и я полагаю, что это то же самое, что и формальное приглашение». Мажордом в некоторой растерянности изучал визитную карточку. «Когда же вам ее дал хозяин?» — спросил он. «Четырнадцать лет назад», — невозмутимо ответил Сантьяго Бельталь. «Если это приглашение, то долго же вы заставили себя ждать! — воскликнул мажордом. — Как же мне о вас доложить?» Сантьяго Бельталь назвал. «Хотя не думаю, что сеньор помнит меня», — добавил он. Мажордом в сомнении потер лоб; в конце концов решил доложить хозяину об этом странном типе с весьма неподходящей внешностью: как он ни боялся беспокоить сеньора, он помнил о пристрастии того к необычным личностям. На этот раз его предположения подтвердились. «Впусти», — сказал Онофре Боувила. Вечер был теплый, но в библиотеке пылали в камине огромные поленья. Сантьяго Бельталь почувствовал, что задыхается от жары.

— Не думаю, чтобы вы меня помнили, — повторил Бельталь, едва очутился в библиотеке. В голосе прозвучала льстивая нотка; казалось, он хотел дать понять и словами, и манерой держаться, что такой важный человек может и не вспомнить столь незначительную личность, как он. Онофре Боувила презрительно усмехнулся. «Будь у меня такая плохая память, какую вы и другие наивные люди мне приписываете, я не стал бы тем, кто я есть». — Произнеся это, он потряс крепко сжатой в кулак правой рукой. Сантьяго Бельталь на мгновение испугался, что его ударят, но жест Онофре Боувилы не был угрожающим. «Мы познакомились с вами четырнадцать лет назад», — заговорил

снова изобретатель, стараясь оправдать свое появление в кабинете такого влиятельного человека.

— Не четырнадцать, а пятнадцать,— отозвался Боувила.— В тысяча девятьсот двенадцатом, в Бассоре; вас зовут Сантьяго Бельталь, вы изобретатель, у вас есть дочь, ее зовут Мария, девочка строптивая и упрямая. Что вы хотите мне продать?

Сантьяго Бельталь онемел: собеседник с величайшей небрежностью предварил все, что он собирался ему сказать, и вся речь, которую он готовил и репетировал долгими часами, оказалась ни к чему. И невольно он покраснел. «По-моему, я ошибся, придя сюда,— прошептал он, скорее для себя.— Простите». Онофре Боувила саркастически усмехнулся, и этого было достаточно, чтобы робкая нерешительность изобретателя перешла в ярость: он стремительно поднялся с кресла и направился к двери. «Вы много потеряете»,— громко сказал он.

— Что же я потеряю? — спросил Онофре Боувила сардонически. Изобретатель вернулся и стоял теперь лицом к лицу с могущественным финансистом: теперь они говорили на равных. «Вы потеряете чудо»,— сказал он. Онофре Боувила разжал кулак. Глаза изобретателя были теперь прикованы к сияющим граням «Регента», отблески которых играли на дамасском шелке хозяйского халата. «Какое же чудо может сравниться с этим?» — тихо спросил Онофре.

— Полет,— мгновенно ответил изобретатель.

В двадцатые годы нашего века авиация, несомненно, достигла такого состояния, которое газеты тех лет называли совершеннолетием: уже никто не сомневался в преимуществах летательных аппаратов, которые были тяжелее воздуха, над всеми другими воздушными средствами передвижения. Не проходило дня, чтобы какое-нибудь новое достижение не оказалось еще одним взятым рубежом на пути развития авиации. Но при этом возникло много новых нерешенных проблем. В наше время это покажется странным, но тогда проблема безопасности занимала последнее место, правда, несчастные случаи иногда бывали, но не так часто, и лишь редкие из них кончались смертельным исходом. Кроме того, большинство аварий и катастроф происходили не по техническим причинам, а, как правило, из-за мальчишества летчиков, которые жаж-

дали продемонстрировать надежность своих самолетов и собственную виртуозность: летали колесами вверх и вниз головой, выписывали круги и спирали, делали мертвые петли, иммельманы и бочки. Быстрота реакции и атлетические качества летчиков на этом раннем этапе развития авиации играли первостепенную роль, и поэтому для испытания новых самолетов считались наиболее подходящими летчики пятнадцати лет от роду, а это влекло за собой и известное легкомыслие тех, кому доверялся штурвал летательной машины. Так, одна из барселонских газет 1925 года писала: «Из-за того, что падкая до сенсаций пресса Парижа и Лондона возносит тех, кого называет «воздушными асами» и которые, соревнуясь между собой, на бреющем полете пролетают под арками мостов над Сеной и Темзой, вызывая панику среди прохожих, а также из-за того, что в Барселоне нет реки, а следовательно, и больших мостов, наши летчики, несмотря на запрещение Высочайшего аюнтамьенто Графского города, изобрели фигуру, аналогичную упомянутому выше, и теперь пролетают, поставив самолет на крыло и словно продевая нитку в иголку, между башнями собора Святого Семейства». В этих случаях, рассказывает дальше газета, на одной из башен, на самом верху, показывался худой и оборванный старик, он грозил кулаком, словно собирался сбить самолет, и осыпал проклятиями богохульника-пилота. Героем этой живописной сцены (очень похожей на ставшую уже классической сцену в фильме «Кинг-Конг») был не кто иной, как Антони Гауди-и-Корне, который в ту пору доживал свои дни, и это неравное противостояние было аллегорическим: на смену модернизму, представителем которого являлся этот знаменитейший архитектор, пришло в те годы движение диаметрально противоположное, получившее в Каталонии название «ноусентизма»; модернизм был обращен в прошлое, особенно в средние века, ноусентизм — в будущее; для первого были характерны идеализм и романтизм, для последнего — материализм и скептицизм. Приверженцы ноусентизма насмехались над Гауди и его творениями, писали на него карикатуры и памфлеты. Гениальный старик архитектор страдал, но не молчал; характер его с годами стал резким и весьма своеобразным; жил Гауди теперь в подвале собора Святого Семейства, временно превращенном в мастерскую, среди огромных статуй, каменных цветков и других элементов орнамента, которые не могли быть установлены туда, куда предназ-

начались, за неимением средств. Там он и спал, не снимая превратившейся в лохмотья одежды, дышал цементной и гипсовой пылью; по утрам занимался шведской гимнастикой, потом слушал мессу и причащался, на завтрак съедал горсть орехов, пучок люцерны или еще какой-нибудь зелени и уходил с головой в свою такую несовременную и невыполнимую работу. Когда Гауди видел, что кто-то к нему идет, например группа любопытных, не по годам резво соскакивал с помоста и бежал навстречу посетителям со шляпой в руке, просил милостыню, как самый настоящий попрошайка, чтобы иметь возможность продолжать работу еще хоть несколько дней. Так он сжигал свои последние дни: за песету подбрасывал в воздух орех и ловил его ртом, сгибая ноги в коленях и откидывая корпус. Когда речь шла о его работе, лицо его преображалось, он заражал окружающих своим энтузиазмом. Иногда приходилось вытаскивать его из свежего известкового раствора, в котором он увязал. В кругу друзей он не скрывал отчаяния. «Я веду войну с прогрессом,— говорил он,— и боюсь, что буду побежден». В конце концов он был сбит трамваем на перекрестке улиц Байлен и Гран-Виа. В результате этого глупого несчастного случая умер в больнице Санта-Крус. Автономность полета — вот другая проблема, стоявшая перед авиаконструкторами. «Какой смысл лететь, если не долетишь, куда тебе нужно?» — говорили они. Эту проблему пытались решить, увеличивая запас горючего на борту, но это утяжеляло аппарат, порой настолько, что он не мог подняться в воздух; тогда стали уменьшать вес фюзеляжа, и в конце концов летчикам пришлось летать, образно говоря, на складе легковоспламеняющихся горючих материалов. Теперь они опасались не ушибов и переломов костей, а болезненных, оставляющих шрамы ожогов. Большие успехи были достигнуты и в совершенствовании горючего для самолетов, улучшалась очистка бензина, в него вводили добавки, повышая теплоотдачу. Все эти усилия были не напрасны: 27 мая 1927 года американский летчик Чарлз Линдберг на одноместном самолете совершил беспосадочный перелет Нью-Йорк — Париж. Этот подвиг говорил о неограниченных возможностях авиации. Год спустя, 9 мая 1928 года женщина, леди Бейли, вылетела из английского города Кройдона на самолете «Хэвиленд Мот» с мотором мощностью 100 лошадиных сил по маршруту Париж — Неаполь — Мальта — Каир — Хартум — Тabora — Ливинг-

стон—Блумфонтейн; в Кейптауне она была 30 апреля; там отдохнула и вылетела обратно 12 мая; ее самолет, приземлявшийся в Бандунге, Ниамее, Гао, Дакаре, Касабланке, Малаге, Барселоне, снова в Париже, сел наконец 10 января 1929 года в Кройдоне, откуда она вылетела восемь месяцев назад. Испания не отставала от других стран в развитии авиационной промышленности — этому способствовала война в Марокко, точно так же, как первая мировая война — развитию авиации воюющих стран. В 1926 году, между 22 января и 10 февраля, Франко¹, Руис де Альда, Дуран-и-Рада на самолете «Plus Ultra» совершили перелет Палос-де-Могер — Буэнос-Айрес; с 15 апреля по 13 мая того же года летели из Мадрида в Манилу на биплане Лóрига и Гальярса, а самолет «Атлантида», который нес патрульную службу, совершил под командованием Льоренте перелет из Мелильи в Испанскую Гвинею и обратно за две недели, вылетев 10 декабря и вернувшись 25-го того же месяца. Каждый перелет был гигантским шагом к многообещающему завтрашнему дню, но на каждом шагу возникали и новые проблемы: при быстром перемещении из одного полушария в другое начинали метаться стрелки компасов, традиционные карты не годились для пилотов, требовалось постоянно совершенствовать альтиметры, катетометры, барометры, анеометры, радиогониометры и тому подобное; нужно было приспособить к новым условиям не только приборы, но также и одежду, продукты питания и многое другое. Также возникла необходимость точного прогнозирования погоды: буря или пылевой вихрь могли оказаться роковыми для самолета и летящих на нем людей. Если поезд или автомобиль попадали в неблагоприятные метеорологические условия, они могли остановиться, судно могло лечь в дрейф и переждать шторм, но что мог самолет, летящий в сотнях лиг от ближайшего аэродрома и имеющий на борту ограниченный запас топлива? И еще: что будет, если во время полета откажет мотор? Ученые ломали голову, пытались найти способы, предотвращающие множество неожиданностей. Под другим углом зрения стали заново изучать строение тела некоторых летающих насекомых, которые без труда садились на пестик цветка, тогда как самолету требовалась

¹ Военный летчик Рамон Франко (1896—1938), младший брат будущего каудильо, вместе с другими членами экипажа совершил перелет на гидроплане через Атлантический океан.

длинная и ровная горизонтальная полоса, чтобы он мог приземлиться, не рискуя потерпеть катастрофу. Такая длинная посадочная полоса требовалась потому, что скорость самолета при посадке не могла быть менее ста километров в час, посадка и взлет зависели от их поступательного движения.

Онофре Боувила рассеянно выслушал изобретателя, затем нажал кнопку звонка. Когда в библиотеку вошел мажордом, велел подбросить в камин несколько поленьев. Рассеянно наблюдал за движениями мажордома.

— Вижу, мое предложение совершенно вас не заинтересовало, — сказал Сантьяго Бельталь, как только мажордом ушел. Эта банальная фраза как будто вывела из задумчивости Онофре Боувилю. Он посмотрел на изобретателя, словно увидел его впервые.

— Оно мне просто ни к чему, — холодно сказал он; внутренний монолог увел его слишком далеко, и теперь ему хотелось поскорей отделаться от изобретателя. — Не скажу, что идея сама по себе не представляет интереса, — добавил он, заметив по лицу изобретателя, как горько тот разочарован: видимо, внимание, оказанное ему в начале разговора, пробудило в нем ложные надежды. — Не исключено, что когда-нибудь я сам... — произнес он на прощание, не дав себе труда даже закончить.

В последующие недели до него не раз доходили сведения о дальнейших шагах изобретателя. Тот предлагал свой проект другим людям, обращался также в государственные предприятия и учреждения. И повсюду слышал только ободряющие и расплывчатые обещания. «Мы изучим это дело с интересом, которого оно, без всякого сомнения, заслуживает», — говорили ему. Через своих людей Онофре узнал, что Бельталь живет с дочерью, снимая комнатенку в одной из квартир доходного дома, на улице Сепúlведа. Как об отце, так и о дочери соседи говорили, что они чокнутые, ни к чему не способные, и денег у них — ни реала. Зная, что рано или поздно что-то должно произойти, Онофре Боувила решил выждать время. Наконец в ненастный вечер, когда издали доносились раскаты грома, мажордом доложил, что к нему пришли. «Это молоденькая девушка, которая хочет поговорить с вами наедине», — сказал мажордом безразличным тоном. Несмотря на такой тон, по спине Онофре Боувилы пробежал холо-

док. «Впусти ее и позаботься, чтобы никто меня не беспокоил,— сказал он, отворачиваясь к окну, словно хотел скрыть свое волнение.— Подожди,— добавил он, когда мажордом собрался идти выполнять его приказание,— скажи шоферу, чтобы он не ложился спать, пока я не разрешу, и держал машину наготове; она может мне понадобиться в любое время». Других распоряжений не было, и мажордом вышел из библиотеки, прикрыв дверь, и направился в вестибюль.

— Прошу вас следовать за мной,— сказал он девушке,— сеньор примет вас тотчас же.

У нее тоже пробежал холодок по спине. «Я знаю, что меня ожидает,— говорила она себе, идя за мажордомом,— дай бог, чтобы не случилось чего-нибудь похуже».

Он узнал сразу же, как только она переступила порог библиотеки вслед за мажордомом, вспомнил с поразительной четкостью черты лица, как будто время сжалось и спрессовались годы, которые прошли после их первой короткой встречи, будто это были не годы, а минуты, мгновения, необходимые для того, чтобы теперь задним числом Онофре ощутил горечь разлуки с ней, с девочкой, промелькнувшей в его жизни, как мимолетное виденье. А теперь мне кажется, что в ней — вся моя жизнь, подумал Онофре.

— Я — Мария Бельталь,— сказала она.

— Я прекрасно знаю, кто вы,— ответил Онофре.— Здесь у меня жарко,— добавил он, чтобы нарушить молчание,— все время горит камин; несколько месяцев назад я был серьезно болен, и врачи советуют остерегаться простуды. Садитесь, пожалуйста, и скажите, что привело вас ко мне.

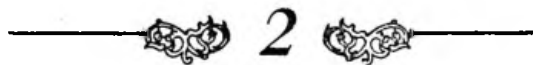
На Марии была очень короткая юбка, и если бы она опустилась в одно из глубоких кресел, поза получилась бы неудобная и чуточку смешная, поэтому, немного поколебавшись, она села на стул. В 1916 году женские юбки впервые чуть приподнялись над полом, и стал виден подъем ноги; потом подол пополз со скоростью улитки вверх и наконец поднялся до колена и оставался там без движения до шестидесятых годов. Поначалу все уменьшавшаяся длина юбок создала панику в текстильной промышленности, на которой держалась вся экономика Каталонии. Однако страхи эти оказались напрасными: если на платья и шло теперь меньше ткани, зато ассортимент женского гардероба неимоверно расширился, чтобы соответствовать

возросшему участию женщины во всех общественных делах — в труде, спорте и так далее. Мода резко переменила направление: сумки, перчатки, обувь, шляпки, чулки и прически — все стало иным; драгоценностей почти не носили, веера получили отставку. Когда девушка положила ногу на ногу, Онофре не мог не обратить внимания на тонкие прозрачные чулки и не задать себе вопроса, что бы значила такая поза.

— Не подумайте,— начала Мария Бельталь,— что я за отцом хожу по пятам, мы с ним не образуем тандем, как теперь принято говорить о людях, которые действуют заодно. Просто я знаю, что он приходил к вам, чтобы предложить свое последнее изобретение. И я хочу лишь сказать вот что: отец не мошенник, не шарлатан, не помешанный, а ведь вы могли так подумать, посмотрев на него. На самом деле он настоящий ученый, правда самоучка, но знания у него основательные и глубокие; он талантливый, неутомимый и честный труженик. Изобретения отца — не фантазии и не выдумки. Конечно, одно дело сказать, и совсем другое — доказать; вам особенно трудно поверить, оттого что говорю об этом я, его дочь. Но я-то пришла, не думая ни о чем, нам очень трудно живется, мы и никогда-то хорошо не жили, а в последнее время оказались в отчаянном, безвыходном положении: нам нечем платить за жилье и еду — попросту говоря, не на что жить. Не хочу притворяться, ведь я пришла умолять вас помочь нам. Отец стареет, но меня не это беспокоит, я сама могу работать, иногда ведь удавалось найти временную работу, и я могу прокормить нас обоих. Но, по-моему, как раз теперь у него тот выигрышный случай, который ему нельзя упустить, иначе он встретит старость, считая, что ничего не совершил в жизни. Не глядите на меня иронически, я прекрасно знаю: таков наш удел, но разве не дозволено мне восстать против судьбы ради своего отца? — Тут она поднялась со стула и прошла по ковру; он видел ее ноги, ярко озаренные пылающими в камине дровами. Наконец она снова села и заговорила уже более спокойно.— Я пришла именно к вам, потому что вы — единственный человек, который может вытащить отца из ямы, в которую он угодил давным-давно. Я не лгу вам, просто знаю — вы не боитесь риска, ведь дали же вы когда-то отцу визитную карточку, значит, вы не отталкиваете от себя новое и незнакомое. С того самого дня,— тут она слегка покраснела,— я всегда помнила о

вашем поступке. Я ведь прошу только вот о чем: подумайте еще раз о предложении отца, не отвергайте сразу, отнесите к нему с уважением, пусть эксперты рассмотрят его чертежи и со знанием дела вынесут заключение, стоит заняться этим проектом или нет.

Внезапно Мария умолкла и застыла, часто дыша. Волнение было вызвано тревогой: что скажет теперь Онофре Боувила? Мария боялась, как бы он не выставил ее за дверь без всяких разговоров, но еще больше она боялась, что он сделает ей непристойное предложение — как тогда перенести такое страшное унижение? Разумеется, она сознавала, с каким риском связан этот визит, она сознательно пошла на него и лишь со страхом думала, как все произойдет. Давно поняв, на что обрекает ее жизнь и чего не миновать, Мария не знала, как надо вести себя, когда наступит критический момент, и как она в ту минуту совладеет с собой и сможет ли совладать. Ее неотступно преследовал образ матери, покинувшей давным-давно их с отцом, Мария ее не помнила, и все же мать продолжала жить в ее воображении, постоянно была с нею, и ей было мучительно совестно перед матерью. Но Онофре Боувила лишь пристально на нее глядел. Она помнила этот взгляд с детства, в тот раз она стыдилась всего: своей некрасивой внешности, жалкой, потрепанной одежды, бедности, но, несмотря ни на что, она вспоминала этот взгляд. И Онофре Боувила тоже подумал: я вспоминал ее глаза, и мне казалось, что они цвета жженого сахара, а теперь вижу, что серые.



Недавняя легенда гласит: как-то раз, в самом начале нашего столетия, дьявол утащил некоего барселонского финансиста прямо из его кабинета и перенес по воздуху на гору Монжуик; день был ясный, и оттуда видна была вся Барселона — от причалов порта до горных массивов Кольсерола и Прат-аль-Бесос. К тому времени план Серда уже был большей частью претворен в жизнь, и площадь города составляла 13 989 942 квадратных метра; Энсанче уже вбирал в себя окрестные селения, жители

¹ Часть Барселоны, образованная влившимися в город деревнями.

этих мест в старину развлекались тем, что рассматривали барселонцев, которые, точно муравьи, сновали взад-вперед в лабиринте узких и кривых улочек, зажатые стенами своего небольшого города, да еще укрытые мрачной тенью громады Сьюдаделы. Теперь дым заводских и фабричных труб висел над городом густой пеленой, слегка волнующейся под легким бризом; сквозь эту пелену виднелись изумрудно-зеленые прибрежные просторы, золотистые пляжи и спокойное синее море, на котором точками чернели рыболовные суда. Дьявол начал свою речь так: «Все это я отдам тебе, если ты, распростершись у ног моих...» Финансист не дал дьяволу закончить фразу: он привык к ежедневным сделкам на бирже, предложение дьявола показалось ему заманчивым, и он, ни минуты не колеблясь, подписал договор. Должно быть, финансист был то ли туп, то ли близорук, то ли глух, потому что не понял, что предлагает ему дьявол в обмен на душу, и решил, что объектом махинации является сама гора, на которой они находились, и, как только видение исчезло или, может быть, он пробудился от сна, стал думать о том, каким путем получить доход от этой горы, крутой (такая она и по сей день), но поросшей разными деревьями — апельсинами, лавром и жасмином — и на вид привлекательной; когда из проклятой крепости на вершине горы не летели на Барселону ядра, картечь или снаряды, что случалось по той или иной причине, горожане толпами спешили подняться на гору: мастера с семьями, солдаты со служанками располагались у источников и ключей. Финансист думал, думал, и наконец ему пришла в голову гениальная идея: «Устроим на Монжуике Всемирную выставку,— сказал он себе,— и чтобы она имела такой же успех и принесла столько же дохода, как Выставка 1888 года». К тому времени дефицит городской казны был уже погашен ценой немалых жертв, и город помнил только о блеске и пышности празднеств. Алькальд горячо поддержал предложение финансиста и даже позавидовал: ведь эта мысль могла прийти и ему в голову! Черт бы меня побрал! Какая отличная идея, как это я до нее не додумался? — огорчился он, пока финансист излагал свой план. Тотчас проголосовали за субсидию, гору Монжуик закрыли для любителей пикников, деревья повырубили, ключи и источники — которые упрятали в трубы, которые завалили, наделали уступов и заложили фундамент будущих двор-

цов и павильонов. Как и в прошлый раз, обнаружилось множество препятствий: началась мировая война, а потом мадридские правители, как всегда, принялись вставлять палки в колеса, работы были надолго остановлены. На смертном одре финансист благодаря стараниям Антонио Кларета¹ выкупил свою душу у Князя Тьмы, но оживить подготовку к Выставке не сумел. Только через двадцать лет генерал Примо де Ривера вдохнул жизнь в проект новой Всемирной выставки, широко развернув в Испании общественные работы. Теперь уже не только гора Монжуик, но и вся Барселона стали сценой, на которой воплощались его грандиозные проекты: снесли много старых домов и разворотили мостовые, чтобы проложить метро. Улицы Барселоны напоминали траншеи на полях сражений во время мировой войны, которая когда-то помешала строительству Всемирной выставки. В самом городе и на Всемирной выставке работали многие тысячи рабочих: каменщики и чернорабочие стекались со всего полуострова, особенно с Юга. К недавно перестроенному и расширенному Французскому вокзалу подходили битком набитые поезда. А город, как всегда, не был готов к такому нашествию. Не хватало жилья, и приехавшие устраивались в наскоро сколоченных пристанищах, которые называли лачугами. Целые кварталы лачуг чуть не каждый день возникали на окраинах города, на склонах холма Монжуик, на берегу Бесоса, и эти импровизированные поселки получали названия «Шахта», «Веселый поселок» и «Пекин». Причем на этот раз подобные поселения носили не временный, а постоянный характер; во всем чувствовалось намерение хозяев этих мест остаться здесь навсегда, осесть в пригородах Барселоны. На окнах самых жалких халуп висели драные занавески, побеленными известкой камнями отмечались границы участков, на которых поселенцы сажали помидоры; в пустых бидонах из-под керосина выращивали красную и белую герань, петрушку и тимьян. Чтобы как-то выйти из создавшегося положения, городские власти поощряли и субсидировали строительство больших домов, называемых «дешевыми». В этих домах дешево стоило не только проживание, но и само их строительство: здесь шли в дело материалы самого низкого качества, цемент

¹ Кларет, Антонио Мария (1807—1870) — духовник и советник королевы Изабеллы II; канонизирован в 1950 году.

смешивали с песком и обломками камня, балки заменяли старые гнилые шпалы, снятые с железнодорожного полотна, переборки делались из фанеры или прессованного картона. Из этих домов образовывались городки-спутники, в которых поначалу не было ни водопровода, ни электричества, ни телефона, ни газа. Не было также школ, пунктов медицинской помощи, не было ни скверов, ни бульваров. Отсутствовал и общественный транспорт, и жители ездили на велосипедах. Спуски и подъемы барселонских улиц утомляли их, и на работу они приезжали основательно вымотанными, случалось, умирали прямо на рабочем месте. Женщины и малорослые мужчины предпочитали трехколесные велосипеды, более удобные и надежные, но не такие легкие и быстрые. В дешевых домах плиты и краны были такими никудышными, что то и дело случались пожары и протечки. Об этом свидетельствуют заметки в газетах того времени вроде этой: «Вчера вечером, во вторник, Пантагруэль Криадо-и-Чопо, уроженец деревни Мула в провинции Мурсия, двадцати трех лет от роду, подручный каменщика, работающий в настоящее время на строительстве павильона Германии, во время ссоры с женой и тещей в сердцах стукнул кулаком по переборке общей комнаты своей квартиры, и та рухнула, так что Пантагруэль Криадо оказался в спальне соседей Хуана де ла Крус Маркес-и-Лопес и Несефоры Гарсия де Маркес, с которыми стал разговаривать повышенным тоном. Последовала потасовка, и в ходе ее одна за другой обрушились все переборки на этаже, вмещались все остальные соседи — и что тут началось!» Положение дел лаконично освещает и заголовок в газете за 1926 год: «Гибель ребенка в результате того, что сосед этажом выше потянул за шнурок ватерклозета». К тем, кто обитал в лачугах и дешевых домах, следует добавить так называемых «поднаемщиков», то есть лиц, которым съемщики квартир в городе сдавали в поднаем одну из комнат (обычно самую плохую) и разрешали пользоваться ванной и кухней за какую-то мзду. В 1927 году в Барселоне таких поднаемщиков было более ста тысяч, и они, пожалуй, находились в лучших условиях по сравнению с жителями лачуг и дешевых домов, однако, за редким исключением, терпели больше унижений. Так, на фундаменте из лишений, обнищания и озлобленности людей, Барселона строила Выставку, которая была призвана восхитить мир. Далеко от Мон-

жуика, в закопченной часовне все это наблюдала Святая Евлалия и думала: «О Господи, ну и город!» И в самом деле, нельзя сказать, что Барселона хорошо обошлась со Святой Евлалией. В IV веке нашей эры она в возрасте двенадцати лет была подвергнута пыткам и сожжена на костре. Пруденций повествует, что, когда святая испустила дух, изо рта ее вылетела белая голубка, а тело окутал густой туман. По этой причине она много лет была покровительницей города, но потом святой пришлось уступить свое место Пречистой Деве Покровительнице страждущих, которая и поныне его сохраняет. Словно бы одного такого унижения было мало, потом было еще установлено, что на самом-то деле Святой Евлалии, девственницы и мученицы, под чьим покровительством Барселона находилась несколько веков, вообще не существовало, а была другая Святая Евлалия, которая родилась в 304 году в Мериде и была сожжена вместе с другими христианами во время гонений в правление императора Максимиана¹. «Святые кажут нам фигу,— говорили барселонцы,— вот что они с нами делают». А в конце концов и существование настоящей Евлалии из Мериды, чей день мы празднуем 10 декабря, было поставлено под сомнение. И теперь статуя лишенной доверия святой стояла в боковой часовенке барселонского собора и размышляла о том, что же творится вокруг. «Так дальше продолжаться не может,— сказала она себе в один прекрасный день,— не будь я Евлалия, если я чего-нибудь не сделаю». Попросив Святую Лусию и Иисуса Христа, чудесным образом спасшего корабль в битве при Лепанто², скрыть ее отлучку, она сошла с пьедестала, вышла на улицу и решительно направилась в аюнтамьенто, где алькальд встретил ее с двойственным чувством: с одной стороны, он радовался тому, что Святая Евлалия его поддерживает, а с другой — опасался, как бы она не осудила его поведение. «Ах, Дариус, каких только глупостей вы не натворите!» — подзадорила его святая дева. Дариус Румеу-и-Фреша, барон де Вивер, вступил в должность алькальда в 1924 году.

¹ Имеется в виду Максимиан Геркулий (даты правления 286—305 и 306—310), известный своими гонениями на христиан.

² Во время сражения при Лепанто (1571 г.) пушечное ядро попало в изображение Христа на носу флагмана, и это спасло от гибели корабль; в настоящее время эта поврежденная фигура Христа находится в отдельной часовне собора, которая носит его имя.

«Когда я пришел на пост алькальда,— сказал он, оправдываясь,— вся катавасия уже шла полным ходом. Если бы зависело от меня, я бы не стал устраивать Всемирную выставку.— Этот алькальд был не чета своему знаменитому предшественнику Риус-и-Тауле, не обладал его напористостью и одержимостью, да и Барселона превратилась в огромный и очень трудный для управления город.— А все этот Примо де Ривера с его манией оживлять общественные работы. Хочет завоевать популярность, а платить должны мы. Из-за него хочешь не хочешь, а город переполнен иммигрантами, особенно деревенщиной с Юга.— Тут он вспомнил, что, если верить легендам, святая сама была южанка, и поспешно добавил: — Не поймите меня превратно, Евлалия, я ничего не имею против южан или кого бы то ни было, перед Богом мы все равны, но у меня сердце разрывается, когда я вижу, в каких условиях живут несчастные строители, а что я могу сделать?»

Святая Евлалия горестно покачала головой. «Не знаю,— сказала она,— не знаю». Глубоко вздохнула и добавила: «Если мы могли хотя бы рассчитывать на Онофре Боувилу!» Но сейчас на него рассчитывать было нельзя.

— Наверно, мне лучше пойти с вами, сеньор? — предложил шофер.

Улица Сепулведа выходила на Пласа-де-Эспанья, напоминавшую теперь кратер вулкана: там начались работы по подготовке к Всемирной выставке; от этой площади начинался Пасео-де-ла-Рейна-Мария-Кристина, по обе стороны которого высились недостроенные дворцы и павильоны; в середине площади сооружали монументальный фонтан, а рядом с ним — новую станцию метро. Тут работало множество рабочих. Поздно вечером они возвращались в свои лачуги, квартиры в дешевых домах или комнаты, сдававшиеся в поднаем. Некоторые рабочие, не имевшие никакого пристанища, ночевали под открытым небом на прилегающих к площади улицах, наиболее зажиточные накрывались одеялами, остальные — газетами; дети спали, прижавшись к родителям или друг к другу, больные, прислонившись к стенам домов, дожидались рассвета, надеясь, что утром им, может быть, станет легче. Вдали пылал костер, окруженный темными

человеческими фигурами. По земле стелился дым, запах подгоревшего оливкового масла пропитывал одежду и волосы; кое-где слышался звон гитары. Онофре Боувила велел шоферу оставаться в машине. «Ничего со мной не случится», — сказал он. Он знал, что эти бедняки не опасны. В черном пальто с каракулевым воротником, в цилиндре и мягких лайковых перчатках, он спокойно шел по середине улицы. Оборванцы глядели на него скорей с удивлением, чем с ненавистью, словно на какое-то невиданное зрелище. Наконец он остановился перед одним из невзрачных домов, на фасаде которого не было никаких украшений, и несколько раз стукнул в дверь висевшим рядом дверным молотком. За дверью кто-то посмотрел в глазок, Онофре показал монету, и дверь тотчас распахнулась. В подъезде он пошептался с открывшей ему дверь беззубой старухой. Когда она улыбалась, видны были одни десны, Онофре поднимался по лестнице, а ошастливленная старуха держала лампу, чтобы он мог разглядеть ступени. После первого пролета пришлось идти на ощупь, но Онофре продолжал подниматься быстро и уверенно, потому что не утратил навыки, обретенные много лет назад, когда по ночам воровал экспонаты Первой выставки. Наконец Онофре остановился на лестничной площадке, чиркнул спичкой, разглядел номер квартиры и постучал. Дверь открыл тщедушный небритый мужчина в сильно поношенном длинном халате, накинутом поверх грязной и мятой полосатой пижамы. «Я иду к дону Сантьяго Бельталю», — сказал Онофре Боувила, не дожидаясь, пока человек спросит, чего ему надо. «Слишком позднее время для визитов», — ответил человек и хотел было закрыть дверь, но Онофре Боувила пнул дверь ногой, а концом трости ткнул человека под ребра, так что тот упал на подставку для зонтов; та опрокинулась и разбилась вдребезги. «Я не спрашивал, рано или поздно, и ваше мнение на этот счет меня не интересует», — сказал он, не повышая голоса. — Ступайте и позовите дону Сантьяго Бельталь, а потом убирайтесь с глаз моих». Человек с трудом поднялся, пошарил за спиной, отыскивая концы развязавшегося пояса, потом молча исчез за портьерой, отделявшей переднюю. Вскоре из-за портьеры вышел Сантьяго Бельталь и рассыпался в извинениях: он не ожидал никого, тем более такого известного человека. «Я, видите ли, живу в условиях...» — не договорил он. Онофре Боувила про-

следовал по темному коридору за изобретателем, и они вошли в небольшую комнату. Единственное крошечное окошечко выходило в крытый патио, воздух был спертый. В комнате стояли две железные кровати, стол, два стула и высокая лампа, у стены — картонные коробки, в которых жильцы хранили одежду и домашний скраб. По стенам развешаны приколотые кнопками чертежи. Мария Бельталь сидела за столом и при скудном свете слабой электрической лампочки штопала носок, натянутый на деревянное яйцо. Она мерзла и накинула на плечи поверх старенького шерстяного платья вязаный платок; простые чулки и войлочные туфли — вот и весь жалкий наряд. Одежда подчеркивала хрупкость ее фигуры и голубоватый цвет кожи, который скрывала пудра, когда она была у него несколько дней назад. На лице выделялся покрасневший от холода нос: Мария, как и все жители Барселоны, страдала хронической простудой. Когда Онофре Боувила вошел в комнату, она на мгновение подняла глаза от рукоделья и тут же снова их опустила; глаза снова были цвета жженого сахара, какими он их запомнил в первую встречу.

— Простите за ужасный беспорядок, — говорил изобретатель, проходя по комнате и лихорадочными движениями лишь увеличивая этот самый беспорядок, думая, однако, что он хоть как-то его уменьшает. — Если бы мы заранее знали, что вы окажете нам такую честь, я хотя бы поснимал эти бумаги со стен. О, простите, я не представил вам свою дочь, вы ведь с ней незнакомы. Моя дочь Мария, сеньор. Мария, это — дон Онофре Боувила, о котором я тебе говорил, несколько дней назад я заходил к нему с проектом, к которому он отнесся благосклонно.

Онофре и Мария переглянулись, и это обстоятельство возбудило бы подозрение у всякого, но изобретатель ничего не заметил. Он в это время почтительно принимал шляпу, трость, перчатки и пальто посетителя и бережно складывал их на кровать. Потом пододвинул к столу коробку, гостю указал на единственный свободный стул, сам уселся на коробку и сцепил руки, приготовившись выслушать, что же скажет Онофре Боувила. Тот, как всегда, безо всяких околичностей сразу приступил к делу.

— Я решил, — начал он, — заняться проектом, о котором вы недавно говорили. — Онофре отмахнулся от

изъявлений благодарности и восторга, которые изобретатель после первоначального шока явно намеревался излить на него.— Этим я хочу сказать, что иду на разумный риск и предоставляю в ваше распоряжение определенную сумму, чтобы вы могли завершить необходимые эксперименты, о которых вы мне говорили. Разумеется, наш договор содержит определенные условия. Я, собственно говоря, и пришел затем, чтобы сообщить вам мои условия.

— Я весь внимание,— сказал изобретатель.

Если барона де Вивера, который был убежденным монархистом, посетила Святая Евлалия, то Примо де Ривера, разочаровавшийся в короле, часто видел во сне рака в тирольской шляпе. Все его покинули, но он никак не решался передать кому-нибудь власть; теперь диктатор возлагал все свои надежды на Всемирную выставку в Барселоне. «Когда я взял в свои руки Испанию, это была страна, в которой царил хаос, страна террористов и магнатов; за несколько лет я сделал Испанию процветающей страной, поднял ее престиж; в стране мир, у всех есть работа; это всем покажет Всемирная выставка, и тогда те, кто меня критикует, будут вынуждены почтиительно склонить головы»,— сказал он. Министр общественных работ, образования, сельского хозяйства и торговли позволил себе заметить: «План, который вы предлагаете, Ваше Превосходительство, великолепен, но, к сожалению, требует расходов, которые выходят далеко за пределы наших возможностей». И это была чистая правда: испанская экономика истощила за последние годы все свои ресурсы, курс песеты на международной бирже упал и составил смехотворную величину. Диктатор почесал переносицу. «Черт побери, а я-то считал, что Выставку устроят на свой счет каталонцы. Скупое племя!» — процедил он сквозь зубы, как бы сам себе. Министр очень тактично дал понять Примо де Ривере, что каталонцы, при всех их достоинствах и недостатках, ни гроша не потратят во славу того, кто без конца унижал их достоинство. «Черт побери! — воскликнул диктатор.— Тут, конечно, трудностей не оберешься! А если недовольных выслать?» «Их несколько миллионов, мой генерал»,— сказал министр внутренних дел. Министр общественных работ обрадовался, что трудный разговор теперь вынуж-

ден был вести его коллега по кабинету. Примо де Ривера грохнул по столу кулаками. «Насрать на все министерские портфели!» — заорал он. Однако рассердился не очень сильно, так как в этот момент ему пришла в голову спасительная мысль. «Ладно,— сказал он,— сделаем так: объявим, что субсидируем Всемирную выставку в каком-нибудь другом городе, скажем в Бургосе, Памплоне или еще где-нибудь, все равно». Видя, что министры смотрят на него оторопело, хитро улыбнулся и добавил: «Затрат на это не потребуется: как только каталонцы узнают, что Выставка может быть организована и в другом городе, они последнее отдадут, лишь бы Выставку устроили в Барселоне». Лишь министр сельского хозяйства посмел высказать сомнение: «Кто-нибудь обязательно предаст нас, сообщит каталонцам, что это липа». «А мы его вышлем!» — прорычал диктатор. И вот работы по подготовке к Всемирной выставке в Барселоне пошли полным ходом. Снова город истощал свою казну и влезал в долги. Монжуик стал открытой раной, через которую уходила вся кровь. Алькальд и прочие деятели, противившиеся проекту, были заменены людьми, преданными Примо де Ривере; попадались среди них и мошенники, ловившие рыбку в мутной воде. Газетам разрешалось публиковать лишь хвалебные статьи и заметки, все остальное вымарывала цензура, тиражи конфисковались, их владельцев штрафовали на крупные суммы. Зато Монжуик превращался в волшебную гору. Там воздвигались Дворец электричества и двигателей, Дворец текстильной промышленности и готового платья, Дворец технических и прикладных наук, Дворец кинофикации, Дворец изобразительных искусств, Дворец строительной промышленности (называемый также Дворцом Альфонса XIII), Дворец труда, Дворец связи и транспорта и так далее. Эти дворцы начали строить несколько десятилетий назад, когда все увлекались модернизмом в архитектуре, и теперь в глазах людей понимающих они выглядели слащаво-изысканными или вульгарными. А рядом возводились иностранные павильоны, представлявшие резкий контраст своим современным обликом, выполненные в духе требований новейшей архитектуры и эстетики. «Если другие выставки специализировались в какой-то определенной области, скажем промышленности, электроэнергии или транспорта,— писал некий журналист в 1927 году,— то нынешняя полностью посвящена вульгарности. Мы разоряемся

ради того лишь, чтобы перед мировым общественным мнением выставить себя пещерными жителями». После этой заметки журналиста сослали в Гомеру. Однако подобные отзывы нимало не смущали устроителей Всемирной выставки.

В то время как всеобщее внимание уделялось Выставке, на другом холме, отделенном от Монжуика целым городом, Онофре Боувила гулял по саду в своем имении и задавал себе вопросы. «Что это такое? Я влюблен? В моем-то возрасте! Да нет, нет, это невозможно... но меж тем почему же невозможно? Вполне возможно, и я рад уже тому, что это возможно. Но кто бы мог подумать!» И Онофре улыбался, впервые в жизни он думал о себе с нежностью, посмеивался над своими душевными терзаниями. Но потом улыбка постепенно погасла, брови нахмурились. Не мог он уяснить себе, как это с ним случилось такое чудо, перевернувшее его душу, наполнившее ее небывалым смятением. «Откуда в этой заурядной женщине неодолимая сила, которой я не могу противостоять? Не скажу, что она лишена привлекательности,— продолжал рассуждать Онофре,— но не бог знает какая красавица. А если бы и была красавицей, почему я должен сходить с ума? Были в моей жизни и роскошные женщины, которых все провожают взглядом, из-за которых останавливается уличное движение, за свои деньги я всегда мог без особого труда купить любую красотку, но не испытывал иных чувств, кроме презрения. Эта же девушка, напротив, заставляет меня чувствовать робость и смирение, которые непонятны мне самому, как я ни ломаю голову; когда она говорит, смотрит или улыбается, я чувствую себя таким счастливым, что испытываю скорее благодарность, чем какое-нибудь другое чувство». Рассуждая таким образом, Онофре верил, что смирение спасает его от привычного эгоизма. «Правда,— говорил он себе, вспоминая прошлое,— в некоторых обстоятельствах случалось мне нарушать заповеди, за что я и буду держать ответ перед Богом на Страшном суде, и хоть никто не может утверждать, что я сам убивал людей, однако прямо или косвенно содействовал смерти многих; другие по моей вине стали несчастны. Ужасно вспоминать обо всем этом теперь, когда уже ничего не поправишь и не веротишь!» Сраженный этой мыслью, он как подкошенный упал на траву. Стояла тихая погода, солнечные блики

играли на зеркальной поверхности искусственного озера, в которой отражался ослепительно белоснежный наряд лебедей. В душевном смятении Онофре готов был видеть в этих величественных птицах посланцев Всевышнего, несущих ему милосердие и надежду. Они словно бы напоминали ему, что на небесах больше порадуются одному раскаявшемуся грешнику, чем девяноста девяти праведникам, которым не в чем раскаиваться. Онофре уткнулся лбом в мягкую траву и умиленно прошептал: «Прости меня, Господи, я был глупым и жестоким, и нет мне оправдания, ничто не умалит вину мою». Перед его мысленным взором замелькали лица, точно он листал семейный альбом, и все смотрели на него с укором: Одон Мостаса, дон Алешандре Канальс-и-Формига, его сын, несчастный Николау Канальс-и-Ратаплан, Жоан Сикарт, Арнау Пунселья, генерал Осорио, бывший губернатор Лусона, а также жена и дочери самого Онофре, Дельфина, сеньор Браульо, отец, мать, брат Жоан: всех этих людей и многих-многих других, даже тех, кого он и в глаза не видал, он принес в жертву своему честолюбию и своей неукротимости, все они пали жертвами неоправданной жажды мести, страдали лишь во имя того, чтобы он, Онофре Боувила, на какое-то краткое мгновение ощутил кисло-сладкий вкус победы. Хватит ли во всем Царствии Небесном великодушия, чтобы простить такого выродка, каким я был столько лет? — подумал он, чувствуя, что по щекам покатились крупные слезы. Не успел он высказать самому себе эту мысль, как кто-то легонько постучал его по плечу. Он знал, что, кроме него, в саду никого не было, и вздрогнул в испуге, не решаясь в первое мгновение открыть глаза — не явился ли ему грозный ангел с огненным мечом. Когда Онофре все же повернулся, то увидел лебедя, который и трогал его клювом за плечо; видимо, Онофре так долго пролежал неподвижно, что птица заинтересовалась и, выйдя на берег, подошла к нему, чтобы узнать, в чем дело, а может, и сообщить об этом остальным лебедям. Онофре Боувила резко вскочил на ноги, а испуганный лебедь пустился наутек; на суше он передвигался весьма неуклюже, издавая неприятные пронзительные крики. Рассерженный тем, что его напугало такое ничтожное существо, Онофре догнал лебедя, пока тот еще не добрался до спасительной воды, и изо всей силы пнул ногой. Описав дугу, лебедь плюхнулся в воду, снаружи остался торчать лишь хвост, круги расходились, поверхность воды снова стала гладкой, по ней плавали белые

перья, потерянные лебедем. Онофре Боувила отряхнул с одежды прилипшие к ней травинки и, не оборачиваясь, чтобы взглянуть, оживет лебедь или нет, зашагал прочь. Этот случай вернул его в реальный мир, видения умчались, исчезло чувство вины, их место снова заняла безжалостная логика финансиста, елужившая ему надежной защитой во всех делах. «Ох, да что это я так казнюсь? — сказал он себе. — Если бы меня кто услышал, подумал бы, что нет на свете человека несчастнее меня. Ну уж нет, — ответил он воображаемому собеседнику, — бедные, слабые люди жили до того, как я родился на свет, и будут жить после того, как я умру. Кое-кто действительно стал несчастным из-за меня, не отрицаю, но был ли я истинной причиной их несчастья или лишь орудием судьбы? Не повстречайся я с Одоном Мостасой, разве не такой же трагический конец ждал бы этого распутника и наемного убийцу? Разве по нем не плакала виселица до того, как мы с ним повстречались? А какая судьба ожидала Дельфину, не появившись я в один прекрасный день в пансионе ее родителей? Всю жизнь она так бы и прожила прислугой за все, в лучшем случае вышла бы замуж за какого-нибудь охламона, который пил бы горькую да поколачивал жену, пока та не отдала бы богу душу от тяжелой работы и бесконечных родов. Я, черт побери, своими трудами и заботами всем этим трущобным жителям давал счастливую возможность хоть какое-то время покрасоваться». Его рассуждения прервал глухой, но близкий взрыв, за которым последовали другие. С деревьев взлетели стаи птиц и закружились в воздухе: вокруг стоял невообразимый гам. Онофре Боувила снова улыбнулся. «Вот как красовался на озере этот бедняга, чтобы далеко не ходить за примером», — сказал он вполголоса. Улыбка его утратила благодность, какую обрела несколько минут назад.

Онофре отошел от озера и направился в ту сторону, откуда доносились взрывы: ухоженные парковые газоны мешали ему осуществить свое намерение, и он углубился в лес: там он мог пройти меж деревьями никем не замеченный. У опушки Онофре остановился, чтобы поглядеть, что делается неподалеку от него: там высился шатер цирка шапито, возле входа сновали рабочие, судя по одежде, механики. У парусинового туннеля, который вел в цирк,

где еще виднелись остатки разноцветных флажков, стояли два вооруженных охранника, наблюдавшие за теми, кто входил и выходил. Хотя огромная палатка не позволяла видеть этого, Онофре знал, что с другой ее стороны стоит под навесом сложнейшая техника. Эти машины вырабатывали электрический ток, необходимый для моторов, которые жужжали в шатре. Разумеется, проще и дешевле было бы получать электрический ток от компании, обеспечивающей город электричеством, но в этом случае было бы невозможно сохранить в секрете выполнявшиеся работы. Поэтому были поставлены навесы, которые скрывали от любопытных глаз электрогенераторы, вывезенные из различных стран анонимными акционерными обществами, созданными специально для этой цели, причем в Каталонию эти генераторы доставлялись контрабандой, по частям, а затем собирались на месте. Так же тайно был завезен необходимый запас каменного угля, который хранился теперь в шахтах, прокопанных под лесом, лугом и озером. Все, что было необходимо для осуществления проекта, собиралось таким же путем. Тонкого подхода требовал наем специалистов, которые были заняты на работах по осуществлению проекта. Если наплыв иммигрантов позволял отбирать и вербовать рабочих, не поднимая особого шума, то иначе дело обстояло со специалистами, техниками и инженерами, чье внезапное исчезновение из тех мест, где они работали, из их обычного окружения и повседневной жизни сложно было бы объяснить, и каждый случай решался отдельно. Некоторых удалось нанять за границей, других набрать из числа тех, кто в данный момент был без работы, наконец, третьим присылали поддельные приглашения от заокеанских университетов. Те, кто принимали их, вскоре получали билет на проезд первым классом на пароходе. Когда пароход покидал границы испанских территориальных вод, видных инженеров вытаскивали из кают и под дулом пистолета усаживали на быстроходный катер, который немедленно доставлял их на берег. Затем на автомобиле везли в имение, где сообщали причины похищения и рассказывали о работах, в которых ожидали их участия, о том, что все это на время и что они получат огромные суммы за сотрудничество и перенесенные неудобства. При такой счастливой развязке все оставались довольны. Хотя подобный способ найма специалистов был медленным, сложным и дорогим, Онофре Боувила не скупился на расходы,

чтобы завершить проект. Только за шатер цирка шапито, размеры которого подходили для начатых работ, заплатили очень много, купив его в Южной Италии: бывшие его владельцы сильно пострадали от эпидемии холеры. Этот мор вынудил тех, кто остались в живых — бородастую женщину, наездницу и силача, — распустить трупы и продать оборудование. Теперь эти три живописных персонажа, с которыми пришлось заключить контракт и привезти в имение, чтобы они показали, как собирать и разбирать шатер, также бродили по строительной площадке, одетые в трико или легкие костюмы с блестками, показывая, как могли, свое искусство и сея недоумение, а то и ужас.

Он как раз вспоминал об этой анекдотической троице, когда из шатра вышла *она*. На ней была короткая широкая розовая юбка, открывавшая при ходьбе колени, под складками угадывались очертания бедер. И это привлекало взгляды механиков, отчего Онофре Боувила приходил в ярость. В остальном Мария была одета просто и скромно. Надо будет как-нибудь намекнуть ей, что юбку надо носить другую, подумал он, чувствуя, как заколотилось его сердце, когда он заметил, что механики глядят ей вслед. Ослепленная солнечным светом, она на мгновение остановилась у выхода и прищурила глаза, рукой поправила прическу и надела широкополую шляпку. Затем направилась к лесу, где Онофре гулял словно бы случайно. Господи, подумал он, прячась за стволом толстого дуба, только бы она меня не увидела. За те месяцы, которые Мария Бельталь и ее отец прожили в усадьбе, он лишь два-три раза перекинулся с ней ничего не значащими фразами. Этим он хотел подчеркнуть, что он интересуется только проектом изобретателя, который руководил теперь созданием этого редкостного аппарата и с которым Онофре вел нескончаемые разговоры. С самого начала Сантьяго Бельталь и его дочь занимали один из охотничьих домиков в старой части парка, никак не соединенных с главной усадьбой. Там им было предоставлено отдельное помещение, со всеми удобствами, но без роскоши, дабы не выдать тайные намерения Онофре Боувила, истинную причину того, почему он решил заняться рискованным проектом. В домик, мебель, картины, вазы для которого он сам тщательно отбирал, Онофре Боувила не заглядывал с того дня, как в нем поселились Сантьяго и Мария Бельталь, а когда им нужно

было встретиться, посылал слугу за изобретателем. Секретность проекта не допускала отлучки с места работ кого бы то ни было, поэтому он знал, что она всегда здесь, и хотя между ними не установилось никаких отношений, она не проводит время и ни с кем другим — оба они живут вместе, в принадлежащей ему усадьбе. И Онофре чувствовал, будто она уже принадлежит ему; пока что и этого ему хватало для счастья. Тайком, как сейчас, он следил за ней. Как странно! — думал Онофре, стоя за дубом и восхищаясь стройностью девушки и красотой ее походки, когда я был молодым, передо мной была вся жизнь, но все мне казалось срочным. Теперь же, когда времени у меня остается совсем мало, я не тороплюсь. Я научился ждать и лишь в ожидании вижу смысл, но тем не менее события сменяют друг друга со сказочной быстротой. Он посмотрел на небо и увидел, что оно, безупречно голубое, без единого облачка, вспомнил, что накануне посетил работы по строительству Всемирной выставки. Там случайно повстречал маркиза де Ут, которого давно не видал. Маркиз был членом Совета по организации Выставки и доверенным лицом Примо де Риверы в Барселоне, получал инструкции из Мадрида и выполнял их тайно от алькальда. За такую верность он совершенно безнаказанно совершал незаконные сделки.

Завидев Онофре Боувилу на строительстве Выставки, маркиз поморщился: дружба, которая раньше существовала между Онофре Боувиллой и маркизом, сменилась подозрительностью и взаимным недоверием. Но внешне оба поддерживали дружеские отношения.

— Онофре, да ты прекрасно выглядишь! — воскликнул маркиз, заключая Боувилу в объятия. — Я знаю, тебя слегка прихватило, и я очень рад снова видеть тебя в полном порядке. И молодым, как всегда!

— Ты тоже выглядишь молодцом, — сказал Онофре Боувилла.

— Да нет, какое там, — махнул рукой маркиз.

Они шли по площадке, под руку, обходя ямы и кучи мусора, переходя через канавы по доскам, прогибавшимся под их тяжестью. На ходу маркиз показывал своему спутнику особенно интересные постройки: дворцы, павильоны, рестораны и так далее. Не скрывая гордости, показал строительство стадиона. Это сооружение, включенное в план Выставки с некоторым запозданием, занимало площадь в 46 225 квадратных метров и было пред-

назначено для демонстрации всего, что связано со спортом. С тех пор как в Европе распространилась фашистская идеология, все правительства покровительствовали спорту и отпускали немалые средства на различного рода спортивные состязания. Так разные страны старались подражать Римской империи, чьи обычаи они брали за образец. Теперь величие народов символизировали спортивные победы. Спорт уже не был занятием для бездельников, перестал быть привилегией богатей, он представлял собой естественную форму развлечения горожан, с помощью спорта политические деятели и мыслители рассчитывали улучшить породу. «Атлет — кумир нашего времени, зеркало, в котором видит себя молодежь», — сказал маркиз. Онофре Боувила согласился с этой теорией: «Убежден, что так оно и есть», — мягко сказал он. Затем они посетили Греческий театр, городок «Испанский народ»¹ и осмотрели сложнейшие переплетения труб и кабелей, динамомашин и струйных сопел, созданные, чтобы питать и приводить в движение огромный светящийся фонтан. Этот фонтан должен был стать главной достопримечательностью, украшением нынешней Выставки, подобно Волшебному фонтану на предыдущей. Он построен на склоне горы и поэтому виден отовсюду; бассейн был 50 метров в поперечнике, емкостью 3200 кубических метров и сами фонтаны. 3000 литров воды приводились в движение пятью насосами мощностью 1175 лошадиных сил и освещались 1300 киловаттами электроэнергии, что давало возможность постоянно изменять очертания и цвет водяных струй. «Этот фонтан и боковые фонтаны по обе стороны центральной аллеи расходуют за два часа столько воды, сколько вся Барселона за целые сутки», — сказал маркиз. — Было ли когда-нибудь видано нечто столь же грандиозное?» Онофре Боувила и в этом согласился с маркизом де Ут без возражений. То, что Онофре одобрительно кивал головой и горячо интересовался делами Выставки, зародило подозрение в душе маркиза. «Зачем сюда пришел этот старый лис? — сказал он себе. — И откуда у него такой энтузиазм?» Но, как маркиз ни думал, тайну разгадать не сумел. Он не мог знать, что двумя неделями раньше в

¹ Построенные специально для Выставки 1929 г. копии наиболее знаменитых в архитектурном и историческом плане зданий различных уголков Испании.

одну из контор по организации Выставки явилась странная делегация. Делегация эта состояла из некоего господина и дамы, одетых строго и элегантно, держались они учтиво и говорили с иностранным акцентом. Принявшему их служащему они сказали, что представляют большое предприятие, международный консорциум, названия которого служащий никогда не слышал, но в законности которого не позволяли усомниться незамедлительно представленные документы. Это не помешало служащему заметить, что из-под вуали, которой дама закрывала лицо, вылезала густая борода. Естественно, комментировать этот факт он не решился. Господин, который почти не размыкал уст, все время наблюдал за его движениями с какой-то свирепостью во взгляде. Служащий потом вспоминал, что мужчина был могучего сложения, свидетельствовавшего о его необыкновенной силе. Все эти подробности не вызвали у служащего никаких опасений: с того времени как он приступил к исполнению своей должности, он повидал немало иностранцев, привык к необычным лицам и странному поведению. Строго придерживаясь своих обязанностей, служащий спросил, чем может быть полезен, и те ответили, что пришли за разрешением, чтобы установить павильон на Всемирной выставке. «В этом павильоне мы намерены экспонировать наши машины и изделия,— сказала дама.— В павильоне будут деревянные панели или раздвижные двери, и публике будет показан фильм о деятельности нашего консорциума». Служащий сообщил им, что иностранные предприятия могут выставлять экспонаты только в павильонах своих стран. «Если мы дадим разрешение, о котором вы хлопчете, одному предприятию, придется выдавать его всем желающим. А ведь организация Всемирной выставки — дело очень сложное, и нельзя допускать никаких исключений из правил или предоставлять кому-то особые привилегии». Желая подтвердить истинность этих слов, он показал посетителям лежавшую на столе книгу — каталог участников Выставки объемом в 984 страницы. Господин взял книгу в руки и без видимого усилия разорвал ее пополам. А дама меж тем сказала: «Думаю, в конце концов мы уладим все трудности». Погладив бороду одной рукой, другой она открыла и закрыла черную сумочку. Служащий увидел, что сумочка набита банковскими билетами, и счел за благо промолчать. И вот теперь на краю Выставки, там, где предполагалось раз-

местить павильон Колоний, теперь это никому не ведомое предприятие воздвигало свое выставочное строение, а павильон Колоний оказался несколько потесненным. Новое сооружение, формой все более и более напоминавшее цирк шапито, находилось на площади Универсо, как раз рядом с проспектом Риус-и-Тауле. Место было превосходное, так как можно было входить в павильон и выходить из него со стороны, противоположной фасаду, обращенной к горе (там теперь улица Лэрида), незаметно для посторонних глаз. В любое время дня и ночи вокруг бродили какие-то мрачные типы, которым полагалось не подпускать к стройке посторонних; уже сам их угрюмый вид отпугивал любопытных и даже мешал служащим Выставки выполнять их обязанности. Все это отнюдь не было известно маркизу де Ут, а если он об этом что и знал, то не связывал загадочный павильон с Онофре Боувиллой и с его появлением на стройке. Обо всем этом думал сейчас Онофре Боувилла, прячась за дубом. Да, все должно получиться, как я задумал, говорил он себе. Едва ли что-нибудь неожиданное сорвет мои отлично отработанные планы: она слишком красива, я достаточно ловок и силен, значит, все должно получиться 'хорошо. Ах, как грациозно она ходит, какая благородная осанка! Она рождена быть королевой. Да-да, все будет очень хорошо, иначе быть не может. Так убеждал себя Онофре, а сам поглядывал на небо: несмотря на весь свой оптимизм, он боялся увидеть на чистом голубом своде, не запятнанном ни единой тучкой, саркастическую усмешку по поводу своей безумной затеи.

В самом деле, казалось, что затея с Выставкой кончится плохо. В январе 1929 года дефицит, вызванный строительством барселонской Всемирной выставки, достиг 140 миллионов песет: у ног алькальда, барона де Вивера, разверзлась бездна. «Поможет только отчаянное решение!» — воскликнул он. Облив бензином свой кабинет, алькальд уже взялся за спички, когда двери распахнулись настежь и к нему ворвались Святая Евлалия, Святая Инеса, Святая Маргарита и Святая Екатерина. На этот раз все четыре сошли с ретабло романского стиля, которое и поныне можно увидеть в архиепископском музее Сольсоны; все они умерли насильственной смертью и в подобных делах разбирались: отобрали у несчастного алькальда спички и призвали его к благоразумию. Святая Инеса привела с собой ягненка, а Святая Маргарита —

ручного дракончика. Святые заставили алькальда отказаться от нелепых мыслей, возникших в его голове в минуту отчаяния: кроме самоубийства, он думал также о возможности поднять народное восстание, хотя эти два решения никак не возможно было совместить. «Примо де Ривера доживает последние дни,— сказали святые мученицы.— Этот зверь уже издает предсмертные хрипы». Затем алькальду напомнили басню о лягушке, которая раздувалась, пока не лопнула. «К тому же народные восстания имеют одну особенность: известно, как они начинаются, но неизвестно, как кончаются»,— сказала Святая Маргарита, день которой празднуется 20 июля. «Сядь у двери своего дома, и ты увидишь, как мимо пронесут труп твоего врага»,— сказала Святая Инеса, чей день празднуется 21 января. Алькальд обещал подождать и не совершать безумных поступков. Ожидание лучше всего подходило к сложившемуся в стране положению: уже никто не верил в корпоративное государство, которое хотел создать диктатор, не хотели и диктатуры, грозившей хаосом, чреватой, возможно, революцией. Общественные работы были завершены, вызвав неудержимую инфляцию, курс песеты непрерывно падал. Для нового военного переворота не хватало только достаточно честолюбивого генерала. Кроме того, 6 февраля, когда оставалось три месяца до открытия Всемирной выставки, королева Мария Кристина умерла от приступа грудной жабы. В 1888 году, будучи регентшей, она открывала Выставку, которую теперь все вспоминали с тоской; смерть ее посчитали дурным предзнаменованием. В Мадриде ходили слухи, что на смертном одре королева посоветовала своему сыну как можно скорее избавиться от Примо де Риверы, и ее слова запали монарху в душу. Вот в какой напряженной обстановке настал день открытия Выставки.



— Вам надо бы поспать, отец. Завтра будет сумасшедший день, и вам понадобятся все ваши силы,— сказала Мария Бельталь.

Изобретатель поднялся с кресла, в котором курил

трубку после ужина. Но вместо того, чтобы отправиться в спальню, как советовала дочь, пошел к двери. «Куда вы, отец?» — спросила она. Не отвечая, Сантьяго Бельталь вышел из охотничьего домика. Хотя у отца имелись все основания быть в этот вечер рассеянным, дочь все же решила пойти вслед за ним; за много лет жизни вдвоем она привыкла не спускать с отца глаз; Мария зашла в свою комнату и захватила шаль, в саду уже было прохладно. Порывистый ветер грозил дождем. Ох, только бы не было дождя, подумала девушка. Она видела, как отец машинально побрел к шатру, этот путь он проделывал каждый вечер, никогда не ложился спать, не навестив свое детище. Иногда ей случалось уговаривать отца вернуться в охотничий домик или упрекать за то, что он провел ночь без сна. Однако сегодня прогулка носила чисто символический характер, так как все машины и горючее уже были перевезены в павильон на Монжуике и летательный аппарат полностью собран. Человек, продолжавший то ли по привычке, то ли из крайней осторожности стоять на часах у входа, любезно приветствовал старика: «Добрый вечер, профессор Сантьяго!» Изобретатель машинально ответил на приветствие, не задумываясь над тем, что он делает. Сторож добавил: «Завтра — великий день, верно, профессор?» Услышав это, изобретатель тряхнул головой. «Как вы сказали?» — спросил он. Сторож оперся прикладом карабина на газон и улыбнулся: «Великий день! — повторил он с восторгом. — Дай Бог, чтобы все было хорошо», — повторил он вполголоса. Изобретатель кивнул. Как любопытно, подумал он, входя в цирк, все волнуются накануне события, все осознают себя его участниками, даже этот наемный убийца, чье участие никак научным не назовешь — оно не соответствует духу нашей деятельности, — и все же можно сказать, что и его счастье в какой-то мере зависит от успеха дела. В свою очередь охранник думал: трудный у профессора характер, но он настоящий ученый; конечно, нынче вечером его одолевают заботы, а дочка-то до чего красивая! Под куполом цирка валялись искривленные железные прутья, обломки упаковочных ящиков, доски; высились кучи стружек, которых было завезено 92 тонны: ими перекладывали для предохранения от ударов дорогостоящие хрупкие детали. От всего этого беспорядка на душе становилось тяжело. Вот и сбылась моя мечта, а я не испытываю никакой радости, а лишь тоску и уныние,

думал Сантьяго Бельталь. В шатре было пусто; такая же пустота царила в его душе. Зато бесконечные годы борьбы показались ему счастливой порой: ведь жил тогда мечтами, подумал он, но уже через секунду понял, что он абсолютно не прав. «А ведь этим мечтам я отдал всю жизнь», — сказал он себе. И спрашивал себя, стоило ли идти на такие жертвы. Из задумчивости его вывел голос сторожа: «Добрый вечер, сеньорита». Это Мария пришла за мной, подумал изобретатель. Вот главная жертва моего безумия. Я всегда ставил на первое место свои бредовые идеи, забывая о ее благе; вместо того, чтобы дать ей то, чего она была вправе ожидать от меня, я всегда пользовался ее заботами. По моей вине жизнь ее была сплошным самоотречением и бесконечным унижением. Он увидел тень дочери в мертвенном свете керосиновых фонарей, освещавших внутренность цирка. Вот и сейчас она пришла следом за мной, считает, что мне нужно пойти поспать, думал он. Может, это как раз подходящий случай сказать ей о том, что я раскаиваюсь в своем себя-любии. Хоть ничего уже не поправить, не искупить зла, которое причинил, и прошлого не вернуть, но, возможно, ее хоть немного утешит то, что я увидел и понял, как глубоко был неправ.

— Отец, вам надо пойти поспать. Уже поздно, и здесь нам делать нечего, — сказала Мария Бельталь. — Вы же видите, все перевезли на Монжуик, даже инженеры ушли; всех уволили.

Она говорила правду: по мере завершения работ мастеров и техников увольняли, а специалистов по современной аэродинамике Онофре Боувиле отсылал на родину, обещая солидные вознаграждения, если они сохраняют в тайне то, что здесь делали, и то, что видели. Теперь проектом занимались только Сантьяго Бельталь и военный инженер из Пруссии, специалист по баллистике, с которым Онофре Боувиле поддерживал тесные отношения во время войны; значение его участия в завершении проекта трудно было переоценить.

— Дочь моя, я хотел бы кое-что сказать тебе.

— Уже поздно, отец. Мы поговорим завтра.

— Нет, вот завтра будет действительно поздно.

Их диалог прервал какой-то человек, вошедший в цирк. Это был мажордом Онофре Боувиле: тот послал его в охотничий домик, а там никого не оказалось, и ему пришлось в голову заглянуть в цирк.

— Сеньор ждет в библиотеке.

Сантьяго Бельталь вздохнул. «Я не должен заставлять ждать нашего благодетеля», — сказал он дочери.

— Я сейчас пойду с вами, — обратился он к мажордому.

Мажордом покачал головой. «Простите, но сеньор ждет не вас, а сеньориту», — сухо сказал он. Изобретатель и его дочь удивленно переглянулись. «Иди, дочка, — сказал наконец Сантьяго Бельталь, — а я тотчас пойду спать, не беспокойся». Наверное, надо бы зайти в охотничий домик на минутку и переодеться, подумала Мария Бельталь.

Он ничего не сказал и даже не поднял взгляд от стола, когда мажордом доложил о приходе Марии Бельталь. «Пусть войдет, запри дверь и можешь быть свободен, — вполголоса сказал он, — сегодня ты мне больше не понадобишься». Мария Бельталь, оставшись с ним наедине и не зная, чего он от нее ждет, приблизилась к столу. Когда она подошла, Онофре Боувила сказал: «Посмотри, знаешь, что это такое?» До тех пор он никогда не называл ее на ты, и это не ускользнуло от нее. От порывов ветра дрожали стекла в окнах. Неужели завтра будет дождь? — подумал он. А вслух сказал: «Это «Регент», самый совершенный в мире бриллиант, он мой, на него я мог бы купить не одну страну. И однако, он помещается в кулаке, посмотри». Он положил бриллиант на ладонь Марии Бельталь и заставил ее сжать пальцы в кулак. На мгновение перед ней сверкнули грани бриллианта, как будто внутри его горела раскаленная нить. «Все имеет свою цену», — сказал он. Она раскрыла ладонь, он взял бриллиант, завернул его в белый платок и сунул в карман халата. Легкая дрожь, которую можно было заметить на его губах, внезапно прекратилась. «Я хотел бы знать, какие чувства ты ко мне испытываешь, — сказал он напрямик. — Если ты испытываешь только чувство благодарности или страха, тогда не говори ничего». Мария Бельталь закрыла глаза. «Двадцать лет я ждала этой минуты», — сказала она слабым голосом. Он резко встал. «Не бойся, — сказал он, — все будет хорошо».

Сантьяго Бельталь проснулся, обливаясь потом. Ему снилось, что он потерял свою дочь навсегда, что никогда

больше ее не увидит. Это глупо, подумал он, зажигая лампу на ночном столике, есть, наверно, какая-то другая причина для моего беспокойства. Посмотрев на часы, он увидел, что уже четыре часа утра. Ветер стих, и небо было чистое, хотя еще и темное, но на горизонте уже светлело; там постепенно гасли звезды. Слава Богу, день будет погожий, подумал он. Но этой перспективы оказалось недостаточно, чтобы его плохое самочувствие совсем прошло. Что-то вокруг не так, сказал он себе. Он встал и босиком вышел в пижаме из своей спальни. В охотничьем домике царил тишина. Изобретатель увидел, что дверь в комнату дочери приоткрыта, и осторожно заглянул. Когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что постель не тронута и Марии нет. Как же так? — удивился Бельталь. Неужели она до сих пор не вернулась от Боувилы? О чем можно так долго говорить? — Старик подошел к окну и глянул на дом — не светило ни одного огонька. Что там происходит? — подумал он. Не теряя времени, чтобы обуться и надеть пальто, вышел из охотничьего домика.

В саду путь ему заступили трое мужчин: один из них был сторож, который несколько часов назад поздоровался с ним у входа в шатер; второй был цирковой силач, приехавший из Италии ставить шатер; третий, которого он прежде никогда не видел, был старик с красноватым лицом и голубыми глазами, на поводке он вел маленькую, неуклюжую собачонку. Этот старик, по-видимому, был главным.

— Будьте добры, сеньор Бельталь, следовать за нами, — сказал старик, — только, пожалуйста, не повышайте голос, мы должны действовать быстро, но без лишнего шума.

— Что? — воскликнул изобретатель. — Кто вы такие, черт подери, что осмеливаетесь командовать? Что значит это нападение?

— Не кипятитесь, сеньор Бельталь, — ответил старик, — мы делаем только то, что приказал сеньор Боувилла. С вашей дочерью ничего страшного не случилось.

— С моей дочерью? — прошипел сквозь зубы изобретатель, потрясая кулаками перед носом старика с собачкой. — Что вы несете? Почему это с моей дочерью должно было что-то случиться, старый ты ублюдок? — И он рванулся к старику, но цирковой геркулес, предвидя это, зашел ему за спину и теперь крепко ухватил за руки.

Тогда изобретатель закричал в голос: «Полиция! Помогите, меня похищают!»

— Никто вас тут не услышит,— сказал старик с собачкой,— но в доме вам придется помолчать, не то вы переполошите всех на свете. Не заставляйте нас прибегать к хлороформу.

Это предупреждение несколько образумило изобретателя, и он предпочел хранить молчание. Неужели все это было обманом? — спрашивал он себя. Неужели мы с дочерью — простые пешки в игре, правила которой нам совершенно неизвестны? В его мозгу рождались ужасные предположения, но он их тут же отвергал, как человек, пробудившийся от сладкой грезы, в отчаянии отвергает грубую действительность. Ну почему это все должно окантаться бессовестной ложью? — говорил он себе. Небо меж тем покраснело, над городом словно разлились отсветы пожара. Что это такое? — думал изобретатель. Неужели Барселону подожгли со всех сторон?

В это самое время Мария Бельталь также смотрела на полыхающий красками великолепный восход дневного светила. «Горизонт будто охвачен пламенем,— тихо сказала она,— словно из-под земли поднимается адский огонь». Она стояла у окна библиотеки, завернувшись в бархатную штору гранатового цвета. Обернувшись, снова увидела разбросанную по ковру одежду, вздрогнула и со страхом еще раз взглянула на грозное небесное пламя. Что теперь со мной будет? — подумалось ей. И в это мгновение она услышала чей-то крик. «Что это?» — спросила Мария Бельталь. Онофре Боувила, уже одевшийся, с нарочитым спокойствием продолжал раскуривать сигару. Прежде чем ответить, задул спичку, аккуратно положил ее в пепельницу и несколько раз затянулся. «Не знаю,— ответил он наконец,— наверно, погонщик выводит мулов; что нам до этого?» Снова послышался крик, и Мария Бельталь снова вздрогнула.

— Это мой отец,— произнесла она упавшим голосом.

— Ну что ты,— сказал Онофре Боувила.— Тебе показалось, просто ты нервничаешь.

Она как будто не слышала его слов.

— Пожалуйста, подай мне мою одежду, я должна выйти посмотреть, что случилось,— попросила она умоляющим голосом.

Он не тронулся с места. Смотрел на нее, щурясь от табачного дыма; его охватывала нежность, когда он

видел ее не прикрытые бархатом плечи и шею, его умиляли ее внешняя хрупкость, растрепанные волосы и часто вздымавшаяся под складками шторы грудь.

— Теперь я тебя никуда и никогда не отпущу,— сказал он наконец, а про себя подумал: не допущу, чтобы ты меня покинула.— Я люблю тебя, Мария, безумно люблю с того дня, когда увидел тебя впервые. И двадцать лет, сам того не зная, страдал по тебе.

— А как же отец? — спросила она.— Что ты с ним сделаешь?

— Ничего дурного,— ответил он.

— Где он сейчас? Что с ним делают твои пособники? — не отступалась Мария Бельталь.

— Они доставят его в надежное место, не беспокойся. Неужели ты думаешь, что я способен причинить тебе какую бы то ни было неприятность? — Лицо его расплылось в спокойной улыбке. В это время в дверь легонько постучали.— Спрячься совсем, не надо, чтоб тебя видели.— И громким голосом сказал: — Войдите.

Дверь отворилась, и на пороге появился старик с красноватым лицом. «Все в порядке? — спросил у него Онофре Боувила. Тот молча кивнул.— Прекрасно, значит, мы отправляемся сейчас же».

Когда дверь за стариком закрылась, Онофре Боувила энергичными шагами подошел к столу. «Выходи,— сказал он,— одевайся и пойдем, не будем терять время.— Затем, видя, что она остановилась в нерешительности, добавил: — Ну хорошо, хорошо, я не буду на тебя смотреть. Но к чему теперь такая стеснительность?» Пока она подбирала разбросанную по ковру одежду, он, стоя спиной к ней, краешком глаза все же поглядывал: а вдруг она воспользуется тем, что он на нее не смотрит, и попытается убежать или же стукнет его по затылку каким-нибудь тяжелым предметом. Но она не сделала ни того, ни другого. Тем временем Онофре Боувила вынул из ящика стола заранее заготовленное письмо, сложил его и сунул в конверт. Затем нацарапал что-то на конверте, заклеил и положил на стол так, чтобы письмо сразу бросилось в глаза. Обернувшись к Марии Бельталь, которая пристегивала чулки, спросил: «Ты готова?» Она кивнула. «Итак, в путь!» — воскликнул Онофре Боувила.

Взявшись за руки, они пошли по коридору. Когда вышли на площадку лестницы, он поднес палец к губам: «Тс-с! Не стоит будить мою жену». На цыпочках подошли

к входной двери. Там их ждал мажордом с перекинутым через руку пиджаком хозяина. Онофре Боувила снял халат и надел пиджак, поданный мажордомом. Затем сунул руку в карман халата; вытащил завернутый в носовой платок бриллиант, переложил его в карман пиджака и похлопал мажордома по плечу. «Ты знаешь, что надо делать», — сказал он. «Да, — ответил мажордом. — Будьте осторожны, сеньор», — добавил он ровным голосом, лишенным каких бы то ни было эмоций. Ничего на это не ответив, Онофре Боувила снова взял за руку Марию Бельталь. Они вышли в сад; трава блестела от росы; по другую сторону канала, за мостом, на красном фоне утренней зари отчетливо вырисовывался автомобиль. Когда они сели, Онофре Боувила сказал шоферу: «Ты знаешь, куда ехать». Вспыхнули фары, прорезая утренний туман, и автомобиль тронулся.

Как ни рассыпались отцы города в льстивых комплиментах, как ни изощрялись в плоских шутках видные граждане Барселоны, хотя и был издан указ о том, что церемония должна быть торжественной, Его Величество Альфонс XIII оставался задумчивым и молчаливым. В покоех дворца Педральбес он вспоминал об ужасном событии, произошедшем двадцать три года тому назад. В ту пору он был еще очень молод и только что вступил в брак с принцессой Викторией Евгенией Баттенбергской. Несмотря на морозящий дождь, на улицах Мадрида было полно народу: всем хотелось посмотреть на торжественный кортеж; августейшая пара молодоженов вышла из церкви Святого Иеронима, где был свершен торжественный обряд, и в королевской карете направилась в Восточный дворец¹. На Калье-Майор из окна дома бросили бомбу, которая упала между лошадьми и каретой и тотчас взорвалась. Ни король, ни королева не были ранены, хоть и перепугались насмерть; поняв, что он цел и невредим, король обернулся к королеве. «Ты цела?» — спросил он. Платье невесты было залито кровью зевак и солдат эскорта, из белого стало красным. Принцесса Виктория Евгения спокойно кивнула головой и коротко ответила: «Yes». При покушении погибло не то двадцать, не то тридцать человек. Прибыв во дворец, король и королева разошлись по

¹ Парадная резиденция испанских королей.

своим покоем переодеться. В складках плаща Альфонс XIII обнаружил чей-то оторванный палец и сунул его в карман брюк, чтобы не заметила королева, а во время торжественной церемонии у подъезда дворца незаметно передал палец графу Романонесу. «Возьми,— сказал он графу,— выбрось». «Ваше Величество,— воскликнул граф,— это же бранные останки христианина!» — «Ну так похороните в Альмудене,— ответил король,— только чтоб я больше их не видал». Пока знать и дипломатический корпус танцевали на балу, тысячи полицейских рыскали по Мадриду, разыскивая покушавшегося на убийство монарших особ. Через несколько дней в Торрехон-де-Ардосе нашли его труп. Разыскиваемого преступника заметил ночной сторож в одном из имений; тот, видя, что положение безвыходно, убил сторожа и затем покончил с собой. Версия содержала ряд противоречий, но была принята без рассуждений: всем хотелось поскорей забыть о кровавом событии. Труп быстро опознали, это был некий Матео Морраль, сын фабриканта из Сабаделя¹, учитель или помощник учителя в Современной школе Феррера Гуардии. С того времени Альфонс XIII считал, что каталонцы — люди, враждебно настроенные по отношению к короне, способные на отчаянные и непредсказуемые поступки. И теперь, перед тем, как отойти ко сну во дворце Педральбес, король положил у изголовья своего ложа несколько охотничьих ружей. «На всякий случай», — пояснил он королеве. В стрельбе из охотничьих ружей он не знал соперников. Выезжая на охоту, что случалось довольно часто, Альфонс XIII брал с собой три заряженных ружья. Из них он мог убить двух куропаток впереди, двух — над головой и двух — сзади. В этом искусстве соперничать с ним мог только Георг V, король Англии. Несмотря на такие меры предосторожности, в эту ночь испанский монарх спал плохо. Когда пришли будить и одевать его, он уже стоял у окна и любовался рассветом: небо пылало, точно гигантский костер. Великолепное зрелище, подумал король, но доброе ли это предзнаменование? Бог знает! В другой части города генерал Примо де Ривера тоже смотрел на небо, отыскивая на нем знамение. Это наверняка северное сияние, знак приближающихся бедствий, а я торчу здесь как болван, решил он. И ему в эту ночь не спалось, мысли путались в голове;

¹ Пригород Барселоны.

он позвал адъютанта и велел подать кофе. Когда тот вернулся, диктатор пыхтел, натягивая сапоги с высокими голенищами. «Разрешите, сеньор генерал», — сказал адъютант, опускаясь на колени. Примо де Ривера взял чашечку кофе и поднес к губам. «Как-то раз, несколько лет назад, захожу я в танжерскую таверну... просто так, понимаешь, промочить горло, и как ты думаешь, кого я там вижу? Угадай». Адъютант пожал плечами: «Не представляю себе, сеньор генерал». «Ну давай, попробуй угадать», — сказал диктатор. Адъютант почесал в затылке. «Как ни думаю, сообразить не могу, сеньор генерал», — сказал он наконец. «Ну назови первое имя, какое придет тебе в голову», — настаивал диктатор и с улыбкой добавил: — Все равно ведь не угадаешь. — Глотнув кофе, шумно вздохнул. — Что может быть лучше чашечки крепкого кофе натошак!» Издалека донесся надтреснутый звук трубы, затем послышалась барабанная дробь, и грянул духовой оркестр, репетировавший марш. «Ох, — проворчал диктатор, — всегда играют одно и то же и всегда фальшивят. Где мои медали?» Адъютант подал ему черную шкатулку с инкрустированной на крышке короной; шкатулка эта принадлежала когда-то его дяде, первому маркизу де Эстелья. Примо де Ривера открыл крышку и поглядел на свои медали с гордостью и тоской. «Так что же, так и не скажешь, кого я повстречал в танжерской таверне?» — спросил он адъютанта. Адъютант, прежде чем ответить, вытянулся по стойке «смирно»: «Буффало Билла¹, сеньор генерал», — отрапортовал он. Примо де Ривера изумленно уставился на адъютанта. «Черт побери! Как ты догадался?» «Прошу прощения, сеньор генерал, — краснея, ответил адъютант, — это чистая случайность, клянусь жизнью моей матери!» «Незачем извиняться, — милостиво успокоил его диктатор, — ты не сделал ничего дурного».

В этот час барон де Вивер тоже готовился к исполнению своих обязанностей, хотя в груди у него все кипело: накануне он принял в своем кабинете в аюнтамьенто начальника протокольного отдела Королевского двора, который показал ему какие-то непонятные планы и совершенно развязным тоном дал жесткие указания. «Какая беспардонность! — возмущался теперь алькальд Барсело-

¹ Буффало Билл (настоящее имя Коди, Вильям Фредерик; 1846—1917) — исследователь жизни американских индейцев; герой приключенческих фильмов.

ны.— Указывать мне, что, где, когда и как я должен делать! Где это видано? О чем они думают? Вы — в моем городе, молодые люди! — Он почти кричал, вздевая руки к небу и кружа по комнате.— И кто только придумал такой протокол? — вопрошал алькальд, взывая к пустоте.— Сначала Его Величество, потом члены королевской семьи, за ними — Примо де Ривера и его министры, а потом королевский комиссар Выставки, сеньор епископ, послы и посланники... А я? Куда мне прикажете деваться? Ехать в фургоне в самом хвосте?» Не раз алькальд бросался к дверям, хватался за ручку, словно решил выйти из комнаты, но застывал в этой позе, отпускал ручку и снова принимался кружить, но в обратном направлении. «Нет,— сказал он себе, внезапно успокоившись,— такое отношение ко мне не может быть случайным, его не объяснить неведением или невежливостью; это, несомненно, умышленное оскорбление и моей особы, и моей должности, а стало быть, и всей Барселоны». Подобные соображения разгорячили его, и он продолжил свой монолог, который все более походил на бред сумасшедшего. «Я отомщу, клянусь Всемогущим Богом, отомщу! — цедил он сквозь зубы.— В самый разгар торжественной церемонии растегну штаны и помочусь ему на сапоги, и пусть он расстреляет меня на месте, если посмеет!» Но вспышки ярости быстро проходили, он тут же впадал в уныние, и все виделось ему в черном свете. «Да так ли все, как мне представляется? Может, у меня мания величия? Какое право я имею утверждать, будто моя особа представляет город? Разве я, скорей, не самый последний его слуга, не самый жалкий из его чиновников? И в оппозиции-то я не состоял; меня назначил самолично Примо де Ривера. И я, возможно, теперь выступаю против общего блага? Ах, не знаю, что и подумать, голова идет кругом.— К этому времени сквозь облака проглянуло голубое небо, красочная утренняя заря уступила место дню: алые облака растаяли в воздухе, и засияло чистое и тихое весеннее утро.— Что же такое жизнь?» — горько вздохнув, спросил себя алькальд.

Пока камергер вел короля по залам и коридорам дворца Педральбес, Его Величество натягивал перчатки. Безобразие! — думал он. Такой огромный дворец для того лишь, чтобы мы провели в нем две-три ночи. Король шел широкими шагами, и придворным из свиты приходилось семенить, чтобы не отстать от него; лишь королева, как

истая англичанка, шла рядом с ним без видимых усилий и могла даже разговаривать на ходу. «Ты, очевидно, знаешь,— говорил Альфонс XIII,— что это уже вторая Всемирная выставка, которую я открываю в Барселоне. На предыдущей я был карапузом двух лет от роду и, конечно, ничего не помню, но мать мне о той выставке не раз говорила». Детские воспоминания короля всегда были связаны с официальными событиями: его отец, Альфонс XII, умер до рождения наследника. «Я родился сразу королем»,— любил говорить Альфонс XIII. Принимавшие роды акушерки и повитухи просили у новорожденного разрешения, прежде чем пошлепать его, чтобы он подал голос. И он с самого начала зависел от матери, а теперь она умерла. «К сорока четырем годам все события в жизни начинают повторяться»,— сказал король, садясь в карету, которая должна была везти его на Монжуик.

«Что бы ты там ни говорил,— заявил Примо де Ривера,— но уверяю тебя, это была подделка, игра, рассчитанная на дураков». «Раз это говорите вы, сеньор генерал, значит, так оно и есть,— сказал адъютант,— но так гласила афиша: „Буффало Билл, настоящий и единственный в своем роде“». — «Ерунда! — возразил диктатор.— Буффало Билл умер в семнадцатом году, я знаю наверняка. А скажи-ка, в этом фильме, который ты смотрел, в этом спектакле участвовали индейцы?» Автомобиль, в котором они ехали, мчался по улицам Барселоны на полной скорости. Уже было поздно, и следовало спешить, чтобы попасть на Выставку раньше королевской четы. Если Их Величествам придется ждать диктатора, может оказаться нарушенным шаткое равновесие, в котором находились составные части политической головоломки, решаемой страной, и последствия такого простенького случая могут быть поистине катастрофическими. Лицо адъютанта просияло:

— Индейцы? Еще бы, сеньор генерал! Как визжали эти сукины дети!

— Ладно. А ковбои?

— Были и ковбои, сеньор генерал.

— Ты уверен? Ковбои — это парни, которые бросают лассо.

— Были, вот как Бог свят, сеньор генерал.

На всем пути вдоль улиц стояли, хоть и немногочисленные, любопытные. К ним присоединялись прохожие, которые останавливались, услышав sireны мотоциклис-

тов почетного эскорта диктатора, прокладывавших путь автомобилю. Однако никто не аплодировал, не размахивал платком, а многие, полагая, что приближается королевский кортеж, едва удерживались от того, чтобы открыто не проявить свое разочарование, и то лишь потому, что по краям тротуара стояли полицейские.

— А дилижанс?

На лице адъютанта явно выразилось недоумение.

— Дилижанс? А что такое дилижанс, сеньор генерал?

— Ага, я же тебе говорил!..— воскликнул диктатор. Шофер резко затормозил, так что диктатор чуть не ткнулся в спинку переднего сиденья.— Эй, в чем дело? — глянул в окно и увидел улыбающиеся лица.— А-а, приехали. Слава Богу, Его Величество еще в пути. Ну вылезай, чего ты ждешь,— поторопил он адъютанта.

Примо де Ривера вышел из автомобиля под гром аплодисментов. Пели фанфары, гремели барабаны. Барон де Вивер, зажатый в толпе видных деятелей, встречавших диктатора, вытянул шею и уставился красными от бессонницы и злобы глазами на своего смертельного врага. Выглядит он неважно, отметил про себя алькальд. Готов поклясться, что он болен. От этой мысли вся его неприязнь к диктатору мгновенно испарилась. Тут как раз ударил орудейный залп. За ним другой, третий, и так до завершения положенного ритуалом салюта. Батареи замка салютовали королю, прибывшему на Монжуик. Толпа повлекла барона де Вивера к Национальному дворцу, в праздничном зале которого должна была состояться торжественная церемония открытия Выставки. Вся территория Выставки была запружена народом. Из дворца видно было море голов. По завершении торжественного акта король и королева вышли на балкон, и толпа разразилась приветственными возгласами, не смолкавшими довольно долго. Некоторые, считая себя надежно защищенными густой толпой, кричали: «Долой Примо де Риверу!» Маркиз де Ут, учуяв в выкриках симптомы скорого падения своего покровителя, протиснулся поближе к королю, решив снова добиваться его расположения. Вытянув вперед руку, театральным жестом обвел величественную панораму, открывшуюся взорам всех, кто стоял на балконе.

— Взгляните, Ваше Величество, что может предложить вам Каталония: своих людей, свой разум, свой труд,— почти пропел он фальцетом.

— И свои бомбы,— сказал король, вспомнив Матео Морраля.

Маркиз хотел что-то ответить, но не нашел нужных слов. К тому же в этот момент внимание монарха и всех стоявших на балконе привлекло неожиданное явление. По правую руку от балкона, в глубине площади Универсо, неподалеку от проспекта Риус-и-Тауле, стоял круглый павильон, странным образом напоминавший шатер цирка шапито. В отличие от других павильонов над ним не было ни флага, ни эмблемы. На это обстоятельство, равно как и на странности, связанные с постройкой этого павильона, до этой минуты никто не обращал внимания. А теперь оттуда донеслось какое-то урчанье, напоминавшее гул мотора при взлете самолета. Оно все усиливалось, переросло в рев, заглушило гомон толпы. Директора Выставки не представляли себе, что им делать: их было столько, что никто не знал, каковы же его собственные обязанности и за что он отвечает. Они испуганно переглядывались друг с другом, и каждый норовил спрятаться за спину другого. Наконец, слыша, что шум не утихает, и видя, что никто ничего по этому поводу не предпринимает, сам Примо де Ривера начал отдавать грозные приказы окружающим его офицерам; те в свою очередь передавали их офицерам, командовавшим соответствующими подразделениями. Через некоторое время к павильону направились такие силы: отряд Городской Жандармерии под командованием лейтенанта дона Альваро Планаса Гасули, взвод пехоты из Бадахоса под командованием капитана дона Агустина Мерино дель Кордонильо, рота Гражданской гвардии под командованием капитана дона Анхеля дель Ольмо Мендеса, эскадрон кавалерии сил безопасности под командованием капитана дона Антонио Хулиа Кубельса, рота местной службы безопасности под командованием лейтенанта дона Жозе Марии Пералеса Фауры, эскадрон кавалерии из Монтасы под командованием майора дона Мануэля Хименеса Сантамарии, отряд моряков под командованием сержанта Томаса Пиньоля-и-Мальофре и бесчисленное множество полицейских в штатском. Всего туда было направлено свыше двух тысяч человек, которые теперь пытались пробраться сквозь толпу, а в толпе уже началась паника; многие помнили о кровавых событиях в праздник Тела Христова и в других случаях и, подумав, что оказались в таком же положении, пытались любым спо-

собою выбраться из толпы. Кое-где возникла давка, которая, как известно, опасней всякой бомбы. По какой-то непонятной причине хлопнул выстрел, после чего поднялся адский крик, обычно предшествующий страшным трагедиям. С балконов Национального дворца, где собрались власти, все взоры были устремлены на круглый павильон, стены которого начали дрожать, будто он на самом деле представлял собой огромное взрывное устройство. Военные, продвигавшиеся к странному павильону, остановились, так как навстречу им, смятая заслоны, ринулась толпа. «Какой скандал! — хором восклицали распорядители Выставки. — Какой позор для города!» И заранее представляли себе, что будут писать на следующий день газеты всего мира, а может, и в тот же день в экстренных выпусках, мысленным взором видели заголовок: «Барселона оделась в траур» и текст: «Трагедия произошла из-за плохого обеспечения безопасности, за что несет ответственность дон...» — и тут каждый читал свое имя, напечатанное жирным шрифтом. Но события развивались и не оставляли времени на размышления: купол павильона, приводимый в движение гидравлическими механизмами, начал раздвигаться, так как, видимо, состоял из двух половинок, уходивших в пазы, имевшиеся в стенках. Из образовавшейся в куполе широкой щели вырвался наружу горячий вихрь, столбом уходивший в небо. Наконец обе половины купола полностью скрылись в пазах, и павильон стал похож на открытый с одного конца цилиндр, что придавало ему вид мортиры. Никто уже не сомневался, что оттуда появится какая-то невиданная машина. И действительно, через несколько секунд из павильона выплыла загадочная машина и повисла в воздухе, точно небесное тело. Теперь ее можно было видеть с любой точки Выставки и даже за ее пределами. Толпа, притихшая, после того как улеглась паника, разразилась криками удивления и восторга. И было из-за чего: машина имела овальную форму, длина ее составляла около десяти метров, ширина — около четырех. Размеры эти были определены на глазок и по сей день являются предметом споров, а в действительности случилось так, что ни машину, ни чертежей, по которым она была построена, с тех пор так никто и не видел. Хвостовая часть машины была из гладкого блестящего металла, носовая — из стекла, державшегося на каркасе из стальных и гибких деревянных полос. Соединялись обе половины, по-

видимому, обручем шириной примерно в полметра, вроде тех, какими скрепляются бочки. В этом обруче горели сотни электрических лампочек, окутывавших машину световым нимбом. Было очевидно, что хвостовая часть содержала двигатель, который обеспечивал горизонтальное перемещение машины и поддерживал ее в воздухе, а носовая часть предназначалась для пассажиров, чьи силуэты смутно виднелись в густых клубах дыма, окутавшего машину при подъеме. Толпа была поражена при виде такого чудесного изобретения, и даже Его Величество король, стряхнув с себя равнодушие и сонливость, одолевавшие его с утра, восхищенно присвистнул и тихонько пробормотал: «Parbleu!»¹ Все гадали, что бы это могло быть, а некоторые тут же делились своими догадками: «Это, несомненно, марсиане, которые избрали именно барселонскую Выставку, чтобы показать жителям Земли достижения своей высокоразвитой техники». Их выбор, злорадно думали они, заставит скрежетать зубами от зависти Париж, Берлин, Нью-Йорк и прочие кичливые города. В те годы никто не отрицал возможность обитания разумных существ на других планетах. По этому поводу рассказывались всякие сказки, которые ученые пропускали мимо ушей. Эти существа, или инопланетяне, как их назовут впоследствии, неизменно изображались художниками, иллюстрировавшими научно-фантастические книжки, с человеческим телом и рыбьей мордой. В большинстве случаев их рисовали голыми, что несколько не нарушало приличий, так как существа эти не отличались друг от друга органами продолжения рода, к тому же тело их было покрыто чешуей; если на них иногда и было что надето, то разве что камзол и короткие панталоны. Нос стали изображать в виде хоботка намного позднее, в сороковые годы, когда кинематограф с помощью микроскопа получил возможность показывать в большом увеличении moskitov и других насекомых. Что же касается разума пришельцев из других миров, в народе обычно именуемых «марсианами», то исходили из того, что он у них гораздо выше развит, чем у землян; намерения пришельцев считались мирными, а темперамент — вялым. Все эти размышления, однако, заняли всего какую-нибудь минуту, так как машина, поднявшись над Национальным дворцом, описала полукруг и начала

¹ Черт возьми! (франц.)

медленно снижаться над бассейном Волшебного фонтана. И тут все увидели, что в машине сидят обыкновенные люди из плоти и крови, а сама машина — разновидность аппарата, который в те времена именовали «геликопланом», «ортоптером», «орнитоптером» или «геликоптером», то есть это был самолет с вертикальным взлетом и посадкой. В предыдущие годы с такими машинами производились различные опыты, которые до того времени, однако, не дали обнадеживающих результатов. 18 апреля 1924 года маркизу де Пескара удалось совершить вертикальные взлет и посадку в Исси-ле-Мулино, но по горизонтали его аппарат преодолел ничтожно малое расстояние — всего 136 метров. Годом раньше, в 1923 году, испанский инженер Хуан де ла Сьерва изобрел менее оригинальную, но более мощную машину. Она получила название «автожир» и представляла собой обыкновенный самолет (с традиционными крыльями, элеронами, фюзеляжем и хвостовым оперением), к которому добавили лишь многолопастный горизонтальный винт; этот винт помещался над фюзеляжем самолета и вращался встречным потоком воздуха, создаваемым при движении самолета вперед; потом, когда мотор останавливался и самолет начинал камнем падать вниз, масса воздуха, обтекающего корпус при падении, завихрялась и вращала верхний винт, который создавал сильное торможение, снижая скорость приземления аппарата. Когда были решены некоторые побочные проблемы, например проблема согласования работы винтов или проблема остойчивости, автожир стал надежной и практичной машиной: в тридцатые годы такие машины совершали регулярные беспосадочные рейсы Мадрид — Лиссабон. Но между этим изобретением и аппаратом, который мог бы вертикально взлетать и садиться, а также зависать в воздухе, лежала глубокая пропасть. Вот эту пропасть легко преодолел летательный аппарат, который сейчас парил над Всемирной выставкой. Он поднимался и опускался по воле пилота, зависал неподвижно на любой высоте, точно лампа с регулируемым шнуром, и перемещался горизонтально без грохота и тряски. Уже одно это было чудом, но летательный аппарат к тому же проделывал все эти маневры без помощи воздушных винтов.

Поблизости от Выставки, на пустырях вырос целый поселок из жалких лачуг; здесь ютились тысячи приезжих рабочих. Неизвестно, кто распорядился так ставить эти самые лачуги, чтобы получились улицы, да к тому же, чтобы улицы эти, пересекаясь, образовывали квадраты. У дверей некоторых лачуг стояли деревянные ящики, в них держали кроликов или цыплят; крышки заменяли куском металлической сетки, так что можно было видеть сбившихся в тесноте обитателей ящика. У дверей других лачуг дремали тощие собаки с мутными глазами. Перед одной из таких дверей остановился автомобиль, и из него вышли Онофре Боувила и Мария Бельталь. Пес для порядка зарычал, когда они проходили мимо, и снова задремал. Нечесаная растрепанная женщина в лохмотьях, которую предупредил об их приезде шум автомобиля, отодвинула дерюжную занавеску, прикрепленную у входа к притолоке и заменявшую дверь. Лачуга представляла собой четыре куса фанеры — четыре стены, поставленные прямо на землю; крыша из тростника и сухих пальмовых листьев позволяла ранним утренним лучам беспрепятственно проникать сквозь щели. Приехавшие вошли, и растрепанная женщина снова опустила занавеску. Потом она тупо уставилась на Онофре Боувилу. Видно было, что она только что пробудилась от крепкого сна. «А где твой муж? — спросил Боувила. — Почему его нет дома?» Женщина подбоченилась и откинула голову, но в ее позе не было ни угрозы, ни вызова; казалось, она вот-вот презрительно расхохочется. «Он те деньги, что ты даешь, тратит на водку и потаскух», — пояснила женщина, покосившись на Марию Бельталь. «Это его дело, — ответил Онофре Боувила, не обращая внимания на косой взгляд женщины. — С какой стати я стану вмешиваться?» Дерюжка на дверях шевельнулась, и в лачугу вошел пес. Он ткнулся мокрым носом в подол Марии Бельталь и принялся обнюхивать ее икры, время от времени громко чихая. «Ну, а чего мы ждем?» — как бы без причины обратился Онофре к Марии Бельталь, все так же не выпуская ее руки. Женщина стала на колени и руками начала отгребать в сторону землю, пока не показался люк. Пригрозив псу, заинтересовавшемуся лазом, она потянула за кольцо и открыла

люк. Из ямы поднимались к открытому лазу вырубленные в земле ступени. Онофре Боувила вытащил из кармана несколько монет и протянул их женщине. «Спрячь куда-нибудь, где твой муж не найдет», — посоветовал он. Женщина криво усмехнулась, обводя глазами помещение: «Да где ж такое место?» Не обратив внимания на ее слова, Онофре уже спускался вниз по лестнице и тащил за собой Марию Бельталь. Карманным фонариком он освещал узкий проход, по которому они прошли метров сто, пока не наткнулись на лестницу, такую же, как та, по которой спустились. На самом верху тоже был люк; он открылся, едва Онофре три раза постучал рукояткой фонарика. Теперь они находились внутри павильона. Это было железобетонное сооружение, во всем повторяющее шатер, в котором еще несколько дней назад работали и который стоял пустой в саду. Однако, в отличие от шатра, в павильоне не было ни дверей, ни окон, войти и выйти можно было только через лаз. Впустил их мужчина в годах, с красноватым лицом; поверх уличного костюма на нем был белый халат хирурга. При виде Онофре Боувила он нахмурил брови и ткнул указательным пальцем в наручные часы, словно хотел спросить: «Пора?» Онофре Боувила свел с ним знакомство в годы мировой войны, он был тогда всеми уважаемым инженером, специалистом по баллистике. Крушение империй в Центральной Европе оставило его без работы; десять лет он существовал, ведя занятия по физике и геометрии в Тюбингене, в коллегии религиозного ордена братьев-маристов. Там он и получил в начале 1928 года письмо от Онофре Боувила, в котором тот приглашал его перебраться в Барселону, «чтобы принять участие в проекте непосредственно по вашей специальности». В одном из тюбингенских банков ему предоставят сумму, необходимую для покрытия расходов по переезду. «Сожалею, что не могу изложить суть проекта по причине самой природы проекта и в связи с некоторыми сложностями», — заканчивал Боувила письмо, поясняя поставленный в нем вопрос. Стиль письма напомнил прусскому инженеру добрые старые времена. Он сел в поезд и прибыл в Барселону к вечеру четвертого дня, проведя в дороге пять ночей и нигде не останавливаясь. В пути обычное для него дурное расположение духа еще усилилось и раздражительность обострилась. Когда Онофре Боувила наконец изложил суть дела, показал чертежи и сообщил, чего от него ждет, инженер сорвал с себя

очки, швырнул на пол библиотеки, где происходила встреча, и стал их топтать. «Проект бестолковый,— сказал он,— измыслил его человек бестолковый, вы самый бестолковый человек, какого я только знал». Онофре Боувила улыбнулся и дал ему возможность выговориться. Он знал, что жизнь инженера в тубингенской коллегии была полна неизбывных мучений: ученики прозвали его «генерал Бум-Бум» и избрали мишенью для самых жестоких шуток. Теперь благодаря ему безрассудные идеи Сантьяго Бельталь приняли совсем иное обличье и могли обрести черты некоего научного открытия. Он превратил гениальную ерунду в машину, способную летать. Со своей стороны Онофре Боувила был вынужден проявить все свое терпение и авторитет для умиротворения ожесточенных схваток, поминутно возникавших между каталонским изобретателем и прусским инженером. Только он сумел сделать так, чтобы их сотрудничество оказалось плодотворным. Сегодня машина занимала весь центр павильона, укрытая, словно кружевной мантилей, переплетением строительных лесов. «Уникальная вещь! — вскричал он. — Великолепно!» Инженер вздохнул: ему было больно, что столько таланта, сил и денег было отдано аппарату, предназначенному исключительно для развлекательных прогулок. Онофре Боувила, чересчур хорошо знавший причину этой скорби, не захотел разделить ее: момент был неподходящий для жарких академических споров. Раздались выстрелы, оповещающие о прибытии на Выставку королевской фамилии. «Вперед»,— сказал он. По павильону шныряли какие-то мужчины в синих комбинезонах, измазанных маслом; каждый выполнял свои обязанности, не обращая никакого внимания на то, что делают другие; никто не разговаривал, не прерывал своего занятия, чтобы покурить или пропустить глоток: прусскому инженеру удалось внедрить привычную ему дисциплину в эту команду; здесь работали лучшие механики, они не отрывали глаз от инструментов, даже когда Мария Бельталь проходила мимо них. Мария Бельталь поняла теперь, зачем Онофре ее сюда привел, и попыталась незаметно ускользнуть. Он взял ее под руку, крепко, но не проявляя силу. В глазах Марии он прочитал ужас. «Она не доверяет отцовскому изобретению,— подумал он,— а меня принимает за безумного. Может, она и права».

Далеко внизу видна была вся площадка Всемирной выставки. Как удивительно, думал он, отсюда все кажется

ненастоящим, быть может, бедняжка Дельфина и была права, когда говорила, что весь мир в действительности кинематограф. Спустишь-ка я пониже, посмотрю на лица, добавил он мысленно. Онофре передвинул рычаги на пульте управления, и машина стала снижаться. Толпа уже успокоилась и наблюдала за этими маневрами, стараясь не пропустить подробностей. «Смотри, смотри! Онофре Боувила! — принялись все пояснять, едва расстояние, отделявшее толпу от летательного аппарата, позволило разглядеть его экипаж. — Да, это он, это он... а девушка с ним? Она кто? Вроде молодая, хорошенькая. Ой, а юбка-то какая на ней короткая! Какая она миленькая!» Все эти суждения и другие подобные были высказаны с любовью, переходящей в набожное поклонение. Ходившие в народе слухи о сказочном богатстве и средствах, которыми он не брезговал, чтобы его обрести, превратили Онофре Боувила в личность популярную: когда он шел по улице, люди останавливались и, хоть и делали вид, будто он их не интересует, но разглядывали настойчиво и неотрывно; они пытались прочесть на его физиономии, правда ли все то, что они о нем слышали, или нет. Завидев его неброскую, даже обыденную фигуру, все задавались вопросом: неужели действительно он был в юности анархистом, вором и наемным убийцей? А в войну наживался на торговле оружием? Что он содержал не одного известного политического деятеля и даже целые кабинеты министров? И что всего этого он достиг сам и без всякой помощи, начав с нуля, лишь благодаря смелости и силе воли? В глубине души каждый был готов поверить, что все именно так и было: в этом человеке нашли свое воплощение всеобщие мечтанья, при его посредничестве свершалось коллективное возмездие. «И даже если он и в самом деле был злодей, так что из того? — говорили они. — Разве в этой стране сегодня есть другой путь для настоящего мужчины?» Вот потому, узнав его, толпа и разразилась приветственными криками; оvationи, которые прежде служили данью королю, теперь предназначались ему. «Смотри, смотри, как они меня приветствуют, — сказал Онофре Боувила, обращаясь к Марии Бельталь, которая едва отважилась открыть глаза. — Знаешь, люди хорошие, — добавил он, сильно повышая голос, чтобы перекрыть шум моторов, — очень хорошие, подумай, чего только они не позволяют делать с собой, никак не сопротивляясь». Говоря это, он слегка дотронулся до кнопки, и тогда

автоматически раскрылось какое-то отделение в задней части машины, и оттуда вылетело несколько дюжин голубей. Почувствовав свободу и испугавшись соседства летательного аппарата, голуби тесной стаей ушли в небо. Такое зрелище никого не оставило равнодушным, никто не сдержал ликующих криков, даже сам король. Онофре был доволен достигнутым эффектом и повернул машину, чтобы она медленно прошла совсем низко над балконами Национального дворца, грозившими рухнуть под тяжестью важных лиц, собравшихся там. Теперь он мог отчетливо видеть всех присутствующих, так же как и они могли разглядеть его. «Смотри, смотри,— сказал он,— вот король. Да здравствует король! Да здравствует королева! Да здравствует дон Альфонс XIII! — закричал он, хотя отлично знал, что слышать его могла только одна Мария Бельталь.— О, вон Примо де Ривера! — продолжал он.— Чтобы ты лопнул, старый пьяница! — Так он узнавал знакомые лица и показывал их своей спутнице.— Видишь вон того, высокого, того, что возвышается над всеми головами? — под конец сказал он.— Эфрен Кастельс, единственный искренний друг, который у меня был в жизни. Впрочем, может, конечно, были и другие, но теперь никого из них уже нет. Ну вот,— меняя тон, сказал Онофре,— не стоит грустить! Отправимся в другие места, здесь мы уже все видели». Он повернул один из рычагов до упора, машину подбросило вверх и развернуло в вираже назад. Теперь под собой они видели весь город, горную гряду Кольсерола, реки Люборгат и Бесос и беспредельное, сверкающее море. «Ах, Барселона,— сказал он, и голос его изменился от прилива чувств,— до чего же ты хороша! И подумать только, ведь, когда я приехал сюда, всего того, что мы теперь видим, еще не было. Здесь зеленели поля, стояли низенькие домишки, а там, где сейчас теснятся жилые кварталы, были деревни,— радостно говорил он.— На Энсанче паслись коровы; тебе все это кажется фантазией. Я жил вон там, в переулке, он и сегодня такой, как был, в пансионе, который давным-давно закрылся. Народ жил живописный. Вспоминаю, что была там прорицательница, и однажды ночью она предсказала мне будущее. Конечно, я уже ничего не помню из того, что она говорила. А если бы и помнил, так какое это имеет значение? Теперь то будущее уже стало прошлым».

Все, кто следил за маневрированием аппарата с Мон-

жуика, и все, кто встревожился из-за шума моторов и вышел на балкон или поднялся на плоскую крышу, увидели, как летательный аппарат изменил направление и взял курс в сторону моря, словно его уносил внезапно поднявшийся западный ветер. Вдали от берега аппарат потерял высоту, потом на несколько мгновений взмыл вверх и рухнул в море. Рыбаки, занимавшиеся своим делом по соседству как раз в то время, рассказывали, как с ужасом увидели над головой летательный аппарат. Они не знали, что это такое. Некоторые подумали о метеорите, об огненном шаре, брошенном на них с небес; однако они не могли с уверенностью сказать, действительно ли машину охватило пламя или это били в глаза солнечные лучи, отраженные металлом и стеклом. Но все, напротив, сходились на том, что, когда машина достигла точки, в которой упала, моторы ее внезапно заглохли. Шум прекратился, и шепот волн снова вернул морю чувство вечного, непреходящего. «Все казалось недвижимым, было ощущение, будто время остановилось», — писали в газетах. Потом аппарат грохнулся в море, словно по нему выпустили снаряд из пушки. Те, кто был на месте, где, как полагали, рухнула машина, не нашли от нее и следа. Даже масляного или бензинового пятна на поверхности воды не было. Все расходилось в отношении точного места, в котором произошла катастрофа, ни у кого в лодке не оказалось хотя бы самых примитивных медицинских инструментов. Морская комендатура выслала несколько судов. Некоторые страны предложили помощь, им хотелось принять участие в экспедиции по спасению. На самом же деле все интересовались воссозданием летательного аппарата ради того, чтобы присвоить секрет его действия, но общие усилия не дали никакого результата. Водолазы спускались и поднимались на поверхность с пустыми руками. Зонды извлекали из глубин лишь песок и водоросли. Наконец буря вынудила прервать спасательные работы, и когда на море снова наступил штиль, их уже не возобновили. Трупы экипажа не всплыли, и поэтому надо было отслужить заупокойную службу в соборе. После стали кидать венки в темные воды порта; течение унесло венки в открытое море. Газеты публиковали некрологи, обычные в подобных случаях, напыщенные и выпренные. Появились также очерки, посвященные биографии Онофре Боувилы, которая была изложена надлежащим образом и служила для поучения читателей. Все сходились на том,

что от них ушел великий человек. «Наш город на веки вечные обязан его светлой памяти»,— писала в этих числах одна газета. «Он ярче, чем кто бы то ни было, символизировал дух этой эпохи, которая в какой-то мере умерла вместе с ним»,— писала другая. «Звезда его взошла ко времени открытия Всемирной выставки 1888 года и закатилась ко времени открытия нынешней, тысяча девятьсот двадцать девятого»,— делилась своими наблюдениями третья. «Как же нам следует трактовать это совпадение?» — с явным лукавством заключала она вопросом свою публикацию. Действительно, Выставка, торжественное открытие которой Онофре Боувила так эксцентрично оживил, грозила обернуться оглушительным провалом. В октябре того же года, через четыре месяца после торжественного открытия Выставки, разразился скандал на нью-йоркской бирже. За одну ночь, никто даже ахнуть не успел, капиталистическая система зашаталась: тысячи предприятий обанкротились.

Представители Онофре Боувила появлялись в павильонах и дворцах Выставки и увозили экспонаты до того, как приходили судебные исполнители, чтобы наложить на них эмбарго. Многие участники Выставки покончили с собой: страшась бесчестия, выбрасывались из окон своих контор, расположенных в верхних этажах небоскребов Уолл-стрита. Не желая оголять павильоны и поражать этим посетителей, испанское правительство заменяло изъятые экспонаты чем попало. И скоро в некоторых павильонах оказалось выставлено бог знает что. Все эти события заглушили ходившие по Барселоне вздорные слухи: Онофре Боувила вовсе не умер, катастрофа была только разыграна, а он живет себе преспокойно в дальних краях с Марией Бельталь, познал наконец истинную любовь и посвящает любимой каждый час своей жизни. В подтверждение этой романтической версии приводились различные факты. В самом деле, перед катастрофой сам Боувила распорядился всем так, чтобы не только невозможно было найти аппарат, как оно и оказалось впоследствии, но и ознакомиться с чертежами и встретиться с техниками, участвовавшими в строительстве. Когда наконец армейским саперам удалось проникнуть в павильон, проломив брешь в стене, они нашли там лишь доски от лесов. Люк в конце концов был обнаружен, но открывшийся за ним проход вывел лишь к заброшенной лачуге. Не менее подозрительным было и то обстоятельство, что Онофре

Боувила захватил с собой «Регент», превосходнейший бриллиант, и он был при нем, когда случилось несчастье. К тому же и события того года позволили кое-кому выдвинуть предположение, что Онофре Боувила стоял за кулисами мирового экономического краха, хотя никто не мог сказать, какие мотивы заставили его действовать таким образом. Тогда все взоры обратились на его вдову, но та не могла ничего объяснить. Дом был продан Провинциальному представительству Барселоны, которое быстро привело его к бывшему запустению, ничего не ремонтировало, пока дом не превратился в развалины. Вдова меж тем переехала в шале в Льяванерасе, ранее принадлежавшее бывшему губернатору Лусона, генералу Осорио-и-Клементе. Там она и прожила уединенно до самой своей смерти, случившейся 4 августа 1940 года. После ее смерти остались кое-какие бумаги, но среди них не было письма, которое Онофре Боувила положил на письменный стол перед отъездом на Монжуик одиннадцать лет назад. Мало-помалу эти и подобные им слухи глохли, ибо время шло, ничто их не поддерживало, и более насущные проблемы беспокоили теперь умы барселонцев. А Всемирная выставка приходила в упадок. Общественное мнение открыто насмехалось над организаторами, а через них, косвенным путем, и над правительством Примо де Риверы. Недоверие к диктатору возрастало. Вопреки строгостям цензуры многие смело сравнивали Выставку 1929 года с Выставкой 1888 года, первую жестоко критиковали, зато последнюю восхваляли, о возникавших в те времена проблемах никто уже не помнил, забыты были дебаты и непримиримая вражда, не заходила речь об огромном долге аюнтамьенто. Барон де Вивер теперь жалел о своей уступчивости. «Чтобы покончить с болтовней, бросающей тень на всех нас,— говаривал он,— мы заложили наш город». Вскоре ему пришлось уйти со своей должности. Сам Примо де Ривера, главный инициатор Выставки, на успех которой он возлагал столько надежд, не смог в конце концов сохранить свое положение ввиду полной непопулярности: в январе 1930 года он подал в отставку, король ее принял, не скрывая удовлетворения. Посрамленный диктатор тотчас уехал в Париж, в добровольное изгнание, но прожил там лишь несколько месяцев — умер он 16 мая 1930 года, за несколько дней до годовщины Всемирной барселонской выставки. А вскорости и сам Альфонс XIII отрекся от испанского престола и отбыл

в изгнание. За этими событиями последовали другие, не менее важные. Одни были радостными, другие — печальными; потом те и другие накрепко соединила коллективная память, в конце концов образовалась единая цепь событий, приведших к войне и страшному кровопролитию. А еще позже историки стали говорить, что упадок города начался как раз в тот год, когда Онофре Боувила исчез из Барселоны.

ЭДУАРДО МЕНДОСА

Город чудес

Роман

ИБ № 4748

Контрольный редактор Н. Матяш
Художник Ю. Лютер
Художественный редактор К. Баласанова
Технический редактор Р. Никифорова
Корректор Г. Иванова

Подписано в печать 30.01.90. Формат 84х108/32.
Бумага офсетная. Гарнитура Тип Таймс. Печать офсет.
Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 23,42. Уч.-изд. л. 23,97.
Тираж 50000 экз. Заказ № 236. Цена 2 р. 70 к.
Изд. № 5157.

Издательство "Радуга" В/О Совэкспорткнига
Государственного комитета СССР по печати.
119859, Москва, ГСП-3, Zubovskiy bul'var, 17.

Отпечатано с готовых пленок ордена Октябрьской
Революции и ордена Трудового Красного Знамени
МПО "Первая Образцовая типография" Государственного
комитета СССР по печати, 113054, Москва, Валовая, 28
на Можайском полиграфкомбинате В/О Совэкспорткнига
Государственного комитета СССР по печати.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РАДУГА»

Вышла в свет:

ПОРТЕР К. Э. Корабль дураков: Роман: Пер. с англ.— М.: Радуга, 1989.— 33 л.

Роман крупнейшей американской писательницы Кэтрин Энн Портер, вышедший в свет в 1961 году, злободневен и сегодня. С редкой для зарубежной литературы четкостью и силой звучит в нем осмысление корней фашизма, исторических уроков второй мировой войны. С полным основанием можно утверждать, что речь в нем идет не только о вчерашнем фашизме, но и о сегодняшнем неофашизме. Общество, основанное на социальном и национальном антагонизме, страдающее многими органическими пороками и противоречиями, плодит расизм и фашизм в самых разных его формах, утверждает писательница. Роман воспринимается как предостережение, как призыв к разуму всего человечества.